

Учредители

Егор Гайдар, Екатерина Гениева, Виктор Ярошенко

Редакционный совет

Ирина Антонова, Михаил Борщевский (главный редактор журнала «Herald of Europe»), Сергей Капица, Сергей Ковалев, Отто Граф Ламбсдорф, Самуил Лурье, Лорд Брайан Маккензи, Ричард Пайпс, Михаил Пиотровский, Вячеслав Пьецух, Джон Робертс, Лорд Робертсон, Теодор Шанин

Главный редактор

Виктор Ярошенко

Редакция

Владимир Салимон (заместитель главного редактора),
Филлип Смирнов (заместитель главного редактора),
Владимир Кантор (отдел философии и политологии),
Евгений Попов (отдел культуры),
Алла Язькова (отдел международной политики),
Елена Мокеева (верстка),
Ляля Пинигина (техническая редакция и набор),
Людмила Захарова (главный бухгалтер),
«Магазин искусства», Игорь Пронин
(макет и художественное оформление)

Консультанты журнала

Александр Gladков, Николай Головнин, Владимир Мау,
Андрей Медушевский, Александр Петров,
Сергей Синельников-Мурылев, Арсений Рогинский,
Евгения Росинская, Мариэтта Чудакова, Игорь Яковенко,
Евгений Ясин

Представители журнала

Платон Борщевский (Лондон), Андрей Гринцман (Нью-Йорк),
Рональда Зеленова (Санкт-Петербург), Наталия Исаева (Лион),
Александр Кобак (Санкт-Петербург), Гала Наумова (Париж),
Алексей Парщиков (Кёльн), Александр Сергиевский (Рим)

Журнал издается при поддержке Института экономики переходного периода, Фонда экономической политики, Фонда поддержки предпринимательства и защиты среднего класса, Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино

ИЗДАНИЕ № 25

Некоммерческое партнерство «Издательство журналов «Вестник Европы» и «Открытая политика»»

Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации ПИ №77-1175.

Лицензия на издательскую деятельность ИД №03226 от 10.11.2000.

Адрес редакции: 109189, Москва, Николаямская, 1.

Тел./факс: 937 4926

Интернет-версия журнала: <http://magazines.russ.ru/vestnik>

Использование материалов возможно только с письменного разрешения редакции, при перепечатке или использовании ссылка на журнал обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Заказ . Отпечатано в ППП «Типография “Наука”». 121099, Москва, Шубинский пер., д. 6.

© Вестник Европы™, 2009

© НП Издательство и редакция журналов «Вестник Европы» и «Открытая политика», составление и редакция текстов, журнал «Вестник Европы» том XXV

ВЕСТНИК ЕВРОПЫ

XXI ВЕК

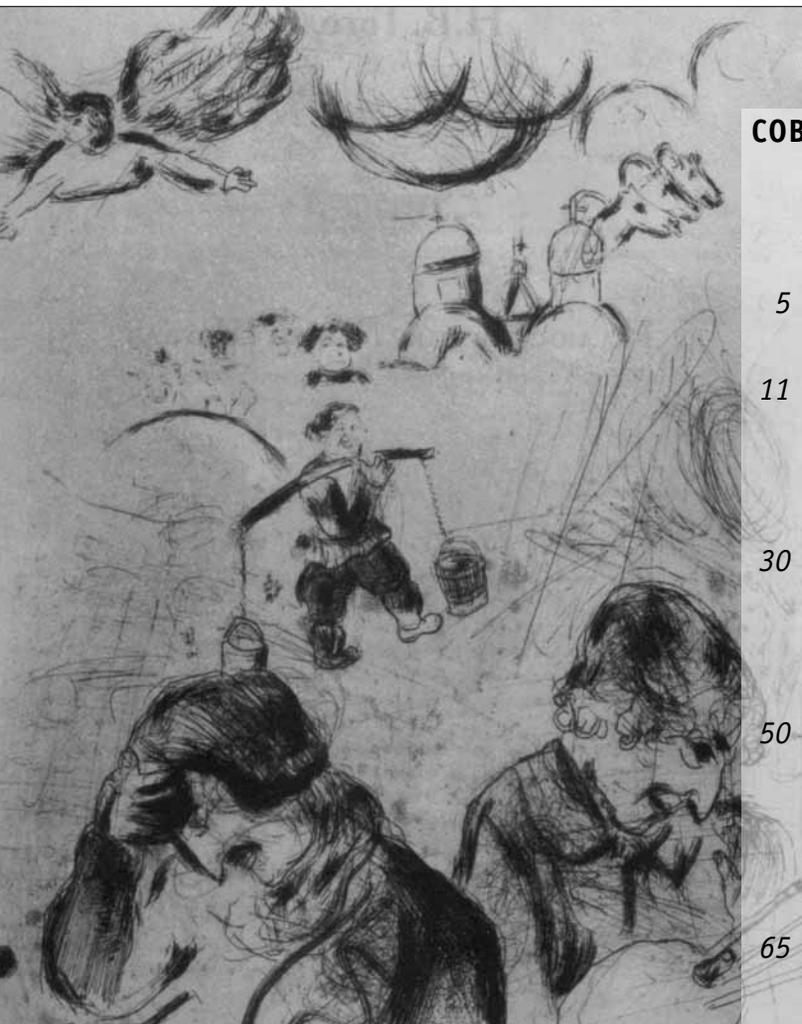


журнал европейской культуры

Основан в Москве в 1802 году
Первый главный редактор Н.М.Карамзин
Возобновлен в Санкт-Петербурге
М.М.Стасюлевичем в 1866 году
Запрещен в 1918 году
Возобновлен в 2001 году

ТОМ XXV

ГОД 2009



СОВРЕМЕННЫЙ РАЗДЕЛ «ЖИЗНЬ»

Политика и экономика

- 5 **Михаил Борщевский.**
Кризис сверхраста
- 11 **Александр Пумпянский.**
Приключения европейского духа.
Беседы и размышления в Совете
Европы
- 30 **Егор Гайдар.**
Очерки смутных времен

Социология России

- 50 **Петр Ореховский.** Время Практиков.
Российская элита и современный
кризис

Внешнее обозрение

- 65 **Геворк Мирзоян.**
Перезагрузка или перегрузка?

200 ЛЕТ Н. В. ГОГОЛЮ

Письма из редакции

- 75 **Виктор Ярошенко.** Гоголь и Шагал
- 83 **Игорь Клех.** Ночное светило русской
культуры
- 93 **Владимир Шенрок.**
Н.В. Гоголь. Пять лет жизни
за границей 1836–1841 гг.
Извлечения из «Вестника Европы»
М.М. Стасюлевича



ЛИТЕРАТУРА

- Из Иерусалима с любовью**
 119 **Геннадий Беззубов.** *Стихи*
 125 **Ефим Гаммер.** Пером и автоматом
(повести израильской жизни)
 144 **Екатерина Горбовская.** Утро вечера.
Стихи
 147 **Александр Давыдов.**
 Гений современности
 173 **Николай Климонтович.** Процедуры
 до и после. *Рассказ*
 177 **Андрей Грицман.** Ветер в долине
 Гудзона. *Поэма*

ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ

- К столетию сборника «Вехи»**
 189 **Григорий Померанц.** Пророки и лже-
 пророки. От мифологем к вехам
 реальности

Встречи на глубине

- 197 Человек во вселенной
Клод Леви-Стросс в беседе
 с Константином фон Барлевроном
 и Галой Наумовой
 214 Мифы сталинизма. *Две конференции*
Карен д'Анкос
Юрий Любимов
Андрей Фурсенко
Петр Тодоровский
Даниил Гранин
Людмила Улицкая
Андрей Сорокин
Борис Дубин

КУЛЬТУРА

- 227 **Наталья Исаева.** Утомленные текстом.
 Русская тема во французском театре

Artes

- 231 **Виктор Ярошенко.** Иерусалим.
Фотографии.

- 239 **Марианна Рошаль.** Война и эротика
 в рисунках Эйзенштейна 1923–1948

Некролог

- 243 **Владимир Салимон.**
 На смерть Алексея Парщикова

Письма из редакции

- 244 Эстонский остров

Рецензии

- 246 **Юрий Зобнин.** Диалог как форма
 культурного бытия
 251 **Н.Дьяконова, С.Букреева.** «Победа
 приходит поздно...»: русский памятник
 Эмили Дикинсон

Выставки

- 254 **Ирина Драгунская.** «Цвет и свет».
 Субъективный взгляд. Фотографии
 Вивиан дель Рио и Василия Попова
 255 «Следы». Выставка специального
 корреспондента «Вестника Европы»
Григория Ярошенко в Галерее «Глаз»

- 256 **Об авторах**

- 256 **Summary**



фото В.Ярашенко. Иерусалим. Старый город. Сионские ворота

КРИЗИС СВЕРХРОСТА

Михаил БОРЩЕВСКИЙ

Несомненно, что для будущего историка, равно как и для любого человека с улицы главным событием ушедшего 2008 года и начавшегося 2009 года будет кризис мировой экономики и финансов.

О кризисе говорят телекомментаторы новостей, пишут журналисты экономических изданий, политики, дипломаты, университетские профессора и юмористы. Но крайне мало публикаций изнутри профессионального сообщества финансистов, которое традиционно не любит публичности. Исключением из этого правила являются такие авторы, как Бен Шалом Бернанке, Пол Кругман, а также Джорж Сорос, всегда вызывавший огромный интерес одних и раздражение других своими книгами и интервью.

К началу нового года спорным остаются такие вопросы: как будет развиваться глобальный кризис, какие меры могли бы способствовать его прекращению, на каких рубежах и в каких регионах он остановится, какие действия могут оказаться эффективными для его преодоления и какие тяжелые последствия на этом пути нам предстоит пережить.

Прежде чем искать ответы на эти вопросы, следует, с моей точки зрения, рассмотреть некоторую преамбулу. Почему и каким образом начал так стремительно развиваться нынешний кризис и чем он конкретно отличается от всех предыдущих, глубоко изученных и досконально или достаточно тщательно описанных?

Как все отмечают, мы имеем несчастье быть свидетелями (и участниками) самого масштабного в истории

глобального кризиса. Кризис оказался не только глобальным, но и всеобъемлющим: финансовым, экономическим, политическим, социальным, культурным и идеологическим.

Напомним некоторые из его уже пройденных этапов. Этот кризис, который, заметим, далек от завершения, начался стихийным дефолтом на рынке недвижимости в США. Затем — как по принципу «домино» — зашаталась биржа — сначала американские, а вслед за ними и все мировые.

Руководители мировых финансовых институтов и правительств отдельных стран предприняли серьезные усилия по поддержке банков и основных производителей. Однако, пришедшие на помощь триллионы не остановили, а лишь замедлили начавшееся падение производства и, соответственно, падение цен на энергоносители. Внезапно выросшая безработица привела к уличным беспорядкам в ряде стран и быстро распространяющемуся страху от неизвестности, ожидаемой в будущем. Однако было бы наивным предполагать, что кризис на том или ином рынке (в данном случае — на ипотечном рынке США) падает с неба, как гром небесный, непредсказуемый.

Разумеется, немалое количество специалистов предвидели его. В частности, в нашем журнале (*The "Herald of Europe" Magazine*) в 2007-ом году была напечатана статья Германа Геловани «И волк в конце концов приходит» (*Herman Guelovani "And The Wolf Eventually Comes"*), в которой убедительно были показаны истоки и причины конца эры безудержного кредитования. Но, по-видимому,

человеческая природа такова, что лишь незначительно малое количество людей задумывается над тем, как предотвратить надвигающиеся угрозы и вызовы.

Причины нынешнего кризиса, начавшегося в сфере финансов, затем перешедшего в экономику производства и потребления и, наконец, поразившего улицы, то есть превращающегося на наших глазах в кризис социальных институтов, эти причины складываются из нескольких. Некоторые из них достаточно традиционны (как, например, нарушение баланса финансовых запасов и заимствований), другие — и это особенно важно подчеркнуть для понимания происходящего — являются принципиально новыми.

Поясню, что я имею в виду.

ФЕНОМЕН ВИРТУАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

Начиная с конца 70х годов XX века, электронные технологии стали стремительно входить в сферу финансов в виде расчетно-учетных систем, наконец, новых, не имевших места ранее, финансовых инструментов кредитования и митигации финансовых рисков (как пример — система электронных кредитных карт и новый рынок производных финансовых инструментов, в финансовых кругах называемых «деривативы»).

Внедрение этих технологий поначалу воспринималось лишь как процесс, позволяющий оптимизировать финансовые операции, равно как и взаимодействие финансово-кредитных учреждений и потребителей их услуг и рассчитать будущие риски. Однако, сравнительно быстро — уже к середине 90-х годов XX века инновационные технологии привели к созданию в стремительно растущих масштабах феномена, который мы можем назвать феноменом «виртуальных финансов».

«Виртуальные финансы» это те, которые не обеспечены твердой валютой, а также никакими оцененными материальными ценностями (золото, металлы, ископаемые, имущество). Например, появившиеся в связи с развитием новых технологий, услуги по электронному переносу, каталогизированию, использованию и продаже информации стали оцениваться весьма произвольно (в силу беспрецедентности) и вызвали к жизни бум так называемых «дот ком» компаний, которые не только изменили систему выработки цены на мировых рынках, но и, что самое главное, привели к тому, что «виртуальные финансовые ресурсы», существовавшие лишь в электронной форме, кардинальным образом изменили роль денег в современном мире.

В последние тридцать лет все предыдущие формы взаимодействия финансовых институтов (банков,

фондов, трастов, инвестиционных компаний и тому подобных) были дополнены новыми формами межбанковских взаимоотношений. Благодаря тому, что были введены электронные, мгновенные формы онлайн-учета любых межбанковских транзакций в мировом масштабе, электронные методы любых финансовых операций (торговых, кредитных, страховых, или операций, связанных с работой отдельных глобальных корпораций или фондов) появились специальные межбанковские электронные системы, в которых стал возникать феномен виртуальных финансов, то есть появились финансы, которым не соответствовал никакой реальной эквивалент.

Стали возникать электронные формы учета электронных же денег. Они породили разнообразные формы спекуляций, многие из которых носили традиционный характер, и просто были переведены в электронные; другие возникли уже как новые виды спекуляций, связанные именно с многократным использованием инструментов электронного обеспечения торгового и прямого финансирования (прежде всего долгосрочного) с последующей многократной дисконтной перепродажей.

Деньги, бывшие до сих пор эквивалентом затраченного труда и ресурсов, определителем стоимости товаров и услуг — сами по себе стали продуктом производства, торгуемым между финансовыми институтами в самых разнообразных формах — залоговых инструментов, кредитных ресурсов, обеспечения разнообразных проектов в сфере материального производства. Именно эти изменения в ценообразовании, в роли денег, как самостоятельного продукта экономического производства и привели к ситуации в мире, в которой объем финансовых активов, отраженный на балансе всей совокупности мировых банков стал в несколько раз превышать объем производства и экономики в целом. Таким образом, возникли так называемые «токсичные активы», оценка которых затруднена (George Soros, Financial Times, 23/01/2009) и приводит к искажению кредитования по конкурентным ставкам.

На базе новых электронных технологий быстро возникли новые специфические спекулятивные инструменты. Они сочетали давно известные механизмы типа «пирамиды», с современными технологиями, что позволило этим «электронным пирамидам» распространяться стремительно как вирусы.

Выпуск в электронной форме долгосрочных гарантий предполагает продажу с дисконтом. Обеспечение такое гарантии включает не только реальные средства банка, но и доходы от электронных спекуляций. К сожалению, за последние пятнадцать лет появилось множество межбанковских операций, основанных на подобных схемах. Причем это своего рода закрытая система, куда не все

игроки допускаются, своего рода бесконечная банковская пирамида.

От продажи продукта «продай сам и приведи еще двух продавцов» (по типу гербалайфа) до пирамид, которые устраивал небезызвестный американский финансист Мартин Армстронг, создавший по всему миру хеджфонды. Поскольку он открывал их снова и снова, то деньги, полученные от последних поступали в оплату предыдущих. Тем самым пирамида была растянута во времени. Как еще один пример аналогичной пирамиды, созданной Бернардом Мадоффом, обвал которой отозвался международным скандалом и привел к банкротству множества инвесторов, вложивших средства в эту пирамиду.

По исчислениям ряда ведущих аналитиков объем подобных операций с деривативами составил невообразимую сумму в более чем 1,000 триллионов долларов США.

Одновременно развивался феномен уменьшения транспарентности (прозрачности) и сопоставимости некоторых банковских операций в мировом банковском деле, в особенности, операций с производными финансовыми инструментами, которые, кроме того, во множестве банков, списывались «забаланс». Находясь на посту представителя Ассоциации российских банков в Лондоне, я боролся за прозрачность и стандартизацию банковского учета всех банковских операций российских банков и их соответствия мировым стандартам; позднее обнаружил, что западные банковские операции со спекулятивными производными финансовыми инструментами противоречивы и, зачастую, непонятны даже специалистам, занимающимся банковским надзором.

Например, отмена регулируемыми банковский рынок органами правила (*uptick rule*), которое разрешало короткие продажи (короткая продажа — это сложная операция со ставкой на то, что цена на какую-либо ценную бумагу упадет) лишь в случае, когда цена поднималась, фактически проложила, наряду с другими причинами, дорогу к банкротству старейшего на Уолл Стрит банка «Братья Лиман». Банк являлся крупнейшим игроком на рынке коммерческих ценных бумаг и краткосрочных облигаций, под которые были выпущены дефолтные обязательства, гарантирующие держателю коммерческих ценных бумаг банка компенсацию в полном объеме в случае падения цен. Паника на рынке распространилась мгновенно, при падении цен на коммерческие бумаги «Братьев Лиман», Участники рынка увеличили короткие продажи, тем самым поднимая цены на дефолтные обязательства и «опуская» цены на коммерческие бумаги банка. Этот пример один из многочисленных. Все это еще раз подтверждает, что органы банковского надзора,

будучи в высокой степени бюрократическими, не в состоянии адекватно понять и вовремя отреагировать на поведение быстро меняющегося рынка, который они обязаны и пытаются регулировать.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВНУТРИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Теперь о другой группе причин, породивших современный кризис. За последние тридцать-сорок лет произошел резкий перенос производства товаров потребления на рынки дешевой рабочей силы. За последние десятилетия практически все производство было выведено из евро-атлантической зоны, развитых стран Европы в Юго-Азиатскую и Юго-Американскую. Благодаря дешевому труду и новым технологиям, которые позволяли гораздо более дешевым образом производить там массовые объемы товаров, перемещать туда большие объемы ресурсов. Были построены огромные сверхтанкеры, сухогрузы, на восток поплыли станки и оборудование, а следом за ними перевели и тяжелую, машиностроительную промышленность.

Мировое разделение труда стало выглядеть таким образом, что евро-атлантические страны (Европа и США) стали, прежде всего, специализироваться на производстве идей и разработке новых технологий (*ноу-хау*), и воспроизводстве всего, что с этим связано — науке, образованию, культуре, а воплощение этих идей и воплощение материальных технологий стало осуществляться главным образом в Юго-Восточной зоне мира. К тому же, Юго-Восточная зона, начиная с Кореи, Китая, Индии, а потом и Бразилии, стала производить в известных ранее миру объемах то, что называлось «товарами массового спроса» — все, что обеспечивает повседневное воспроизводство человека, стало доступно по всей планете.

Этот гигантский переворот произошел за каких-нибудь двадцать пять лет и не был адекватно осмыслен финансовыми институтами. Все стало производиться в огромных объемах, очень дешево продаваться и, что очень важно, в кредит по всему миру, а если покупательский спрос ограничивал экспансию товаров и услуг, она производилась с помощью все возрастающих объемов кредитов (и страхования).

Постепенно стал накапливаться своего рода «пузырь», или «навес», который стал использоваться как закладные для различного вида кредитов мировой торговли, больших инвестиционных проектов, строительства, ипотеки и так далее.

Тем самым, вся евро-атлантическая зона «подсела» на кредитование. Кредитование стало локомотивом

развития мира. Это совпало с повсеместным переходом на кредитные карты, электронные платежи, и снова подстегнуло покупательский спрос. Кредитом стали пользоваться, чтобы обеспечить себя жилищем, автомашиной, образованием, кредитной карточкой повседневного спроса или в обеспечение ежедневных потребностей в еде и одежде, образовании детей и отдыха.

Таким образом, два описанных выше направления, две половинки яблока сошлись: с одной стороны феномен виртуальных финансов, с другой стороны огромная потребность в нем, которая не давала ему лопнуть долгое время. Дальше наступило следующее: то, что можно назвать явлением неадекватной оценки (то есть переоценки) продукта, перекинулось из сферы информационной в сферу материальную, прежде всего в сферу энергетики. Нефть стала использоваться как краткосрочный высокодоходный финансовый (фьючерсный) инструмент. Таким образом начал развиваться процесс завышенного ценообразования, не соответствующий затраченным материальным, сырьевым и человеческим ресурсам.

Лишние деньги искали себе хоть какую-то опору, и нашли ее — в нефти. Нефтяные фьючерсные контракты стали еще одним форпостом виртуальных денег.

Вслед за завышенной оценкой нефти, газа, электроэнергии, с неизбежностью стали расти и все остальные цены. И этот надутый пузырь псевдоденег, как дирижабль, наполненный газом, стало пробивать то в одной, то в другой точке. Наибольшей пробоиной стал последний из ипотечных кризисов США; до этого, десять лет назад, вырос так называемый «азиатский гриб», а именно — кризис перегретой экономики «молодых тигров», кризис перепроизводства машинных технологий в Корею и других странах Азии.

От этого кризиса в первую очередь пострадали слабые экономики, не имеющие серьезных ресурсов, чтобы эти дырки затыкать. Для России этот кризис отозвался дефолтом.

Когда мир дошел до такой точки, произошло смещение в оценке человеческой деятельности. Кризис начался в информационной сфере, потом перекинулся в энергетическую, а значит — во все виды товаров и услуг и, следовательно, потребитель (как компании, так и отдельные люди), то есть все мы должны были брать все больше и больше денег в кредит. Это вызвало значительное перепроизводство — все забито товарами, а денег у людей на самом деле нет, поскольку возможности кредитования стали ограничены. Обсуждаемые отдельные проявления всеобщего кризиса состоят в том, что кто-то говорит о кризисе ипотеки, кто-то о кризисе банковской системы, кто-то о кризисе МВФ и мировой валютной системы.

Немаловажна и деятельность правительств, которые участвовали во всем этом, прежде всего решая проблемы своего платежного баланса, бюджетов, военных и социальных программ, безмерно увеличивая как внешний, так и внутренний долг.

Вся эта виртуальная экономика включалась в статистику, в рост ВВП, искажая реальную картину экономических процессов, которые выглядели вполне благополучно, показывая неуклонный поступательный рост мировой экономики, что рано или поздно должно было бы насторожить, потому что неуклонный рост это нечто тревожное с точки зрения философии развития: рост не может быть неостановимым.

Всегда есть пределы роста (как доказывали Медоуз и Форестер в давнем докладе Римскому Клубу). Финансы давно оторвались от демографии, экономики, от реальности. Неуклонный рост в 11–12% в Китае, в 6–7% в России и в 2–3% в среднем в мире вместо благодущия должен был вызвать тревогу. Но весь мир охватила гедонистическая философия неограниченного потребления. Теперь картина мира будет болезненно, но неизбежно меняться. «Пузырь» должен был порваться, и он порвался. Впереди долгое и трудное отрезвление, возвращение финансов к соответствию с реальной экономикой.

Кстати, вспомним, что концепция устойчивого развития, выдвинутая на Всемирной конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, в которой участвовали руководители 150 стран (России было не до Рио тогда) и продвигавшаяся, как стратегическая экологическая программа для человечества, принципиально противоположна концепции безудержного роста. Но до сих пор правила бала именно она...

СОГЛАСОВАННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО

Я вспоминаю один из моментов своей беседы с выдающимся американским экономистом XX века (русского происхождения), лауреатом Нобелевской премии Василием Леонтьевым (Wassily Leontief), автором знаменитого в прогнозировании и программировании экономики метода (матрица межотраслевого баланса «затраты-выпуск»).

Разговор происходил во время его приезда в СССР в середине 70-х годов прошлого века. Одним из тезисов, публично озвученных Василием Васильевичем, было предложение о введении методов планирования народного хозяйства в экономике США. Мой вопрос ему состоял в том — совместимы ли методы централизованного планирования со свободным рынком и если — да, то каким образом. Мой собеседник ответил, что, разумеется,

он не предлагает «зарезать курицу, несущую золотые яйца», то есть свободный рынок. «Я говорю скорее о корректирующем рыночном прогнозировании реальности производства, на основе оценки спроса» — сказал Леонтьев. «Но как Вы предлагаете поступить с ценообразованием?» — был мой следующий вопрос. «Прогнозировать его на основе реальных доходов» — ответил мой собеседник, и мне, живущему и работающему в системе социалистической экономики, стало ясно, что дальнейшие ходы ведут с неизбежностью к социализму в его полном объеме.

Не случайно я вспомнил своего замечательно умного и обаятельного собеседника. Разумеется, сегодня, когда мир напряженно ищет выход из кризиса, несколько фрагментов картины которого я пытался здесь представить, первое желание, возникающее на пути таких поисков — отдать себе отчет в том, что из себя представляет мировая экономика сегодня. Сколько и какого продукта она производит, каковы затраты на эти виды производства и их нормы прибыли, как распределено производство и потребление по странам и регионам и, наконец, каким образом финансово-кредитная система обслуживает все это? Или, наоборот, усиленно эксплуатирует. И в интересах каких социальных групп тех или иных обществ, государств, народов? Невольно вспомнишь леонтьевские межотраслевые балансы и матрицы «затраты-выпуск». Но это лишь часть, описательная по своей природе, хотя и крайне важная. А за этим следует вспомнить, что мир живет по законам воспроизводства: биологического, экологического, демографического, социально-профессионального и культурного, экономического и финансового, наконец, идеологического (в смысле воспроизводства идей).

Все эти виды человеческой деятельности взаимосвязаны. Им присущи свои временные циклы, ресурсы, региональные и историко-культурные особенности. Но кризис, любой, возникает там и тогда, когда баланс того или иного из названных видов воспроизводства нарушается настолько, что ставит под угрозу условия человеческого существования. В частности, когда экономика приходит в резкое противоречие с потребностями общества или с объемом и качеством потребляемых ресурсов.

Нынешний кризис из сугубо виртуальной финансовой сферы перешел в сферу реальных финансов, затем непосредственно в экономическую. Стали закрываться различные производства, замедлилось, а кое-где остановилось, строительство. Началось снижение потребления. Остановка ряда производств сама по себе вещь не дешевая. Но те финансы, которые правительства вбрасывают в банковскую систему, сегодня не в состоянии

приостановить процесс замедления производства.

А в тех случаях, когда государство, поддерживая производителей, скупает акции автомобильных или металлургических заводов, не давая остановиться доменным и мартенов, оно усугубляет ситуацию перепроизводства товаров на рынке. С тем, чтобы рынок продолжал функционировать, деньгам, брошенным на спасение банковской системы, должны быть обеспечены условия попадания как к производителю, так и к потребителю.

Современная цивилизация, техносфера, неимоверно сложна, но и неимоверно хрупка. Жизнь биосферы возможна лишь в очень узком диапазоне температур, давления, параметров атмосферы. Так и техносфера может существовать при соблюдении очень жесткого лимита условий, в очень узком диапазоне колебания частоты энергосетей, давления в трубопроводах. Подобно этому и финансовая система мира — валют, процентных ставок, кредитных гарантий, разнообразных финансовых инструментов и регулирующих их институтов — имеет свои ограничения, выход за пределы которых опасен. Ибо может привести к нарушению балансов техносферы, инфраструктуры, экономики. Что, в свою очередь, вызовет разрушение социосферы, когда возникает угроза голода, эпидемий, войн, передела мира. Вспомним, что финансовый кризис 1907 года вызвал Первую мировую войну, которая не разрешила проблему восстановления равновесия в мире и, вскоре, привела ко Второй мировой войне. И лишь после обустройства и обескровливания Европы и России по окончании войны начался медленный процесс роста и возрождения.

Если сейчас мир не сумеет осмыслить природу и причины нынешнего кризиса и найти эффективный выход из него, последствия могут быть еще страшнее. Очевидно, что нынешний кризис уже вызывает резкий дисбаланс разных видов воспроизводства. Поэтому важно понять, куда, в какие точки должны быть направлены, хотя и ограниченные, но и огромные ресурсы, которыми располагает человечество. Для этого нужно вернуться к моделям воспроизводства, прежде всего демографического и экономического (по основным сферам потребления). Это означало бы определение условий, необходимых и достаточных, для сохранения современной цивилизации имеющимися экономическими, финансовыми и человеческими ресурсами.

В последнее время возникло множество разнообразных рецептов выхода из кризиса. К их числу относятся предложения о взаимном списании внутреннего и внешнего долга, об ограничении объема межбанковских операций и строгом контроле по ним, о введении

наднациональной валюты (предложение вынесенное президентом Казахстана, но в подобном случае непонятно, чем такая валюта будет обеспечена). Но к согласию в том, на чем все вышеуказанные предложения должны быть основаны, мировое сообщество не пришло.

* * *

Нынешние меры по поддержке экономики, принимаемые большинством стран — путем вливания государственных средств в банки и отдельные отрасли хозяйства, имеют своим прямым следствием стремительное «огосударствление» экономики, со всеми, вытекающими отсюда, последствиями. Эра глобализации экономики, проявившаяся в своих результатах в последней четверти XX века, объединила в тесном взаимодействии экономики стран свободного рынка («открытых сообществ» по Карлу Попперу) с плановыми или смешанными экономиками стран разной степени тоталитаризма и авторитаризма. Этому во многом способствовал упоминавшийся ранее перенос производства из Евро-Атлантической зоны в Азиатскую и Южно-Американскую. Сегодняшний Китай, к примеру, самый крупный в мире долларовый кредитор, а также производитель товаров массового спроса, продолжает оставаться страной с тоталитарной коммунистической идеологией, в которой права личности далеки от норм «открытого общества». Вопрос, который уже встал на повестку дня, хотя неосмысленно и неозвученно до конца — это вопрос о том, какие политические режимы возобладают в мировой политике к моменту завершения современного кризиса.

* * *

Пока статья, предложенная Вашему вниманию, готовилась к печати, кризис продолжал усугубляться, охватывая все новые сферы экономики и социальной жизни в большинстве стран мира. Тут подоспел и саммит двадцати (G-20), который стремительно объявил миру экстренные меры по спасению мировой экономики. Я коротко напомню эти меры:

□ Вливание в мировую экономику около 5,5 триллионов (в долларовом эквиваленте) в валютах разных стран для поддержания производства и выкупа «плохих» активов.

□ Обеспечение 1,5 триллионов долларов в поддержку так называемых развивающихся стран.

□ Обеспечение дополнительных средств на разнообразные виды социальной поддержки населению «двадцатки» в размере до 1,5 триллионов (в долларовом эквиваленте).

□ Усиление контроля над банковской деятельностью (вплоть до открытия тайны вкладов).

□ Раскрытие для государственных фискальных органов информации о владении и доходах оффшорных компаний.

Первые три позиции плана приведут лишь к увеличению объема «виртуальных» финансов — будет это сделано при помощи выпуска разнообразных гарантий или же при активном использовании печатных станков — неважно. И, соответственно, будучи реализованными, эти три позиции только усугубят кризис.

Что касается позиций 4 и 5 — они, при отсутствии четко сформулированных правил допустимого использования, могут привести скорее к усилению государственного контроля (что для ряда стран означает тотальный контроль).

Что же касается первоочередных мер, которые могли бы действительно противостоять кризису «на глубине», то к их числу, по моему мнению, относятся:

□ Международная конвенция о «замораживании» «плохих» активов и международных долговых обязательств в объемах, сопоставимых с объемом мировой экономики, на срок от 3 до 10 лет, а за это время — определение реальной стоимости этих активов;

□ Упорядочение и приведение к сопоставимому виду форм банковско-финансовых документов и введение ограничений на многократную (спекулятивную) торговлю ими;

□ Определение безусловно очередных (с учетом пределов роста) видов кредитования секторов экономики и необходимой социальной поддержки;

□ Введение ограничений на государственную монополизацию частных банков и финансовых учреждений, а также производственных предприятий.

Однако до сих пор, по-видимому, у руководителей стран и правительств доминирует стремление к патерналистским мерам и тотальному контролю. Такая политика не сможет сдержать волн кризиса, которые могут перерасти в цунами... ■■■



ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ДУХА

Беседы и размышления в Совете Европы*

Александр ПУМПЯНСКИЙ

Прежде, чем продолжить повествование, поспешу исправить невольное упущение. Первым героем этой саги о Совете Европы, стартовавшей в предыдущем томе «Вестника Европы», был сэр Питер Смизерс. Помните? Генсек Совета Европы в 1964–1969 годах. Юрист, дипломат, член парламента... Цветовод и фотограф... Но самое неожиданное, успел я написать, заключается в том, что именно он послужил прототипом Джеймса Бонда... И тут произошел сбой. Два абзаца, проясняющих удивительную связь, неведомым образом исчезли — видно, компьютер проглотил. Не скрою, я хотел заинтриговать читателя, но не таким же способом! Придется извлечь из коварного компьютерного чрева недостающее смысловое звено.

История восходит ко временам Второй мировой войны. Молодой Питер Смизерс, тогда еще не сэр, служил в британской разведке М16 бок о бок с тогда еще никому не известным Йаном Флемингом. Будущий автор Бондианы был постарше — на четыре года и на звание. Кропотливые биографы свидетельствуют, что они составляли неплохую пару. Даже разрабатывали вместе оригинальной

конструкции нож десантника. А однажды Флеминг вручил Смизерсу пистолет, замаскированный под авторучку. Эти подвиги технического творчества бледнеют перед изобретениями мистера Q, снабжавшего агента 007 разными убийственными штучками, которые спасали его в самых безвыходных ситуациях, но отправной точкой для литературной фантазии, возможно, послужили.

В самый канун падения Парижа Флеминг и Смизерс работали в обреченной французской столице, а затем в Бордо, где занимались эвакуацией британских судов и спасли сотни беженцев от нацистского наступления. В Англии Смизерс отлавливал засланных немецких агентов, что считается одной из самых успешных операций британской разведки и контрразведки. Затем его направили за океан замом военно-морского атташе. В Вашингтоне в его задачу входило передавать все, что удастся добыть про деятельность японских ВМС после Перл Харбора. Затем уже военно-морской атташе в Мексике и Карибском регионе, он охотился за немецкими подводными лодками, которые с необычайной дерзостью топили суда едва ли не в территориальных водах США. Немецкие подлодки

* (Окончание. Начало в Вестнике Европы том XXIV, 2008 год)

оказались не единственным объектом интереса молодого Питера Смизерса в Мехико-сити. Здесь он встретил свою будущую жену, которую завоевал в стиле блицкрига за три недели. После чего они прожили долго и счастливо и умерли, можно сказать в один день. Это случится шестьдесят лет спустя, а тогда в приданом невесты оказалась, безусловно, выдающаяся вещь. Золотая пишущая машинка. Другая такая встретится уже в романе Йана Флеминга «Голдфингер».

Вот такая романтическая и совершенно реальная история... Не ищите в ней скрытых смыслов. Ни скрытой рекламы вышедшего на экраны нового фильма нескончаемой Бондианы. Ни шпионско-философского камня типа того, что был с такой помпой открыт не так давно у английского посольства в Москве. Ничего, кроме фактов, которые, признаюсь, меня очаровали.

Ну а теперь продолжим повествование.

ПРО ГРЕШНЫЙ ЯЗЫК И КОДЕКС МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Беседа с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей УЛЬРИХОМ БОННЕРОМ

Наш вояж по Совету Европы оборвался в турецком суде. Вопрос на засыпку. Что общего между Турцией и Бельгией? Не торопитесь говорить: ничего. Послушайте две совсем свежие истории.

Мэр города Кир в юго-восточной Анатолии был уволен, а городской совет распущен. За что? За то, что выпустили информационные материалы на курдском языке. Административная кара была тут же подтверждена судебным решением: мэр и горсовет нарушили Конституцию страны, которая гласит, что в Турции лишь один государственный язык — турецкий. Тем самым совершено посягательство на территориальное единство страны. Вот только незадача. Подавляющее большинство жителей города курды, а те, что недавно переселились из деревни, и вовсе не знают никакого другого языка.

...В это же самое время в трех муниципалитетах на окраине Брюсселя прошли выборы мэров, но кандидаты, убедительно победившие на выборах, остались на птичьих правах. Их не утвердил министр внутренних дел. Основание: они обращались к своим избирателям не на том языке.

Тут важны подробности. Эти три муниципалитета франкоязычные, но по административно — территориальному делению находятся во фламандской зоне. На самом деле, будущие мэры или не мэры или полумэ-

ры обращались к своим избирателям на двух языках. К франкоязычным по-французски, а к фламандским на фламандском. Но министр внутренних дел Фландрии разъяснил, что по закону все бумаги избирателю должны быть посланы изначально на фламандском языке, и только после того, как на то будет высказана его, избирателя, ясная воля, дальнейшую переписку можно вести и на французском. Налицо, таким образом, грубейшее нарушение закона Фландрии.

Так что общего в этих историях, кроме идиотизма?

То, что жалобы на них поступили в Совет Европы, в то его подразделение, которое называется Конгресс местных и региональных властей.

Конгресс направил в оба места миссии с заданием прояснить факты и обстоятельства и по итогам их исследований сделал рекомендации. Нет, слова «идиотизм» в резюме не было, все было юридически корректно. Но суть от этого не изменилась. Выводы были шире конкретных ситуаций. И там и тут мэры — фигуры выборные. Но от своих должностей они были отстранены административными решениями. Это принципиально неправомерно. Было также обращено внимание на то, что в Бельгии из-за далеко зашедшего раскола по лингвистической границе категорически отсутствует авторитетный федеральный уровень, который мог бы быть арбитром в спорах. А Турции было рекомендовано, как можно скорей внести поправки в соответствующие законы и в Конституцию.

Слово «ПАСЕ» внедрилось в наше сознание. Конгресс местных и региональных властей — понятие менее известное. Хотя это примерно такой же форум Совета Европы, как и Парламентская Ассамблея. С тем же представительством и с ежегодными сессиями. Только в одном случае действующие лица — национальные парламентарии, а в другом — выборные представители регионального и местного уровней. Заседают они в двух палатах — Палате регионов и Палате местных властей.

Дистанция, отделяющая местные власти от граждан, гораздо короче, чем на национальном (федеральном) уровне. Заинтересованность людей более непосредственная. Чем ниже уровень власти, тем выше степень участия населения в выработке и принятии решений. Из этой логической цепочки можно сделать и более широкий вывод: Нет демократии без местной демократии. Это и есть главный постулат Конгресса местных и региональных властей.

А что это означает на деле?

Моим гидом по Конгрессу стал генеральный секретарь Конгресса Ульрих Боннер.

«Это означает то, что компетенции разных уровней власти должны быть четко разделены, — отвечает

он. — *Права и полномочия местных органов власти должны быть закреплены в законах и Конституциях и охраняться при необходимости в судебном порядке. И они должны быть обеспечены соответствующими финансовыми источниками, то есть и финансовая независимость в их рамках гарантирована.*

«Это называется субсидиарность», — Ульрих Боннер юрист и не может без термина.

По-русски — взаимодополнение. Те функции, которые можно передать вниз, не должны оставаться наверху. Как продолжение принципа, что ни одно решение не может быть принято без спроса мнения тех, кого оно непосредственно затрагивает... Концепцию субсидиарности ввел в европейскую дискуссию в 50-е годы Конгресс (точнее его предтеча — Конференция).

Лыко в строку. На приеме по случаю национального дня России в Совете Европе мэр N-ского города на хорошем русском языке, не стесняясь, как дома, клял практику, когда «функции и обязанности федеральная власть нам спускает, а все деньги забирает себе...» Это был страстный монолог.

Все эти принципы прописаны в Европейской хартии местного самоуправления, разработанной и принятой Конгрессом и подписанной государствами — членами Совета Европы. То есть, в сущности, они обязательны.

На самом деле — это еще одна ипостась развития общей европейской идеи.

Реальные границы в Европе издавна не совпадают с национальными. Идея трансграничного сотрудничества для людей, живущих по соседству, но в разных государствах, всегда была насущной.

«Я еще помню время, — говорит Ульрих Боннер, — когда Пиренеи с 21.00 до 6.00 закрывались на замок». Сейчас, когда европейцы уверены, что любая виза — это вмешательство в их права, об этом даже странно вспоминать».

Под властную диктовку экономики появилось понятие «Европа регионов» (или «Европа с регионами»). Такие регионы могут включать в себя смежные области из двух — трех соседних государств — сейчас их около сотни. Внутренние связи в них порой сильнее, чем связи с собственными столицами.

Осознание, легализация этих реалий, устранение всякого рода препон, от чего выигрывали люди, свобода деятельности и качество жизни, требовали огромных интеллектуальных усилий и политической смелости и прозорливости.

То, что местная власть должна быть реальной, сомнений в послевоенной Европе не вызывало. Идею региональной автономии принимали в штыки. Историки

ссылаются на живучую память смутных феодальных времен, когда во Франции или Англии королевская власть подчас безуспешно боролась с амбициями своих герцогов и баронов. Более убедительны современные страхи национальных властей перед местными сепаратизмами. Региональная автономия — угроза центральной власти и даже территориальной целостности страны. Так она воспринималась.

Но в Европе второй половины XX века все-таки предпочитают лечить, а не калечить. Работает не сила, а компромисс, демократическая диалектика. Эффективно противодействовать сепаратизму можно, только делегируя регионам права. Великобритания, веками сражавшаяся против ирландской независимости, пришла к политике «деволюции» — очень широкой автономии для Шотландии и Уэльса, разрядила ольстерскую бомбу. В Испании нынче действуют семнадцать разных режимов региональной автономии, и самая не стесненная, включая право собирать все налоги, предоставлена Стране басков и Каталонии, где голоса за отделение сильнее всего. В Бельгии федерализм зашел так далеко, что ее лучше не упоминать в этом контексте («самое успешное провалившееся государство» встретил я недавно такое определение — как вам оно нравится?)

Тезис о том, что «государство должно быть сильным» — из вечно зеленых, у бюрократии он всегда в цене. Но что такое «сильное государство», насколько оно прочно и эффективно? Европейский опыт тут весьма нагляден.

«Генерал Франко создал идеальную вертикаль власти, как эту модель кое-где называют. Мы в Совете Европы предпочитаем называть ее диктатурой, — подает реплику Ульрих Боннер. — В Испании Франко не то, что автономии не было, национальные языки были под запретом, обряды, танцевать каталонскую сардану было преступлением. И это было сильное государство? Сильной и процветающей Испания стала сейчас, когда предоставила автономию разным своим частям и вступила в Европу».

(Западная) Германия провозгласила себя в 1949 году федеративной республикой. По сути жизненно важные решения принимаются там в регионах («землях»). На то есть историческая традиция. Но это и гарантия от возвращения «сильного государства» времен фашизма.

От процессов и понятий я пытаюсь спланировать к практике. Чем занимается Конгресс в своей повседневной деятельности?

«Мы наблюдаем за выборами, мониторим местную демократию. Происходит это примерно так, как в турецком или бельгийском эпизодах, — говорит Ульрих

Боннер. — Назначается докладчик, подбирается специалист по конституционному праву, приглашаются два — три опытных человека — мэры или депутаты из разных стран, плюс наши работники. Миссия выезжает на место, встречается с участниками с разных сторон. Потом готовит доклад и рекомендации, которые передаются по адресу. И мы обязательно приглашаем высокого представителя страны отчитаться, что сделано по нашим рекомендациям. Наш метод — диалог. Никакого диктата».

Как-то по «Эху Москвы» выступал один из членов российского избиркома. Разоблачая западных наблюдателей, он довольно смело объяснил стопроцентные результаты голосований в Ингушетии и Чечне «традицией тейпового голосования», когда из уважения к старейшинам все голосуют как один. Мол, эти беспардонные закордонные менторы просто не знают местной специфики... Аксакал из избиркома неправ. В документах Совета Европы есть рекомендация и на этот счет. Такие «традиции», как «семейное» голосование или голосование «всей деревней» неприемлемы в демократии, говорится в ней. Конгресс призывает соответствующие власти энергично бороться с подобными реликтами.

Отслеживание культуры власти и состояния демократии на нижних этажах — важная часть работы Конгресса. Другой ее частью, может быть, даже первой является выработка самих норм.

О Хартии местного самоуправления было сказано. Над Хартией регионального самоуправления идет гораздо более трудная работа — тема, чреватая сепаратизмом, болезненна для многих государств. Дважды Конгресс выносил готовые проекты этой Хартии на Комитет министров — высший решающий орган Совета Европы, и дважды Комитет министров возвращал проект. Изменили титул. Теперь это называется Хартия местной демократии (нетрудно заметить, что убрано слово «самоуправление»). Оговорились, что государства вправе ратифицировать Хартию не полностью, а частями. Компромиссы необязательно улучшат качество документа, но задача достичь консенсуса равно важна.

К этим двум основополагающим документам примыкает веер нормотворческих документов более узкого формата.

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. В Европе, между прочим, 230 языков, включая такие, на которых говорят не более сотен людей. Они под охраной. В Хартии специально подчеркивается право людей использовать эти языки в любых административных обстоятельствах — алаверды турецкому суду и министру внутренних дел Фландрии. Более

того, это право должно распространяться и на иммигрантов. Скажем, курды и турки в Германии или Швейцарии при необходимости могут выступать в суде на курдском или турецком языке — еще одно алаверды турецкому суду.

Европейская конвенция об участии иностранных граждан в общественной жизни на местном уровне. В ней предусмотрена возможность для иммигрантов, проживающих в стране более пяти лет, голосовать на местном уровне. Конвенцию ратифицировали не более десятка стран. Условились, что ее можно ратифицировать и без этой статьи. Но норма сформулирована и потихоньку получает признание.

Европейская конвенция о ландшафтах. В ней есть такие замечательные слова, как «Качество ландшафта» и «Ландшафтная демократия». Не спешите улыбаться. «Ландшафтная демократия» — это когда горожане, как главные акционеры своего города, имеют решающий голос в вопросах строительства, которое меняет ландшафт. Питерцам, беспомощно наблюдающим за рождением газпромовского гиганта на невском берегу, не помешало бы более близкое знакомство с этим правом.

И т.д. Вместе все это составляет кодекс местной и региональной демократии. Важная часть того, что формирует европейский образ жизни. Обязательно ли все это для государств? Да, если государство подписалось под документами. Нет, если кому-то хочется пренебречь нормами. Насильно мил не будешь. Никто не заставляет быть европейцем.

Как можно более аккуратно я спросил Ульриха Боннера, заметили ли они в Конгрессе российские новации последнего времени в области местного и регионального права: переход к фактической назначаемости губернаторов, ну, и неизвестный мор, который напал на мэров разных наших городов и весей и косит их, как Илья Муромец супостатов.

Ответ Ульриха Боннера любопытен не только интонацией. Стране, помнится, отмену выборов губернаторов объяснили необходимостью борьбы с терроризмом. На экспорт, выясняется, шли иные аргументы.

«Когда мы спрашивали наших российских партнеров насчет отмены выборов губернаторов, нам разьяснили, что губернаторский корпус, увы, не соответствовал европейским стандартам. Что губернаторы в массе своей не соблюдали Европейскую Хартию местного самоуправления, не были привержены принципу правления закона, были подвержены коррупции. И поэтому появилась необходимость выправить ситуацию... Мы в ответ выражаем надежду, что после выправления ситуации надо бы вернуться к демократическим нормам».

Что касается мэров, то, признаться, нас волнует, что так много мэров российских городов оказалось под арестом. Нас тревожит, какой эффект это окажет на развитие местной демократии. Борьба с коррупцией — дело важное. Но чтобы столько мэров и одновременно... К слову сказать, некоторых из них мы неплохо знаем, они приезжали к нам в Страсбург. И вдруг исчезли без следа. Нам хотелось бы понять, что происходит...

Нет — нет, поймите меня правильно, мы не выносим приговоры. Мы не Европейский суд».

«МЕНЯ НЕЛЬЗЯ НИ СМЕСТИТЬ, НИ ПЕРЕИЗБРАТЬ»

Беседа с комиссаром по правам человека Совета Европы ТОМАСОМ ХАММАРБЕРГОМ

Томас Хаммарберг — мягкий человек, с которым трудно разговаривать. По одной причине. До высоты его морально-этической позиции не дотянуться. У него действительно очень тяжелая позиция — он всегда на стороне слабых.

ВИЧ-инфицированных нужно поддерживать, а не клеймить... Дети — преступники? По Хаммарбергу, они скорее жертвы. Дурные поступки малолеток — «не что иное, как мольба о помощи». И поэтому он категоричен: «в системе правосудия для несовершеннолетних не должно быть никаких наказаний»... «Подпольные иммигранты»? Неправильный термин, который вообще не должен использоваться, ибо человека заранее приравнивают к преступнику. «Мигранты без документов тоже имеют право на безопасность и защиту»...

Кто только ни становится жертвами дискриминации в благополучной, богатой Европе!

Хаммарберг знает это лучше всех. Дети — инвалиды, у которых нет реального доступа к обычной школьной системе... Женщины на работе, чьи зарплаты ниже только потому, что они не мужчины. И женщины дома — жертвы домашнего насилия. «Подумать только, сколько времени потребовалось на то, чтобы закрепить в законе положение о том, что половые отношения в браке без согласия являются изнасилованием». То есть, «тело женщины как бы ей не принадлежало»... Цыгане, которых никто не защищает от распоясавшейся толпы... Гомосексуалисты, страдающие от преследования из-за своей сексуальной ориентации. «Гей-парады должны быть разрешены и защищены»... Дискриминация по Хаммарбергу, имеет тысячу лиц.

Особый сюжет — ситуация в тюрьмах. По нормам, на заключенного в камере полагается 4 квадратных метра. В реальности в российских тюрьмах заключенные

спят по очереди. «Возможности для уединения у них нет даже в туалете». «У заключенных тоже ведь есть право на личную жизнь», — говорит Хаммарберг. — «Тюрьмы — заведения закрытые по определению, — развивает он большую тему. — Тем более важны процедуры инспекции. Это должен быть действительно независимый орган, который имел бы полномочия открывать все двери и беседовать с заключенными наедине»...

Тут я невольно улыбнулся. Не потому что мой собеседник сказал что-то смешное. Я вспомнил эпизод, рассказанный сотрудником из офиса комиссара. Он работал еще с предшественником Томаса Хаммарберга. Хиль Роблес был самым первым комиссаром. Можно сказать, что он создал этот институт, задал ему высоту.

Вот этот рассказ. «...Тюрьмы у меня ассоциируются со стойким запахом свежей краски. В какую бы тюрьму мы ни приехали, стена или пол там будет сверкать буквально вчерашней, если не сегодняшней краской. А однажды произошел совсем уж непредвиденный казус. Нас торжественно ведут, а там между двумя помещениями оказался широкий проем, его не переступить в один шаг, именно его и выкрасили. Хиль Роблес ступил одной ногой, потом другой, попытался оторвать первую ногу. И... не смог, ботинок прилип к полу... Начальник тюрьмы готов был сквозь землю провалиться. А уж как он рычал на своего зама, который, видно, отвечал за марафет...»

Первого и второго комиссаров частенько сравнивают. Пламень и лед, непредсказуемый в своих реакциях испанец и безукоризненно правильный швед дают для этого основания. Разница не только в темпераментах, но и в опыте. Один из страны, которая еще на памяти этого поколения была диктатурой, ему легче понять психологию недемократических режимов, подобрать ключи к чиновникам. Другой — из образцовой страны, из среды профессиональных правозащитников. Реалист и максималист. Какая сумма качеств больше подходит для сложной и деликатной миссии?

Впрочем, у Томаса Хаммарберга свой опыт взаимоотношений с диктатурами, пусть и чужими. Однажды он удостоился личной оценки со стороны Андропова. «Эти опасные люди» — так выразился публично советский вождь, что, по-видимому, следует считать высокой оценкой.

— Чем же вы так не угодили нашему генсеку?

— *Я возглавлял Amnesty International, и мы опубликовали доклад о политических заключенных в СССР с Сахаровым во главе списка. Политбюро это не понравилось. До того я дважды приезжал в Москву. Когда мы создавали русскую секцию, у нас шли споры. Кто-то говорил, что это будет воспринято как провокация. Мы*

понимали, что заниматься советскими политзаключенными нашим русским коллегам не дадут ни минуты, они тут же пополняют их список. И поэтому члены русской секции Amnesty International защищали иностранных политзаключенных. Например, уругвайского коммуниста. Что поставило в тупик наших визави. КГБ не знал, как реагировать. Ясно, что враги. Но с другой стороны, защищают коммуниста. Так что «провокация» удалась.

В кабинете комиссара на самом видном месте два портрета — Сахарова и Дага Хаммаршельда. В 60-е годы он был генсеком ООН и трагически погиб. Его самолет разбился в Южной Родезии при неизвестных обстоятельствах.

— Не буду спрашивать, что вас связывает с Сахаровым ...

— Мы сотрудничали с Андреем Дмитриевичем лично. Он хотел организовать международную кампанию солидарности с узниками совести. Мы эту инициативу пробивали в ООН. Мы публиковали «Хронику текущих событий» и другие документы из СССР. Как мыслитель и личность Сахаров вдохновлял всех нас. Само понятие «правозащитник» с ним неразрывно. Его взгляды и идеи, то, что он выступал против смертной казни, очень многое значило для людей моего склада.

— Ну а Даг Хаммаршельд — ваш соотечественник...

— Он очень последовательно защищал принцип независимости гражданских служащих. Среди сотрудников ООН из восточного блока частенько попадались и шпионы. Это ни для кого не было секрет, меньше всего для генсека ООН. Но он считал своим долгом напутствовать тех, кто поступал на службу ООН. Отныне, неизменно повторял он, вы служите не своему государству, а мировому сообществу. У вас только одна лояльность — перед ООН. Конечно, его завет сильно опережал свое время, но принцип был для него превыше. Вот эта его международная идея мне очень дорога. В чем заключается главная цель Совета Европы? Она в единообразной защите неделимых прав повсеместно в Европе. Это и есть те «идеалы и принципы», которые составляют «общее наследие» государств — членом Совета Европы.

— Прекрасные слова. До тех пор, пока они не становятся с real politic. Вы же сами признаете, что государства сопротивляются моральному давлению, а процедуры контроля воспринимают как нечто враждебное. А уж доклад с критикой, а тем более резолюцию по стране трактуют не иначе, как поражение и афронт. Не чистое ли это прекраснотушие с вашей стороны?

— Между идеалом и политической реальностью всегда зазор. Важно, чтобы он уменьшался. То, что риторика прав человека воспринята официальным по-

литическим языком, уже достижение. Конечно, можно сказать, что это как законы в СССР. Сами по себе они хороши, вопрос в том, как они исполняются. В конечном счете все упирается в уровень гражданской и политической культуры.

А мы для того и существуем, чтобы обеспечивать мониторинг, который предполагает и конструктивный диалог, и критику, и выверенные советы, и реалистические рецепты. Мы действуем вместе с омбудсменами и правозащитными сообществами. Наша цель — добиться того, чтобы подходы защиты прав человека вошли в мейнстрим процесса принятия политических решений.

— В одной из своих статей вы написали, что верховный комиссар должен быть защищен от любого политического давления, и что его должно уважать как глас совести... Это когда в политике европейских стран торжествуют сделки и материальный расчет?

— Идеализм составляет самую сердцевину понятия прав человека. Да мы хотим, чтобы идеалы стояли выше политики. В том смысле, что все течения — консерваторы, либералы, социалисты, невзирая на разницу взглядов, исходили из признания их нерушимости. На вербальном уровне сегодня так и обстоит. Конечно, реальный тест в том, насколько они уважаются. Если вы торгуете, это не дает вам права закрывать глаза на разные безобразия.

— На вас сильно давят?

— Мы начеку. И я защищен своим статусом. Комиссар избирается на один срок в шесть лет. Меня нельзя ни сместить, ни переизбрать. Так что я не завишу даже от голосов.

ЗАВЕЩАНИЕ МАЛЬЧИКА ИЗ 1669 ГОДА. АКЦИИ И КАМПАНИИ

Беседы с генеральным директором
ГАБРИЭЛОЙ БАТТАЙНИ
и экспертом ТАТЬЯНОЙ МИНКИНОЙ-МИЛКО

... «Есть две школы мысли, — говорит Габриэла Баттайни. — Одна, что все силы надо отдать созданию демократических институтов. Другая, что самое важное — демократическая культура. И я придерживаюсь именно этого направления».

Габриэла Баттайни — темпераментная, очень целеустремленная и точно формулирующая свои мысли итальянка — генеральный директор департамента культуры, образования и спорта. На самом деле, она не противопоставляет два направления деятельности Совета Европы. Демократическое общество не может существовать

без сильных демократических институтов — это азбука. Но, моя собеседница предельно заостряет дорогую ей мысль, прививка демократической культуры первична. Это почва, на которой их только и можно вырастить. Иначе они не приживутся.

«Нужна система образования в сфере прав человека и его обязанностей. И нужно вкладываться в обучение демократическому гражданству», — говорит Габриэла Баттайни.

С чего начинать? С начала.

«С образовательных программ, с законов об образовании. С учителей — и даже еще раньше — с тех, кто обучает учителей, — говорит Габриэла Баттайни. — С такого предмета как история. С написания новых учебников и пособий. Цена ошибки в учебнике истории — создание образа врага. Во всех этих областях мы стараемся помочь национальным правительствам».

Между прочим, еще в 1996 году Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла Рекомендацию относительно изучения истории в Европе. *«Историческое образование должно быть свободно от политики. История для историков, а не для политиков и идеологов».* С документами Совета Европы меня знакомит эксперт Татьяна Минкина-Милко.

Не без удивления я обнаружил, что Комитет Министров Совета Европы также разработал Рекомендацию по вопросам преподавания истории в Европе в XXI веке (2001 г.) с очень простыми и ясными формулировками:

Необходимо «развивать у учащихся критический взгляд на вещи, независимое и объективное мышление». «Помочь учащимся узнать и осмыслить... черные пятна в истории Европы и мира... Осмыслить преступные идеологии и средства по их предотвращению».

И там же перечислено то, чего никак нельзя допускать.

«Фальсификация исторических фактов, подтасовки статистики, подделки в изобразительных средствах и т.д. Выделение одного события для оправдания или замалчивания другого. Искажение событий прошлого в пропагандистских целях. Придание националистической окраски прошлому...».

«Совет Европы исходит из плюралистической и толерантной концепции преподавания истории и из установки на мультиперспективность», — обобщает Татьяна Минкина-Милко. Что это такое? *«Да просто нужно сначала осознать, что могут быть и иные мировоззрения, и они вовсе не порочны. Это, как выразился один философ, воля примерить на себя чужие ботинки, способность увидеть мир другими глазами. Что, может быть, самое трудное, особенно, когда мы входим в зоны*

человеческой боли — а после конфликтов такие зоны остаются надолго. Но это необходимо».

История — идеальный проводник национальных ценностей, но в не меньшей степени и предрассудков, и стереотипов. Слишком часто ее использовали для того, чтобы создавать разделительные линии, поделить мир на «нас» и на «них».

«Содержание традиционных учебников истории на 85 процентов — это описание войн и конфликтов. А культура, торговля, общая социальная жизнь? Конечно, баланс и акценты должны быть иными. История должна быть многоэтажной, но не враждебной», — говорит Татьяна Минкина-Милко.

Общеввропейские институты сделали сознательную ставку на общее. Но при этом надо понимать и различия, и понимать ценность различий. Истинной политической культуры без этого не бывает.

Мне обязательно нужно было встретиться с заместителем Генсека Совета Европы Мод де Бур-Букикио. Она курирует важные гуманитарные кампании и направления деятельности, без которых представление о Совете Европы будет неполным, и она убедительный протагонист того, чем занимается. Это-то меня и подвело. Как оратор она нарасхват в разных уголках Европы. Мы долго договаривались о встрече, наконец, точно договорились, и в последний момент ее унесло какое-то экстренное событие. Ну что ж, в следующий раз. Но хотя бы пунктиром обозначу две кампании.

КАМПАНИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН

Это самое незаметное и возможно самое распространенное преступление — оно происходит в домашней тиши, чаще всего без свидетелей — с глазу на глаз. Главным заинтересованным лицом в том, чтобы сохранить его тайну, чаще всего бывает сама жертва. Преступником — самый близкий.

Эти преступления происходят везде — во всех странах, во всех обществах и на всех классовых этажах.

Статистика ненадежна. Ненадежная статистика, однако, показывает, что от одной пятой до четверти всех женщин подверглись физическому насилию хотя бы раз в жизни. И может быть, самое опасное, что это преступление не считается преступлением.

Этому преступлению-невидимке и объявил войну Совет Европы. Он ставит своей задачей вывести на свет самое не признанное преступление, добиться, чтобы в законодательстве 47 стран — его членов появились соответствующие статьи, предусматривающие за него уго-

ловное наказание. И он хочет переломить общественное мнение, которое упорно затыкает глаза и уши.

Девиз этой кампании: «Она начинается со стонов, но не должна закончиться молчанием».

Девиз другой кампании: «Строим Европу для детей и вместе с ними». Ее цель всеобщий запрет на телесные наказания детей.

Это давняя история, хотя и не очень. Все началось в Англии. 1669 год. «Очень живой» английский мальчик внес петицию в парламент «от имени детей своей страны» с требованием прекратить физические наказания в школе. Его петиция была удовлетворена, правда, лишь три века спустя в Законе об образовании от 1983 года.

Что вызвало бурю протестов. Разгневанные родители обращались в высокий английский суд, доказывая, что неотъемлемое право семьи и учителей — воспитывать неразумных чад всеми необходимыми средствами, что пожалеешь ремень, испортишь ребенка...

Первой страной, полностью запретившей физические наказания детей, стала Швеция. Это случилось в 1979 году.

И вот сейчас Совет Европы намеревается гуманизировать континент. Дети — не собственность своих родителей. Это не маленькие человечки с маленькими правами. У них такие же неотъемлемые права, как и у взрослых. Эти права зафиксированы в Конвенции ООН по правам ребенка, в Европейской конвенции по правам человека и в Европейской Социальной Хартии.

Отказ от физических наказаний детей, от насилия против женщин. Отказ от смертной казни... Кому-то эти кампании могут показаться детскими играми или абстрактными пожеланиями. С этим трудно спорить. В племени каннибалов призыв отказаться от человечины в рационе питания именно так и должен восприниматься — как наивные, прекраснотушные, оторванные от жизни мечтания.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОУ-ХАУ ПРОТИВ ЛОВУШКИ БЕДНОСТИ

Беседа с генеральным директором АЛЕКСАНДРОМ ВЛАДЫЧЕНКО

Департамент социальной сплоченности... Ничего себе названьице! Весь могучий опыт советской демагогии и агитации, застрявший в подкорке, посылал свои сигналы в мои двигательные органы, и я инстинктивно обходил его стороной. Так что с Александром Владыченко, генеральным директором департамента, пришлось вначале уточнять терминологию.

— Как вам нравится ваше название?

— *Социальная сплоченность или лучше сказать: сплочение... Я вам дам принятую в Совете Европы формулировку. Это способность общества обеспечивать благополучие всех своих членов, сводить к минимуму неравенство и избегать поляризации. Полезная штука. В здоровом обществе бедный человек должен видеть спину богатого. Иначе он будет жечь на улице машины...*

Неравенство, напряжения и стрессы есть в каждом обществе. Линии разлома проходят по водоразделу бедность — богатство, по границам национальной, этнической, конфессиональной, культурной идентичности... Мы видим, как тревога, потеря безопасности охватывают людей сплошь и рядом. Из-за разгула преступности по соседству... Из-за перемен, обрушивающихся на их головы, вроде монетизации льгот, появления цифрового телевидения, более совершенного, но уже платного, не говоря уже о буре приватизации. Меняется платежный баланс семьи, ее привычный быт, социальный статус. А тут еще рядом поселяются какие-то «пришельцы» — почти инопланетяне, мигранты... Общественное самочувствие лихорадит.

Вот вам еще одно определение. Сплоченное общество это такое общество, которое разработало методы преодоления самых разных напряжений в условиях свободы и демократии. Ключевые слова — неравенство и справедливость. Неравенство должно сокращаться, а справедливость восстанавливаться. Этого нельзя достичь раз и навсегда, но это то, к чему надо стремиться. Права должны быть одинаковыми для всех. Если это так, у обездоленных есть шанс, что судьба будет к ним благосклонней, и население будет терпеть различия.

— *Ставка на социальную сплоченность означает повышенное внимание к группам людей, находящихся под угрозой попадания в категорию уязвимых, — говорит Владыченко.— Женщины... Впрочем, нет, сейчас вслух это лучше не произносить, чтобы не возмутить сторонников (сторонниц) гендерного равенства. Дети, молодежь, семьи, находящиеся в нестабильной жизненной ситуации, мигранты и этнические меньшинства, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди... Угроза дискриминации и маргинализации для них особенно высока.*

Нынче всех волнует миграция. Но подходы разные. ЕС озабочен больше всего контролем на границах. Безусловно, порядок въезда должен быть. Хотя я помню, как мне сказал один африканец: «Да вы хоть ток через Средиземное море пустите, мы все равно будем рваться»



Фото В. Ярошенко. Сицилия, Палермо

в Европу».… В Совете Европы мы больше думаем о том, как мигранты устроены в новых странах. Отношение к ним, мягко говоря, неоднозначное. Преобладает мнение, что мигранты — это чужие, которые отнимают работу у своих. Хотя свои не хотят братья за многие работы, особенно грязные, малоквалифицированные. Реально российские регионы бьются за квоты на мигрантов. Но живут и работают гастарбайтеры, особенно нелегальные, в кошмарных условиях. К нелегальным мигрантам априори относятся как к преступникам. Придет такой мигрант в поликлинику, а врач скорей звонить в полицию… Не дело врачей стучать на пациентов. Кстати, на этот счет есть четко сформулированная позиция ВОЗ: врачи — это не полицейская функция… Мы уверены, что минимум прав должен быть обеспечен всем мигрантам. Даже нелегальный мигрант — прежде всего человек…

Права инвалидов или мягче — людей с ограниченными возможностями… Помню, как одна молдаванка потрясала фотографией своего парламента: торжественное здание, как полагается, а перед ним помпезная крутая лестница — инвалиду по ней ни за что не подняться. Очень наглядный символ отчуждения, исключенности из политической жизни. Да и просто из жизни.

Во Франции ни одно новое здание, общественное заведение не получит лицензии без учета того, как в нем будут чувствовать себя люди на колясках. Автобусы оборудованы специальной платформой для подъема и спуска. В Москве появился такой троллейбус. Я говорю сыну: «Смотри, это моя работа. Убедили-таки московскую мэрию». А он мне отвечает: «Да, он один такой — этот троллейбус. Пропустишь, жди потом, когда он сделает весь круг…»

Самое многочисленное в Европе меньшинство, и самое обиженное — цыгане… Десять миллионов человек, они считают двенадцать. В Турции обнаружены еще два миллиона. На рома не говорят, но образ жизни говорит за них красноречиво. Ну, хорошо, в Турции не признают никаких национальных меньшинств, всех числят турками. Но как этническое меньшинство их все-таки признавать надо! Мы об этом настойчиво напоминаем. Наша работа строится и в обратном направлении. Цыгане должны взять на себя определенные обязательства. Три года назад был создан Европейский форум цыган, и мы рассчитываем, что он примет Хартию поведения цыган, где будет записано, что дети должны ходить в школу, что насильственные браки — порочная практика…

А еще в территорию моего департамента входит область здравоохранения и биоэтики… Мы не учим врачей, как резать пациентов — вдоль или поперек. Зато

мы утверждаем права пациента. И основополагающий принцип: когда государство берется за реформирование такой области, как здравоохранение, оно должно спросить сначала людей… Очень важная область — производство лекарств. Мы близко подошли к выработке Европейской конвенции по борьбе с лекарственным контрафактом. Потому что если ты купил контрафактную рубашку, это еще не катастрофа. А если принял контрафактное лекарство, то в лучшем случае оно не поможет, а в худшем тебе понадобится уже другая рубашка… Пересадка органов — проблема, минимум наполовину этическая. Многие люди считают, что подобные операции — грех. Самый большой дефицит испытывают банки органов на пересадку. Лист ожидания такой, что больной может не дождаться своей очереди. Мы, кстати, очень активно привлекаем церковников. Когда люди слышат от священников: твои органы на небесах никому не нужны, тот, кто решит отдать их живому, делает святое дело…, это убеждает. Между прочим, лучше других в этом отношении дела обстоят в Испании. 36 доноров, отдавших свои органы после смерти, на миллион человек. Для сравнения, в Турции — два.

— В чем польза и в чем слабости вашей работы?

— Мы производим очень качественные рекомендации. По каждому вопросу мы имеем возможность привлечь экспертов из 47 стран — представляете, какая это коллективная мудрость! А дальше? Применение этих рекомендаций — дело государств. Юридической ответственности они не несут. Конвенции обязательны к исполнению, а рекомендации — нет. Это объективно наше слабое место. Мы, кстати, сами частенько переводим их на русский язык и рассылаем в заинтересованные ведомства и учреждения, чтобы они не остались на полке, и ими можно было пользоваться.

Россия до сих пор не ратифицировала Европейской социальной хартии — второго основополагающего документа Совета Европы наравне с Европейской конвенцией о защите прав человека. Единственная на постсоветском пространстве! Еще Починков подписал ее в бытность министром в 2000 году, а Дума все не ратифицирует.

— В Конституции у нас написано, что Россия — социальное государство, а Минфин говорит: дорого. Стыдно! — сетует Владыченко. Он очень рассчитывает на конференцию социальных министров Европы, которая должна состояться в 2009 году в Москве. Первая в этом роде, и Россия вызвалась быть хозяйкой. Будет неудобно, если к конференции Россия не ратифицирует Социальную хартию…

В определенной степени это можно считать наследием советского социализма, который ухитрился скомпанетировать все понятия, которые поднимал на щит, и в первую очередь роль государства.

Социальные показатели России незавидные. Коэффициент Джини (фиксирует неравенство доходов, показатель бедности — абсолютной и относительной) — самый высокий в Европе. А перспектива достижения желанной цели, именуемой социальной сплоченностью, возможно, самая низкая. Потому что для обеспечения социальной сплоченности в современном обществе требуются две «демократические компетенции», как выражаются мудрецы в Совете Европы — консультации и совместное принятие решений. Культура, совершенно не свойственная «вертикали власти».

Социальная сплоченность — сравнительно новое понятие. Западная ортодоксия признавала политические права (права личности), но не экономические и социальные (которые в первую очередь — обязательства государства). Бизнес как мотор капитализма заинтересован в безудержном развитии, и государство считало своим долгом содействовать ему во всем. Но игнорировать противоречия и конфликты, порождаемые развитием, оказалось себе дороже. Тем более в современную эпоху, когда глобализация, демографические сдвиги, миграция, резкие политические и социально-экономические перемены, прорывные научно-технические открытия не стучат вежливо в дверь, а врываются в повседневную жизнь подчас с энергией цунами.

Европейская социальная модель ищет ответы на эти вызовы. И находит — в интегрировании социального измерения в экономическую жизнь. В равновесии между экономическим ростом и социальной справедливостью. Сферами первоочередного внимания социального государства стали социальная защита, социальные услуги, занятость, жилье... Эти цели недостижимы без экономического роста, но и устойчивое развитие невозможно без всеобщего благосостояния... То, что хорошо для социальной сплоченности, так же хорошо и для бизнеса. Таков новый завет. Деловые круги должны думать и о социальных последствиях своей деятельности. Банки и финансовые институты — обращать особое внимание на этические последствия капиталовложений... Таковы новые заповеди. Их актуальность неожиданно драматизировал нынешний кризис.

Социальная защита как социальная инвестиция. Социальная ответственность как этика. Общий подход, соединяющий социальные факторы с факторами экономики, политики и культуры... Это не схоластика. Это социальное новаторство.

ВЕНЕЦИЯ И КОНСТИТУЦИИ

Беседа с главой Венецианской комиссии ДЖАННИ БУКИККИО

Суд, контроль, мониторинг... Ничем таким Венецианская комиссия не занимается. Это очень особый институт, но совсем по другой причине. Его капитал — самые авторитетные юристы мира, включая судей конституционных судов разных стран, которые приносят ей свой опыт. Ее продукт — правовая экспертиза самой высокой пробы.

Глава комиссии Джанни Букиккио меньше всего похож на гневного ангела с мечом в руках.

— *Всем, кто задумает организовать международную комиссию, я могу дать добрый совет. Сначала придумайте ей хорошее название. И точно выберите место встреч. — говорит он с располагающей улыбкой. — Хорошее название и притягательное место встреч — половина успеха. Знаете, как точно называется наша комиссия? «Европейская комиссия за демократию через право». Но все ее знают как Венецианскую комиссию.*

Венецианскую комиссию остроумно называют «конституционной починой мастерской». Или «скорой конституционной помощью». Она имеет дело с самой тонкой материей на свете.

— *Распространение демократических стандартов, а это главная цель Совета Европы, происходит в том числе через гармонизацию законодательства. — поясняет Джанни Букиккио. — После падения Берлинской стены появился новый сектор забот — помочь молодым демократиям в их становлении — в самых разных областях жизни, включая законотворчество... Так вот мы, наша комиссия, работаем с конституциями. Основной закон — основа суверенитета, святая святых любого государства. Именно в этой деликатной области мы и оказываем помощь.*

— То есть, отсталому государству вы привозите в обозе отпечатанную Конституцию...

Джанни Букиккио аристократично пропустил мимо ушей этот выпад, но без ответа не оставил.

— *Мы никогда и ничего не предлагаем в готовом виде. Работа строится так. Проект готовит сама страна. Мы собираемся, высказываем критические замечания. Обсуждаем, насколько та или иная статья соответствует международным стандартам, будет ли она эффективна? Представляем мировой опыт. Одно и то же положение работает в одной стране и не работает в другой. Почему? Мы ничего не навязываем. Мы только предлагаем, описываем, сравниваем. Наша роль — по-*

делиться со странами, которые к этому расположены, европейским здравым смыслом и мудростью. Решение всегда за страной.

— Что такое хорошая конституция?

— *В Конституции должен быть баланс трех ветвей власти. И в ней должны содержаться инструменты решения проблем, когда они возникают.*

Три года назад нас пригласили на Украину. Мы им сказали: ваша конституция нуждается в поправках. В случае кризиса власти она не сможет быть инструментом его разрешения. Так оно и случилось.

Мы консультировали законодателей Боснии и Герцеговины. Государство это было создано из пекла войны. Вот там конституция действительно была фактически спущена из Дейтона. По-иному не могло быть в тех обстоятельствах. Но это плохо, когда конституция навязана. Конституция должна быть «связана» разными политическими силами и, конечно, с участием населения. Было ясно, что в таком виде конституция не будет работать. Мы предложили поправки. Надеюсь, рано или поздно политики Боснии и Герцеговины, представляющие разные национальности, договорятся и сделают ее работающим государством.

Зато в Южной Африке после отказа от апартеида была выработана одна из лучших конституций в мире. И сейчас — мы им так и сказали — они уже не нуждаются в нашей помощи.

— А опыт сотрудничества с Российской Федерацией у вас имеется?

— *Да. Мы плодотворно сотрудничали в 1992–93 годах.*

Время это совпадает с работой над ныне действующей конституцией РФ, которая и была принята в 1993 году. Однако вскоре те контакты были свернуты. Почему? Не тут-то было. Мой любезный собеседник стал предельно обтекаем. Я мог поджаривать его на медленном огне, подвергать египетским казням, но вырвать эту страшную тайну у него было невозможно. Позже я все-таки докопался: камнем преткновения оказалась Чечня. Российские власти так обидчивы — особенно на критические советы со стороны... Так что уста главы Венецианской комиссии запечатал дипломатический такт. Венецианцы не любят публичную полемику, они нацелены исключительно на доброжелательную доверительность. Не дай Бог, неосторожное слово спугнет забрезжившую в отношениях оттепель... Зато с видимым удовольствием Джанни Букикки подчеркивал, что личные связи с членами Конституционного суда никогда не прерывались. Туманов, Баглай, Зорькин... участвовали в заседаниях Венецианской комиссии.

СОВЕТ ЕВРОПЫ И РОССИЯ

Тем временем, я подобрался к самой деликатной части повествования — к отношениям Совета Европы с Россией. И наоборот. Потому что это не одно и то же.

Кому бы я ни задавал этот вопрос в Совете Европы, я получал предельно уважаемый ответ. В том смысле, что собеседник считал своим долгом подчеркнуть свой уважение к России.

Председатель ПАСЕ Рене Ван дер Линден (недавно его сменил на этом посту испанец Луис Мария де Путч) даже не пожалел Евросоюз. «Нынешний подход ЕС к России, — заявил он публично, — грозит созданием новых разделительных линий в Европе в то время, как Европа нуждается во все большем единстве. Внутри Совета Европы нам легче иметь дело с Россией как с равным партнером в стратегическом сотрудничестве по вопросам, представляющим взаимный интерес». При этом он не забыл добавить: «В том, что касается внутренних проблем, мы можем призвать Россию к отчету на базе ее обязательств, добровольно принятых ею на себя в качестве равноправного члена организации».

Российские реакции — иная песня. Тут, правда, я должен оговориться, что дело не только и не столько в Страсбурге. Это общий московский мотив, который с некоторых пор стал преобладающим, в отношении Запада. Я даже составил некий собирательный монолог российского «дипломата». Начинается он с того, что «терпение у России на пределе». А его ключевая нота: «Достали...»

«Что это они нам говорят про Чечню? Сами лучше всех знаем, что там творится. И про тюремный беспредел знаем. И про решения судов, которые покупаются и продаются. И про нашу демократию с партиями по разнарядке и назначениями вместо выборов...»

«А что у них на хваленем Западе все так чисто и порядочно, и за кулисами ничего не решается?» Тут монолог с некоей как бы покаянной ноты срывается на обличительную. «При ельцинском бардаке им все нравилось, а сейчас, когда Путин навел мало-мальский порядок, это уже авторитаризм...» «В конце концов, авторитаризм — это временно. Все страны прошли через стадию авторитаризма... Интонация неожиданно сменяется на почти примирительную. «У нас молодая демократия. Не все сразу...». Примирительная интонация, впрочем, оказывается обманчивой. В кульминации монолога Россия непременно «встает с колен», и это, естественно, «кому-то поперек горла». «Одно слово — русофобия!»

Где только я не слышал вариации этого монолога! Страсбург лишь добавил штрихи. «Сами-то ведь отгораживаются от механизмов мониторинга. Кто-нибудь

когда-нибудь посылал наблюдателей на французские или британские выборы?.. Что же это получается: Совет Европы — только для России и Сербии? Дудки. Слишком накладно...» «А со своими проблемами мы и сами разберемся. Работаем. Обойдемся как-нибудь без советчиков...»

Я никогда не спрашиваю эмоционального защитника родины, а откуда он знает, что дома действительно идет кропотливая работа над всеми этими домашними заданиями. И какой такой смысл, в том, чтобы, будучи далеко не совершенной демократией, так сильно настаивать на своем несовершенстве? И почему он решил, что без мирового сообщества легче достичь международных стандартов, которые впрочем — обман. Скорей меня интриговал другой вопрос: сколько в этом монологе искреннего, откуда такая эмоциональность? Или это работает система Станиславского, глубинное погружение в образ? При этом установки на игру, судя по их простецкости, приходят даже не со Смоленской площади, которая не успевает — не хочет или не может — их хотя бы чуть-чуть облагородить, подправить на экспорт. Так или иначе, российская дипломатия меняет образ — с демократического на агрессивно патриотический.

Еще недавно мы очень рвались в европейский клуб и готовы были заплатить за это любую цену — обещаниями или крупным денежным взносом. Статут СЕ в 1998 году подписал министр иностранных дел России Примаков (а вовсе не Козырев, как некоторые думают). И десяти лет не прошло, как мы, видно, устали от обязательств, налагаемых клубом. А о них нам то и дело бестактно напоминали. То решением Европейского суда, признающим государство виновным в разных привычных нам несоответствиях. То обидной дискуссией на Парламентской Ассамблее. То критическим докладом комитета... Чечня... Насильственные исчезновения (преступление на уровне убийства или пыток)... Шпионские дела с душком... Поразительная избирательность российского правосудия... Вертикальные контрреформы политической системы... Тычут и тычут в глаза! Нам это надо?

Похоже, что у кого-то терпение действительно лопнуло. Отыгрались на Протоколе №14. Вообще-то, если кто-то в этой истории потерял лицо, то в первую очередь — российский МИД. Ведь его представители с ним были полностью согласны. Теперь дипломаты говорят так: мы не можем вмешиваться в дела Думы. Политически — мы «за» поправку, но содержательно пусть решают юристы. Не нам судить... Чем только подчеркивают, что настоящие политические решения принимаются в других коридорах. И это, увы, ясно всем.

— Я удивлен, что ваше правительство, администрация президента не сделали ни малейших попыток повлиять на Думу.— говорит мне Терри Дэвис.— Это точно двойные стандарты.

Надо очень сильно dopечь Совет Европы, чтобы этот корректный, доброжелательный человек отбросил политес.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Эти интервью я брал в ходе двух поездок в Страсбург летом 2007 и 2008 года. Не повторяться — был зарок. Но не позвонить Томасу Хаммарбергу я не мог по очень конкретной причине. Комиссар по правам человека был первым, кого приняли новенький с иголки президент Медведев и новенький с иголки премьер Путин. Каждый из них уделил ему по часу. Столь подчеркнутое внимание к организации, на щите которой написано: «Права человека, Демократия, Торжество закона» — само по себе было довольно красноречиво. И все же что подметил внимательный глаз комиссара, как он нашел эту интригующую весь мир двухголовую русскую комбинацию — вот, что меня интересовало.

В двух самых высоких русских кабинетах комиссар затронул две самые острые для Совета Европы темы — Протокол №6 к Европейской конвенции по правам человека и Протокол №14.

Протокол №6, напомним, о запрете смертной казни. Российская Федерация его так и не ратифицировала — единственная в Совете Европы. Хотя давно обещала, изначально это было условием приема в организацию.

С Протоколом №14 история похуже, ибо Россия намертво заблокировала всеми согласованную реформу регламентов Европейского суда. Технически Протокол отправила в долгий ящик Дума, отказавшись его ратифицировать, и это при том, что внес предложение на ратификацию президент Путин. А он проглотил обиду. Очень характерно для взаимоотношений между президентом и Думой!

Оба разговора прошли по-европейски интеллигентно. Путин, как выяснилось, не просто за продолжение моратория на смертную казнь, который действует в стране с 1996 года, когда его подписал президент Ельцин. Он за полный ее законодательный запрет. Категорически. Значит, можно рассчитывать на то, что соответствующее решение будет принято, оптимистично предположил Хаммарберг. Не тут-то было. Спросите у президента, с улыбкой ответил премьер, вы, кажется, собираетесь к нему.

Президент на тему о смертной казни был более сдержан. Или скован. Ну да, он лично за ее запрет. Но, вы понимаете, общественное мнение...

В общем, хорошо поговорили. Тем не менее, что все-таки будет с протоколами?

На самом деле ситуация ясна.

Запрещать или нет смертную казнь — дискуссия не логическая, она идет на уровне чувств и глубже — пред-рассудков. И потому она принципиально неразрешима. Все аргументы давно сформулированы. И про фатальный кошмар ошибки в приговоре (тем более в системе, которая привыкла назначать виновных вместо того, чтобы искать и доказывать их вину). И про то, что смертная казнь еще не удержала от преступлений ни одного преступника и не помогла ни одной жертве... Проблема, однако, в том, что ужасные преступления, за которые присуждается смертная казнь, буквально обжигают, парализуют сознание. Рациональные доводы попросту сгорают в пламени эмоций и такой понятной жажде мести.

Равнять справедливость и месть — очень человеческое свойство. Но есть ведь и двухтысячелетний общечеловеческий урок. То, что грех для убийца, не может быть добродетелью для государства. Государство, которое хочет покарать брата Каина, никак не должно само становиться братом Каином.

На самом деле, это веха на эволюционной высоте. Самая первая человеческая заповедь всегда была с изъятиями. В конце XX века она, наконец, могла стать такой, какой и должна быть, то есть, абсолютной. Таковой ее признали десятки государств, в первую очередь вся Европа (единственное исключение составляет братская батьковская Белоруссия). Именно в этом смысл кампании, которую проводит Совет Европы. «Государство, да не убий!»

Российское общество не достигло этой стадии гуманистического сознания? Быть может. Тем более наши лидеры — «единственные европейцы» — должны понимать, что это вопрос цивилизационного выбора.

В декабре 2007 года Генеральная Ассамблея ООН с коллективной подачи Евросоюза, горячо поддержанной всеми правозащитными организациями, проголосовала за резолюцию, призывающую к глобальному мораторию на смертную казнь. К этому моменту:

149 государств мира так или иначе отвергли смертную казнь.

49 государств сохранили ее в своем арсенале.

26 стран реально использовали ее в 2007 году. Зафиксировано 5851 казней. Тройку чемпионов составляют Саудовская Аравия (бронзовая медаль), Иран (серебро), КНР (безусловное золото, по крайней мере, 5000 экзекуций, точная цифра неизвестна, это — гостайна).

Увы, в этом черном списке фигурируют и США, и Япония. Страна восходящего солнца ссылается на тради-

цию (80 процентов опрошенных граждан — за смертную казнь). В США это прерогатива штатов, а не федеральных судов. 12 штатов по закону отказались от высшей меры наказания, и еще целый ряд реально ее не применяют. С 1976 года в США 123 человека были освобождены из камеры смертников, оказалось, что им были вынесены ложные приговоры.

В общем, у нас богатый выбор: с кем и какими мы хотим быть. Но у нас есть и свой уникальный опыт.

Мы — страна, в которой целую эпоху смертная казнь была главным орудием даже не только и не столько судебной расправы, сколько политической борьбы (если то, что у нас происходило, можно называть политической борьбой). Приговор выносила тройка, а на деле любой туз или даже шестерка. Лишенная всякой сакральности, упрощенная до конвейера, где в начале был стакан спирта для расстрельщика, а в конце безымянный ров, десятилетиями работавшая так массово и неразборчиво смертная казнь превратилась в пароль и отзыв системы. Запретить смертную казнь де-юре означало бы поставить, наконец, надгробие над этой системой.

И кстати, технологически это совсем не трудное решение — в том числе, и особенно с нашей высокопринципальной Думой. В конце концов, смертная казнь — не предмет первой необходимости, можно надеяться. Не бензин и не хлеб... Ну, а то, что это благодатное поле для раздувания эмоций — так и не раздувайте!

Протокол №14 — вообще не тема для массового сознания. И там подтекст совсем простой. Нашим осерчавшим политикам захотелось наказать Совет Европы и прежде всего Европейский суд за то, что сегодняшняя Россия выглядит не слишком презентабельно в их зеркале, и они послали в Страсбург сигнал: мол, вы, братцы, с нами поосторожней, а то мы вам и кислород можем перекрыть... И перекрыли для профилактики. Можно, конечно, считать это тонким политическим ходом. Но больше похоже на вульгарный наезд.

Так что продемонстрировать добрую волю в начале «нового либерального царствия» — ровным счетом ничего бы и не стоило. А дивиденды очевидны. Поглядим, что будет. Своими решениями (или не решениями) премьер с президентом (или президент с премьером) скажут нам многое, в первую очередь о себе.

А с комиссаром по правам человека Совета Европы поговорили хорошо. Все остались довольны.

Понимая, что ставлю своего собеседника в неловкое положение, я все-таки не удержался и задал сакраментальный вопрос.

Так как вам показалась связка — одна голова хорошо, а две лучше?

— Ну, конечно же, Путин остается доминирующей фигурой, — был ответ.

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ КЛУБ

Беда Совета Европы в том, что его путают с Европейским Союзом, он как бы теряется в тени гиганта. Имена их институтов тоже как близнецы-братья. Парламентская ассамблея (Совета Европы) и Европейский парламент. Европейский суд и Суд европейских сообществ. В Страсбурге здания СЕ и ЕС стоят рядышком. (Правда, гигантское здание ЕС частенько пустует, поскольку работа по большей части происходит в брюссельской штаб-квартире). И у них общий флаг и гимн. Поди отличи.

Отличить, однако, можно и нужно.

«Главное отличие в формате, — говорит мне Рене ван дер Линден, — В Совет Европы входит 47 государств. В Европейское сообщество 28. Мы по-настоящему универсальная организация. Мы — это вся Европа. Вопросы, касающиеся всей Европы, обсуждаются на нашем форуме».

У двух европейских судов (один в Страсбурге, другой в Люксембурге) разная юрисдикция. С жалобами на нарушения прав человека и основных свобод — только в Страсбург. Два парламента тоже формируются по-разному. В Европейском парламенте действуют прямые выборы. В ПАСЕ на четыре сессии в год собираются делегации из национальных парламентов (пропорционально численности населения и с учетом партийного спектра в парламенте).

«Евросоюз — это уровень жизни. Совет Европы — качество жизни. То, что и делает жизнь достойной того, чтобы жить». — Это на мой «сравнительный» вопрос отвечает Терри Дэвис. Его мысль надо пояснить.

«Совет Европы и Европейский Союз были продуктами одной идеи, единого духа и общей надежды. — говорит Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Люксембурга, большой сторонник объединения усилий двух организаций. — Общим девизом и Совета и Союза стала максима «Разделенная Европа ведет к войне, угнетению и бедам, единая Европа приведет к миру и процветанию».

Обе организации называют своими предтечами одни и те же имена «отцов-основателей Европы». Уинстон Черчилль, Конрад Аденауэр, Робер Шуман... Но само становление и развитие европейской идеи шло по разным руслам. Экономическая интеграция, перешедшая в политическую — это Евросоюз. Демократия, права и свободы, верховенство закона — Совет Европы.

Евросоюз — это супергосударство. (Некоторые евробюрократы из Совета Европы с завистью поглядывают на своих коллег в Евросоюзе. Ударная фраза: «Наш годовой бюджет равен их расходам за девять часов»).

Совет Европы — это, скорей, суперидея.

Душа и тело. Материя и дух...

«За минувшие годы было реализовано немало проектов, такие как единый европейский рынок, Шенгенская зона и евро. Но это могло случиться только на базе признанных общих ценностей... — говорит Ангела Меркель. — В течение 60 лет Совет Европы был «Европейским сознанием», блюстителем общих ценностей».

«Демократия не событие, а процесс», — любит повторять Терри Дэвис. При этом он добавляет: «Европейская Конвенция прав человека — не меню a la carte. Наши правительства не имеют права выбирать, какие блюда им нравятся, а какие не по вкусу».

«Демократия — живая вещь, — вторит ему Жан-Клод Юнкер. — У нее солидные основания, но она нуждается в том, чтобы каждый раз адаптировать и изобретать себя заново...» Этим и занимается Совет Европы — мониторингом за тем, чтобы государства не нарушали права и свободы, адаптацией и изобретением демократии заново. Потому что время ненасытно, потребности свободных людей растут — к качеству их прав и свобод, в первую очередь. Не говоря уже о несвободных людях.

Жан-Клод Юнкер — за то, чтобы Евросоюз подписал Европейскую конвенцию по правам человека. Более того, в конечном счете, вступил в Совет Европы. Пока это звучит несколько фантастично. Но сама его мотивация весьма убедительна. «Панъевропейское легальное и юридическое пространство — в интересах всех европейцев. Оно в русле обещания Европы без разделительных границ. Своими корнями оно уходит в базовые ценности и разделяемое всеми конституционное и правовое наследие — два столпа европейской идентичности и единства». То есть в сферу влияния Совета Европы. Жан-Клод Юнкер хочет, чтобы наработанные Советом Европы нормы демократии и права и его институты контроля были юридически признаны и функционально освоены Евросоюзом.

«Следующим ключевым шагом в сотрудничестве двух организаций станет присоединение Евросоюза к Европейской конвенции по правам человека. Это предусматривается Лиссабонским договором. — заочно развивает мысль Ангела Меркель. — Именно по этой причине мы напряженно работаем над тем, чтобы Евросоюз обрел юридическое лицо... И тогда граждане Евросоюза

смогут обращаться напрямую в Европейский суд по правам человека с претензиями к законодательным мерам Брюсселя, если они сочтут, что нарушены их фундаментальные права».

Всем известен флаг Евросоюза — 12 золотых звезд на синем фоне. Менее известно, что он был подарен ему Советом Европы.

Среди вопросов, которые я задавал своим собеседникам в коридорах и кабинетах Совета Европы, были два стандартных.

Что такое Совет Европы? Дайте ответ в одну строку. И назовите пиковые достижения Совета Европы, то чем он гордится.

Ответы на второй вопрос слегка разнились, но на первом месте неизменно назывался Европейский суд по правам человека. «Поистине уникальный механизм. 800 миллионов европейцев имеют прямой доступ к международному суду, чья роль быть последним прибежищем и гарантом защиты их самых фундаментальных прав».

А вот ответы на первый вопрос.

Терри Дэвис: *«Совет Европы — главный источник стандартов прав человека и их интерпретаций».*

— Но в чем источник вашей силы? Можете ли вы наказать государство? — Тут уж я не смог удержаться от дополнительного «злобного» вопроса.

— *Только не в санкциях. Предположим, мы исключим некое государство. Чего мы добьемся? Государство выйдет из зоны действия Европейской конвенции прав человека. Граждане этого государства не смогут более обращаться с жалобами на него в Европейский суд. Кому мы сделаем хуже? Мы скорее стараемся поощрять государства к тому, чтобы покончить с недемократической практикой.*

«Фабрика демократии... Школа демократии. Место, где изучают парламентские практики. Питомник, из которого «мягкая власть» и диалог в политике распространяются по Европе...». Это формулы Юнкера.

«Страж европейских ценностей». Ангела Меркель.

А председатель Венецианской комиссии ответил одним словом:

— Клуб.

— Но клуб — это место, где собираются джентльмены, курят сигары и обсуждают дела и женщин.

— *Все почти так и обстоит. Это клуб, где собираются демократии, говорят на одном языке, и преследуют общую цель — разумное демократическое развитие.*

— *Правда, — добавил он, — покурить уже больше не удастся. Нигде.*

ВЫЙДЕТ ЛИ РОССИЯ ИЗ ЕВРОПЫ?

Беседы с ТОМАСОМ ХАММАРБЕРГОМ, ЛЮКОМ ВАН ДЕН БРАНДЕ, МАТИАШЕМ ЁРШИ, АНДРЕАСОМ ГРОССОМ

... **Н**а этой элегантной фразе мудрого венецианца я хотел закончить очерки о Совете Европы. Увы, концовка будет другой. Ее продиктует тема, которая сформулировалась неожиданно остро: выйдет ли Россия из Европы по военно-грузинской дороге? Случилось это на осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, проходившей в первую неделю октября 2008 года.

Я прилетел в Страсбург в среду и, кажется, попал на панихиду. Такое было во всяком случае впечатление. Отпевали российское участие в Совете Европы. Только что состоялось голосование по вопросу об отзыве права голоса у России из-за военно-грузинской истории. От этой исключительной и исключаящей меры было решено воздержаться, но сама ситуация и ее накал никуда не девались. Более того, на следующий день она должна была обсуждаться по существу. Пункт в повестке дня звучал так: «Последствия войны между Грузией и Россией».

Этому предшествовал целый ряд акций. Две миссии Совета Европы по установлению фактов на театр военных действий через Москву и Тбилиси. Поездка в Тбилиси генсека Терри Дэвиса и председательствующего министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта. Неформальная встреча Комитета министров иностранных дел в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН по инициативе Карла Бильдта. Две поездки комиссара по правам человека.

«Я был во Владикавказе, в Южной Осетии, в буферной зоне, в Гори, Тбилиси, видел море людского горя, — говорит мне Томас Хаммарберг. — Было много дискуссий на тему, кто начал военные действия. У меня свой ракурс — права человека. Я должен был озвучить голос жертв войны — потерявших кров, беженцев, перемещенных лиц... В селе Хетагурово я увидел двух пленных грузинских солдат. Их судьба была незавидна. Я сказал осетинам, которые их удерживали: это военнопленные, отдайте их мне. Осетины отвергли мое предложение с негодованием: пусть, мол, сначала им вернут пятерых односельчан, которых грузины, отступая, забрали с собой в качестве заложников. Я сказал, что я буду этого добиваться, но мне легче будет это сделать, если вы отдадите их мне. В конце концов они согласились, и я забрал их в свою машину. Потом я дозвонился до замминистра обороны Грузии Гиви Торгамадзе, и осетинских заложников, к счастью, разыскали. Так мы начали

процесс обменов — живых и мертвых, который продолжался несколько дней. Это очень трудно сделать, когда доверие отсутствует полностью. А как можно надежно разминировать территорию, если не обменяться данными о том, где закладывались мины?..

Я был в этих местах полтора года назад. Сейчас между осетинами и грузинами полное отторжение и ненависть. Из-за этого многие беженцы долго не смогут вернуться. Вообще говоря, сложившаяся ситуация потребует искусной дипломатии, но это не я. Я решаю гуманитарные задачи. С этих позиций я и выдвинул 6 принципов, которые должны соблюдаться. Право на возвращение должно быть гарантировано... До возвращения беженцам и перемещенным лицам должны быть предоставлены приемлемые условия проживания... Разминирование всей территории... Прекратить нападения, поджоги и разграбления... Военнопленные и другие задержанные должны быть защищены, их нужно разыскать... Необходимо обеспечить международное присутствие и помощь... Мне позвонил министр Лавров и сказал, что поддерживает мои 6 принципов. Факты и выводы, которые мы делаем, могут раздражать ту или эту сторону, но они оказываются полезны».

Однако вернемся в разгоряченную атмосферу сессии ПАСЕ, где обсуждались последствия пятнадцатидневной войны на Кавказе. В проекте резолюции содержался следующий абзац:

«Полное исполнение мирного плана, включая вывод российских войск на позиции до конфликта, является необходимым. В дополнение, полное размещение наблюдателей от ЕС и ОБСЕ в Южной Осетии и Абхазии и отзыв Россией признания независимости Южной Осетии и Абхазии были бы минимальными условиями для содержательного диалога». И самое главное — в случае невыполнения этих условий, как гласил подготовленный проект резолюции ПАСЕ, на следующей январской сессии ПАСЕ Россия лишалась права голоса уже автоматически!

Представить себе, что последнее условие (отзыв признания) могло быть выполнено? Таких буйных фантазеров я не встречал, тем более среди российских участников процесса, хорошо знакомых с белодомовско — кремлевской аурой. Гораздо легче было представить себе реакцию на эту резолюцию: картинный удар кулаком, за которым следует топот ног — демонстративный выход из Совета Европы. Немедленно, не дожидаясь январского позора.

Сценарий объявленной катастрофы выглядел неотвратимым.

«На Южном Кавказе нет святых, одни грешники», — сказал генсек Совета Европы Терри Дэвис, и это самая

примирительная фраза, которую я услышал в этих обстоятельствах. В ней содержалось признание того, что нынешнюю бучу затеяла грузинская сторона. В ночь с 7 на 8 августа именно Саакашвили нажал на спусковой крючок. Наверное, можно считать это установившееся понимание достижением российской стороны. Но даже если это и так, это было единственным ее достижением. Все остальные аргументы — о вынужденном характере и гуманитарной мотивации военно-политических действий Москвы были, в сущности, отвергнуты.

Действия Российской Федерации были квалифицированы как «непропорциональные» и «нарушающие международное гуманитарное право». Они привели к «оккупации значительной части территории Грузии, а также к нападению на экономическую и стратегическую инфраструктуру страны». «Прямое нападение на суверенитет Грузии»... «Этнические чистки, совершенные в грузинских деревнях в Южной Осетии и в «буферной зоне» отрядами и бандами, которые российские войска не оставили», и которые «были в основном совершены после подписанного 12 августа 2008 года прекращения огня»... Это все цитаты из текста заключительной резолюции.

С тревогой было констатировано возрождение некоего гибрида из концепций «ближнего зарубежья» и «ограниченного суверенитета». Точечно дезавуирована последняя морально-политическая находка из московского словаря. «С точки зрения международного права понятие «защиты собственных граждан за границей» неприемлемо». Оно вызывает «тревожные ожидания в странах, где проживает существенное число российских граждан».

При этом ситуацию с лишением России права голоса аккуратно купировали. Абзац, сулящий неминуемую кару на голову России, сначала смягчали в ходе голосования, а потом от греха подальше и вовсе выбросили из резолюции. Все вздохнули с облегчением. Восторжествовала, хотя уж точно без фанфар и с большими сомнениями, традиционная философия этой организации, ее ставка на коммуникацию, а не отторжение, ее вера в то, что проклинать и швырять в костер грешников — последнее дело.

Три беседы с ключевыми фигурами этой сессии помогут лучше уяснить нюансы сборной европейской ментальности.

Бельгиец Люк Ван ден Бранде — глава самой крупной Европейской Народной партии, содокладчик по вопросу «Последствия войны между Грузией и Россией».

«Впервые между двумя странами — членами Совета Европы вспыхнула настоящая война. Давайте называть вещи своими именами: это был не конфликт. Это была война, — говорит мне Ван ден Бранде. — Вступая

в Совет Европы, оба государства взяли на себя обязательство решать любые противоречия исключительно мирными средствами, воздерживаться от применения силы. Оба государства, как ни прискорбно, нарушили это абсолютное обязательство.

7 августа грузинские войска напали на Цхинвали. Это не вызывает сомнения. Но не вызывает сомнения и то, что все началось гораздо раньше.

Важно то, что происходило до. И что произошло после. Военный ущерб, массовые грабежи, деревни, ставшие призраками, причем поджоги грузинских деревень начались уже после того, как военные действия закончились... Когда миротворцы отворачиваются, чтобы не видеть, что у них происходит за спиной, это не снимает ответственности за происходящее. Точно так же, как невозможно не увидеть в одностороннем признании независимости Южной Осетии и Абхазии нарушения международного права.

Сейчас стороны демонстрируют диаметрально противоположные подходы во всем: в анализе, видении, преподнесении фактов. Демократия — не в последнюю очередь это способность увидеть себя чужими глазами. А тут ни малейшей открытости. Это бесперспективная позиция».

Венгр Матиаш Ёрши возглавляет Альянс либералов и демократов за Европу, содокладчик по теме «Последствия войны между Грузией и Россией» (вместе с Ван ден Бранде).

«Прошедшая дискуссия показала, что в ПАСЕ действительно сложился альянс. Но это не антироссийский альянс. Это альянс, отстаивающий определенные ценности и открыто говорящий, что по нашему мнению неправильно, — убеждает Матиаш Ёрши. — Война, приведшая к таким последствиям, — не наш выбор. Но и исключение стран виновных в таком развитии событий, нежелательно, это не наше решение.

Я участвовал в миссиях по установлению фактов сразу же, как только разразился конфликт. Но, конечно же, два дня в одной стране и два дня в другой — этого недостаточно. Требуется настоящее расследование. При этом последовательное двух или даже трехаспектное расследование. Что происходило до 7 августа. Миротворчество провалилось, это очевидно, коль скоро разразилась война с ее зверствами. Россия не хотела или не могла предотвратить подобного развития... Если война началась 7 августа, то очевидно, что ее начали грузины. Но она началась не 7 августа... И третья часть — после того, как русские войска вошли. Их ответственность как оккупирующей стороны. Даже если в Москве считают, что Саакашвили — плохой человек,

это вовсе не дает оснований для военных и политических действий, которые были предприняты.

Признавая независимость Южной Осетии и Абхазии, в Москве ссылаются на прецедент Косово. Чушь! По поводу Косовского признания Москва неоднократно и совершенно определенно высказывалась, что с точки зрения международного права это незаконно, по своим последствиям политически опасно и потому совершенно неприемлемо. Что же изменилось? И где тут принципы? В этих двух ситуациях есть существенная разница, но она иного рода. Признание Косова не было ни одномоментным, ни односторонним, оно произошло в рамках ООНовского процесса. И что весьма существенно, ни одна страна, признавшая Косово, не расширила в результате этого признания своей территории. В ситуации с Россией все выглядит по-иному.

Дискуссия в ПАСЕ была многоголосой, потому что нас много и у всех у нас разный опыт. Скажем, Эстония была частью Советского Союза, а Польша не была частью, но была страной-сателлитом. И то и другое — дурной опыт и плохие воспоминания. В конце концов, даже опыт войн у стран Европы разный. Кто-то помнит жизнь при оккупации, а кто-то не знает что это такое. Когда, например, швейцарец дает советы грузинам, как избежать оккупации, я невольно думаю: а что тут советовать, переведите счета высокопоставленных русских чиновников из швейцарских банков в тбилисский банк, и Тбилиси ничто не будет угрожать...

Наверное, в нас говорят и наши предрассудки, но в первую очередь все-таки наши знания».

Так это выглядело со страсбургской колокольни. Конечно, и на страсбургскую колокольню можно взять и наплевать, даром что она, возможно, сама высокая в Европе. На этот счет у нас даже есть заветное петушиное слово — «русофобия» (раньше это был «антисоветизм»).

Пикантности ради тут можно добавить, что политического Люка Ван ден Бранде за глаза кличут «прорусским» (он очень вероятный кандидат в следующие генсеки Совета Европы, и ему нужны голоса большой российской делегации), а ершистого Матиаса Ёрши «русофобом». Оба, естественно, отрещиваются. Матиас Ёрши даже не стал дожидаться моего вопроса и сам поднял острую тему. «Я не русофоб, — сказал он, — Венгрия не русофобская страна. Когда кипели страсти вокруг Бронзового солдата в Таллине, я даже защищал чувства русских. Я говорил и говорю то же самое по поводу памятника советскому воину-освободителю в Будапеште. Солдаты не виноваты. Когда советские войска освободили Венгрию от немецких оккупантов, мы, венгры, были им благодарны. Но когда они остались, чтобы оккупировать

Венгрию и превратить ее в социалистический барак, ситуация изменилась...»

Швейцарец Андреас Гросс возглавляет социалистов в Парламентской ассамблее. Его доклад задавал тон в дискуссии о том, лишать ли российскую делегацию права участия в Ассамблее.

«Обе стороны делали огромные ошибки, — сказал мне Андреас Гросс. — Россия не смогла объяснить сколько — ни будь убедительным способом своего поведения в ходе конфликта. Нужно же понимать возможные человеческие реакции. А люди с исторической памятью глубоко ранимы. Им кажется, что времена СССР вернулись. Это неверное ощущение, но так они чувствуют. Люди инстинктивно принимают сторону малых и слабых против больших и сильных. Россия явно недооценила эти чувства.

Я знаю, кто начал в нынешней фазе конфликта, тем не менее, ответственность не односторонняя. Многие в Восточной Европе не верят России. Может быть, даже это в чем-то сродни шорам. Но это не вина, а беда людей, что у них такой опыт и такая память. Их реакции порой незрелы. Они ведут себя как болельщики на стадионе, для которых главное определиться с симпатиями, а дальше они уже будут аплодировать своей команде и освистывать чужих игроков. Такое отношение к политике — тоже наследие былых времен. Но это реальность, которую следует учитывать.

В логике российских оправданий слышатся ссылки на американцев. Дурной пример! Действительно, американцы в эти годы вели себя так, будто уверовали, что если они единственная супердержава в мире, то им можно все. И обожглись на этом. Зачем же России повторять эту ошибку? Внушать страх или уважение — неприемлемая альтернатива. Зачем вам повторять глупости,

которые наделали другие? Не соревнуйтесь с США в империализме — это старомодная политика. Лучше соревнуйтесь с Европой в преодолении империализма. Вот это по-настоящему современная повестка дня.

Россия должна сделать что-то, чтобы разубедить скептиков в Европе. Например, решить проблему Приднестровья уже в ближайшие недели... Или ратифицировать Протокол №14... Или употребить свой авторитет на то, чтобы разрядить карабахский конфликт... А почему бы России не выступить с по-настоящему крупной инициативой заключения Кавказского договора по типу ОБСЕ с участием Турции, Евросоюза, США? СССР был инициатором и гарантом австрийского нейтралитета... Грузия могла бы в таком договоре обрести статус нейтральной страны типа Австрии, и это бы сняло вашу нынешнюю озабоченность по поводу НАТО».

Иногда полезно поглядеть на себя со стороны. А со стороны Европы Россия — 2008 выглядит так, будто международный закон для нее не писан. Вчера без раздумий стреляла из газового пистолета или нефтяной пушки, а сегодня посылает танки и пытается в одиночку перекраивать границы. Этот образ и отразило зеркало ПАСЕ.

Коллективного разума 47 стран-участниц Совета Европы хватило на то, чтобы избежать опасной экстремы. Что вовсе не отменяет горечи и пессимизма, которые характеризовали дискуссию. Сессия ПАСЕ закончилась неприятием новейшей модальности России, возрождающей старые страхи и новые подозрения, и пониманием, что худшей реакцией было бы отторжение России.

Хватит ли разума в раскаленных российских головах, чтобы трезво оценить европейские реакции?

Страсбург — Москва. 2007–2009



ОЧЕРКИ СМУТНЫХ ВРЕМЕН

Егор ГАЙДАР

Нет дела, коего устройство было бы труднее, опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые.

Николло Макиавелли «Государь»

Когда общество уже пережило трудные времена и мучительно выздоравливает, в недрах его вызревает, сначала подсознательное, а затем и рациональное стремление забыть прошлое. Или сконструировать вместо него нечто иное, удобное и духоподъемное, как утренняя физзарядка в советское время. Сперва вполне простенькое, потом, усилиями многих интеллектуалов, уже многоэтажное, густозаселенное фантомами и призраками, имевшими сначала отдаленное общее с реально происходившим, но а чем дальше — тем более самостоятельное, живущее уже по законам телесериалов, а не истории.

Ну а если трудные времена наступают снова? Прошлое актуализируется. Начинается поиск виноватых, но не в настоящем, а в минувшем, оживают старые фобии, предубеждения, страхи, вчера еще стабильное представляется уже шатким и ненадежным. Не уроки прошлого вспоминаются нам, а тени бывших врагов; бывшие страхи предлагаются в новой упаковке, и страшное для русского

общественного сознания слово смута опасно наполняется содержанием.

СМУТЫ И ИНСТИТУТЫ

С XI–XII веков в Западной Европе начинается процесс институциональных изменений, проложивший дорогу ускорению темпов экономического роста¹. Появляются города-государства, отличные от полисов античности, но имеющие представительные собрания, определяющие, как должны собираться налоги, на что должны расходоваться государственные средства. Укореняется представление о священном праве частной собственности, праве «лучших людей» — налогоплательщиков управлять делами государства.

Беспрецедентные по масштабам институциональные изменения, делающие страны Западной Европы XVIII века непохожими на остальной аграрный мир, очевидны. Они открывают дорогу ускорению социально-

¹ О связи институционального развития, обеспечивавшего порядок, необходимый для торговли на дальние расстояния с подъемом Европы см.: Lopez R. The Birth of Europe. New York, 1966; Van der Wee H. Structural Changes in European Long-Distance Trade, and Particularly in the Re-export Trade from South to North, 1350–1750 / J.D. Tracy (ed.). The Rise of Merchant Empires: Long-Distance Trade in the Early Modern World, 1350–1750. Cambridge and N.Y.: Cambridge University Press, 1990. P. 14–33.

экономического развития, процессу, который получил название современного экономического роста².

По меркам современного мира социальные перемены идут неспешно. Традиция остается становым хребтом европейского мира. Нововведения, меняющие привычные установления, позволяющие повысить уровень благосостояния, увеличить финансовые ресурсы государства, лишь постепенно трансформируют отношение к новшествам. Но представление об изменениях в устройстве общества как о средстве, позволяющем снять преграды на пути развития, сформировать разумно устроенное общество, распространяется.

Если для традиционных аграрных обществ смуты, потрясения, связанные с переменами, — синоним беды, то в Западной Европе, европейских переселенческих колониях отношение к переменам иное. С ними связывают исправление несовершенств существующего порядка, создание предпосылок лучшей жизни.

СМУТЫ В АГРАРНЫХ ИМПЕРИЯХ

Аграрные общества — способ социальной организации, доминировавшей в мире на протяжении тысячелетий. Их характерные черты — разделение населения на привилегированное меньшинство, обычно выполняющее государственные функции, несущее или организующее военную службу, занятое религиозными обрядами, и крестьянское большинство.

Важнейший элемент социального порядка — традиции. Лучше, если жизнь устроена, как при отцах и дедах. В этом основа легитимации существующих порядков, разделения общества по социальным стратам.

Важнейшие различия в организации аграрных обществ связаны с уровнем централизации власти. Их можно условно разделить на централизованные и феодальные. В централизованных — единая налоговая администрация, отделенная от нее система военной службы,

финансируемая за счет казны. В феодальных — функции сбора повинностей и военная служба объединены.

Феодальная организация порождает немало проблем. Слабость центральной власти проложила дорогу внутренним войнам, за которыми — разорение деревень. Феодальная армия ненадежная защита от внешних завоеваний. Однако привычные отношения сеньора и крестьянина, слабость государства, ограниченность его функций снижают риски крушения сложившихся институтов.

Серьезнее угроза краха существующего порядка в централизованных аграрных государствах. Их сила в развитой бюрократии, способности собирать налоги, содержать и контролировать армию. Ключевая проблема устроенных так государств, — контроль над собственным аппаратом. Даже при хорошо организованной системе путей сообщения проследить из столицы, что делают чиновники в уездах, непросто. Риск падения доходов казны, связанный с освобождением от налогов, воровством чиновников — ключевая проблема аграрных держав. Переобложение крестьянства, связанное с ним падение доходов казны — признак кризиса.

Поиск хрупкого равновесия между этими рисками — создание администрации, позволяющей отбирать у крестьян максимум возможного, но не доводящей их до разорения — стержень экономической политики аграрных цивилизаций³. Предсказать крах сложившихся институтов трудно. В истории аграрных обществ это удавалось редко. Смута в аграрных империях явление нечастое, поражающее современников неожиданностью и масштабами бедствия.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Многие видные российские историки были склонны рассматривать смуту XVII века как явление случайное, не связанное с ходом российской истории⁴.

² Kuznets S. Modern Economic Growth. Rate, Structure, and Spread. New Haven — L.: Yale University Press, 1966.

³ «Обычная дилемма для правителей аграрного государства: низкие налоги — бедное государство, высокие налоги — обнищание подданных». См.: Webber C., Wildavsky A. A History of Taxation and Expenditure in the Western World. N.Y.: Simon and Schuster, 1986. P. 76. Во многих аграрных империях права государей собирать налоги для обеспечения защиты были связаны с требованием к властям быть скромными в своих расходах. См.: Maity S.K. The Imperial Guptas and their Times. (cir. AD 300–550). Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1975. Барани дает картину характерного для аграрных империй периода переобложения крестьянства: «Области оскудели, возделывание земли полностью прекратилось: крестьяне отдаленных провинций, прослышав о разорении крестьян Дуаба из страха, что с ними может приключиться то же самое ... бежали в джунгли. В результате сокращения посевов в Дуабе, разорения крестьян, уменьшения приходящих в столицу караванов и прекращения поступления в Дели зерна из Индостана в области Дели и во всем Дуабе начался страшный голод. Цены на зерно поднялись. Из-за недостатка дождей голод усилился и продолжался в течение нескольких лет. От голода погибли тысячи людей; общины рассеялись; многие лишились семей». См.: Ашрафян К.З. Аграрный строй Северной Индии. (XIII — середина XVIII в). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1965. С. 35.

⁴ Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. Исторические монографии и исследования. М.: «Чарли», 1994. С. 783; Коваленский М.Н. Московская смута XVII века: ее смысл и значение. Исторический очерк. М.: Книгоиздательство «Польза», В. Антик и Ко., 1913. С. 4.

До начала XX века смута была уникальным явлением в российской истории. Современники событий, начавшихся в 1917 году, в Смуте искали параллели с развитием происходящих на их глазах событий.

Централизованное аграрное государство с развитым бюрократическим аппаратом в России по историческим меркам существовало недолго. Оно сложилось лишь в XV-XVI веках. В аграрном Китае — бюрократической империи, период существования которой измеряется тысячелетиями, явления, подобные тем, с которыми столкнулась Россия начала XVII века, уникальными не были. Для китайских историков это не невиданная катастрофа, а органичная часть династического цикла.

Централизация власти, повышение эффективности бюрократии, репрессии против пытающейся своевольничать элиты — начало цикла. Уход налогоплательщиков под покровительство сильных людей, эрозия налоговой базы, сокращение доходов казны — характерные черты его завершающей фазы.

Основатели династии, нередко иноэтничные завоеватели, иногда вожди крестьянского восстания, держат тех, кого они привели к власти, богатству, в жесткой узде. При их потомках энергия государства слабеет, должности становятся наследственными, доходы правительства сокращаются. К концу династического цикла крестьянские восстания, связанные с нерегулярностью и неупорядоченностью налогообложения, становятся массовыми.

В аграрных обществах, где не менее половины государственных расходов идет на содержание армии, отделение функций тех, кто собирает налоги и организует гражданскую администрацию и тех, кто носит оружие, — характерная черта централизованной империи. Обеспечить контроль над сбором и поступлением налогов невозможно без удовлетворительно организованной системы коммуникаций, почты. Разделение военной и гражданской власти предполагает существование иерархической, подчиняющейся центру системы отправления правосудия. Этот принцип не всегда соблюдался. Влиятельные люди иногда получали (или присваивали себе) право судить, власть. Но это именно нарушение принципа, отход от традиционной организации государственной власти.

При непредсказуемости урожая угроза голода, сокращение налоговой базы — вызов государству. Организация помощи голодающим — одна из значимых функций правительства. Еще одна важнейшая задача государства — обеспечение внешней безопасности. Войска размещены там, где угроза представлялась наибольшей. В Китае столица, место расквартирования войск на протяжении многих веков, были территориально

отдалены от регионов, поставлявших большую часть продовольственных ресурсов. Снабжение столицы и армии продовольствием в этих условиях — одна из трудноразрешимых задач.

Если бюрократическая машина разлагается, жизнь страны оказывается под угрозой. Современники воспринимают это как катастрофу, бедствие, посланное богами. Предвестники таких катаклизмов: падение способности власти собирать налоги, сокращение доходов бюджета, неплатежи армии. Прекращение правящей династии, утрата традиций нередко становятся прологом институционального кризиса. Механизмы развертывания смуты имеют сходные черты.

В централизованных аграрных империях рядом с крестьянской общиной нет замка феодала. Армия там, где вероятность внешней военной угрозы наибольшая. В основных сельскохозяйственных районах число людей, способных подавить крестьянские беспорядки, невелико. Порядок, сбор налогов, обеспечивают не столько органы власти, сколько привычка. Крестьяне знают, что если не выполнить повинности, раньше или позже власть пошлет войска. Лучше попытаться сделать то, что требует государство. Но поддерживать баланс между размером налогового бремени, стремлением от него уклониться и страхом перед карательными силами государства возможно при двух условиях. Крестьяне должны знать, что их повинности тяжелы, но привычны, такие же несли отцы и деды. И что если не платить налоги, придут солдаты.

Так бывало на протяжении столетий. Но то, что это навсегда, гарантировать невозможно. Налагаемые на крестьян повинности могут превысить уровень, совместимый с устойчивым ведением хозяйства. Массовое запустение земель в Московском государстве конца XVI века — наглядный тому пример. В истории аграрных империй немало аналогичных кризисов. Банкротство государственных финансов, связанные с ним ненадежность войска, внешние войны могут подорвать способность государства применять силу в случае отказа крестьян платить налоги, при аграрных беспорядках.

Расчет на то, что крестьяне всегда будут послушными, войска надежными — ошибка, дорого стоившая властям многих аграрных империй. Крестьяне убеждены: налоги — не их добровольные обязательства, необходимые, чтобы государство могло выполнять свои функции, а бремя, которое они несут под угрозой репрессий. В тот момент, когда риск применения государством силы падает, вместе с ним снижаются и доходы бюджета.

Если уйти от деталей, общие черты развития событий во время смуты сходны. Важный механизм ее развертывания — подрыв способности власти собирать налоги.

Если правительство теряет способность собирать налоги, бюджетные неплатежи — данность. Те, кто состоит на государственном содержании, вынуждены приспособляться к этой реальности. Гражданская служба становится все более коррумпированной. Военные, не получающие вовремя жалованье, реквизируют продовольствие у крестьян.

Упорядоченное налоговое бремя, налагаемое аграрными империями тяжело. Реквизиции разорительны. Вооруженные отряды, грабящие деревни — одна из страшных страниц истории аграрных обществ. Когда порядка нет, обязанности крестьянина не определены, сохранение хозяйства не гарантировано, нет смысла продолжать работать на земле. Одни придут — грабят, другие — грабят⁵. В такое время разумнее взять в руки саблю и податься в казаки-разбойники. Уход крестьян с земли, их объединение в вооруженные отряды, распространение разбойничества — характерная черта периодов смуты.

Претенденты на власть в России начала XVII века — Лжедмитрий Первый, Лжедмитрий Второй, Василий Шуйский, польский король Сигизмунд раздают права на поместья. На одну усадьбу претендует несколько искателей счастья. Титул собственности на землю, не гарантирует ничего. Если феодалы и их дружины были способны сами поддерживать порядок в своих владениях, то в

централизованных аграрных империях крах государства означал и крушение всех институтов, обеспечивающих правопорядок⁶.

На фоне анархии, хаоса нелюбовь крестьянского большинства к тем, кто пользовался привилегиями в условиях устойчивой власти, становится явной. Призыв грабить дома богатых, делить их добро, — характерная черта смуты⁷.

Развитая система коммуникаций, ее удовлетворительное состояние — необходимая предпосылка нормальной жизни в централизованной аграрной империи. Без нее невозможно контролировать территорию, обеспечивать сбор налогов. Крах существующего порядка одновременно означает и паралич транспорта.

Трудности, с которыми сталкиваются поляки, занявшие в последние годы смуты Москву, были связаны с действиями «шишей» — крестьян, взявшихся за оружие в ответ на произвольные реквизиции. Это сделало невозможным продовольственное снабжение польских сил. Стихийный протест против тех, кто грабит дома, забирает продовольствие — не проявление патриотических чувств, а реакция крестьянина на попытку отнять у него больше, чем он может отдать, не разрушая своего хозяйства.

Неизбежное следствие кризиса системы коммуникаций — проблемы снабжения продовольствием центра империи — столицы⁸.

⁵ «К тому же и поляки, и казаки, стоявшие за вора, и московское правительство, — все нуждались в средствах и обирали народ. А ведь уже и прежде непосильны были налоги, взимавшиеся одним только московским правительством. Теперь же прибавились казаки и поляки, грабившие и разорявшие все, что встречали на своем пути. Разорение было полное и помощи ждать было неоткуда». См.: *Волькенштейн О.* Великая смута земли русской. 1584-1613 гг. М.: Книгоиздательство «Труд и Воля», 1907. С. 39. «Наконец, поборы на тушинского царя и на его администрацию сопровождалась страшным произволом и насилием, равно как и хозяйничанье панов в селах, а тушинская власть оказывалась бессильною одинаково против собственных агентов и против открытых разбойников и мародеров, во множестве бродивших по Замосковью. О тех ужасах, какие делали эти разбойники или «загонные люди» (от *zagon* — набег, наезд), можно читать удивительные подробности у Авраамия Палицына и во многочисленных челобитях и отписках воевод тушинскому правительству». См.: *Платонов С.О.* Очерки по истории смуты в московском государстве XVI–XVII вв. СПб., 1899. С. 382.

⁶ В Пекине повстанцы изгоняли чиновников из старых учреждений и их закрывали, расстраивали всю государственную машину. Они открывали тюрьмы и выпускали узников. См.: *Симоновская Л.В.* Антифеодальная борьба китайских крестьян в XVII веке. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1966. С. 252, 253.

⁷ «Обезображенные тела не убирались целый день. Лужи крови стояли на улицах. Люди гуляли и веселились, дрались за добычу, продавали ее. Этот день для многих был днем великого благополучия. Иные до того времени были совсем нищие, а теперь набрали денег, мехов, золотых вещей, жемчуга, богатых одежд. Пьяные хвастались и кричали: «Нет на свете сильнее и грознее московского народа! Целый свет нас не одолеет! Нашему народу счету нет! Теперь пусть все перед нами молчат, кланяются нам, в ногах у нас валяются! [...] Толпы бросались на их дома, взламывали замки, забирали платье, деньги, утварь, выводили лошадей и скот, а когда доходили до погребов — тут было раздолье: поставят бочку дном вверх, разобьют дно и черпают сапогами, котами, шапками и пьют, пока без чувств не попадают; и так в этот день до ста человек лишились жизни. Душ не губили, зато сильно грабили без всякой пощады, снимали с осужденных народной ненавистью даже рубахи, и многие видели тогда — говорят очевидец — людей, адамовым способом прикрывавших свою наготу листьями. Чернь, долго и много терпевшая, долго униженная, радовалась этому дню, чтобы потешиться над знатными и богатыми, отплатить им за прежнее унижение. Потерпели тогда и такие, что вовсе не были сторонниками Годуновых, за то единственно, что были богаты; и всеобщий грабеж и пьянство продолжались до ночи, когда все заснули мертвецки». См.: *Костомаров Н.И.* Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. Исторические монографии и исследования. М.: «Чарли», 1994. С. 284, 153.

⁸ Л. Симоновская так описывает состояние снабжения Пекина продовольствием в период смуты в Китае, связанной с закатом Миньской династии: «Длительная война в центральных и северных провинциях страны привела к резкому сокращению налоговых

В аграрных империях власти стремились иметь средства, позволяющие финансировать войны, справиться с последствиями неурожаев. В государственной сокровищнице хранились драгоценные металлы, камни, иногда продовольствие. Ее расхищение — обычный штрих смутного времени.

В периоды смуты институциональная структура становится проще. Более устойчивыми оказываются базовые установления (семья, крестьянское хозяйство, отношение лорд–слуга). Чем сложнее институты, тем более хрупкими они оказываются при крахе централизованного государства. Это относится к государственному аппарату, торговле на дальние расстояния, финансовым рынкам.

Во время смуты жизнь непривычна, неудобна и опасна. Отсюда — мечта о восстановлении порядка. Объект подражания — институты рухнувшей империи. Люди забыли, как они ненавидели сборщика налогов старого режима, привилегии вышестоящих сословий. Они помнят об одном: раньше порядок был.

Именно под влиянием смуты в Англии середины XVII века Т. Гоббс, один из основателей современной политологии, предложил отказаться от концепции разделения властей, написал, что абсолютная власть государя — единственный способ гарантировать нормальную организацию жизни. Результат смут — усталость от анархии, запутанные отношения собственности, разграбленная казна. Такие годы помнят, как тяжелые.

ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ

В первых революциях XVII–XVIII веков, голландской, английской, американской, роль традиции еще сильна⁹. Лидеры голландской революции ссылаются на установления, дарованные Бургундским домом. Английская революция XVII века — реакция на попытки королевской власти изменить организацию жизни страны, отказаться от привычных прав и свобод¹⁰. Восстание

североамериканских штатов — ответ на нарушение английским правительством привычных установлений, ее лозунг: «нет налогообложения без представительства».

АНГЛИЯ

В Англии во время революции XVII века система управления правосудия пострадала, но не была полностью дезорганизована. Лидеры нового режима пытались найти пути примирения с Карлом I, понимали, что именно в этом — предпосылка стабилизации новой власти. Несмотря на беспорядки, гражданские войны, государственные финансы не рухнули. Парламент вотирует сбор налогов, которые раньше отклонялись как несправедливые. Сохранение на фоне революции и гражданской войны социальной стабильности в Англии в середине XVII века оппоненты Французской революции будут как аргумент, позволивший доказать принципиальное отличие происходившего в этих странах во время революционных потрясений¹¹. Но эти различия не стоит абсолютизировать. Известно, как трудно свергнуть сложившуюся систему управления и как легко свергнуть систему новую¹². В обществе, лишенном ограничений, налагаемых традицией, насилие становится ключевым доводом в споре. Неспособность правительства контролировать применение насилия — характерная черта периода Английской революции. С ним обычно связаны перебои в снабжении крупных городов продовольствием.

Гражданская война потребовала формирования постоянной армии. Парламент проголосовал за налоги, необходимые для ее содержания. Но денег на армию не хватало. Задержки выплат солдатам и офицерам, бюджетные неплатежи — одна из ключевых политических проблем времен Английской революции. Гражданские власти не могли ни распустить армию, ни собрать налоги, достаточные, чтобы обеспечить ей своевременные платежи¹³.

поступлений в казну. Ослабление связи с южной частью империи, время от времени нарушаемой восстанием, препятствовало передвижению грузов и поступлению налогов. Местные власти, ссылаясь на разные обстоятельства, с большой охотой задерживали собранные суммы у себя и не спешили с их отправкой в столицу». См.: *Симоновская Л.В.* Антифеодальная борьба китайских крестьян в XVII веке. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1966. С. 177.

⁹ О том, были бы события в Англии середины XVII века бунтом (смутой) или революцией, историки будут спорить всегда. См.: *Aylmer G.E.* *Rebellion or Revolution? England 1640–1660.* Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 195.

¹⁰ О попытках Стюардов радикально изменить укоренившееся институциональное устройство Англии, связанными с их убеждениями в божественном праве королей и необходимостью восстановить самодержавие см.: *Davies G.* *The Early Stuarts 1603–1660.* Oxford: The Clarendon Press, 1937. P. 30.

¹¹ *Burke E., Paine T.* *Reflections on the Revolution in France and The Rights of Man.* N.Y.: Dolphin Books, 1961.

¹² *Токвиль А. де.* Старый порядок и революция. / Пер. с фран. М. Федоровой. М.: Московский философский фонд, 1997.

¹³ «Когда солдаты узнали о принятом в парламенте постановлении распустить армию, оставив из 40 тыс. человек только 16 тыс. для гарнизонной службы в Англии, а 12 тыс. человек отправить в Ирландию, возмущение в их среде стало всеобщим. Задумав отделиться от «новой модели», проникнутой «мятежным духом», парламент не позаботился выплатить ей задолженность, достигшую

Сохранение традиционных установлений, системы отправления правосудия предопределили скромные по масштабам «великих революций»¹⁴ объемы перераспределения собственности. Но с точки зрения современников ее передел, связанный с конфискацией имущества сторонников короля, выкупом владений под угрозой изъятия властями, перераспределением ирландских земель, были беспрецедентными¹⁵.

Первый шаг в этом направлении был сделан в 1642 году, когда было конфисковано 2,5 миллионов акров земли, принадлежавших ирландским повстанцам. Эти земли служили обеспечением займов, привлеченных для финансирования военных действий в Ирландии. Примерно две трети земель в Ирландии перешли в руки новых собственников¹⁶.

Операции с бумагами, обеспеченными ирландскими землями, которыми английские власти гасили неплатежи армии, были массовыми. Офицеры скупали их у солдат, неясность прав на ирландские земли, связанные с этим проблемы напоминают отечественные реалии 1990-х годов.

АМЕРИКА

Лидеры Американской революции также апеллировали к традициям. Восставшие колонии отстаивали

привычные права, отвергали принятые в Лондоне нововведения. Они были готовы к компромиссу, подчинению королю, но не парламенту, в котором они не представлены. Американские Штаты опирались на длинную традицию самоуправления. Роль королевской администрации в организации жизни была ограниченной. Государственные расходы были низкими, бюрократический аппарат — слабым. Колониальную администрацию в короткие сроки можно было заменить новыми органами власти. Но и в истории США, революция — это финансовые неурядицы, неспособность государства вовремя платить армии, инфляция, масштабное перераспределение собственности. Перечитывая то, что писали современники событий, нетрудно увидеть: они говорят о проблемах деинституционального, нестабильного общества¹⁷.

Голландская революция оказала лишь ограниченное влияние на доминирующие в Европе представления об организации общества. Иное дело — Английская. Английские институты изучали, ими восхищались французские мыслители эпохи Просвещения. Однако влияние на Европейский мир инноваций, связанных с французской революцией: от равенства граждан перед законом до призыва на воинскую службу, далеко превзошло все, связанное с предшествующими социальными потрясениями.

331 тыс. ф. ст.». См.: История Европы. С древнейших времен до наших дней. В 8-ми томах. Т. 4. Европа нового времени (XVII—XVIII века) М.: Наука, 1994. С. 32.

¹⁴ Об определении термина «великие революции» см.: *Brinton C. The Anatomy of Revolution*. N.Y.: Vintage Books, 1965. P.4; *Pettee G.S. The Process of Revolution*. N.Y.: Harper. Pollard, Sidney. P.3.

¹⁵ «Конфискованные земли почти целиком перешли в руки новых крупных землевладельцев из среды буржуазии ж нового дворянства. «Обязательства», выданные солдатам кромвелевской армии для получения определенных участков земли вместо платы за их службу в армии, большей частью были вскоре же скуплены земельными спекулянтами [...] После победы, одержанной парламентской армией при Нэзби в июне в 1645 г., когда была разбита королевская армия, и после подавления движения клобменов правительство приступило к распродаже первого большого конфискованного у противников буржуазной революции земельного фонда — фонда епископских земель. [...] Только после падения пресвитерианского господства в парламенте, после казни короля и установления республики был принят акт о продаже деканских и капитульских земель (30 апреля 1649 г.). Он напоминал соответствующий ордонанс о продаже епископских земель. Правопреемниками деканов и капитулов являлись специально назначенные опекуны, которым принадлежало право продажи этих земель. В это время уже практиковалась в широких размерах скупка солдатских и офицерских «обязательств» богатыми людьми по дешевой цене через особых агентов с уплатой 5—6 шилл. за фунт. [...] В истории Англии еще не было эпохи, когда такое большое количество земель, принадлежавших феодальным землевладельцам или феодальным корпорациям, поступило бы в продажу в течение столь короткого периода, как 13 лет (1646—1659 гг.). Продажи земель ни во время войны Алой и Белой розы, ни даже во время упразднения монастырей в первой половине XVI в. не были так значительны. Земельная мобилизация захватила в то время также и Ирландию и отчасти Шотландию». См.: Английская буржуазная революция XVII века. Часть I. / *Косминский Е.А., Левицкий Я.А. (ред.)*. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 121, 372, 374, 392. О масштабном перераспределении земли в ходе английской революции XVII века см.: *Marrriott J.A.R. The Crisis of English Liberty: A History of the Stuart Monarchy and the Puritan Revolution*. Westport: Greenwood Press, 1970. P. 341—342.

¹⁶ *Acts and Ordinances of the Interregnum 1642—1660, cover the period when Charles was absent from Westminster.* / Eds. *Firth C.H., Raft R. S. L.*, Pub. by H.M. Stationery Off., Printed by Wyman and Sons, 1911. P. 418; *The Statutes of the Realm ... From original records, etc. (1101-1713).* / *Luders A., Edlyn Tomlins Sir T., France J., Tauton W.E., Raithby J. (eds.)*. L., 1810. P. 598-603.

¹⁷ *J.E. Cooke (ed.)*. *The Federalist*. Middletown: Wesleyan University Press, 1961. О переписке Джорджа Вашингтона с его коллегами по кабинету во время Американской революции, связанной с бюджетными неплатежами армии, см.: *Webber C., Wildavsky A. A History of Taxation and Expenditure in the Western World*. N.Y.: Simon and Schuster, 1986. P. 367, 368.

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Лидеры французской революции не апеллируют к традиции. Речь идет о разрыве со старым порядком, попытке перестроить организацию общественной жизни на новых основаниях. Интеллектуальная атмосфера революционной Франции проникнута идеей возможности глубоких социальных и политических изменений.

На рубеже XVIII–XIX веков наиболее развитые страны Европы, европейские переселенческие колонии вступили в новую эпоху. Технические инновации, увеличение промышленного производства, урбанизация начинаются во время близкое к Французской революции. Все это в сознании мыслителей XIX века неразрывно связывает революцию и социально-экономические перемены.

Исследователи французской революции в 1830-х — 1840-х годах обратили внимание на связь происходящих процессов с классовой борьбой. Сам термин укореняется после публикации работ Л.А. Тьера, Ф.П.Г. Гизо¹⁸. Для них задача революции, выполнение которой оправдывает и массовый террор, — устранение старого порядка, приход к власти буржуазии. Когда эта задача решена, нужды в революции больше нет.

Маркс и марксисты, картина мира которых во многом формировалась под влиянием опыта Французской революции, ставят вопрос шире: мир меняется, и будет меняться. Производственные отношения должны соответствовать производительным силам. Необходимость их трансформации делает революции неизбежными. Для марксистской традиции представление о революции как о том, что *предопределено логикой общественного развития*, часть восприятия исторического процесса.

Теперь нам не просто понять: почему в работах, выполненных марксистами в XIX веке, столь мало внимания было уделено влиянию революции на ежедневную жизнь людей, функционирование экономики. Ведь в случае ее успеха, именно им предстояло отвечать за то,

как решить финансовые проблемы, обеспечить снабжение продовольствием городов, как будет работать транспорт и связь. Романтикам было скучно обсуждать влияние революции на состояние французских дорог, ремонт которых при старом режиме обеспечивался натуральными повинностями крестьян. Между тем, от состояния дорог зависело, сможет ли столица связаться с региональными властями, может ли государство обеспечить порядок¹⁹.

Революции редко удавалось предсказывать. Это катаклизм, который приходит неожиданно для его участников — правящего режима, тех, кто придет ему на смену. Анализ предпосылок революции дается лишь историкам, изучающим их десятилетия спустя. Современники поражаются неожиданностью произошедших событий.

Франция была централизованной монархией с сильным бюрократическим аппаратом. Власть интендантов, назначаемых центром чиновников, в регионах была велика. Они контролировали малейшие суммы, направляемые на местные нужды. Основой налоговой системы был прямой налог — талья, взимаемый на основе раскладки по территории и механизма круговой поруки. Существование такой системы предполагало централизованную налоговую администрацию²⁰.

Армия Франции в 1780-х годах считалась одной из сильнейших в Европе. Безопасности границ ничего не угрожало. За политической стабильностью стояла многовековая история. В 1780-х годах ничего не предвещало, что французское государство может рухнуть в одночасье.

В эти годы можно было увидеть признаки приближающейся катастрофы: финансовый кризис, неготовность привилегированного сословия к компромиссам. Однако ни депутаты, собравшиеся на заседание Генеральных штатов, ни королевская власть, ничего подобного произошедшему в 1789 году не ожидали.

Одним из поводов к французской революции стал неурожай 1788 года. Как обычно в аграрных обществах наиболее острые проблемы возникли летом года,

¹⁸ Гизо Ф.П.Г. История Английской революции. В 3-х томах. СПб., 1868, Тьер А. История Французской революции (1788–1799). В 5-ти томах. СПб.-М., 1873-1877.

¹⁹ «Для того, чтобы из Парижа успешно руководить и иметь сведения обо всем, требовалось изобрести множество способов контроля. Размеры переписки столь огромны, а медлительность административной процедуры столь велика, что я не припомню случая, когда бы, например, приходу удалось добиться разрешения восстановить свою колокольню или починить дом священника менее, чем за год; чаще всего проходят два-три года, а прежде чем подобное разрешение будет получено. Сам совет в одном из своих указов (29 марта 1773 г.) отмечает, что «административные формальности влекут за собой бесконечные промедления в делах и часто вызывают самые справедливые жалобы. Тем не менее, все эти формальности необходимы», — добавляется в конце». См.: Токвиль А. де. Старый порядок и революция. / Пер. с фран. М. Федоровой. М.: Московский философский фонд, 1997. С. 55. Об ухудшении функционирования дорог, каналов, портов, освещения, всего, что связано с гигиеной, образованием, здравоохранением, поддержанием порядка во время французской революции см.: Taine H.A. The French Revolution. Vol.3. Book IV. Chapter II. Food and Provisions. 1878. Метод доступа: http://nalanda.nitc.ac.in/resources/english/etext-project/history/frenchrev3_taine/

²⁰ Roberts J. The Counter-Revolution in France 1787–1830. L.: Macmillan, 1990. P. 2.

следующего за неурожаем. Именно на таком фоне начались заседания Генеральных штатов. С апреля продовольственные беспорядки во Франции стали массовыми. Широкое распространение получают призывы ввести контроль цен. За падением спроса на промышленные изделия последовал рост безработицы²¹.

Предпосылка устойчивости государства — монополия на применение насилия, способность подавить беспорядки. Она зависит от того, что происходит на улице, готовы ли солдаты выполнить приказы, отдаваемые властями. Когда в 1789 году стало ясно, что не готовы, — режим рухнул как карточный домик. Выясняется, что в армии нет полка, готового выступить по приказу короля²².

Государство оказывается не просто слабым, а бес сильным. Успех бунта оправдывает бунт. Это один из факторов, делающих слабость власти во время революций данностью. Стремительность краха институтов режима, существовавшего на протяжении столетий, поражает современников. Отсюда ключевые проблемы, с которыми сталкиваются новые власти. Институты старого режима рушатся за несколько дней²³. Чтобы построить новые, нужны многие годы.

За три года, прошедшие после начала французской революции, основные институты старого режима: феодальные обязанности, дворянские титулы, система прямых налогов, церковных корпораций, торговых гильдий, административная и финансовая системы, монархия были уничтожены. Сформировались установления нового режима: суверенитет народа, свобода мысли и слова, гарантии собственности, пропорциональное налогообложение, право граждан принимать участие в формировании законов, контроле над налогообложением и использованием государственных финансов. Но за этими институциональными нововведениями не стояла традиция. Чьи приказы исполняют солдаты, понять было трудно. Чаще всего, ничьи. Эффективных инструментов обеспечения порядка не было. Вопрос о власти решало то, кого поддержит улица. В условиях революционного кризиса, настроение толпы

меняется быстро. Отсюда череда революционных лидеров, быстро проходящих путь от народных кумиров до гильотины.

Результат краха старого режима во Франции — демонтаж налоговой системы. Талья перед началом революции — символ ненавистного налога. Сохранить его лидеры революции не могли. Большинство косвенных налогов старого режима были отменены в 1791 году. То, когда заработает новая система поземельного налога, власти не знали.

Решение революционных властей об отмене налогов старого режима до формирования новой налоговой системы современным экономистам представляется странным, экзотическим шагом²⁴. Но не надо иллюзий. Старую налоговую систему государство, не имеющее аппарата, способного применить силу для сбора тальи, сохранить не могло. После того, как традиция ушла в прошлое, крестьяне перестали платить налоги, выполнять феодальные обязательства. Принудить их выполнять новые, непривычные — непросто задача. На это ушли годы. Но государство нельзя закрыть, когда крестьяне перестанут платить налоги. Армия разваливается, но требует денег. Есть институты, обеспечивающие отправление правосудия, элементарный порядок. Дороги надо чинить, каналы ремонтировать. В противном случае даже тот, невысокий по современным меркам уровень цивилизации, который существовал во Франции 1780-х годов, сохранить нельзя.

Революционные власти пытаются решить эти проблемы, продают собственность, печатают деньги. Государство национализирует церковные земли, имущество эмигрантов.

В эпоху революций права собственности плохо определены, не гарантированы. Отсюда невысокая цена приватизированного имущества. Нередко крестьяне захватывают землю без разрешения властей. Остановить этот процесс государство не может. Оценки того, сколько французское государство получило за церковную собственность при приватизации, колеблются в диапазоне

²¹ Cobban A. A History of Modern France. Vol. I. Old Regime and Revolution 1715–1799. L.: Penguin Books, 1990. P. 138, 139.

²² О неспособности властей применить насилие при развитии революционного процесса как предпосылке краха существующего порядка см.: Brinton C. The Anatomy of Revolution. N.Y.: Vintage Books, 1965. P. 252. Об отсутствии надежных войск находящихся в распоряжении Людовика XVI летом 1789 года см.: Cobban A. A History of Modern France. Vol. I. Old Regime and Revolution 1715–1799. L.: Penguin Books, 1990. P. 149. О той же проблеме в Англии периода революции XVII века см.: Cattermole Rev.R. Illustrated History, The Great Civil War of the Times of Charles I And Cromwell. L.: Henry G. Bohn, 1857. P. 70, 71.

²³ Французские государственные деятели на протяжении века пытались отменить внутренние таможенные барьеры. Их усилия были безуспешны. Во время революции изменить положение удалось за считанные дни. См.: Hampson N. The First European Revolution 1776–1815. L.: Thames and Hudson, 1970. P. 89.

²⁴ 4 августа 1789 года Ассамблея отменила привилегии старого режима и устранила институты, использовавшиеся ранее для налогообложения. Последствием стало беспрецедентное снижение налоговых доходов. См.: Sargent T.J., Velde F.R. Macroeconomic Features of the French Revolution // The Journal of Political Economy. Vol. 103(3). March 1995. P. 492, 493.

от 15 до 50 процентов от того, сколько бы она стоила в условиях устойчивой власти²⁵.

Рост цен, недовольных им парижских низов, от настроения которых зависела судьба власти, подтолкнул к принятию решения о введении государственного контроля цен. Следствие — дефицит продовольствия, очереди, рост недовольства.

Столица — место, где происходят ключевые политические события во время революции. Париж в годы революции становится не просто столицей, но и хозяйном Франции. От регулярных поставок продовольствия в столицу зависит настроение городского населения. Зерно надо либо покупать у крестьян по приемлемым ценам, либо реквизировать.

Ситуация с продовольственным снабжением нередко была напряженной. Широко распространенным было мнение, что и небольшие перебои с поставками зерна приведут к параличу снабжения городов. Отмена налогообложения, феодальных повинностей сократила размер крестьянских обязательств. Естественная реакция на это — сокращение продажи продовольствия, улучшение питания сельских семей²⁶. Хаос в городах не оставляет надежды на рост предложения привлекательных для крестьян промышленных изделий. Горожане расплачиваются за продовольствие обесценивающимися ассигнатами.

Урожай 1790 года был хорошим. Это позволило в 1790–1791 годах справиться с дефицитом продовольствия. Идеи административного регулирования цен противоречат идеологической настрой политической элиты, дань традициям либерального видения мира. Сен Жюст произносит речь в поддержку свободы торговли, против эмиссии ассигнатов. Его поддерживает Марат. Он указывает на связь денежной эмиссии и распространение бедности²⁷. Но в 1791–1792 гг. проблема дефицита продовольствия обостряется. С осени 1792 года в Париже предложение о регулировании хлебных цен становится популярным. В глазах якобинцев обесценение ассигнатов, дефицит продовольствия, анархия — результат заговора монархистов.

Крестьяне ограничивают предложение сельскохозяйственных продуктов, ждут привлекательных условий их продажи. Стабилизировать финансы не удастся. Армия соглашается брать в качестве жалования только золото. В казну оно не поступает. Купить золото за ассигнаты не удастся. Решения Конвента от 8 и 11 апреля 1793 года о запрете торговли за золото, обязанности принятия ассигнатов по номиналу не помогает делу. Требование введения контроля цен становится популярным. Жирондисты хорошо понимают последствия принятия такого решения. Тем не менее, 4 мая 1793 года Конвент вводит регулирование хлебной торговли.

Региональным властям предоставлены права проводить обыски и конфискации. Они начинают продовольственные реквизиции. 26 июля 1793 года приняты законы, направленные против создания запасов продовольствия. Все, кто владеет товарами первой необходимости, должны их декларировать. Те, кто этого не сделал, подлежали смертной казни. 9 августа 1793 года принят закон о зерновом хозяйстве, 15 августа 1793 года введен зерновой налог, 11 сентября введен максимум цен на зерно во Франции. В начале сентября создана специальная, революционная армия для осуществления революционного террора. Ее важнейшая задача — борьба со спекулянтами²⁸.

За налогами старого режима стояла традиция. Реквизиции непривычны. Они не подкреплены выстроенным административным аппаратом. Размеры изъятий продовольствия неопределенны, для крестьян непонятны. Региональные органы управления вынуждены опираться на помощь сторонников революционной власти — санкюотов²⁹. Крестьяне относятся к реквизициям как к грабёжам. Отсюда сокрытие запасов, саботаж, восстания.

Критическим для властей было снабжение продовольствием Парижа, его окраин, других крупных французских городов³⁰. Правительство якобинцев в конце лета сталкивается с недовольством в городе и риском восстания в деревне. Париж надо кормить. Денег, чтобы купить продовольствие у крестьян — нет.

²⁵ Hampson N. A Social History of the French Revolution. L. - N.Y.: Routledge, 1963. P. 126.

²⁶ Об увеличении использования крестьянами зерна на корм скоту и сокращений его поставок в города см.: Cobb R.C. The Police and the People. French Popular Protest 1789–1820. Oxford: The Clarendon Press, 1970. P. 260–263.

²⁷ Aftalion F. The French Revolution. An Economic Interpretation. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press, 1990. P. 123.

²⁸ Aftalion F. The French Revolution. An Economic Interpretation. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press, 1990. P. 129, 135–147.

²⁹ Санкюлоты – это сочетание социального статуса, поведения и политических убеждений. В большинстве случаев санкюлотами называли городских ремесленников и торговцев, не имеющих образования, и не претендующих на статус благородного человека. См.: Hampson N. The First European Revolution 1776–1815. L.: Thames and Hudson, 1970. P. 99.

³⁰ Cobb R.C. The Police and the People. French Popular Protest 1789–1820. Oxford: The Clarendon Press, 1970. P. 260.

В готовности стрелять по участникам крестьянских беспорядков национальная гвардия проявляла больше решимости, чем войска старого режима. Но при массовом сопротивлении крестьянского населения снабжение продовольствием Парижа становится все более трудной задачей.

У пустых булочных выстраиваются очереди. 29 октября 1793 года вводится карточное распределение продовольствия. В ноябре 1793 года власти докладывают, что запасов продовольствия в Лионе достаточно на 2–3 дня. В Руене жители получают полфунта хлеба в день. В Бордо в течение последующих месяцев люди спят у двери булочных, чтобы получить хлеб. В феврале правительство информирует об исчерпании продовольственных ресурсов в некоторых регионах Франции³¹.

Зимой 1793–1794 гг. в Париже голод. По карточкам выдают 250 граммов хлеба на человека в день. На крестьян, приехавших продать продовольствие, нападают. Радикалы, контролировавшие коммуны в Париже, убеждены, что гильотина поможет подавить заговор тех, кто продает, против тех, кто покупает зерно.

Правительство действует решительно, с беспрецедентной по стандартам Европы XVIII века жестокостью. Не помогает. В подобной ситуации шанс на сохранение власти не зависит от того, сколько человек руководители революционного режима готовы казнить. Волна убийств санкюотов, прокатившаяся по сельским регионам Франции после краха якобинской власти, показала отношение крестьян к реквизициям³².

Термидорианцы в ноябре 1794 года повышают цены на продовольствие. В декабре отменяется регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию. Но холодная зима, рост потребления продуктов питания крестьянами, падения курса национальной валюты опреде-

лили развитие событий на продовольственном рынке. Кризис снабжения городов продолжился и при свободных ценах. Это стало причиной голода 1794–1795 гг. в Париже.

К осени 1796 года либерализация экономики и хороший урожай позволили исправить положение. Механизмы государственного управления стали восстанавливаться. Но потребуются годы, чтобы снизить инфляцию, восстановить налоговую систему³³. Стабилизировать бюджет удалось лишь после дефолта по государственным ценным бумагам. Экономика только к концу 1790-х годов стабилизируется. Важнейшие показатели, характеризующие ее, выходят на уровень, близкий к предреволюционному.

Нетрудно представить, как за эти годы меняется отношение к революционным идеалам. Французы, увидевшие, как выглядят великие потрясения, были поражены контрастом между тем, чего они ожидали и тем, что получили. В это время большинство из них мечтают об одном — порядке³⁴.

Генерал, готовый железной рукой восстановить порядок, оказывается в правильное время в нужном месте. Во французской политике на годы лозунг свободы был снят с повестки дня. Наполеон контролировал все, что происходит в обществе жестче, чем Людовик XVI. Но важные для ежедневной жизни людей завоевания революции: равенство перед законом, отношения собственности, отсутствие феодальных повинностей, были сохранены. Наполеон втянул Францию в череду внешних авантур. Но внутреннее спокойствие, эффективную централизованную администрацию он обеспечил³⁵.

После Реставрации Бурбонов равенство граждан перед законом было сохранено, привилегии аристократии не восстановлены. Никто не был свободен от налогов. Людовик XVIII подтвердил незыблемость новой

³¹ *Taine H.A.* The French Revolution. Vol.3. Book IV. Chapter II. Food and Provisions. 1878. Метод доступа: http://nalanda.nitc.ac.in/resources/english/etext-project/history/frenchrev3_taine/

³² О белом террепе см.: *Cobb R.C.* The Police and the People. French Popular Protest 1789–1820. Oxford: The Clarendon Press, 1970. P. 93.

³³ Подушечные доходы от налогообложения во Франции достигли дореволюционного уровня лишь в 1810 году. См.: *Sargent T.J., Velde F.R.* Macroeconomic Features of the French Revolution // The Journal of Political Economy. Vol. 103(3). March 1995. P. 494.

³⁴ «Когда могучее поколение, стоявшее у истоков Революции, было уничтожено или обескровлено, как обычно происходит с любым поколением, берущимся за подобное дело; когда, следуя естественному ходу событий, любовь к свободе утратила свой пыл и остыла под влиянием всеобщей анархии и диктатуры народной толпы; когда, наконец, растерявшаяся нация начала как бы ошупью искать своего господина,— именно тогда неограниченная власть смогла возродиться и найти для своего обоснования удивительно легкие пути...» См.: *Токвиль А. де.* Старый порядок и революция. / Пер. с фран. М. Федоровой. М.: Московский философский фонд, 1997. С.161-165.

³⁵ Наполеон представлял собой порядок, и это было именно то, чего страстно желало французское общество. Нельзя сказать, что он уничтожил свободу, потому что уже нечего было уничтожать. Он лишь заменил анархию деспотизмом. Но это был режим, которые люди, уставшие от десятилетия революции, были готовы приветствовать. См.: *Dickinson G.L.* Revolution and Reaction in Modern France. L.: George Allen & Unwin LTD, 1927. P. 61, 62.

структуры собственности, сохранил административную, юридическую и фискальную систему империи.

Характерная черта смут в аграрных обществах: за восстановлением порядка следует сохранение традиций старого режима. Отличие от них революций — восстановление порядка, происходящее на фоне укоренения новых институтов.

О СМУТНЫХ ВРЕМЕНАХ

Мы не обсуждаем здесь вопрос о том, почему крах институтов старого режима стал реальностью, какие социальные силы участвовали в политической борьбе, кто в ней победил, как произошедшее отразилось на долгосрочных перспективах развития страны и мира. Речь о другом: о том, с какими ключевыми проблемами сталкиваются общества, в которых важнейшие для организации жизни установления рухнули, а новые не сформировались. Если использовать терминологию современной экономической науки, об обществах, переживающих период деинституционализации.

В аграрном мире проблемы деинституционализации характерны для централизованных государств. В современную эпоху с ними может столкнуться любая индустриальная страна. Вся ее жизнь зависит от бесперебойного функционирования инфраструктуры (железные дороги, электричество, телефонная, телеграфная связь и т.д.). Ее невозможно обеспечить в обществе, не имеющем удовлетворительно функционирующей системы институтов.

Жизнь в обществах доцивилизационного периода была бедной и простой. Производство и потребление важных для жизни семьи продуктов питания тесно связаны, территориально объединены. Чтобы жизнь продолжала свой обычный ход не нужна развитая иерархия, упорядоченное налогообложение, письменность. В цивилизованных обществах обстояло иначе. Утрата письменности в Восточном Средиземноморье после краха Крито-микенской цивилизации, на века вернула общество на доцивилизационный уровень развития.

Национальная и культурная специфика, внешняя среда, уровень грамотности, урбанизации накладывают отпечаток на то, как разворачиваются события в период деинституционализации. Если не пытаться описать десятки исторических эпизодов, которые можно назвать смутой или революцией, а выстроить их идеальную модель, нетрудно увидеть картину взаимосвязанных процессов, разворачивающихся на фоне краха институтов старого режима.

ГОСУДАРСТВО КАК МОНОПОЛИСТ НАСИЛИЯ

Важнейший атрибут государства — монополия на применение насилия. До тех пор пока у власти есть надежная, готовая выполнить приказ, боеспособная армия, режим, сколь бы не был он несовершенен, остается стабильным. Крушение ему не грозит. В истории России XX века это показали события 1905–1907 гг., когда гвардейские части подавили попытку вооруженного восстания в Москве, а вернувшаяся с Дальнего Востока армия усмирила вышедшую из-под контроля деревню.

Неповиновение войск власти — явление в истории стабильных государств нечастое. Отсюда иллюзия, что лояльность армии гарантирована. Пока и общество, и власть в это верят, силу применять и не приходится. Те, кто не доволен действующим режимом, вынуждены ограничиваться мирным протестом. Но верность армии режиму, ее готовность получив приказ применить оружие против своего народа, не всегда гарантирована.

В данном случае речь идет не о феодальном, рыцарском ополчении, а об армиях централизованных аграрных государств или государств, находящихся в процессе современного экономического роста. Они тесно связаны с обществом. У тех, кто служит в армии, есть родные и близкие. Если общество убеждено, что власть несправедлива и коррумпирована, не допустить обсуждения этого в армии невозможно. По мере распространения в обществе убеждения, что войско не надежно, в случае массовых народных выступлений может отказаться стрелять, число военных готовых первыми открыть огонь падает. Если власть неустойчива, режим может пасть, то тех, кто откроет огонь, растерзает толпа.

Нелояльность армии не сразу проявляется в открытом неповиновении. Перестает работать связь, люди необходимые для принятия решений заболевают или исчезают, оружие и патроны оказываются в разных местах. На все это накладываются факторы, связанные с собственно армейскими проблемами: военные поражения, усталость от тяжелой войны, слухи о предательстве в верхах, несвоевременная выплата жалованья, перебои со снабжением продовольствием. Первые признаки нелояльности армии означают, что режим столкнулся со смертельной угрозой. Когда неповиновение становится открытым, распространяется на столичный гарнизон, падение власти неизбежно.

Армия — это структура, суть организации которой — дисциплина, подчинение приказу. Массовый отказ исполнять приказы, измена существующей

власти — тяжёлая травма для всего военного организма. Полагать, что после краха старого режима, причина которого то, что армия отказалась применять оружие, воинские части вернутся в казармы и займутся боевой подготовкой — иллюзия.

Если со старой властью армию связывали традиции, привычка подчиняться, то с новой, когда рассеялся туман энтузиазма первых дней, следующим за крахом режима, не связывает ничто. В этой ситуации объяснить солдатам и офицерам, почему они должны рисковать жизнью, выполняя приказы непонятно откуда взявшихся властей, непросто. Армейский механизм перестаёт работать. Солдаты не выполняют приказы, а обсуждают их, дисциплина падает, части становятся не боеспособными, но агрессивными. Дезертирство приобретает массовый характер. Новая власть получает небоеспособную, непригодную к боевому применению, разбегающуюся, но при этом вооружённую и поэтому особенно опасную армию.

Органы, обеспечивающие правопорядок, ассоциируются со старой властью. Для общества именно городской, полицейский ее воплощение. При проявлении массового недовольства и нелояльности армии органы правопорядка оказываются бессильными, да, обычно и не пытаются предотвратить смену власти. Но когда она происходит, сотрудники этих органов — первые жертвы, на которых толпа вымещает накопившуюся ненависть к старому режиму. Разгром и поджоги органов правопорядка не обязательный, но нередко встречающийся эпизод смуты.

Функционирующая система правоохранительных органов — сложная структура, опирающаяся на развитую систему связей, накопленную информацию, агентурную сеть. Разрушить её в течение нескольких дней можно. Чтобы ее восстановить — требуется время. Даже в тех случаях, когда не происходит массового увольнения сотрудников полиции, их физического уничтожения, работа правоохранной системы оказывается парализованной.

Её сотрудники знают, что общество им не доверяет. Когда рядом вооружённые и неконтролируемые солдаты, работа по обеспечению правопорядка становится опасной и неблагодарной. К тому же не понятно, насколько устойчива новая власть, не придётся ли потом отвечать за сотрудничество с ней. Реакция правоохранительной системы на происходящие события понятная: она перестаёт работать. Вооружённого

представителя власти, готового поддерживать правопорядок, после краха старого режима на улице долго не встретишь.

Тюрьмы — один из ключевых символов тирании. Вышедшая из повиновения начальству толпа не может проводить суд и следствие, разбираться в том, кто сидит в тюрьме за нелояльность властям, кто за уголовные преступления. Те, кого старый режим считал преступниками, оказывается на свободе. Паралич работы органов правопорядка, тысячи уголовников, выпущенных из тюрьмы, отсутствие контроля над оружием — всё это делает разгул преступности, связанной с применением насилия, характерной чертой смут и революций.

Новые власти приходят на волне народной поддержки. Они — воплощение общественного протеста против старого режима. Нередко это энергичные, талантливые люди. Они обещали народу, что *когда и если* удастся покончить с деспотизмом, жизнь начнёт налаживаться, а самые острые проблемы, с которыми сталкивается общество, можно будет сразу решить. Вера части общества, по меньшей мере столичного, в то, что так оно и будет, помогает выводить людей на баррикады, поддерживает готовность умереть во имя светлого будущего. Но когда режим пал, проблемы, которые проложили дорогу его свержению, такие, например, как финансовый кризис, проблемы снабжения продовольствием столицы, крупных городов, не исчезают. Они встают перед новыми властями. Между тем, их возможности решить эти проблемы невелики.

В руках у новых властей нет инструментов принуждения: армия небоеспособна, органы правопорядка парализованы. За ними не стоит традиция, обеспечивающая легитимацию их решений. Через несколько дней после революционных событий общество задаётся вопросом: а кто такие представители новой власти, откуда они взялись, с какой стати мы должны им подчиняться? Иногда на этом фоне возникает феномен многовластия. Несколько конкурирующих центров претендуют на то, что они законная власть, имеющая право принимать решения по важным для общества вопросам. Пока они борются между собой, страна погружается в омут безвластия, анархии. Гоббс, описавший в Левиафане картину борьбы всех против всех, ничего не выдумал. Он лишь стилизовал известные ему картины английской революции середины XVII века³⁶.

³⁶ Гоббс Т. Левиафан: или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. / Ред. А. Ческис. М.: Государственное Социально-Экономическое Издательство, 1936.

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВА

После краха режима система контроля за сборами налогов, использованием финансовых ресурсов, судопроизводством, обеспечением правопорядка в отдалённых от столицы регионах выходит из строя. Термином «собственность» описывают различающиеся социальные конструкции. То, что в последние века в Европе принято называть собственностью, не слишком хорошо подходит к описанию реалий большей части аграрного мира. Для разрешения споров вокруг земельной собственности есть устоявшиеся механизмы: община, суд. Всё это работает до тех пор, пока государство сохраняет монополию на применение насилия. Когда её нет, система обеспечения правопорядка и судопроизводства оказывается парализованной. Само понятие собственности становится размытым, условным. Массовыми становятся грабежи, захваты земли, её переделы. Неопределённость отношений собственности дезорганизует сельскохозяйственное производство.

Тяжесть налогового бремени, несправедливость его распределения — один из важных аргументов против старого режима. Призывы снизить или вовсе отменить налоги — эффективный механизм в борьбе за смену власти. Налоги твёрдо ассоциируются со старым режимом. Крестьяне не готовы понимать, почему после его краха они по-прежнему что-либо должны государству. Инструментов, позволяющих мобилизовать налоговые доходы, у государства нет.

Если государство не может отказаться от расходных обязательств и собрать необходимые для их обеспечения налоги, результат очевиден — финансовый кризис. В обществах, в широких масштабах использующих бумажные деньги, первая реакция властей на него — переход к эмиссионному финансированию государственных расходов, наращивание денежной массы, инфляция, иногда перерастающая в гиперинфляцию, паралич денежного обращения. Массовыми становятся бюджетные неплатежи, задолженность государства перед армией, чиновниками.

В первое время следствием произошедшего для крестьянина становится то, что сборщик налогов больше не приходит; то, что землю помещика можно захватить, никто её защищать не придёт. Что надо возвращаться к натуральному хозяйству, не слишком надеяться на то, что что-нибудь важное для жизни привезут из города. От привычных городских продуктов придётся отказываться, но это не катастрофа. В малых городах, тесно связанных с деревней, где жители ещё не оторвались от села, нередко обрабатывают свои земельные участки, положение

сложнее, чем в деревне, но всё же не катастрофическое.

Куда хуже дело в крупных городах, особенно в столице. Возможность поддержания жизни здесь зависит от бесперебойной поставки продовольствия. После краха старой власти проблема снабжения крупных городов продовольствием становится ключевой.

Серьёзный удар по потоку продовольствия из деревни в крупные города — расстройство коммуникаций. Нечинные дороги, выходящие из строя каналы создают проблемы обеспечения бесперебойного товарообмена между деревней и городом. Но дело не только в этом. Рост преступности, обусловленной параличом правоохранительных органов, превращает дальнюю торговлю в опасное занятие. Это подталкивает к натурализации крестьянского хозяйства, снижению его товарности.

Крах налоговой системы сокращает потребность деревни в деньгах. Естественная реакция крестьянского хозяйства на ограничение налогового бремени — рост потребления продовольствия в крестьянских семьях. Эмиссионное финансирование ведёт к обесценению денег. Крестьяне не торопятся обменивать продовольствие на теряющую цену крашеную бумагу. Попытки организации безденежного продуктообмена между городом и деревней не позволяют обеспечить минимальные потребности города в продуктах питания. Нужда городов в продовольствии более острая, чем нужда деревни в городских товарах.

Характерные черты периодов деинституционализации: кризис продовольственного снабжения городов, дороговизна продуктов питания. Это удар по уровню жизни городского населения. Речь идёт о социальных группах, которые принимали участие в событиях, проложивших дорогу краху предшествующего режима. Отсюда вывод, укореняющийся в общественном сознании: при старом режиме было плохо, при новом — стало хуже. Ответственность за это лежит на новой власти. Её надо сменить, а тех, кто имел к ней отношение, казнить.

В руках у новых властей нет ни боеспособной армии, ни надёжно функционирующих органов правопорядка. Развитие политического процесса определяется тем, за кого стоит столичная улица. Обеспечить её поддержку надо любой ценой. Необходимая предпосылка — хоть сколько-нибудь удовлетворительное обеспечение столицы продовольствием. Если его невозможно добиться, закупая продукты питания в деревне по рыночным ценам, выход один — их насильственная реквизиция. Она может осуществляться конкурирующими между собой городскими отрядами, которые отправляют в деревню, чтобы забрать у крестьян зерно, или централизованными формированиями, выполняющими те же задачи. Результат

один — в условиях слабой власти, небоеспособной армии, город объявляет деревне войну, вооружённой силой пытается взять продовольствие, которое крестьяне не готовы продать за обесценивающиеся деньги.

Отношение крестьян к происходящему понять трудно. Если сборщик налогов старого режима был персонажем неприятным, но привычным, ориентировался на традиционную норму изъятий, то пришедшие из городов вооружённые люди, пытающиеся отобрать у крестьян результаты их трудов, непонимающие, сколько можно взять, не разрушив крестьянское хозяйство, воспринимаются однозначно — это грабители. Реакция на попытки города силой взять продовольствие в деревне — саботаж, убийства, восстания, иногда перерастающие в гражданские войны. Нередко возникают крупные области, в которых проводить реквизиции невозможно. Отсюда ухудшение продовольственного снабжения крупных городов, иногда введение карточной системы распределения продовольствия, неотваренные карточки. Крестьяне ненавидят новые власти за то, что они отбирают хлеб или по меньшей мере не мешают это делать. Городские низы ненавидят их за то, что продовольственное снабжение с каждым днём ухудшается. Отсюда нарастающее недовольство, политическая нестабильность.

На все это накладывается уязвимость государства, по отношению к притязаниям соседей. Страна, еще недавно имевшая сильную армию, бывшая активным участником ключевых международных процессов, после развала армии оказывается беспомощной и беззащитной. В решении ее судьбы нередко серьезную роль играют не утратившие боеспособность иноэтнические формирования. Сохранение территориальной целостности и масштабы территориальных потерь зависят от алчности соседей.

Стабилизация институтов нового режима требует времени. Нужно чтобы общество признало их несовершенными, но привычными, чтобы на смену старой системе мобилизации государственных доходов пришла новая, позволяющая покончить и с экстремально высокой инфляцией и с бюджетными неплатежами. Чтобы армия обрела боеспособность, а правоохранительная система начала работать, чтобы стабильные деньги позволили наладить нормальную торговлю между городом и деревней, отказаться от реквизиций, обеспечить основы роста сельскохозяйственного производства, чтобы отношения собственности в том виде, в котором они сложились после периода, последовавшего за крахом существовавших институтов, стали привычными, обрели устойчивость. История не дает нам оснований для того, чтобы определить сколько на это нужно времени.

* * *

Самый длинный период кризиса деинституционализации в крупной стране в 20 веке — Китайская революция 1911–1949 годов. Но история знает и более протяженные периоды хаоса и анархии, следующие за крахом централизованной империи.

Даже, если ограничиться крупными странами, события в которых играли существенную роль в мировой или региональной истории, число случаев, когда обществу приходилось решать проблемы деинституционализации, исчисляется десятками.

СМУТЫ И ИНСТИТУТЫ

По прошествии даже небольшого по историческим меркам времени (15–20 лет), в общественном сознании сильно смещаются жизненные реалии, путаются имена, даты, последовательность событий. Это не по злому умыслу: так устроена человеческая память. «Врет как очевидец», любят повторять следователи и репортеры. Для тех, кому сейчас 20–30 лет, произошедшее в России на рубеже 1980–1990 годов не многим отличается от легендарных событий столетней давности. Многие из тех, кто старше, вычеркнули происходившее тогда из памяти. Оно слишком страшно, неприятно и непонятно, а поэтому о нем хочется забыть, а если не забыть, то как-то засахарить, заглазировать, чтобы не горчил память этот сгусток прошлого. Миллионы совсем нестарых еще сограждан убеждены, что в стране до начала экономических реформ все было хорошо, денег и товаров хватало, жизнь была стабильна и социально защищена.

Они помнят, что зарплаты и пенсии были хоть и небольшими, но на жизнь хватало, зато работа, медицинская помощь, бесплатное образование и летний отдых для детей, пенсия в старости — были гарантированы государством. Что страна называла себя государством рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, и гордилась социальным равенством всех со всеми. И что им завидовали миллионы обездоленных пролетариев и батраков во всем мире.

А то что каждый ропот, каждый протест этих рабочих зорко отслеживала КГБ, что протестующих ждала тюрьма, а в случае неповиновения их расстреливали, как демонстрантов в Новочеркасске в 1962 году, об этом тогда не трубили по всесоюзному радио, не писали в газетах, и об этом можно было даже не подозревать.

Людям, родившимся в развитых странах мира после Второй мировой войны, устройство жизни до последнего времени казалось стабильным. Но, увы, исторические

катаклизмы, на протяжении месяцев и даже дней, необратимо меняющие жизнь миллионов людей, случаются. Именно этот необратимый катаклизм произошел в Казахстане, несокрушимом как скала, Советском Союзе на рубеже конца 1980-х — начала 1990-х годов.

Современная экономическая теория основывается на представлении, что организацию экономической жизни обеспечивают *институты*, правила, определяющие отношения между людьми, государством, организациями. Поколение за поколением ученых принимали институты, сложившиеся в Европе, как неизменную (и универсальную) данность. Потребовались потрясения первой половины XX века, две мировые войны, чтобы экономическое сообщество вспомнило о том, что хорошо понимал уже Адам Смит: институты принципиально важны для нормального функционирования экономики.

Институты — это привычные нормы поведения. Стабильность — залог их эффективности. Но изменения условий жизни общества порождает вызовы устойчивости установлений. Связанным с этим проблемам посвящены работы Д. Норта³⁷. Сочетание стабильности и гибкости, риски, связанные с «делегитимацией» традиций — ключевой вопрос в анализе взаимосвязи институтов и экономического роста. Революциям, историческим эпизодам, связанным с тем, что крах предшествующего режима проложил дорогу институциональному вакууму, посвящено немало интересных работ. Проблема в том, что сам термин «революция» пластичен во времени и пространстве. Употребляя это слово надо помнить: его по-разному воспринимают во Франции, в России, Англии, США, Германии, странах восточной Европы.

* * *

Многие современные государства возникли в результате революций. После английской «славной рево-

люции» это слово приобрело позитивный оттенок. На самом деле, романтики в периоде беспорядка и безвластия, нередко сопровождающегося большой кровью, было мало, в том числе и в годы английской революции, ставшей примером для континента. Революция — всегда большая трагедия, безжалостный приговор элитам прежнего режима, оказавшимся неспособными провести необходимые упорядоченные реформы, урегулировать социальные конфликты³⁸. Под революцией обычно понимают социальные потрясения, снимающие препятствия на пути развития общества. Словом «Революция» объединяют лишь часть более широкого круга явлений, который на русском языке описывается словом смута. Смута — это период общественной жизни, когда старой власти уже нет, а новой еще нет³⁹.

Чтобы придать институтам нового порядка стабильность, нужны годы, нередко десятилетия. Когда привычные установления уже не действуют, а новых — еще нет, жизнь становится тяжелой, нередко — короткой. Кризисы, связанные с институциональным вакуумом, явление в истории редкое. Развитие событий в это время не укладывается в привычные представления о том, как организована нормальная жизнь.

Не понимая этого, трудно ответить на вопрос, почему экономисты с мировым именем высказывают столь наивные суждения, когда речь заходит об анализе событий, происходивших на фоне крушения коммунистического режима в СССР.

Американские профессора, к примеру, пишут о событиях в России начала 1990-х годов: «*Ельцин и его коллеги должны были рассказать российскому населению о том, что путь к национальному обновлению будет долгим и тяжелым, что национальная солидарность и социальная справедливость критически важны, что государство будет стремиться равномерно распределить*

³⁷ North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; North D.C. Institutional Change and Economic Growth. The Journal of Economic History. Vol. 31. Issue 1. March 1971; North D.C. Economic Performance Through Time // The American Economic Review, Vol. 84 (3), 1994.

³⁸ Революция — это «время, когда государство не выполняет своих ежедневных обязательств, когда собственность не защищена властями, когда жакерия охватывает село, беспорядки возникают в городах, когда замки грабят, архивы жгут. Магазины взрываются, продовольственное снабжение и транспорт отказываются парализованными, когда ренты и долги больше не платят, когда суды не выносят приговоры. Когда полицейский не решается выполнить приказ, когда жандармерия парализована, полиция не действует, когда повторяющиеся амнистии защищают грабителей, когда в местных и центральных властях появляется много бесчестных авантюристов, враждебным ко всем, у кого есть собственность». См.: Taine H.A. The French Revolution, Vol. 3. 2001. P. 3.

³⁹ Деятели белого движения в работах, посвященных русской революции нередко использовали термин «смута» для описания происходившего, сравнивая происходящее в новейшей российской истории с событиями смутного времени начала XVII века. См.: Деникин А.И. Очерки русской смуты. М.: Мысль, 1991. Даль определяет смуту как возмущение, восстание, мятеж, крамолу, общее неповиновение, раздор между народом и властью. См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.4 М.: А/О Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. С. 300. Точные, позволяющие учесть все оттенки, связанные с историческим наследием, переводы — вещь крайне сложная. На мой взгляд, ближайшее приближение к российскому слову «смута» на английском языке это «revolt», «distemper» или «uprising».

тяготы перехода к новому режиму между гражданами, что оно постарается обеспечить максимально возможный уровень политической свободы, что оно будет стремиться постепенно увеличить уровень экономической свободы, вводя элементы рыночной экономики, но при этом обеспечивая социальную стабильность»⁴⁰.

О том, как на деле выглядят преобразования в условиях смуты, рассказывает один из свидетелей событий марта 1917 года: «Я иду впереди роты, слышу сзади: «Нет теперь командиров! Идем, как хотим!». Солдаты пьяны и свободой и водкой, всё течет самотеком, под давлением нечеловеческих сил»⁴¹.

Можно представить себе профессоров, пытающихся объяснить участникам событий, что сначала надо создать институты, преодолеть кризис снабжения городов, и лишь потом начинать политические преобразования. Боюсь, что переубедить взбунтовавшихся солдат было бы нелегко.

Небезынтересно читать о том, что «рыночные институты включают: правовую структуру с соответствующими законами, судами, кадрами юристов и системой мер, обеспечивающей соблюдение законодательства; полезно знать и про «сеть социальной безопасности в качестве составляющей нового «социально-го контракта».

Но бывает, что нужно действовать, когда страна банкрот, у правительства нет в распоряжении ни одного боеспособного полка, готового исполнить приказ, не существует ни государственной, ни таможенной границы, нет единой системы правосудия, а в крупных городах для снабжения населения хватит хлеба на несколько дней. Когда государство не способно выполнять свои базовые функции, а его экономическая система устроена так, что может функционировать лишь при всевластии государства.

Отступление про ИРАК

Так было не только в России и других странах, на которые раскололся СССР. Вскоре после падения режима Саддама Хусейна мне привелось быть в Ираке. Режим

Саддама Хусейна был преступным. Быстротечные события весны 2003 года подтвердили: никто в Ираке умирать за Хусейна не собирался. Американцев большинство иракцев встречало как освободителей. Если не считать кучки преданных С. Хусейну головорезов, военная и полицейская элита старого режима была готова служить новой власти и больше того — рассчитывала ей служить. Однако те, кто выработывал в это время американскую политику, никогда не жили в деинституционализованном обществе. Они твердо знали, что павший режим — зло, поэтому его уничтожили. Но они не могли оценить ни последствия крушения саддамовского режима, ни как из них выходить.

Вот как описывали развитие событий американские журналисты: «В детских садах нет электричества. Воспитатели разбежались, родители боятся отпускать детей в образовательные учреждения. [...] Практически каждое государственное министерство с характерным исключением министерства нефти было разграблено и сожжено. Банки, расположенные в районе Багдада, были разграблены. [...] Уже 4 апреля сразу после краха режима снабжение Багдада электроэнергией прекратилось. Система водоснабжения работала лишь на 40% своей мощности»⁴². К июню 2003 года американская администрация осознала, что грабежи наносят иракской экономике больший ущерб, чем военные действия. Хищение медных проводов стало массовым. Крах структур старого режима привел к распространению контрабандной торговли.

То, что после исчезновения с улиц полиции старого режима грабежи, перебои в энергоснабжении станут элементами ежедневной жизни, что многие привычные установления (например, аномально низкие цены на бензин) можно поддерживать лишь имея действующие пограничные и таможенные службы, что с их исчезновением дефицит нефтепродуктов станет острой проблемой, те, кто принимал решения о начале боевых действий, просто не понимали⁴³.

Деятельным участникам событий начала 1990-х годов в России было проще понять взаимосвязь между

⁴⁰ Reddaway P., Glinski D. The Tragedy of Russia's Reforms. Market Bolshevism Against Democracy. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 2001. P.624, 637.

⁴¹ Гуль Р. Конь рыжий. Нью-Йорк, 1952. Ч.3. Гл. 5. Метод доступа: ldn-knigi.narod.ru

⁴² См.: New York Times. 20 April 2003.

⁴³ О связи уничтожения авторитарного режима в Ираке с крахом общественного порядка, прекращением функционирования важнейших элементов инфраструктуры см. также: Arnoldy B. In Vanguard of 'Peaceful Occupation'. Civil-affairs Troops Have Been Sent to Iraq in Their Biggest Callup since World War II // Christian Science Monitor. 2003. April 8; Kaplow L. War in The Gulf: The Iraqi People: Iraqi Police, Doctors, Engineers Eager to Roll up Sleeves // The Atlanta Journal — Constitution. 2003. April 13. О хаосе в Ираке после краха режима Саддама Хусейна см., например: Slackman M., Perry T. U.S. Moves to End Chaos in Baghdad // Los Angeles Times. 2003. April 13; Otis J. Iraqis Find Job of Stilling Chaos Being Left to Them // Houston Chronicle. 2003. April 17..

обеспечением порядка и организацией нормальной жизни в стране. У нас был опыт поколений.

* * *

Крах существующих установлений, отсутствие порядка, гарантий прав собственности, соблюдения контрактов приводит к социальной и экономической катастрофе. Такое не раз случалось в российской истории. Так было в «Смутное время» начала 17 века, так было и в 1917–1921-х годах. Однако, периоды деинституционализации — отнюдь не уникальная российская специфика. При исследовании механизмов развертывания социальной деструкции обнаруживается принципиальная похожесть, даже общность происходившего в странах с очень различающимися традициями и уровнем развития.

Смута — социальная болезнь, сопоставимая по последствиям с голодом, крупномасштабными эпидемиями, войнами. Как показывает исторический опыт, она не оставляет устойчивого иммунитета.

* * *

Те, кто знает историю французской и русской революции, представляли, что может последовать за коротким периодом ликования, насколько серьезные риски, с которыми столкнулась страна.

В СССР, после краха попытки августовского переворота 1991 года, на общие проблемы всех обществ, оказавшихся в подобном положении, накладывались новые, никогда прежде не возникавшие и сами по себе страшные проблемы: распад гигантского союзного государства, гарантировавшего мировое равновесие сил, анемия армии, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, паралич механизмов административного регулирования экономики при отсутствии развитых рынков.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ — ХРУПКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Чтобы ее поддерживать, надо, чтобы бесперебойно функционировало множество разнообразных социальных механизмов. Ее невозможно сохранить, если в города не поступает продовольствие, не обеспечен элементарный порядок, армия не способна защитить территорию государства, нет ресурсов для ее

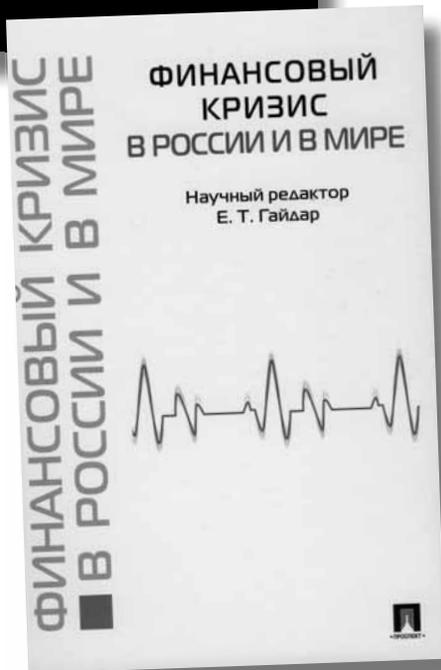
содержания. Когда подобные проблемы решаются удовлетворительно, общество обычно не задумывается, почему так устроено. Это кажется само собой разумеющимся. Можно жаловаться на дороговизну или коррупцию, выросшую уличную преступность, но представить ситуацию, в которой хлеб в город не будут привозить вовсе, а полиция, пусть и несовершенная, исчезнет с улицы, человеку, выросшему в стабильном цивилизованном обществе, непросто. Когда он сталкивается с подобной ситуацией, она представляется ему катастрофой, невероятным кошмаром, для людей религиозных — следствием божьего гнева.

Крупномасштабные технические инновации последних двухсот лет радикально изменили жизнь. Сотни тысяч лет человечество обходилось без электричества, создало без него великие культуры. Массовое распространение электричества сделало цивилизацию несравнимо более мощной, эффективной, комфортной, но и более хрупкой. Прекращение электро- или газо- снабжения крупного города на двое-трое суток — тяжелое испытание для его жителей. Если такое происходит холодной зимой — возникает угроза гуманитарной катастрофы.

В такие времена на первый план в государственной политике и экономике выдвигаются не проблемы темпов роста, и даже не сохранения социальных гарантий или уровня безработицы, а угроза голода, холода, социальной деградации. Так было зимой 1918-го. Так было зимой 1991–1992 года.

* * *

Мир столкнулся с глубоким экономическим кризисом. В экспертном сообществе на протяжении последних месяцев все больше распространяется мнение, что это самый глубокий мировой экономический кризис со времен великой депрессии. Пока кризис ни в одной из крупных стран мира не проложит дорогу к деинституционализации, тому, что на русском языке называется словом «смута». Но кризисные явления в мировой экономике увеличивают риски стабильности сложившихся установлений. Именно поэтому полезно вспомнить о том, какие риски они могут породить. Может быть, это позволит их минимизировать. ■■■



ДОБАВЛЕНИЕ*

Всего несколько соображений. Первое: Динамичный экономический рост в России начался на фоне относительно низких, по историческим меркам, цен на нефть. Широко распространена иллюзия, что экономический рост — только следствие высоких цен на нефть. Это просто не так. Этот рост начался на всем постсоветском пространстве; везде, где были сформированы рыночные институты, с 99-00 годов начался динамичный экономический рост. Он шел на фоне достаточно высокой инфляции, связанной с инфляционной инерцией и укреплением национальных валют.

У нас наложились две разные проблемы. Собственно проблема постсоциалистического перехода — все, что было связано с банкротством советской экономики, что вызвало глубокую структурную перестройку, в основном завершилось к 00 годам. Второй фактор — цикличность мирового экономического развития. Во время постсоциалистического перехода можно было забыть о мировых экономических циклах. Происходившее у нас просто было больше по масштабам, по влиянию на экономику; в эйфории роста забывалось, что современный экономический рост связан с цикличностью и колебаниями...

*31 марта 2009 года в конференц-зале Российской Государственной библиотеки Институт Экономики переходного периода (ИЭПП) представлял две свои итоговые книги. Одна, очень толстая, 1328 (!) страниц, посвящена феномену российского экономического роста в тучных 2000–2007 годах; другая — сама тощая — «Финансовый кризис в России и в мире» рефлексировать по поводу начала тощих лет.

Презентации предшествовал вводный доклад Е.Т.Гайдара. Нам представляется уместным познакомить читателей с некоторыми его тезисами (тем более что, к моему удивлению — В.Я., в зале не было ни камер телевидения, ни пишущих журналистов).

Раньше «тучные» и «тощие» годы связывались с урожайностью и неурожайностью, а потом — с рынками. Установился золотой стандарт... Потом он вступил в противоречие с требованиями экономики... Великая депрессия это хорошо продемонстрировала, и выход из системы золотого стандарта стал неизбежным. Великая депрессия — это кризис золотого стандарта. Но мир радикально меняется, — это, в сущности, разные миры.

Мир, с плавающими курсами основных валют и свободными рынками, — который сформировался на рубеже восьмидесятых годов, это новый мир, ему всего четверть века. Мы плохо представляем, как он устроен, у нас недостаточно опытных данных, чтобы понять, как устроен и работает этот новый мир.

В 1994 году в Вашингтоне работала прекрасная команда экономистов — но она проспала мексиканский кризис; другая высокопрофессиональная команда в 1998 году прозевала кризис в Юго-Восточной Азии... Кризисы до 90-х годов изучены, классифицированы, описаны, связаны с рядом причин (прежде всего — политическими факторами, популизмом властей) ...

О том, что есть проблемы на рынке некачественной ипотеки США, писали — но что они развернутся в полномасштабный затяжной кризис, толком никто не предсказал.

Никто пока не научился хорошо прогнозировать переломы в мировой экономике. Вот прогноз МВФ на 2009 год. Видно, как он несколько раз радикально менялся. Мировой рост и его темпы очень сильно влияют на Россию по двум линиям: на цены энергоносителей и сырьевых товаров. Цены на нефть прогнозировать очень трудно; самая лучшая оценка этого дана в МВФ, и ее суть — мы не умеем прогнозировать цены на нефть.

Надо понимать, что высокие цены на нефть не гарантированы навсегда. Еще год назад солидные ученые нам небезосновательно доказывали, что эти цены никогда не опустятся ниже 100 долларов за баррель. Все это наивно, потому что так можно было рассуждать пока не было деривативов и фьючерсов — и пока нефть не стала не сырьевым рынком, а финансовым.

На этом рынке играют спекулянты и логика развития экономики, перспективы месторождений неизвестны, они играют в короткую — в несколько дней.

В этой связи замедление мирового экономического роста не могло не привести к обратной спекулятивной игре, направленной на снижение цен на энергоносители и сырье.

Второе направление, по которому изменение динамики экономических показателей сказывается на параметрах российской экономики — это приток и отток капитала.

У нас был непростой выбор, когда мы столкнулись с двумя вызовами: снижение цен на экспорт и одновременно отток капитала в 200 млрд. долларов. Надо было решать, что делать. Приятных выборов не было. В этой связи, конечно, в стране платежный баланс и бюджет сильно зависят от цен на нефть и надо понимать риски.

Российские власти, надо сказать, в какой-то степени извлекли уроки из прошлых кризисов, погубивших Советский Союз, в какой-то степени — нет. Осознали крах СССР, который не создавал крупных ликвидных золотовалютных резервов, и столкнувшись с падением цен на нефть, просто обанкротился и рухнул. Но они не сразу поняли, что эпоха богатой казны закончилась и надо подтягивать пояса.

К нынешнему кризису мы оказались прилично подготовленными, с серьезными золотовалютными запасами. Наши власти, на мой взгляд, разумно выбрали свои приоритеты (вне зависимости от того, что они говорят, важно что они делают) — сохранение финансовой системы, стабильность банковской системы и сохранение золотовалютных запасов. Наш ответ был несимметричен решению западных стран — резкое снижение процентной ставки, увеличение бюджетных расходов, чтобы поддержать спрос. Но мы и не в симметричной ситуации. За ними века стабильной финансовой истории, они могут позволить — и обязаны поддержать политику поддержания глобального спроса.

Страны, которые не имеют мировых резервных валют в другом положении. Мы быстро утратили бы резервы, получили бы неконтролируемую девальвацию, инфляцию, неплатежи, рост безработицы и социальную дестабилизацию. Российские власти пошли по пути увеличения реальной ставки и снижения минимального курса рубля по отношению к корзине валют. Девальвация — плохое слово, но попросту говоря — осуществилась девальвация рубля примерно на треть. И несмотря на риторику — пошли по пути ужесточения бюджетной политики. Мне этот подход кажется рациональным, хотя западные коллеги нас не понимают, считая, что мы тоже должны нести бремя ответственности за мировую экономическую систему. Но мы должны нести в первую очередь ответственность за Россию. И мировой экономике не станет лучше, если рухнет российская.

Но за выбор стратегии, направленной на обеспечение финансовой системы, придется платить ситуацией в реальном секторе. У наших властей был выбор: сохранность вкладов или поддержка реального сектора. Выбрали поддержку вкладов. В реальном секторе ситуация смотрится совсем не оптимистично, мягко говоря, там ситуация тяжелая... Там совсем не весело.

Ну и наконец, это ситуация на рынке труда. Собственно в 2007 году у нас рынок труда был перегрет, у нас на 120 процентов в год росла реальная заработная плата и дефицит квалифицированных кадров становился реальным тормозом роста; но когда ситуация кардинально изменилась, и ситуация на рынке труда изменилась.

Власти разумно увеличили пособия по безработице, либерализовали к ним доступ, но то что ситуация будет ухудшаться — нельзя с этим спорить. Это меняет политическую ситуацию. Управлять Россией при ценах в 140 долларов за баррель — приятное занятие. Управлять ею при ценах сниженных в три раза — менее приятно и к этой ситуации надо приспосабливаться. Властям понадобилось несколько месяцев, чтобы это понять. Между мартом-августом прошлого года они наделали много ошибок. Перейти от комфортной жизни к жизни скромной — трудно. К счастью, у нас есть два преимущества: наша политическая элита (руководство ее) живет комфортно, но что бы оно ни говорило о

«воровских» 90-х, оно из них вышло. В этой связи для них понять, что счастье в прошлом и надо возвращаться в трудную жизнь — задача решаемая, они не забыли свое прошлое. К октябрю эта мысль овладела теми, кто принимает решения.

И общество у нас пережило тяжелейший кризис, связанный с крахом СССР. Это не французское общество, не английское, у нас все помнят, как они жили. Поэтому радикальные и драматические изменения тенденции на рынке труда и доходов не вызывают истерической реакции. Пока не вызывают.

Конечно, когда реальные доходы растут на десять процентов в год — править просто и не нужны массовые репрессии, чтобы сохранить власть. Но когда от роста дохода в 10 процентов начинается падение доходов как минимум на 5 процентов, становится трудно. Здесь для власти есть развилка возможных решений. Либо власть, столкнувшись с тем, что ее начинают меньше любить, отвечает репрессиями — это путь к углублению кризиса, и даже путь к смуте.

Либо власть понимает, что ситуация изменилась и нужна обратная связь с обществом, а значит надо спокойно, постепенно либерализовать режим, освободить прессу, проводить реальные выборы, честно разговаривать с обществом, не доводя его до точки кипения, осуществлять реальную борьбу с коррупцией — тогда общественная солидарность поможет выйти из кризиса. ■ ■ ■

ВРЕМЯ ПРАКТИКОВ

РОССИЙСКАЯ ЭЛИТА И СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС

Петр ОРЕХОВСКИЙ

Время от времени российская элита начинает вести себя экономически иррационально. При этом нельзя сказать, что этот факт исчезает из поля обсуждения, отнюдь. В советское время — с начала 70-х вплоть до распада СССР в экономической литературе и публицистике постоянно обсуждалась необходимость перехода к «преимущественно интенсивному экономическому росту»; на протяжении последнего десятилетия мы постоянно слышим заклинания нашего руководства о «необходимости инноваций» и отказа от «сырьевой ориентации» развития страны. Однако несмотря на все разговоры и обсуждения, изменить ситуацию не удаётся. Почему?

По моему мнению, экономическая иррациональность является следствием верности элиты определённым ценностям, которые связаны с теми или иными стереотипами поведения господствующего класса. При этом собственными носителями ценностей являются поколения, смена которых предопределяет дух исторического времени. Чтобы проверить эту гипотезу, был реализован исследовательский проект¹, часть результатов которого представлена в настоящей работе. В первых двух частях обсуждается собственно модель «поколенческой» социальной структуры, в последней части представлена логика развития последнего периода в свете обсуждаемой модели.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: «ВЛАСТЬ», «ПОЛИТИКА», «ЭЛИТА», «СОЦИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ»

Договоримся о понятиях. Вслед за М. Вебером² под властью в данной работе понимаются отношения господства-подчинения между людьми. Типов власти может быть много, в частности, в качестве таковых можно рассматривать классическое деление Аристотеля-Платона на монархию и тиранию, аристократию и олигархию, демократию и охлократию. Соответственно, под политикой понимается деятельность по перераспределению власти в рассматриваемом социуме.

Вышеперечисленные типы власти можно рассматривать также как механизмы селекции «элит» и коммуникации между «элитами» и «народом». Элита рассматривается как господствующий, управляющий класс, конституирующим признаком которого является наличие следующих функциональных проявлений власти:

- экономическая (имущественный статус — богатство, доход);
- политическая (иерархический статус, возможности влияния);
- культурная (символический статус, трансляция образцов для подражания)³.

¹ Полностью отчёт о результатах проекта «Конфликты поколений и смена стереотипов господствующей элиты России» можно посмотреть на сайте лаборатории экономического анализа <http://lab.obninsk.ru>.

² М. Вебер. Политика как призвание и профессия. Избранные произведения, М., 1990.

³ Последнее как обладание властью выделяет М. Фуко.

Принципиальным формальным признаком различия в механизмах селекции элит является как количество субъектов, участвующих в процессе выбора, так и количество социальных групп, являющихся соответственно объектами, «местами» отбора. При монархии — тирании господство сконцентрировано в рамках царствующей семьи, и общепринятым, легитимным механизмом является наследование, причём выбор наследника среди своих родственников осуществляет один субъект — сам монарх. В рамках аристократии — олигархии выбор осуществляет уже несколько семей (родов), причём механизм отбора включает в себя как элементы наследования, так и элементы «вотирования» (будь-то простое голосование большинством или же республиканский выбор «по жребию»). Наконец, в условиях демократии выбор осуществляется путём «прямого волеизъявления» народа. Кроме того, в качестве «объектов», мест выбора, из которых рекрутируется элита, могут выступать любые социальные группы (профессиональные — военные, врачи, предприниматели, учителя; возрастные — люди среднего возраста, пожилые, молодёжь; этнические; региональные). Это обстоятельство делает демократический тип власти наиболее сложным для понимания — описать признаки, по которым в нём строятся отношения господства-подчинения, используя прежние (явные) отличия, кажется невозможным. Другими словами, демократия формально основана на равенстве людей и, соответственно, положения социальных групп, в то время как само понятие элиты предполагает неравенство. В условиях демократического устройства власти легального, официального неравенства не должно быть, во всяком случае, оно не может быть признано справедливым, легитимизировано.

Отсутствие внешнего неравенства в демократическом устройстве власти часто приводит к тому, что оно представляется неким идеалом, «концом истории». Так, по мнению М. Кантора, возникает неверная оппозиция «демократия — тоталитаризм»⁴. Так, в рамках приведённой классификации демократия может противопоставляться монархии и аристократии, но не тоталитаризму; механизм распределения и воспроизводства власти может быть либеральным, тоталитарным или авторитарным, но от этого он не перестаёт быть демократическим. Отсюда возникает родство понятий «элита» и «номенклатура» для разных типов демократического

устройства — большая часть и той и другой появляется на свет не в результате прямых выборов, но в результате некоего «рекрутирования».

Действительно, как показывает авторитетный американский политолог Ф. Закария, демократическое устройство может быть и нелиберальным⁵. Для того, чтобы перейти к либеральной демократии, общество должно пройти через стадию конституционного либерализма и быть достаточно богатым, в противном случае демократия становится весьма неустойчивой. Более того, и в случае богатых и свободных стран дальнейший процесс «демократизации демократии», переход к референдумам и другим формам прямого народного правления также может подрывать основы либерализма.

Используя понятия социальной мобильности, можно сказать, что элиты (номенклатура) формируются путём прохождения через некие социальные «фильтры». Вслед за П. Сорокиным можно выделить в качестве таковых образование (и получение учёных степеней), военную службу, участие в выборных органах и службу в исполнительной власти, создание (или получение по наследству) индивидуального богатства. Указанные фильтры могут работать хуже или лучше — во многом в зависимости от этого население признаёт или не признаёт легитимность элиты. Наличие консенсуса в обществе в отношении справедливости механизма отбора обеспечивает воспроизводство как самих каналов, так и образцов элитарного поведения. В этом случае ценности социальных групп, входящих в элиту, меняются медленно или не меняются вовсе.

Однако если консенсуса нет, то в обществе может постепенно сложиться «контрэлита» — группы, которые население также наделяет высоким социальным статусом, но которые не имеют явной — экономической и политической — власти. В этом случае отношения господства — подчинения возникают на основе символического капитала, капитала науки и культуры. Как показал П. Бурдьё, классификация представляет собой форму доминирования познающего субъекта над объектом. В этом отношении занятия наукой, писательство или создание картин — это занятия классификациями. Но такие занятия нарушают прежние, уже сложившиеся и институционализированные отношения господства — подчинения, поскольку в них уже заложено понимание «лучшего»

⁴ Кантор М. Медленные челюсти демократии. М.: Астрель, 2008.

⁵ Ф. Закария. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М.: Ладомир, 2004. «Обсуждать подобные проблемы — не значит утверждать, что демократия дурна сама по себе... [но] Говорить на эту тему — значит немедленно вызвать в свой адрес критику: вы не в ладах со временем. Опасение заработать клеймо противника демократии принуждает нас замалчивать проблемы, сопутствующие всё большей демократизации жизни. Все исходят из установки, будто демократия в принципе не может вызывать проблем...» — С. 5.

(господства, важности) и «худшего» (подчинения, ученичества, второстепенности). Поэтому группы, обладающие символическим капиталом, — учёные, деятели искусства и литературы, журналисты — оказываются в естественной оппозиции к формальной власти: ведь их право на классификацию подвергает сомнению легитимность и признанность действующих институтов. Более того, по мнению П. Бурдьё, они создают новую социальную реальность, осуществляя это своё право⁶.

В последнем случае возникает власть «морального авторитета», которая со временем может дополниться как политической, так и экономической властью. Тогда произойдёт замена элиты контрэлитой. Используя понятия, предложенные В. Парето, можно говорить о кругообороте элит.

Эта немного усложнённая схема Парето включает в себя социальные фильтры, в отношении которых в обществе нет консенсуса. В связи с этим часть населения идёт по иерархической лестнице «естественным путём», формируя элиту А, другая же часть движется, по крайней мере частично обходя социальные фильтры, и формирует контрэлиту В. Кроме того, контрэлиту В пополняют люди, «выпавшие» из элиты А. Процесс укрепления элиты В сопровождается постепенным ослаблением элиты А, в конечном счёте последняя теряет свою легитимность в глазах народа. Происходит её замена на контрэлиту В. Часть членов элиты А полностью теряют свой статус: как правило, символический капитал к этому времени по большей части растрочен, возможности политического влияния значительно снижены. И хотя остаётся еще

определённая экономическая власть, этого оказывается недостаточно. Другая же часть элиты А переходит в состояние контрэлиты.

Смена поколений в элите и контрэлите представляет развёрнутую во времени схему 1. Можно попытаться представить этот процесс с помощью следующих графиков:

Естественный процесс смены элиты, изображённый на рис.1, не отменяет межличностных конфликтов (участок наложения траекторий двух поколений), тем не менее «правила поведения» и ценности в данном случае сохраняются. Старое поколение может одерживать временные победы над молодыми, но в конечном счёте уступает им свой статус, более того, приобретая богатство и символический капитал, следующее поколение в конечном счёте оказывается более сильным, имеющим большие возможности.

В условиях «рассогласования фильтров», изображённых на рис. 2, возникает ситуация «стеклянного потолка»⁷. Одних «кандидатов в элиту», лояльных по отношению к ценностям предыдущего поколения, фильтры пропускают, других — отбраковывают. При этом у «отбракованных» вначале нет чувства отчуждения по отношению к официальным ценностям, они ещё продолжают пытаться повысить свой статус в общепринятой системе координат. Зачастую такие люди имеют достаточно высокий статус «экспертов-критиков», обладая существенной политической и экономической властью. Однако со временем траектории поколения 2 всё более расходятся: часть, вошедшая в элиту, занимает всё более высокое статусное положение. Напротив, среди их

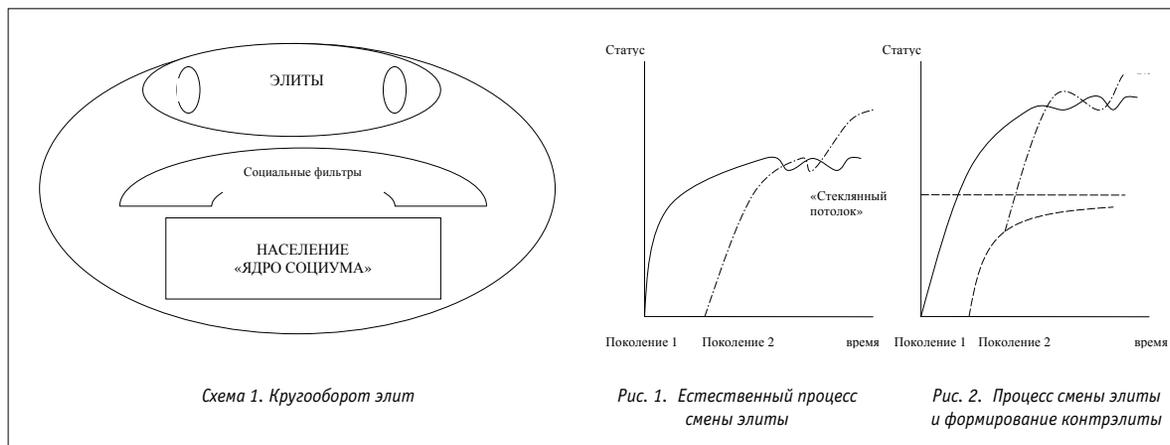


Схема 1. Кругооборот элит

Рис. 1. Естественный процесс смены элиты

Рис. 2. Процесс смены элиты и формирование контрэлиты

⁶ <http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/gtmarket/2006/883>

⁷ Термин отчасти заимствован из трудов Ф. Броделя и Э. де Сото (см., например Э. де Сото. Загадка капитала. — М., 2004), которые вводят понятие «стеклянный колпак». Последний отгораживает элиту, пользующуюся благами судебной системы и правовой защиты собственности, от общества, где продолжают действовать механизмы внезаконного регулирования.

сверстников, не вошедших в элиту, формируются альтернативные ценности, часть из них маргинализируется. Практически во всех сферах науки и культуры появляется и развивается — хотя и в совершенно разных формах — андеграунд.

Стоит специально оговориться, что стеклянный потолок — это не социальный фильтр. Последние представляют собой своеобразные социальные «лифты», каналы рекрутирования элиты; признаки, которыми подчёркивается легитимный статус. Стеклянный потолок, напротив, является «перегородкой», «плотиной» внутри указанных фильтров, основанной не на общественном признании, но на индивидуальной лояльности «начальству» и в принципе не может быть легитимизирован. Более того, в отличие от социальных фильтров, он даже не является предметом общественной коммуникации — формально его не существует.

Наконец, стеклянный потолок неразрывно связан с нелиберальными формами демократии. Условие лояльности не «системе вообще», а её лидеру — пусть даже демократически избранному — означает зависимость прав и свободы личности от данного лидера вне зависимости от персональных качеств последнег

ПОНЯТИЕ ПОКОЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ

Под поколением обычно понимают группу людей, близких по возрасту и занимающихся общей деятельностью. Часто такое определение ставит во главу угла именно возраст и приводит к тому, что поколение как социологическое понятие путается с демографическим, «возрастной когортой». К. Мангейм решает эту проблему с помощью введения понятия «духа поколения». Последний возникает как результат формирования (или переоценки) ценностей у людей, которые в молодости прошли через одни и те же исторические события. Для них возникает «центральная проблема» — своеобразный смысл жизни — проблема, которую они решают всю жизнь, и в зрелом, и в пожилом возрасте⁸.

На базе такой «центральной проблемы» складываются «поколенческие единства» — но ответы на поставленный вопрос они зачастую дают принципиально разные и часто борются между собой. К. Мангейм показывает, что одни и те же события Первой мировой войны и последующей разрухи в Германии привели, с одной стороны, к возникновению коммунистического, «красного», а с другой стороны — национал-социалистического движений.

Ситуация «поколенческих единств» и вопрос, на основе чего они складываются, другими словами, вопрос об идентификационных признаках, по большей части выпадает из поля зрения исследователей. Господствует механистическая логика — была война, значит, «военное поколение». Оттепель — «шестидесятники». Застой — поколение «застоя».

Но, если такой подход неверен, как тогда идентифицировать поколения?

«Дух поколения» — это его ценности. В свою очередь, ценности можно характеризовать как в этической, так и в эстетической системе координат; вслед за Ф. Ницше можно сказать, что «вся жизнь — это спор о вкусах». Принятые ценности формируют стратегию поведения поколения. Последняя представляет собой способ действий, обеспечивающий единство данной группы в социуме.

Важно также зафиксировать, что в «ядре социума» доминируют ценности «порядка», эстетика «уютая». Энергетика «ядра» сравнительно низка, и требуются достаточно большие усилия со стороны людей, обладающих экономическим, политическим и символическим капиталом, чтобы население поддержало смену элиты на контрэлиту.

В свою очередь, логично предположить, что по отношению к этой точке отсчёта (ядру социума), своеобразного энергетического «нуля», расположены две разные этические и две разные эстетические системы. Можно выделить, отчасти повторяя принципы, предложенные Л.Н. Гумилёвым, следующие позитивные и негативные системы этических взглядов:

Позитивное мессианское сознание: «прогрессоры». В эту категорию попадают реформаторы и модернизаторы, строители и бюрократы. Существенной чертой таких людей является вера в то, что следующее поколение, дети, должны быть лучше, умнее, богаче своих родителей. Это — своеобразное выражение «этики прогресса».

Негативное мессианское сознание: «упростители». Сюда попадают, с одной стороны, любители «естественного» — экологи и «дауншифтеры», а с другой — разрушители и «нигилисты». Важной чертой для них является вера в несправедливое, неестественное сегодняшнее устройство общества (что не мешает части из них делать успешную карьеру, однако они никогда не становятся «своими» для «прогрессоров»). Это — своеобразное выражение «этики отвращения».

Деление на «прогрессоров» и «упростителей» является грубым и мало инструментальным, если

⁸ Мангейм К. Проблема поколений // Новое литературное обозрение. 1998. № 2(30).

дополнительно не ввести сюда эстетические предпочтения⁹. Можно выделить:

Эстетику свершений, своеобразную «эстетику героического». В данном случае преобладающим отношением субъекта является «включённость в процесс» — он может быть героем-одиночкой, противостоящим несправедливости мира, погибающим, но утверждающим свои ценности. Однако он может быть и победителем в составе дружеской команды, отстаивающим (и улучшающим) традиционные ценности «системы», делающим мир удобнее. В любом из этих вариантов он живёт и активно взаимодействует с окружением. Его основное время (притом, что он, естественно, интерактивен) — это настоящее.

Эстетику упадка. Субъект здесь находится «вне процесса», он «лишний в настоящем». Отсюда есть два выхода: первый — в своеобразное декадентство, эстетизацию руин и «девственной природы», возврат в прошлое. Второй вариант — это строительство, вечная надежда на будущее. В настоящем времени такой субъект «разрушитель» — окружающее его не устраивает, он испытывает вечную метафизическую ностальгию.

Такое разделение позволяет построить «карту стратегий», приведённую на следующей странице.

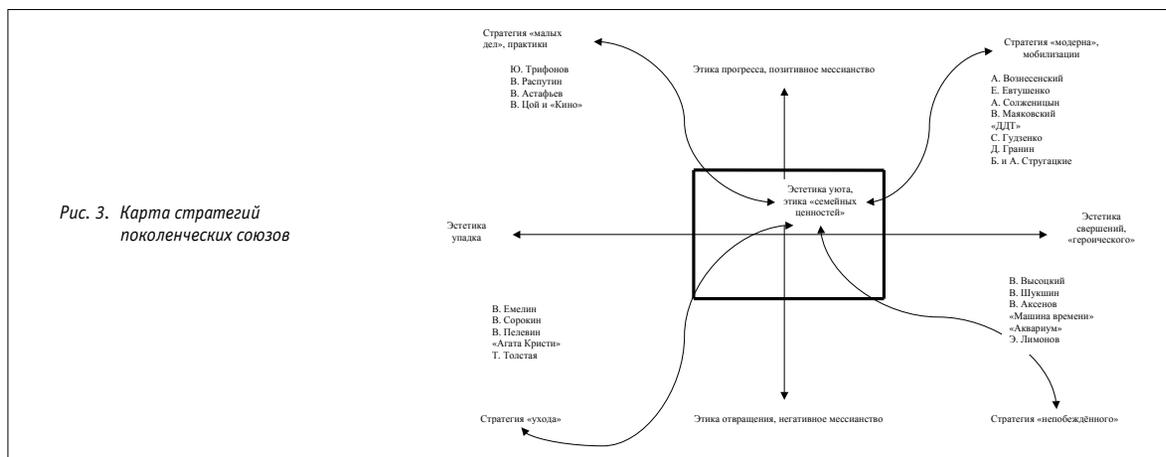
Предложенная классификация, конечно, условна, а отбор имён проведён достаточно случайно, как пример, не более. Кроме того, деятели культуры, решая центральную проблему своего поколения, могли и менять стратегию поведения. Эволюция каждого поколения достаточно сложна. Кстати сказать, именно это обстоятельство может сделать его культурные ценности плохо опознаваемыми или совсем не понимаемыми последующими поколениями. Вместе с поколением обычно уходят и «его» писатели,

поэты и художники, а те, что остаются в культурной жизни других поколений, во многом «перетолковываются», в их произведениях на первый план выходят те детали и обстоятельства, которые сами авторы, возможно, считали второстепенными. И напротив, то, что было наиболее важным, уходит на второй план. Собственно, это проблема и всей человеческой истории — каждый период здесь состоит как раз из таких «закрытых отрезков», и часто реальную оценку того или иного события современниками бывает очень трудно восстановить.

Переходя к характеристике стратегий, стоит особо оговориться, что ни одна из них напрямую не является «антигуманной» или «разрушающей нравственность». Все они так или иначе апеллируют к любви, семье, детям, дружбе, верности идеалам и т.д. Обвинения в «аморальности» и «бесчеловечности» возникают тогда, когда люди, придерживающиеся одной стратегии, судят, исходя из своих ценностей, других людей, придерживающихся другой стратегии и других ценностей. Каждая из стратегий претендует на элитарность, то есть по-своему предлагает придерживающимся её приобретение политического, экономического и символического капитала.

Чтобы описывать стратегии, следует определить их сравнительные характеристики, значимые для способов приобретения указанных типов капитала. Отчасти я уже стал это делать, говоря об ориентированности стратегий во времени. Однако этого мало, следует выделить ещё:

- открытость — скрытость (латентность) в позиционировании поколения по отношению к официальной элите;
- отношение к насилию, готовность к его применению по отношению к оппонентам;



⁹ Классификация эстетических предпочтений была предложена автору обнинским политологом А.М. Борисовым, за что выражаю ему свою искреннюю признательность.

- темп реализации стратегии и её горизонт;
- отношение к «ядру социума» — доступность стратегий: «первые среди равных» или, напротив, «избранные» и «толпа»;
- отношение к Западу и к проблеме эмиграции в целом.

Стратегия «модерна»¹⁰. Эта стратегия предполагает высокую степень открытости и публичных дискуссий по ключевым вопросам жизни общества. Элита здесь — первые среди равных. Даже если в силу каких-то причин люди, придерживающиеся этой стратегии, оказываются вынужденными скрывать свои взгляды, всё равно в своих выступлениях в «официозе» они так или иначе, часто эзоповым языком — стараются провозгласить свои ценности. Данная стратегия предполагает наличие долгосрочного горизонта и сравнительно равномерный, поступательный темп реализации. Важную часть внутрисоциальных конфликтов здесь играют споры о средствах достижения цели. Кроме того, здесь предполагается, что в модернизации общества должны участвовать все, так что социальные фильтры открываются максимально широко.

В отношении к насилию люди, придерживающиеся этой стратегии, вообще говоря, амбивалентны. Её долгосрочность требует быть осторожней с выбором средств — а насилие, даже по отношению к бывшим «палачам», может надолго скомпрометировать осуществляемую модернизацию. С другой стороны, вовлечение в процесс народных масс делает насилие весьма эффективным инструментом (и, надо сказать, по большей части одобряемым массами по отношению к «врагам»). Поэтому террор или, наоборот, гражданский мир в условиях прорыва этого поколения в элиту являются длительными, сравнительно стабильными состояниями. Это — нормы реализации стратегии, и от них трудно отказаться.

«Модернисты» всегда ориентированы на Запад. Они либо его «догоняют» и хотят победить, либо желают войти в «сообщество цивилизованных народов» путём уступок и следования советам иностранных старших братьев... Легитимация их заслуг на Западе для них принципиальна.

Стратегия непобеждённого¹¹. Это — стратегия избранных и для избранных, предполагающая изначально

деление социума на «толпу» и «героев», «обывателей» и «чужаков», тех, кто способен выскочить из жизненной колеи, за «линию флажков», и тех, кто будет продолжать жить «по накатанной». Как правило, это стратегия «с двойным дном», поколения, которые её реализуют, никогда напрямую не заявляют о своей «избранности». Поэтому она реализуется скрыто, а заявление позиции «героя-одиночки», отстаивающего свои экзистенциальные ценности, изначально ставит социолога в тупик: если он — один, то как можно говорить о «группе», о «поколении»?

Данная стратегия имеет краткосрочный горизонт и высокий темп реализации. Положение «избранного» предполагает попадание в элиту (контрэлиту) ещё при жизни, поэтому средства приобретения капитала здесь максимально разнообразны и не исключают индивидуальное (в том числе, криминальное) насилие. Однако «легитимный» официальный массовый террор как средство реализации стратегии здесь исключён, в отличие от «модерна». Для «непобеждённого» характерно наличие в его жизни множества «чужих», «палачей», «агрессивно-послушного большинства» и т.д., но сам он открыто, легально может только «пресекать экстремизм» отдельных личностей, не более того. Хотя бы этих «отдельных личностей» и набралось достаточно много, так что на практике они составили бы целые социальные группы, поколение «непобеждённых» будет искренне отрицать своё системное насилие по отношению к другим. С их точки зрения, объект насилия (а они для себя — всегда жертвы) не может быть субъектом террора.

«Западный фактор» для стратегии «героев-одиночек» важен не менее, чем для «модернистов». Эмиграция здесь рассматривается как один из возможных вариантов стратегии прорыва в элиту; а эмигрант — как заведомо «избранный», вне зависимости от того, какой социальный статус он получает в западной стране.

Стратегия ухода. Данная стратегия заявляется, как и стратегия модерна, максимально открыто. Однако если для поколения «модерна» критика существующего положения дел ведётся с позиций возврата (или построения новых) нравственных ценностей в настоящем времени, сейчас, то для поколения «ухода» характерен нигилизм, отрицание сегодняшних ценностей в принципе. Часто

¹⁰ «Модерн», «модернисты» — вероятно, не самое удачное наименование стратегии, совмещающей этику прогресса и эстетику героического, поскольку оно совпадает с определённым художественным стилем и даже эпохой (конец XIX — середина XX века). В то же время, к сожалению, я не могу подобрать более точного термина для характеристики уверенности таких людей в возможности гармоничного сочетания научно-технического и социально-экономического прогресса, в возможности «счастья для всех», выражаясь словами героя романа братьев Стругацких. Эта вера в возможность кардинального изменения мира к лучшему и реализацию моральных «абсолютов» объединяет очень разных персоналий в единую группу (например, «шестидесятники»).

¹¹ Может, точнее было бы сказать «непобедимого», в соответствии с одноимённым рассказом Э. Хемингуэя.

для удобства критики занимает шокирующая позиция защиты предыдущего (но не сегодняшнего!) поколения модерна, тогда критика ситуации настоящего ведётся с позиций мифологизированной истории. Для этого поколения нет и не может быть живых авторитетов — последние и есть апологеты и создатели полностью лживой и омерзительной современности, в которой не хотят жить «уходящие». Поэтому чем большим капиталом обладает та или иная «официальная» личность, тем жёстче делается отношение к такому человеку — ведь он сделал свой капитал на создании современной системы. То же самое происходит и в отношении «общепринятых» ценностей и идеалов — коммунизма и капитализма или, скажем, патриотизма и «космополитизма». Целью является прорыв к истинным, действительно общечеловеческим ценностям, хотя для этого могут быть использованы и средства Герострата. Этот прорыв может реализовываться и через суицид, тогда символический уход дополняется уходом в самом что ни на есть прямом, буквальном смысле. Как и в случае с «непобеждёнными», суицид здесь, в принципе, получает положительную моральную санкцию.

Эта стратегия, как и стратегия модерна, рассчитана на долгосрочный горизонт, однако темп её реализации нестабильный, «рваный». Долгие периоды относительной «спячки» и сравнительно спокойного сосуществования с социальным окружением могут сменяться лихорадочной деятельностью по самореализации. «Уход» проявляет себя в самых разнообразных формах, поэтому постоянная борьба за приращение собственного символического и экономического капитала внезапно может смениться апатией, возвратом к «семейным ценностям», увеличением потребления спиртного и наркотиков, присоединением к той или иной религиозной секте, увлечением мистикой.

«Уходящие», как и «непобеждённые», полагают себя «жертвами системы» и в силу этого неспособны к организации тотального, системного террора. Однако если «непобеждённые» скрывают своё избранничество от «толпы» — и уже в силу этого не являются последовательными, непримиримыми врагами официальной элиты, то в случае «уходящих», открыто противостоящих всем социальным группам, которые реализуют другую стратегию, дело обстоит именно так. Здесь градус противостояния намного выше, поэтому именно такие поколения реализуют наиболее шокирующие общественное сознание эстетические проекты.

Прорыв в элиту через получение политического капитала здесь является редким исключением и происходит в периоды больших социальных трансформаций. Тогда подполье действительно может стать «официозом».

В основном стратегия ухода связана с приобретением символического капитала, как культурного, так и компетентностного. Получение статуса «гуру» может сопровождаться приобретением и экономического капитала — процент аскетов и стоиков среди «уходящих» вряд ли отличается от аналогичного показателя в поколениях, реализующих другие стратегии. И хотя «компетентностный» статус ближе к «избранному», чем к «первому среди равных», для «уходящих» будет характерно именно последнее отношение к «своим» авторитетам. Это обусловлено уже рассмотренным выше полным отрицанием позитивных заслуг официальных высокостатусных персон.

Другим вариантом прорыва в элиту для этого поколения является приобретение экономического капитала. Поскольку официальные, формальные ценности рассматриваются здесь исключительно как фальшивки, постольку в процессе получения богатства легко могут быть нарушены как общепринятые моральные, так и юридические нормы (то же самое справедливо и для «героев-одиночек»).

Запад и эмиграция здесь рассматриваются лишь как варианты «ухода», по-видимому, примерно равные большому количеству спиртного и наркотиков, не более. Он существует как культурная ценность, однако для «уходящих» часто не меньшую ценность может представлять и Восток (прежде всего Индия и Китай) или «глубинная», почвенная Россия. Хотя следует учитывать, что ориентация на «компетентностный» статус для части «уходящих» делает эмиграцию весьма привлекательной: это своеобразный прорыв из андеграунда в элиту (правда, не в национальную, а в мировую).

Стратегия малых дел (практики). Данная стратегия также предполагает деление социума на «избранных», улучшающих мир, и «неразумное население». В отличие от «модернистов», стремящихся радикально улучшить, изменить социальное устройство и духовный мир каждого человека, «практики» совершенствуют имеющееся. Другими словами, в отличие от модернистов-реформаторов, это менеджеры-бюрократы. Одновременно они отличаются и от «уходящих»: если для последних эстетический идеал — грандиозные величавые руины, оставшиеся от победы над «старой ложью» и «палачами», то для «практиков» это — новое строительство. Поэтому они продолжают улучшать то, что достаётся им от предыдущих поколений, это — своеобразные конформисты. Причём конформизм состоит здесь не в том, что «практик» отказывается от своей точки зрения в пользу мнения большинства в расчёте на получение выгоды для себя, отнюдь, «практики» могут быть весьма конфликтными, эгоцентричными и последовательными. Их конформизм



состоит в том, что они отказываются обсуждать основания социального устройства, они «принимают мир таким, каков он есть».

Поскольку такая ориентация идеально «вписывает» данное поколение в социум, некоторые социологи презрительно называют их «манкуртами» или «големами»¹², относя их к «потерянным поколениям». Это результат плохого знакомства с ними и непонимания сути стратегии «практиков» — они позиционируют себя почти всегда как «вечно вторые». Пока представители других жизненных стратегий, «теоретики» ведут споры и принимают на себя риски за радикальные решения, «практики» занимают ключевые места для реализации этих решений. Естественно, такая стратегия не декларируется «ядру социума» — здесь, как и у «непобеждённых», нет потребности в социальной мобилизации¹³.

Горизонт этой стратегии — краткосрочен, цели «практики» ставят себе «реальные». Темп реализации стратегии — средний, не медленный, но и не быстрый; практиков раздражают как авралы, так и апатия, им нужна постоянная, стабильная работа и непрерывный прирост экономического и политического капитала. При этом они «концентрируются на мелочах», и хотя они и ориентированы на будущее (сравнительно редко — на прошлое) как идеал, но прекрасно осведомлены о сегодняшних условиях жизни. В результате латентности этой стратегии смысл и цели деятельности уходящего поколения «практиков» ускользает от внимания социологов и историков также, как и мотивы поступков «непобеждённых». Это — «закрытые миры» со своими ценностями.

В отличие от «героев-одиночек», которые для себя всегда — жертвы обстоятельств, «практики» для себя — «победители». Они владеют обстоятельствами, выстраивают их. К террору они относятся нейтрально — если он «вписан» в нормы общества «модернизаторами», то как инструмент он будет использоваться «практиками», если нет, то он и не будет ими создаваться. Для них нет проблемы цели и средств; для них существуют лишь вопросы удобства и эффективности. «Практики» — это и есть та «система», которой боятся «непобеждённые», которую ненавидят и пытаются взорвать «уходящие», над которой, наконец, проводят свои реформаторские эксперименты «модернизаторы».

Наконец, «практики» — единственные, кто настороженно относится к Западу и ждет от него неприятностей.

Это связано с отсутствием их легитимации на Западе — вне национального социума высокий социальный статус практиков подвергается оскорбительному сомнению. Российские бюрократы или успешные администраторы, обладающие политическим капиталом, ассоциируются на Западе в лучшем случае с коррупцией, а в худшем — с организацией репрессий, владельцы крупных состояний — с воровством и связями с криминальным миром. Символический капитал «практиков», как правило, незначителен (или отрицателен). В связи с этим стратегия позиционирует практика как «патриота». Патриотизм здесь понимается в весьма узком «практическом» смысле неприятия эмиграции и ориентации на приумножение своего капитала прежде всего внутри страны.

ВРЕМЯ ПРАКТИКОВ (1999–2009) И ПОПЫТКА ПРОГНОЗА

Дух того или иного времени, таким образом, определяется «духом поколения», которое является наиболее многочисленным и реализует ту или иную стратегию для прорыва в элиту. Однако поколения, которые используют одну и ту же стратегию, могут принципиально различаться по тем ключевым событиям, которые вызвали у них «центральное переживание», поставив тем самым проблему, которую эти поколения будут решать «всю оставшуюся социальную жизнь».

Данная реконструкция имеет целью представить историю недавнего прошлого как реконструкцию жизни и деятельности различных поколений. В связи с этим здесь весьма схематично проводится ретроспектива по следующим «реперным точкам» анализа:

- центральная проблема, в отношении которой формировались внутриспоколенческие и межпоколенческие конфликты, и которая предопределила дальнейшую траекторию социального движения различных поколений;
- основные механизмы приобретения капитала и, соответственно, механизмы рекрутирования элиты;
- взаимосвязи между механизмами приобретения капитала и социально-экономическим развитием;
- механизмы возникновения (разрушения) «стеклянного потолка» и разрывов в социальных коммуникациях;
- наличие (отсутствие) культурного и научного андеграунда и «уход» в эмиграцию.

¹² См., напр. Б. Дубин. Поколение: социологические границы понятия // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 2 (58). С. 15

¹³ Характерен шуточный тост, распространенный среди «практиков»: «За узкий круг ограниченных людей».

ПРОБЛЕМА И КОНФЛИКТ

Центральными событиями последнего десятилетия, ещё не получившего своего общепринятого названия в отечественной социальной памяти, стали два непосредственно связанных между собой события: дефолт и окончание «холодной» гражданской войны. Дефолт вызвал не только падение доходов населения, он означал ещё и полный политический крах российских либералов, которые «довели страну», были «ещё хуже коммунистов». В свою очередь, окончание «холодной» гражданской войны связано с победой и последующим объединением «Единства» и «Отечества» на выборах 1999 г. Это означало консолидацию господствующего класса, что одновременно привело и к внутренней легитимации, и к стабилизации нового распределения власти.

В настоящее время в российской элите действуют три основных многочисленных поколения:

старшее: поколение «героев-одиночек», примерно 1950-1965 гг. рождения. Оно проделало свою естественную эволюцию — часть этого поколения сохраняет себя в позиции «непобеждённых» — «непримиримых», другая часть по-прежнему «в действии». Именно им сейчас принадлежит основной политический, экономический и символический капитал. «Непобеждённые», как обычно, создают свои «кружки», пытаются контролировать каналы проникновения молодёжи в элиту; в отношении культуры и масс-медиа им в основном это удаётся (по поводу сферы НИОКР — см. ниже). Как победившие, так и «непобеждённые» пытаются получить для себя гарантии безопасности, что выражается в сокращении возможностей ротации элиты и строительстве «стеклянного потолка»;

среднее: поколение «кухода», примерно 1958-1970 гг. рождения. Это поколение «разошлось» на «практиков» — предателей и остающихся «хранителей»; часть последних перешла к стратегии «непобеждённых». Они обладают существенным экономическим и большим символическим капиталом (практически все российские

«постмодернисты» принадлежат к этому поколению). Политический капитал этого поколения оказался относительно небольшим, но у них есть молодые наследники, которых пока сравнительно немного. Это, с одной стороны, разного рода российские «националисты»¹⁴; с другой — нацболы; наконец, отдельно необходимо выделить «правозащитников»¹⁵. Всех этих молодых последователей объединяет сравнительно высокая энергетика, направленность на действие, все они питают отвращение к действующей «фальшивой демократии», у них — общее центральное переживание, связанное с холодной гражданской войной 90-х, где они потерпели поражение. Такая ситуация описана и в социологии, и в истории — подобные поколенческие союзы напоминают Германию двадцатых годов, пережившую поражение в Первой мировой войне и последующую разруху, связанную с непосильными контрибуциями. И это вполне могло бы привести к соответствующим перспективам и для России, если бы не малочисленность этих поколенческих союзов, по крайней мере, в настоящее время;

младшее: «практики» (1971-1985 гг. рождения). Это основное поколение «нулевых». Они тоже пережили «лихие девяностые», но если для вышеперечисленных поколенческих союзов, в которые вошли их сверстники, прошлое было временем надежд, отдельных славных побед, в которое они хотели бы вернуться и «перевоевать» заново, то «практики» даже не хотят об этом вспоминать: для них это годы «национального унижения» России. «Прорабы» перестройки и «поколение реформаторов», с их точки зрения, — безграмотные дилетанты. 1985 — 2000 — потерянные для развития России годы. Проблема, которую им предстоит решать всю жизнь: как удержать достигнутую социальную стабильность и добиться улучшения жизни населения. За последние восемь лет они пришли к выводу, что такое — возможно, «здесь и сейчас». Именно это доминирующее поколение (очевидно, с подачи старшего поколения «одиночек») сейчас называют «офисным планктоном»¹⁶.

¹⁴ Термин «националисты» здесь взят в кавычки потому, что под ним объединяются русские, кавказские, татарские, якутские, тувинские и многие другие национальные движения, действующие на территории России и использующие мифы прошлого для прорыва в элиту. Главным лозунгом здесь является этнократия; в остальном они очень похожи друг на друга. Впрочем, русский национализм пока ещё немного экзотичен: он пытается отстаивать *привилегии русского меньшинства* в стране, где *большинство* населения считает себя русскими.

¹⁵ С правозащитниками — движением в защиту прав человека — особая и давняя коллизия: весь вопрос в том, кого именно они считают *человеком, имеющим право на защиту*. Достаточно часто это движение поддерживает любые формы этнократии и национальной исключительности, кроме русской, а также защищают права отдельных представителей элиты, но не обычного русского населения. В результате такого подхода они оказались маргинализированы не менее, чем обычные националисты. Собственно, их мифология «вечно обиженных» и «идеального Запада» мало чем отличается от националистических мифов «угнетения» и «золотого прошлого».

¹⁶ Другое используемое среди собственно молодёжных групп название — «казуалы», вроде бы оно появилось ещё ДО известного произведения О. Робски.

Как обычно после большой «перетряски» элиты, а тем более, смены её на контрэлиту, победившее поколение («герои-одиночки») пытается создать себе «гарантии несменяемости», для чего вступают в союз с «практиками». Этот странный только на первый взгляд альянс (на уровне персоналий трудно представить себе что-либо более противоположное, чем М. Леонтьев, А. Привалов и Г. Павловский с одной стороны и, скажем, Д. Медведев, В. Сурков, О. Дерипаска — с другой) породил в нулевых новое явление — молодёжные политические организации («Наши», «Местные», «Молодая гвардия», «Политзащитники», «Мы»). По-видимому, это — знаковое событие, ничего подобного в 90-е годы не наблюдалось — молодёжь напрямую участвовала в общественной жизни, выдвигая лидеров из своей среды. В настоящее время молодёжь рекрутируется под чужими лозунгами (неважно, лозунги ли это ЕдР`а или СПС). Участие в демонстрациях и митингах под чужими лозунгами — очевидный ритуал, требование лояльности к «старшим товарищам»; это то, что хорошо умеют делать «практики».

Однако в связи с идеологической неопределённостью становится затруднительным ввести соответствующую проверку на лояльность. Очень трудно быть лояльным «суверенной демократии», когда никто не понимает, что это такое. Но лояльность необходима хотя бы для минимального консенсуса, для различения «своих» и «чужих». В результате «практики» организуют административную процедуру различения — членство в «системообразующих» партиях (ЕР, СР, ЛДПР, КПРФ, СПС (ныне — «Правое дело»), «Яблоко»), продолжением которых становятся упомянутые выше молодёжные движения. «Внесистемные» политики маргинализируются и выталкиваются с политической сцены вне зависимости от своей «лево-правой» ориентации. Отсюда в «непримиримой оппозиции» создаются «противоестественные», необъяснимые с точки зрения идеологии, альянсы, где правозащитники маршируют вместе с националистами, а правые — с национал-большевиками. Такая «Другая Россия» проводит свои «Марши несогласных». Позитивной программы, в отличие от старых советских диссидентов, отстаивавших капитализм и западные ценности, здесь уже нет, есть только естественное желание вернуться в элиту. И, надо сказать, в целом шанс вновь получить легитимацию у них сохраняется — однако не как у общественных движений, но как у отдельных персон; достаточно лишь отказаться от личных амбиций и вступить в одну из «системообразующих» партий. Со старыми диссидентами их объединяет только апелляция к Западу, что вызывает очевидное раздражение элиты, напоминая о возможностях возврата к «внешнему управлению».

Таким образом, «поколенческий конфликт» нынешнего времени замыкается почти полностью в «культурно-научные рамки», что связано с наличием большого символического капитала «уходящих». Этот конфликт исчерпывается противостоянием «гламура» (официоза) и трэшевой социальной фантастики (т.н. «чернухи»), при этом последние определения распространяются и на сферу общественных наук (философию, социологию, экономику, историю). Несмотря на очевидную остроту конфликта, он, в отличие от публицистики 80-тых, имеет слабое влияние на борьбу за перераспределение власти в других сферах общественной жизни. Последнее связано с практически полным уничтожением механизмов воспроизводства и роста символического капитала в российской провинции, поэтому по мере удаления от Москвы указанное противостояние ослабляется и исчезает.

МЕХАНИЗМ РОТАЦИИ ЭЛИТЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

После «дела ЮКОСа» элементы «стеклянного потолка» появились и в сфере приобретения экономического капитала. Руководство «ЮКОСа» позволяло себе открытую политическую нелояльность к господствующему классу, тем самым демонстрируя легитимность приватизации «Юганскнефтегаза» и других активов, входивших в компанию. В этом не было ничего неожиданного: в период «семибанкирщины» экономическая суперэлита, в руках которой оказались и основные масс-медиа, контролировавшие процесс производства (или уничтожения) большой доли символического капитала, убедилась, что наступило господство именно «олигархии». Это вполне соответствовало мироощущению «героев-одиночек», изначально считающих себя аристократами. Проблема, однако, была в том, что олигархия предполагает совсем иной способ рекрутирования и воспроизводства элиты, нежели демократия. Если бы разговор об «олигархии» шёл всерьёз, необходимо было вводить соответствующие процедуры — учреждения новой «палаты лордов» (Боярской думы) и разгона избираемого парламента. Ничего этого не было сделано (да и не могло быть сделано, по-видимому). Нелояльность была ликвидирована, и возникло давно ожидавшееся «частно-государственное» партнёрство. Люди, располагающие экономическим капиталом, стали поддерживать политиков; последние лоббируют их интересы, включая защиту этих интересов за рубежом, — но не этого ли хотел господствующий класс? И не так ли устроена «западная демократия», к которой апеллируют «несогласные»? И насколько отличается положение коммунистической партии США, «чёрных

пантер» и ку-клукс-клана от положения нацболов, правозащитников и российских националистов? И, в свою очередь, почему такая модель «западной демократии» называется реальной, а российская — имитационной¹⁷?

Логично, что для ведения крупного бизнеса также стала предусматриваться административная проверка лояльности, — теперь необходимо быть членом какой-либо системообразующей партии, а партия будет защищать интересы бизнеса при установлении институциональных рамок функционирования экономики. Такая система, конечно, непрерывно порождает коррупцию — политики получают ренту от бизнеса за формирование правил, защищающих экономическую элиту от конкурентов и консервирующих такое положение. Но первопричиной коррупции является не то, что «общество» и «бизнес» не разделены, а то, что элита хочет остаться несменяемой, её ротация не допускается¹⁸. Ничего нового в этой ситуации нет — коррупция и «теневая экономика» развивались при социалистической демократии после конца «оттепели», которая, в свою очередь, возникла как результат консенсуса элит вокруг отмены сталинского механизма ротации путём террора. То же самое возникает и в условиях российской капиталистической демократии как результат такого же консенсуса элит вокруг отмены ротации путём отстрела в условиях холодной гражданской войны. Наконец, этот же процесс может иметь место и в странах Запада, если в силу каких-то причин там появится желание гарантировать несменяемость элиты, а это сразу же потребует разработки процедур проверки лояльности, что приведёт к появлению «стеклянного потолка», и так далее — по кругу.

Несменяемость элиты, после периода роста, приводит к ухудшению дел в экономике. Возникают «кризисные явления» — слово «кризис» элита старается не использовать как можно дольше, поскольку это очевидно увязывается с качеством управления страной. И кризис наступает довольно быстро — в рассмотренной версии истории аналогичная ситуация возникла к концу семидесятых, через десять лет после окончания «оттепели», и в нынешней ситуации потребовались те же десять лет. Но теперь существенным отличием ситуации является отсутствие в нынешней России «большой науки», которая ещё сохранялась в СССР в конце 70-ых.

¹⁷ См., например, Д. Фурман. Проблема 2008: общее и особенное в процессах перехода постсоветских государств. <http://www.polit.ru/lectures/2007/10/19/furman.html>

¹⁸ Эта же причина лежит и в основе, по сути, непринципиального различия между «современной российской» и «западной» моделями демократии. Но, в конечном счёте, это вопрос соблюдения правил, которым следуют поколенческие союзы. Так, «практики» их стараются соблюдать, а «герои-одиночки» соблюдают только те правила, которые считают выгодными для себя. Отсюда и «растут ноги» в российском изобретательстве схем, позволяющих легально нарушать правила, — они ведут к сохранению изобретателями своего чувства «избранных».

Требование лояльности разрушает критерий компетентности при отборе элиты, в результате цели краткосрочной стабильности начинают доминировать над целями роста и развития. Ситуация «нулевых» во многом повторяет ситуацию «семидесятых» — тогда все были согласны с необходимостью отказа от «экстенсивного» экономического развития, сейчас все согласны с необходимостью отказа от «сырьевой» ориентации; и тогда, и сейчас говорили об «инновациях». Однако социальная стабильность, на которую ориентированы практики, не допускает реальных инноваций, которые ломают социальную структуру.

Для того, чтобы обеспечить социальную стабильность в 70-е и создать статусные места директоров, инженеров, учёных строили новые заводы и создавали НИИ, вместо реконструкции и реорганизации — последнее приводило бы к конфликтам. В результате снижались фондоотдача и производительность. В нулевые годы основные статусные рабочие места создавались в псевдо-постиндустриальном секторе: стремительно увеличивался рост занятых в государственном и муниципальном управлении, торговом секторе, включая операции с недвижимостью, других посреднических структурах, в первую очередь, финансово-юридических. Последние по большей части создавались в рамках «выстраивания схем» оптимизации налогообложения и «распила» полученных бюджетов. Капитализм в России оказался с очень странным «экономическим лицом», имеющим мало общего с эффективностью.

РАБОТА ФИЛЬТРОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ. НАРАСТАНИЕ АМБИВАЛЕНТНОСТИ

Развитие фундаментальных исследований, сферы НИОКР, а также качественное образование связаны с поколениями, действующими в логике «модерна». НИОКР — это слишком большие риски для бизнеса, в котором сейчас в России доминируют практики. В рамках реализации стратегии «практиков-бизнесменов» для науки, которая подвергает сомнению и изучению основы мира, нет места в принципе — сами-то они воспринимают этот мир как данность. Отсюда и возникает невозможность «смычки» НИОКР, образования и бизнеса — кроме

различия в институциональных правилах, в которых «работают» эти сферы, это ещё и разные мировоззрения.

Зато практики очень любят «инновации». Если можно купить готовую технологию, оборудование, при наличии соответствующих финансовых средств это будет сделано. Собственно, так и осуществлялось «догоняющее развитие» России после 1998 года. Заимствовались технологии, покупалось оборудование, строились заводы, принадлежащие западным собственникам. Ничего подобного механизму развития СССР в 1953 — 1968 гг. здесь не имело места.

Система образования за это время полностью деградировала. В условиях ориентации вузов на получение максимума финансовых поступлений, отсутствия вузовских НИОКР и связей с коммерческим сектором вузы превратились в предприятия, «торгующие дипломами». В то же время, поскольку в условиях восстановления «стеклянного потолка» опять становится главным не компетентность, а лояльность, постольку специальных требований к вузам, производящим «человеческий капитал», ни государство, ни бизнес не предъявляют.

В этом отношении достаточно забавно общее убеждение, что в России выпускается слишком много дипломированных экономистов, юристов, психологов. Однако никто не считал, сколько выпускается специалистов в области технологий машиностроения, литейного производства, эксплуатации реакторов на атомных станциях, других инженерных специальностей — по отношению к потребности в них. Государственные вузы сохраняют всю номенклатуру выпускаемых специальностей, действуя в прежней, ещё советской логике, — кафедры и образовательные программы закрывать нельзя. Поэтому наличие диплома государственного вуза гораздо важнее самой специальности, сейчас это вновь — пропуск в следующую страту. После начала 90-х, когда такой пропуск не требовался, уже к нулевым годам он стал обязательным — если уж человек неспособен даже на то, чтобы вуз закончить, значит, он полный разгильдяй (или аутсайдер, непонятно, что хуже). В результате высшее образование в России стало всеобщим и, по сути, приравнялось к среднему.

«Стеклообразный потолок» приводит к разрывам в социальной коммуникации, что в первую очередь влияет на работу социальных фильтров, в результате чего в общественном мнении возникает и развивается амбивалентность. Так, существенная часть элиты по-прежнему пребывает в убеждении, что образование, здравоохранение и наука в России сохраняются как государственные институты, хотя размеры репетиторства, платной медицины, платных защит диссертаций, по-видимому, кратно

превосходят бюджетное финансирование указанных сфер. У политической и хозяйственной элиты сохраняется отрицательное отношение к «теоретикам» — и в то же время, по-видимому, редкий губернатор и мэр крупного города не имеет кандидатской, а то и докторской степени. Естественно, что большинство диссертаций защищается уже после получения высокого политического или экономического статуса, что предполагает совмещение научных занятий с бизнесом и политикой — и подавляющая часть учёных степеней получается российским истеблишментом именно по экономике и праву, т.е. именно в тех сферах, где в России «слишком много специалистов».

Подобная же амбивалентность возникает и в отношении службы в Вооружённых силах: с одной стороны, мо-лодёжь всячески пытается от неё «откосить», с другой — растёт потребность частных структур в людях, имеющих боевой опыт, умеющих применять оружие и планировать тактические операции (как по обороне, так и по захвату). В целом военное сословие и «менты» по-прежнему имеют один из самых низких профессиональных социальных статусов, но работа в многочисленных службах охраны (и федеральной, и различных корпораций) уважается и приветствуется. Это двойственное отношение легко объяснимо — милиция и Вооружённые силы презираются, так как выполняют задачи обеспечения безопасности «толпы», российского народа. А спецслужбы и охранные агентства делают то же самое в отношении «избранных». После войны в Югославии реформа Вооружённых сил, по-видимому, ускорила, причём у российской современной элиты уже сформировалось убеждение в необходимости ядерной стратегической компоненты как гарантии сохранности экономического капитала.

Хуже всего дело обстоит с горизонтальной мобильностью — в отношении переезда в Сибирь, на Дальний Восток или Север существуют только отрицательные, негативные стимулы. В результате структура хозяйства этих регионов постепенно эволюционирует к сырьевой. Одновременно к радости «экологистов-уходящих» происходит депопуляция этих территорий и восстановление природных ландшафтов.

Укрепление лояльности привело к постепенной ликвидации реального местного самоуправления на местах. Вертикаль власти дошла до городов и районов, слабая местная аристократия быстро влилась в структуры «системообразующих» партий. Постепенно восстанавливается советская система управления городами — в условиях однонаправленной горизонтальной мобильности (все — в Центр, в Москву и близлежащие области) исчезает идентификация своей политической и экономической

судьбы с родным городом, напротив, возрастает роль вертикальной коммуникации.

Социальные фильтры, связанные с образованием, наукой, созданием художественных произведений, играют принципиальную роль в формировании и росте символического, компетентностного капитала. В российской провинции эти фильтры уже практически ликвидированы, экспертное мнение позволено иметь только столичным организациям, сохраняющим каналы для его трансляции. Ликвидация фильтров привела к появлению двух неожиданных для России XXI века феноменов:

□ исчезновение интеллигенции как прототипа среднего класса. Последняя трансформировалась, с одной стороны в пролетаризовавшихся «бюджетников» и — отчасти — в «офисный планктон», а с другой — в причисляющих себя к «новым русским»¹⁹ менеджерам и собственникам. Данное исчезновение представляется чрезвычайно важным, так как в российской социальной структуре, в сущности, более нет социальной группы, ответственной за производство нового и сохранение старого знания;

□ отсутствие культурно-научного российского андеграунда. Несмотря на то, что «стеклянный потолок» между российской провинцией и столицей растёт и укрепляется, «подполья» в провинции не возникает. Для существования андеграунда необходимы не только производители и потребители альтернативной «официозу» продукции, но и сохранение иерархии статусов как гарантии «качества» в рамках андеграунда, а для этого сохранения опять-таки требуются образовательные фильтры. В противном случае шарлатанскую работу невозможно отличить от научной, графоманию — от талантливого романа. Именно последняя ситуация и имеет место.

Используя категории, введённые в научный оборот В. Каганским, можно констатировать, что российская провинция, лишённая механизмов воспроизводства символического капитала, стремительно превращается (превратилась) в периферию. Основная часть её ресурсов используется в режиме колонии, что делает невозможным «инновационное развитие», сохраняя «сырьевую ориентацию». Однако одновременно это обстоятельство способствует укреплению и сохранению «вертикали власти» и стабилизации нелиберальной демократической системы.

ЭСКИЗЫ СЦЕНАРИЕВ СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Наступивший экономический кризис закономерен — и если бы не внешние причины, в том числе связанные с падением цен на сырьевые товары, то он произошёл бы по внутренним причинам, хотя и позднее. Очевидно, что снижение степени конкуренции, монополизация экономики в рамках «частно-государственного партнёрства», рост дифференциации доходов, падение общей эффективности вызвали бы классический кризис перепроизводства²⁰. Что будет делать теперь, в этих ухудшающихся условиях, поколение практиков, которое неизбежно столкнётся ещё и с кризисом мировоззрения, связанным с потерей основной ценности — стабильности, трудно сказать. Ясно, что более «взрослая» часть, уже накопившая изрядный экономический и политический капитал (1971-1980 гг. рождения), будет долго пытаться сохранить лояльность к сложившемуся распределению власти, пытаясь просто «переждать» плохие времена. Следует отметить, что при отборе кандидатов на новые статусные места в последнее десятилетие практически повсюду действовал возрастной ценз — отсюда у российской власти и бизнеса по большей части «молодое лицо». Это снимает вопрос поколенческого конфликта, обычно понимаемого как конфликт «отцов» и «детей» — сейчас нет оснований утверждать, что старшая возрастная когорта имеет более высокие доходы, чем младшая (что, строго говоря, возможно только в периоды революций или в ситуациях разрушения символического капитала²¹).

«Младшие» вполне могут избрать стратегию «ухода» и попытаться разрушить «фальшивый мир», который их «обманул». В пессимистическом варианте к ним может присоединиться и многочисленная возрастная когорта 1985-1990 гг. рождения, привыкшая за это время к росту потребления и, в силу внутреннего разложения российских образовательных структур, во многом уже асоциальная. Большая часть норм поведения, которые обычно формировались в школах и вузах, ныне у них просто отсутствует. В «спокойный период» эти нормы были бы привиты им в коммерческом секторе, однако в условиях кризиса аномия может стать хронической (или могут быть восприняты распространившиеся за годы холодной гражданской войны в «ядре социума» нормы криминального поведения).

¹⁹ «Новые русские» — продолжение «старых русских», т.е. — дворян, привилегированного класса царской России. Соответственно, осознание себя «новым русским» — принадлежность к новому классу «хозяев страны».

²⁰ Такой кризис был бы вполне симметричен социалистическим кризисам хронического дефицита, имевшим место в СССР в период «застоя».

²¹ Как правило, капитал, основанный на знании, увеличивается с возрастом. Отрицание роли знания, ориентация на статус и последующее получение статусной ренты ликвидирует обычную прямую зависимость дохода от возраста.

Наличие «вертикали власти», новых процедур проверки лояльности, а также журналистских, телевизионных, политологических, экономических «школ»²² гарантирует, что этот кризис будет долгим. По мере его развёртывания элите станет нечем платить за лояльность к себе, как это уже было в восьмидесятых годах прошлого века, что приведёт к разрушению стеклянного потолка и поиску нового общественного консенсуса. С большой вероятностью многочисленное поколение практиков должно будет всё же выработать процедуры ненасильственной ротации политической элиты. Хотя стоит отметить, что в настоящее время президент-«практик» в логике сохранения и укрепления «стеклянного потолка» предпринял полностью обратные мероприятия, в частности, продлив — на следующий электоральный цикл — сроки полномочий президента и парламента. Такие шаги, как и попытки решения проблем экономической эффективности корпораций путём их огосударствления и вливания бюджетных средств, свидетельствуют о быстрой деградации коллективного интеллекта официальной, институционализированной элиты. Выработка таких механизмов «ненасильственной преемственности», внешне демократической, а по сути, представляющей собой своеобразный вариант олигархического наследования внутри небольшого количества допущенных к выбору высокостатусных групп, позволит сохранить существующий российский вариант нелиберальной демократии и сырьевой экономики на протяжении жизни и деятельности как минимум одного поколения (т.е. — на двадцать ближайших лет).

Менее вероятным представляется сценарий, связанный с формированием контрэлиты, сохранением «стеклянного потолка», появлением системного андеграунда

и очередной российской революции. Во всяком случае, в настоящее время не наблюдается ничего подобного символическому капиталу шестидесятников и «героев-одиночек», который мог бы противопоставляться действующим легальным СМИ, двуслойной культуре («попса» для толпы и ретро-андеграунд — для «избранных», что обеспечивает общий душевный комфорт), официальной науке (системе РАН и новых частных «интеллектуальных центров»), действующих в сфере общественных наук).

Более того, российская политическая «суперэлита» тесно связана и с новыми «интеллектуальными центрами», и с позиционированными как имеющими наивысший социальный статус, специально выделенными как «фабрики элиты», вузами. Новое «поколение ухода» ничем сопоставимым по размеру и влиянию с этим символическим капиталом пока не располагает — а в условиях разрушения механизмов воспроизводства символического капитала в российской провинции, скорее всего, уже и не появится.

Наконец, совсем невероятным представляется сценарий «модернизации страны», перехода от её «сырьевой ориентации» к производству «человеческого капитала» и «наукоёмкой продукции». Поколение, которое придерживается «стратегии модерна» в нынешних социальных условиях, чрезвычайно малочисленно и оканчивается «лишними людьми» в России. По большей части оно представлено «молодыми учёными», уезжающими на работу за рубеж, для их жизни в России практически нет институциональных условий. Сами они, в силу своей редкости и отсутствия междисциплинарной коммуникации, практически неспособны к социальному действию. ■ ■ ■

²² Эти «школы» полностью соответствуют назначению прежних советских «научных школ» и позволяют «непобеждённым» контролировать через фильтры навязывания образцов поведения и личной лояльности приток молодёжи в элиту. Практически все они расположены в Москве, сравнительно небольшая часть — в Петербурге и единицы — в российских городах-«миллионниках»

ПЕРЕЗАГРУЗКА ИЛИ ПЕРЕГРУЗКА?

Геворк МИРЗОЯН

АМЕРИКА НАЧИНАЕТ «ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ»

Именно так можно было бы сформулировать суть внешнеполитической доктрины Барака Обамы, и в этом ее коренное отличие от концепций и политики Джорджа Буша. Для Соединенных Штатов нынешняя ситуация в мире — *«конец периода великой надежды, появившейся двадцать лет назад по окончании холодной войны»*, — так ее оценивает бывший помощник Джорджа Буша Томас Грэм. Надежды на то, что история как таковая закончилась, что наступление свободно-рыночной демократической системы по всему миру уже необратимо и что во главу этого процесса встанут Соединенные Штаты — «единственная оставшаяся сверхдержава» не подтвердились, замечает он. И даже если США останутся ведущей мировой державой в течение долгого времени (а так оно и будет,) — нынешний дисбаланс в мировой системе доказывает, что мощь США имеет пределы и что грядущие перемены в мировой системе уменьшат отрыв Соединенных Штатов от других стран. Понятно поэтому, что в условиях мирового финансового кризиса нынешний американский президент намерен проводить более сбалансированную политику.

В начале февраля вице-президент США Джозеф Байден в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что настало время *«нажать кнопку перезагрузки и пересмотреть многие вопросы, в которых мы могли бы и должны сотрудничать с Россией... Нельзя сказать, что мы одобряем все, что делает Россия... США и Россия могут не соглашаться друг с другом, но при этом работать совместно в тех сферах, где наши интересы совпадают»*. На языке программистов

это означает стереть все, что находится в оперативной, временной памяти, и запустить механизм лишь на основе постоянной, долгосрочной памяти, то есть в данном случае на основе взаимного учета интересов.

Такой поворот был, по-видимому, обусловлен тем, что нынешняя американская администрация отдает себе отчет в том, что в ряде вопросов, представляющих серьезный интерес для Соединенных Штатов, последние вынуждены будут полагаться на помощь России. Эти вопросы госсекретарь Хиллари Клинтон уже обозначила во время мартовского совещания министров иностранных дел стран НАТО. *«Мы можем и должны найти способ конструктивно сотрудничать с Россией в тех сферах, где у нас общие интересы. В том числе в плане помощи народу Афганистана (то есть помощи США в их войне против Талибана), контролю за обычными вооружениями и за нераспространением оружия массового поражения, борьбы с пиратством и наркоторговлей, а также решая вопросы угроз со стороны Ирана и Северной Кореи»*, — заявила американская госсекретарь. Афганистан здесь занимает первое и ключевое место.

РОССИЯ И АФГАНСКИЙ ВОПРОС

В Америке сегодня признают, что ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем. Значительная часть страны контролируется либо талибами, либо никем. На слушаниях в Конгрессе Хиллари Клинтон так обрисовала новую стратегию Барака Обамы в отношении Афганистана. США должны добросовестно



Фото В. Ярошенко. Иерусалим. Вид на Кедрон, Гефсиманию и Елеонскую гору.

закончить войну в Ираке, и послать дополнительные контингенты войск в Афганистан.

Необходимо значительно увеличить объемы невоенной помощи Афганистану. Этой стране нужно правительство, которое будет в большей степени, нежели сейчас, заботиться о нуждах своего народа — и это президент Обама уже передал лично президенту Карзаю. США, безусловно, помогут, но потребуют детального отчета о том, как были израсходованы эти средства.

Соединенные Штаты усилят борьбу с наркоторговлей — источником финансирования Аль-Каиды и Талибана. Будут разработаны специальные программы альтернативного заработка для крестьян, занятых выращиванием опиума. Сейчас, по словам госсекретаря, Афганистан — это наркогосударство. По подсчетам Центра по противодействию преступности и распространению наркотиков ЦРУ, в 2008 году 116 365 гектаров афганской земли было засеяно опиумным маком — и это только по официальным данным. Афганистан поставляет 93% всего героина на мировом рынке — и может гораздо больше! Ведь даже официальных объемов выращиваемого в нем ныне сырья, по признанию Хиллари Клинтон, хватит для производства 1 100 тонн героина — что значительно больше, чем общий спрос на мировом рынке, составляющий 400 тонн в год. По некоторым данным, одним из крупнейших наркобаронов в стране является родной брат действующего президента, Ахмед Вали Карзай.

Вашингтон должен разработать четкую политику в отношении Пакистана. Объемы американской военной помощи будут привязаны к объемам усилий Исламабада по уничтожению тренировочных лагерей исламистов, изгнанию из Пакистана иностранных боевиков и недопущению использования Талибаном Пакистана в качестве страны-убежища. Кроме того, невоенная помощь Пакистану будет утроена. Основные объемы пойдут на приграничные регионы, и будут направлены на повышение уровня жизни пакистанского народа. Таким образом, США надеются уменьшить влияние экстремистов в долгосрочной перспективе

Однако реализовать эти идеи на практике Соединенным Штатам будет очень сложно по трем причинам: коррумпированность и непопулярность режима Хамида Карзая, нежелание союзников по НАТО расширять масштабы своего участия в афганской кампании и ненадежность Пакистана как центрального союзника в борьбе с афганскими талибами. И получается, что помощь России США необходима для того, чтобы — в большей или меньшей степени — нивелировать все эти негативные моменты.

Долгое время неэффективность режима Хамида Карзая многие аналитики называли чуть ли не главной причиной неуспеха администрации Буша в Афганистане. *«Несмотря на определенные достижения (в частности, увеличение доступности образования и медицинских услуг для простых граждан, улучшение функционирования провинциальных органов власти), эффективность нынешнего правительства весьма невысока. Оно слишком ограничено и коррупционно»,* — дипломатично оценивает ситуацию Хиллари Клинтон. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер более категоричен. *«Основная проблема Афганистана не в том, что талибы слишком влиятельны, а в том, что там слишком мало эффективного управления. Афганцам нужно правительство, заслуживающее их лояльности и доверия... Мы заплатили достаточно высокую цену в человеческих жизнях и материальных затратах, чтобы требовать от афганского правительства более конкретных и энергичных действий по искоренению коррупции и повышению эффективности — даже когда для этого приходится принимать трудные политические решения».*

Предыдущая администрация закрывала глаза на недостатки, и на тот момент это было приемлемо: в условиях, когда центральным фронтом антитеррористической борьбы был Ирак, политика США в Афганистане проводилась по принципу «лишь бы не было хуже». Однако Барак Обама намерен сфокусировать свою политику именно на Афганистане, и его уже не устраивает то, что может предложить Карзай. *«Нынешняя администрация не будет так слепо и безоговорочно поддерживать Хамида Карзая, как это делалось при Буше»,* — утверждает директор кабульского представительства американского Института мира Джон Демпси. В новой администрации уже пошел процесс переосмысления афганской политики. *«Нам нужны новые идеи в деле борьбы против боевиков и распространения наркотиков, повышения эффективности властей и экономического развития страны. Для решения этой задачи привлечено очень много людей, в том числе из других отделов и министерств»,* — признается в интервью британским СМИ не пожелавший себя назвать чиновник из государственного департамента.

Причем американцам не нужно совершать никаких «штурмов дворцов Амина», чтобы снять своего ставленника Хамида Карзая с поста президента. В середине года в Афганистане пройдут президентские и провинциальные выборы, и на них Белый дом может привести к власти в Кабуле иных людей. Не случайно, после избрания Обамы в Вашингтоне высадился целый десант афганских политиков, обиженных или обделенных нынешним президентом Афганистана. Среди них три бывших министра

(Абдулла Абдулла, ранее занимавший пост министра иностранных дел, бывший министр финансов Ашраф Гани и Ахмад Джалали, ранее возглавлявший министерство внутренних дел) а также Гуль Ага Шерзай, влиятельный губернатор провинции Нангахар и лидер таджикского этнического меньшинства в стране. По мнению журналистов из британской *The Independent*, они уговаривали нового американского президента заменить президента Карзая на представленную из них «коалицию четырех». Некоторые политологи считают, что это сможет изменить ситуацию к лучшему. «Нам нужен некий толчок, как в 2001 году, — считает один из основателей афганского Центра по исследованиям и политическим наукам Гарун Мир. — Перемены смогут принести надежду».

Однако подобные перемены — если они все же произойдут — могут серьезно дестабилизировать обстановку в стране и создать множество новых трудностей. При всех его недостатках Хамид Карзай все же является компромиссной фигурой и магистром политического лавирования. Карзай не хочет повторить участь своего предшественника — президента Мухаммеда Наджибуллы, который был повешен талибами в 1996 году. Новые афганские лидеры сразу же начнут борьбу за власть, проигравшие вполне могут переметнуться к талибам, и в результате будут дестабилизированы ныне более-менее спокойные северные провинции. Для стабилизации обстановки Соединенные Штаты вынуждены будут прибегнуть к помощи России.

Россия также нужна США в Афганистане потому, что союзники США по НАТО не изъявляют желания увеличивать объемы своего участия в этой операции. Даже самый верный союзник США — Великобритания устами своего министра иностранных дел Дэвида Милибэнда выразила сомнение в правильности ведения антитеррористической кампании.

Американцы недовольны таким отношением. *«Мы проявляли терпение, но нынешняя ситуация просто неприемлема — наши солдаты и войска нескольких союзных стран, которые похрабрее, сражаются, а остальные вояки попивают пиво и не забывают получать надбавку за пребывание в опасной зоне. Европа „проголосовала“ за Обаму. Пора теперь халыщикам со Старого Света тоже пролить кровь за общее дело»,* — пишет американский политолог Ральф Питерс. Безусловно, американские власти сделают все возможное, чтобы их переубедить — и это уже не раз повторяла Хиллари Клинтон. *«Президент Обама и я уверены в том, что пакистано-афганская граница — центральный фронт борьбы с международным терроризмом. И мы объясним нашим союзникам, что мы не должны позволить Афганистану вновь стать*

убежищем для Аль-Каиды и Талибана. И наша администрация будет убеждать союзников больше помогать нам в Афганистане. В частности, мы постараемся их уговорить отменить разделение по национальным частям в афганском контингенте НАТО. Этот контингент и так невелик, а некоторые участвующие страны еще и ставят условия, куда их солдат можно посылать, а куда нет. Тем самым они фактически связывают руки нашим боевым командирам. Поэтому мы будем обсуждать это с нашими союзниками постараемся отменить эти обременительные ограничения и таким образом усилим НАТО как боевую единицу».

Однако вряд ли Вашингтону удастся убедить Брюссель увеличить свое участие в операции — члены Еврокомиссии и главы государств-членов ЕС сейчас заняты спасением единства Евросоюза, и им не нужны какие-либо общественные волнения.

«Население тех стран, которые направили в Афганистан свои войска в рамках миссии НАТО, задается вопросом: как долго продолжится эта операция и скольких молодых мужчин и женщин мы еще потеряем, проводя ее», — объясняет точку зрения европейцев Яап де Хооп Схеффер.

В этих условиях Соединенные Штаты будут искать других союзников, способных реально помочь им в Афганистане. И в этом плане Россия, имеющая к тому же опыт афганской войны, будет неоценима. Москва уже дала понять, что готова к переговорам: российские чиновники заявляли о готовности предоставить американцам любую помощь, кроме непосредственно посылки воинского контингента.

Но самую большую важность для афганской кампании США Россия представляет ввиду выпадения из числа союзников США Пакистана. После того, как США убрали Первеза Мушаррафа, пришедшие на его место гражданские власти фактически переметнулись на сторону талибов. Некоторые аналитики утверждают, что именно помощь Пакистана стала причиной того, что талибы резко активизировали военные действия в 2008 году. Понимают важность пакистанского фактора и американцы. *«Как Президент и я уже говорили, район афгано-пакистанской границы является главным фронтом войны против международного терроризма. Мы не можем одержать победу в Афганистане, не разработав новую и всеобъемлющую стратегию по борьбе с боевиками Аль-Каиды и Талибана с пакистанской стороны границы»,* заявила Хиллари Клинтон на слушаниях в конгрессе.

По все видимости, США уже не надеются на возобновление своих позиций в Пакистане, поэтому ставка в Южной Азии будет делаться на Индию. *«Углубляя*

двусторонние отношения, Индия и США смогут совместно решать глобальные и региональные проблемы, беспокоящие оба наших государства. В частности, это проблемы терроризма, бедности и ухудшения состояния окружающей среды», — объясняет позицию Соединенных Штатов Хиллари Клинтон.

Однако проводя подобное реформирование США рискуют окончательно потерять свои позиции в Пакистане. А значит, и потерять пути снабжения для афганской кампании (на сегодняшний день почти 80% всех грузов, получаемых международной коалицией в Афганистане, идет через Пакистан). Точнее, окончательно потерять. Ведь чем больше пакистанское правительство начинает сотрудничать с талибами, тем менее этот путь безопасен. Поэтому США хотят наладить снабжение с северного направления, благо северные провинции Афганистана находятся под контролем лояльных полевых командиров.

Понимая это, Москва побеспокоилась о том, чтобы у американцев не было альтернатив российскому варианту северного снабжения. И после закрытия правительством Киргизии американской базы в Манасе (решение Бишкека стоило Москве почти 2,5 млрд долларов) американцам придется договариваться о снабжении своих войск в Афганистане непосредственно через территорию России.

Похоже, что и американские политики считают, что в создавшейся ситуации все же разумнее и безопаснее положиться на Россию. В преддверии увеличения численности американского воинского контингента в Афганистане, неизбежного обострения ситуации после ожидаемого ухода Хамида Карзая и дальнейшей «талибанизации» Пакистана северный путь и тесное сотрудничество с Москвой могут стать существенным условием победы США в Афганистане.

ИРАНСКИЙ ФАКТОР

Соединенным Штатам необходима помощь России и в иранском вопросе. Сближение с Ираном является одной из наиболее приоритетных задач нынешней американской администрации. Но не в рамках двусторонних американо-иранских отношений, а в более широком контексте. В первую очередь американцам необходимо сотрудничество с Тегераном для минимизации негативных последствий вывода войск из Ирака. США и их союзники в регионе опасаются, что после ухода американцев Иран воспользуется образовавшимся вакуумом власти и станет использовать Ирак как плацдарм для своего дальнейшего проникновения на Ближний Восток. Вашингтон же хочет, чтобы Иран, напротив, прекратил поддерживать террористов из палестинских и иракских группировок.

Однако процесс стабилизации отношений с Ираном будет непростым и небыстрым.

«Для вероятных переговоров с Ираном нужна очень тщательная подготовка: инициация переговоров на низком уровне, координация своей позиции с союзниками, создание повестки для переговоров и оценка возможностей прогресса, — объясняет Хиллари Клинтон. — Президент Обама уже заявил, что готов вступить в переговоры с любым мировым лидером если, по мнению Барака Обамы, это будет соответствовать интересам Соединенных Штатов... Мы будем вести жесткие и прямые переговоры с соответствующим иранским лидером в то время и в том месте, которое сочтем нужным, только в том случае, если это будет соответствовать интересам США».

На сегодняшний день Вашингтон и Тегеран находятся на этапе подготовки к переговорам. Иран ждет, что ему предложат Соединенные Штаты, а Вашингтон ожидает итогов президентских выборов в Иране, которые пройдут в середине июля.

«Новая американская администрация поставила Иран перед выбором. Ему было предложено отказаться от программы по созданию ядерного оружия, от поддержки терроризма и от озвучивания угроз Израилю — и в ответ он получит весьма неплохие способы поощрения. Но если он откажется от наших требований, то мы будем наращивать давление на него, примем более жесткие санкции как одностороннего характера, так и многостороннего (со стороны Совета Безопасности ООН), а также предпримем ряд акций для изоляции иранского режима. Иран с ядерным оружием неприемлем, и Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы не позволить Ирану обрести ядерное оружие», — говорила Хиллари Клинтон на слушаниях в Конгрессе.

Подобная «ограниченно жесткая» позиция объясняется двумя причинами. Во-первых, США не хотят победы Махмуда Ахмадинежада на выборах в Иране. Если они заняли бы исключительно жесткую позицию и начали политику силового давления, то Ахмадинежад победил бы на волне антиамериканских настроений (как он сделал это на предыдущих выборах). А если бы Соединенные Штаты начали делать уступки и использовали бы миролюбивый тон, то иранский президент мог бы сказать, что его жесткая политика была правильная и привела к «сдаче» Соединенных Штатов.

Чтобы лишить нынешний иранский режим козырей, нужна помощь России. Позиция Москвы имеет значение по двум пунктам: продажа Тегерану высокотехнологичных конвенциональных вооружений и поддержка иранской ядерной программы.

По первому направлению Москва уже сделала шаг навстречу США, когда отказалась продавать Ирану новейшие комплексы ПВО. В середине февраля в Москву прибыл министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Мостафа Мохаммад. Главная цель визита иранского чиновника состояла в том, чтобы убедить россиян все-таки поставить Ирану комплексы ПВО С-300.

Однако иранский министр уехал ни с чем. В Москве осознали, что дать согласие на продажу Ирану С-300 перед мартовской встречей министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Хиллари Клинтон, и особенно перед апрельской встречей Дмитрия Медведева и Барака Обамы, — это значило бы демонстративно ударить по протянутой Соединенными Штатами руке и, в конечном счете, провалить эти переговоры. «Так что в вопросе о поставках С-300 Тегерану ничего не изменилось», — заявил пресс-секретарь «Рособоронэкспорта» Вячеслав Давиденко.

Но что касается иранской ядерной программы, то пока Москва не готова идти на уступки Соединенным Штатам. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что это является лишь тактической позицией России. Ведь Россия поддерживает Иран не потому, что якобы наличие у него ядерного оружия соответствует интересам Москвы. Как раз не соответствует. Но не случайно в феврале в прессу прошла утка о письме, которое якобы отправил Барак Обама Дмитрию Медведеву. В нем американский президент предлагал «обменять» помощь в иранском вопросе на отказ американцев от ПРО. Тогда же министр обороны США Роберт Гейтс на переговорах в Кракове публично подтвердил намерение переоценить экономическую и техническую целесообразность развертывания ПРО. Однако ряд исследователей считает — и автор с ним соглашается, — что Вашингтон пока не намерен всерьез обсуждать отказ от создания национальной системы ПРО, хотя переговоры о разоружении и станут первым пунктом повестки дня российско-американских отношений в 2009 году.

АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ.

Одним из главных пунктов повестки дня будущих российско-американских отношений станет вопрос о сокращении стратегических наступательных вооружений. И не потому, что этот вопрос имеет приоритетное значение для обеих стран. Хотя действие предыдущего договора — СНВ-1 — истекает уже в конце 2009 года,

вероятность использования одной из стран ядерных арсеналов близка к нулю. Приоритетность обсуждения этого вопроса объясняется исключительно тем, что у России и США есть опыт подобных переговоров. После резкого обострения отношений при администрации Буша и окончательной ликвидации атмосферы доверия между сторонами, именно подобные «знаковые» дискуссии помогут Москве и Вашингтону вновь начать диалог, в рамках которого затем возможно и решение других вопросов.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон уже очертила общую цель политики администрации Барака Обамы в области ядерного разоружения.

«Администрация Обамы выступает за серьезное и контролируемое сокращение американского и российского ядерного оружия — причем всего: как стратегического, так и нестратегического; как стоящего на боевом дежурстве, так и того, что находится на складах», — заявила Хиллари Клинтон. Это означает, что администрация Обамы готова включить в вероятный договор по сокращению наступательных потенциалов и американское тактическое ядерное оружие: авиабомбы свободного падения (В-61), крылатые ракеты «Томагавк» и т.п.

Одним из центральных пунктов плана Обамы является сокращение числа боеголовок, находящихся на вооружении у США и России, с 5 тыс. до 1 тыс. единиц.

Еще в декабре 2008 года для убеждения российского премьера Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева пойти на переговоры о сокращении боеголовок Обама послал в Москву «тяжелую артиллерию» — бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

А во время мюнхенской конференции эта тема стала центральным пунктом выступления Джозефа Байдена. Он внушал слушателям мысль о необходимости замены СНВ-1, срок действия которого скоро истечет, на новый договор. *«Россия и США несут особую ответственность и должны возглавить международные усилия по сокращению количества ядерного оружия в мире»,* — заявил вице-президент США.

СНИЖЕНИЕ УГРОЗ ИЛИ РОСТ?

Однако простое сокращение числа боеголовок в данном случае означало бы серьезную угрозу обороноспособности нашей страны.

Причин здесь две. Прежде всего мы и США по-разному понимаем термин «сокращение». И так же понимали его во время заключения СНВ-1. В соответствии с этим договором Россия *реально сокращала* ядерные боезаряды, а США вторые ступени и ядерные боеголовки *сохраняли и складировали*, — объясняет первый вице-

президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. — За счет этого у США образовался возвратный ядерный потенциал в несколько тысяч боеголовок, который нетрудно привести в боевое состояние. От него следует освободиться, прежде чем идти дальше по пути сокращения вооружений. Несмотря на то, что Хиллари Клинтон выразила готовность это сделать, сомнительно, что США пойдут на столь радикальный шаг.

Вторая причина связана с тем, что после выхода американцев из договора ПРО Москва сделает упор на развитие ракет с технологией разделяющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН). Грубо говоря, будет ставить на одну ракету несколько боеголовок. Столь маленький лимит, как 1 тыс. боеголовок, будет означать, что у России будет менее 100 ракет. При таком малом количестве носителей большинство из них может быть уничтожено в случае первого американского «обезоруживающего удара», а несколько оставшихся ракет будут перехвачены с помощью ПРО. Принцип «гарантированного возмездия» — основной гарант того, что ядерной войны не случится, — уже не будет действовать. Поэтому «если размер ядерного арсенала сторон будет понижаться до 1 тыс. боеголовок, необходимо прописать и ограничение на стратегическую ПРО. Если этого не учитывать, возможен дисбаланс в пользу США.

Чтобы этого не допустить, необходимо, чтобы американцы взяли на себя обязательства по ограничению возможностей своей ПРО, считает бывший начальник Главного штаба РВСН Виктор Есин. Судя по выступлению Дж. Байдена, американцы готовы к поиску таких компромиссов.

АМЕРИКАНСКАЯ ВЕЛИКАЯ СЕНА

Система противоракетной обороны — это отдельный переговорный аспект. Как было сказано выше, Соединенные Штаты не намерены отказываться от ПРО. Не по оборонным, а по политическим причинам. Создание глобальной системы противоракетной обороны — это американская пирамида, или Великая стена, глобальный проект, демонстрирующий величие нации. Публичный отказ от него с психологической точки зрения может означать отказ США от глобального лидерства. И если администрация Обамы готова отказаться от этого лидерства де-факто, то она никогда не откажется от него де-юре. Наиболее вероятно, что США и Россия будут договариваться о каком-либо совместном формате работы над глобальной системой противоракетной обороны.

ЕВРОПЕЙСКИЙ АСПЕКТ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Свой первый серьезный символический жест навстречу Москве Вашингтон сделал в рамках Североатлантического Альянса. Напомним, что в середине августа 2008 года на экстренной встрече в Брюсселе главы МИД 26 стран альянса объявили о замораживании работы Совета Россия-НАТО в связи с «диспропорциональной реакцией России на события в Южной Осетии». И вот на прошедшем 5 марта 2009 года в Брюсселе совещании министров иностранных дел НАТО было объявлено о намерении Альянса возобновить отношения с Россией.

После того, как все детали были обговорены заранее, и решение на самой встрече 5 марта должно было быть простой формальностью, министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас непосредственно на заседании неожиданно выступил против возобновления отношений с Москвой. Он заявил, что по этому вопросу нужно провести дополнительные консультации. *«Достаточно ли сделано, если иметь в виду, например, пункты о выводе войск, создании баз? Я бы не хотел опережать события, но, может быть, можно посмотреть, как будет меняться ситуация до 3 апреля, когда будет проходить саммит НАТО»*, — объяснял он свою точку зрения. Ряд антироссийски настроенных лидеров стран Центральной и Восточной Европы поддержали литовского министра.

Нарушающего корпоративную дисциплину литовца, конечно же, сразу урезонили делегаты от Старой Европы, прежде всего Франции, Германии. По данным британской **The Guardian**, представители Парижа и Берлина заявили, что если решение по возобновлению отношений с Москвой не будет принято, то они отменяют назначенные на тот же день встречи лидеров стран НАТО с представителями Украины и Грузии. Однако сам факт выступления литовского министра является показательным и демонстрирует главную проблему для Соединенных Штатов в плане дальнейшего урегулирования отношений с Москвой в Европе: позицию их восточноевропейских союзников.

Слишком долгое время американское руководство, желая одновременно сдерживать Россию и внести раскол в ЕС, поощряло антироссийскую риторику лидеров стран Восточной Европы... Теперь же настроения в Вашингтоне поменялись, и элиты государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) не только остались один на один со Старой Европой, но и не желают менять своей позиции.

Кроме того, Восточная Европа может занять более жесткую позицию и по внутривнутриполитическим причинам.

Почти все страны бывшего «социалистического блока» мучительно переносят мировой экономической кризис. В течение последних месяцев Украина балансирует на грани банкротства, Венгрия и Латвия находятся совсем недалеко от нее, а другие страны ЦВЕ могут присоединиться к этой тройке в ближайшее время.

За последние полгода (данные на конец февраля) падение польского злотого по отношению к евро составило 29%, венгерского форинта — 20%, румынского лева — 17%, чешской кроны — 12%. На состоявшемся 1 марта в Брюсселе экстренном саммите Евросоюза Старая Европа отказала Новой Европе в предоставлении помощи на 190 миллиардов евро.

Велика вероятность, что грядущие социально-экономические потрясения вкупе с разочарованием позицией Брюсселя приведут к власти в восточноевропейских странах крайне правые силы, и Вашингтону и Брюсселю будет очень сложно их контролировать. Не помогут даже казалось бы реальные экономические рычаги (на сегодняшний день Восточная Европа должна западным банкам 1,25 триллиона евро, и изрядная часть этой суммы — короткие кредиты, подразумевающие большие выплаты и быстрое погашение).

ГРУЗИЯ И УКРАИНА

Отдельными проблемами европейского сегмента российско-американских отношений являются Грузия и Украина. Еще год назад эти две страны были серьезным препятствием для начала российско-американского диалога. Соединенные Штаты считали эти государства своим потенциальным трамплином в Евразию, а контроль над ними рассматривали как возможность влиять как на Европу (с помощью энергоносителей, которые должны были пойти через трубопроводы по территории Грузии), так и на Россию. И все попытки России расстроить эти геополитические планы приводили к конфликтам с Соединенными Штатами.

Сегодня ситуация постепенно меняется, по крайней мере на ускоренной интеграции Киева и Тбилиси в Североатлантический альянс США больше не настаивают. «Что касается включения Грузии и Украины в НАТО, то их быстрое включение в альянс нереально, — замечает Томас Грэм. — Причина тому как серьезное сопротивление со стороны Германии и Франции, так и общее переосмысление ситуации на Украине (нарастание масштабов политического противостояния в стране) и в Грузии (ее роли в провоцировании вооруженного конфликта на Кавказе в августе 2008 года). Но, естественно, администрация понимает, что подобный

пересмотр позиций принесет и дополнительную выгоду в виде улучшения отношений с Россией, и Барак Обама сделает все, чтобы извлечь из этих выгод максимальную пользу».

При этом США не отказываются от поддержки Грузии и Украины. Однако отныне эта поддержка будет осуществляться, скорее всего, в таких направлениях, чтобы это не вызвало резких обострений отношений с Россией.

В частности, согласно заявлениям Хиллари Клинтон, США приложат все усилия для того, чтобы поддержать территориальную целостность Грузии, ее восстановление и демократическое развитие и одновременно работать с Россией по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес. Что же касается международного статуса Южной Осетии и Абхазии, то он *de facto* остается аналогичным тому, который имеет Северный Кипр (признанный лишь государством-патроном).

«Мы намерены тесно сотрудничать с нашими союзниками по всему миру для того, чтобы решение России подорвать суверенитет Грузии не получило международного признания», — заявила Хиллари Клинтон. В то же время США и их союзники будут проявлять твердость в отказе от принципа «раздела сфер интересов» и утверждения суверенитета и территориальной целостности соседей России.

ДЕЛО ЗА МОСКВОЙ

Однако существует высокий риск того, что американо-российское сближение окончится фальстартом. Американские политологи опасаются, что российская политическая элита может неверно истолковать мировые тренды и намерения администрации Обамы. «Вообще россияне более позитивно настроены к перспективам перемен, чем американцы. После десятилетия глубоких социально-экономических потрясений и национального унижения в 90-е годы, а также обеспокоенности якобы гегемонистскими планами Соединенных Штатов нынешнее состояние беспорядка в мире порождает у многих россиян надежду на то, что Россия сможет вернуть себе статус великой державы и сохранить его на долгое время, — предупреждает Томас Грэм. — В этих обстоятельствах Россия должна четко осознать всю суть грядущих перемен и правильно истолковать тренды. Опасность заключается в том, что Москва может преувеличить преимущества, которые эти перемены могут дать России, и убедить себя в том, что они смогут гарантировать сохранение возрожденной мощи и влияния России. Однако они этого не гарантируют.

А для получения преимуществ за счет изменений мировой системы необходимо проводить очень искусную и умелую политику».

РУССКИЕ ТОРМОЗА НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ

Поэтому во многом успешность российско-американского сближения зависит от сдержанности и мудрости российских властей. Барак Обама не сможет продолжать политику сближения (не говоря уже о том, чтобы провести соответствующие инициативы через Конгресс), если Москва будет демонстративно проявлять элементы враждебности.

Первые сигналы этого уже наметились в заявлениях представителей российского МИДа. *«Прекращение политического диалога с российской стороной было ошибкой и, в принципе, противоречило договоренностям о том, чтобы согласовывать позиции в связи с кризисными ситуациями в рамках совета Россия-НАТО, — комментировал решение НАТО о возобновлении отношений с Россией заместитель директора департамента информации и печати МИД России Игорь Лякин-Фролов. — Это решение — шаг в правильном направлении, и мы с удовлетворением отмечаем, что в НАТО возобладал здравый смысл, однако, оно не должно приниматься в одностороннем порядке — это должно быть совместное решение с Россией».*

Последнюю фразу на Западе уже могут расценить как демонстративное пренебрежение инициативой американского президента.

За ним последовал демарш российского министерства обороны. В тот момент, когда Барак Обама говорит о намерении начать переговоры о сокращении ядерных вооружений, а в Брюсселе принимают решение об улучшении отношений с Россией, заместитель министра обороны по вооружению Владимир Поповкин объявляет, что более четверти российского оборонного госзаказа придется на долю стратегических ядерных сил.

Если учесть, что ранее озвученная сумма госзаказа равнялась 4 триллионам рублей, то значит на оружие, которое никогда не выстрелит, будет потрачено почти 25 миллиардов долларов.

Сейчас речь даже не о том, что такие траты в период кризиса самоубийственны. И не о том, что подобные шаги неверны — возможно, они имеют какое-то значение с точки зрения рычага давления перед ожидаемыми переговорами о сокращении ядерных арсеналов. Вся проблема в том, что **время для них выбрано абсолютно неподходящее.**

Теперь критики России на Западе получают лишние аргументы чтобы утверждать, что Москва не понимает «по-хорошему» и что с русскими можно разговаривать только с помощью дубинки.

Можно не сомневаться, что российский генералитет в ближайшее время подкинет этим критикам дополнительные аргументы. Наши высокопоставленные военные принципиально не готовы поверить в искренность желаний Соединенных Штатов улучшать отношения с Москвой.

Мюнхенские заявления Джозефа Байдена об обнулении отношений Россия — НАТО и выстраивании их на позитивной основе — воспринимаются в российском Генеральном штабе и администрации президента как обходной маневр, попытка дезориентировать российское руководство с целью решения своих оперативно-тактических задач в центрально-азиатском регионе, на Ближнем Востоке, в бассейне Каспия, в иных регионах, где у США есть собственные интересы, — говорит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Большая часть генералитета на Арбатской площади до сих пор мыслит категориями холодной войны или, в лучшем случае, категориями 90-х. Они не могут или не хотят видеть, что мир изменился. И желание Обамы улучшать отношения с Москвой вызвано не русофильскими его чувствами, а национальными интересами Соединенных Штатов. Ведь теперь мы живем в многополярном мире, где будет существовать множеством центров силы. И чтобы выжить в этом мире, этим центрам силы придется кооперироваться. И так уж получается, что у нас и у Соединенных Штатов много общих интересов. Помимо тех, что перечислила Хиллари Клинтон, это борьба с глобальным потеплением и сдерживание глобальной угрозы XXI века — Китая.

Мир погрузился в глобальный беспорядок, и драматические перемены будут происходить на протяжении неопределенного периода времени, — так заключает свои рассуждения Томас Грэм. — Если Россия и США хотят сделать свои отношения друг с другом более конструктивными, то каждой из этих стран придется переосмыслить нынешние тенденции, очертить свои интересы и приоритеты и определить степень необходимости сотрудничества с противоположной стороной для достижения этих интересов и приоритетов.

Другими словами, каждая страна должна рассмотреть эти двусторонние отношения в стратегическом контексте на основе нынешних (и завтрашних) реалий, а не вчерашних амбиций. ■■■



ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

ГОГОЛЬ И ШАГАЛ

Виктор ЯРОШЕНКО

1 апреля 200 лет Гоголю. Огромная дата, редчайший повод отдать дань ближайшему нашему сродственнику.

200 лет Пушкина отмечали с таким административным восторгом, что дошло и до изжоги. Но Пушкин, как известно, наше все, а Гоголю как-то фатально не везет в России. А тут еще и кризис, режим экономии. На Гоголе и сэкономили. Телевидение, впрочем, отработало, блокбастер сотворили из Тараса, но публика не вострепелась и не зажглась, с базаров Гоголя не понесла.

В середине марта на ВВЦ прошла очередная национальная книжная ярмарка. Она была анонсирована, как посвященная Гоголю. Но это так, для галочки. То есть все как бы и было, и стенд юбилейный выделили, наскоро гравюры развесили, собрали от разных издательств несколько книжек... Но, на самом деле, всерьез наша культура в этот раз Гоголя проспала.

Хотя сейчас, может быть, он со своей нелепой, юродивой искренностью (многими принимаемой за ханженство), нам особенно нужен.

Да, есть новая книга Игоря Золотусского, есть очередной солидный труд Юрия Манна... Антологию «Гоголь в русской критике» (составитель С.Бочаров) выпустило издательство «Фортуна Эл». Честь им и хвала, антология — полезная вещь, но нужна бы и книжная серия. Думаешь — где итоговые труды беззаветных коллективов, неожиданные прочтения, где анализ гоголеведения за истекшие два века, где, наконец, исправное полное собрание сочинений, где глубоко и

серьезно откомментированное издание «Мертвых душ»? С советских глухих лет, а то и гораздо раньше, с «позитивной философии» начинается это зажимание.

Собираются, наконец, открыть на Гоголевском бульваре в последнем гоголевском пристанище у графа Толстого музей. Об этом едва ли не полтараста лет разговор идет, а в Петербурге так не сподобились создать гоголевский музей, не справились с квартирными владельцами... Там даже улице Гоголя в порыве переименований вернули название 1-й Морской.

В Петербурге, на углу Большого проспекта Васильевского острова и 10-й линии стоит огромное здание бывшего Института благородных девиц, учрежденного еще Екатериной Великой, где довольно бесславно Гоголь преподавал историю. В советское время в здании разместился энергетический техникум; ветеран его, М.В.Борщевский как-то рассказывал, что в пятидесятые годы там еще сохранялась мемориальная комната, «гоголевское сало», стояли дошедшие из николаевского времени стекляные шкафы со старыми книгами, хранившими гоголевские пометки, бюст писателя.

Накануне юбилея прошелся я по центральным московским книжным магазинам — никакой гоголевской полочки ни в одном из них не выделили. С книгопродавцев какой спрос? Но ведь нас всех характеризует это ледяное равнодушие. Такое невысказано было бы, скажем, во Франции, или в Англии, накануне юбилея их классика. Каких только книг, открыток, сувениров, маечек, галстуков, зонтиков, ручек, тарелок и кружек не появилось бы — причем не по культуртрегерской линии на деньги налогоплатель-

щиков, а по закону рынка — такой юбилей ведь продвигает имя, дает невероятную рекламу, да видно, не у нас...

* * *

Вот и получилось, что самым заметным книжным событием на национальной гоголевской ярмарке стало для меня пятилетней давности издание «Фортуны эл» «Мертвые души» с иллюстрациями Марка Шагала.

Офорты Шагала — даже не иллюстрации Гоголя, скорее они похожи на интерпретацию в театре или кино. А девяносто шесть офортов (сухая игла) — своего рода режиссерские раскадровки.

Кстати о раскадровках: Сергей Эйзенштейн (известные рисунки которого мы публикуем в этом номере), в своих последних записях¹ пытался проанализировать сложную суть отношений Гоголя к Пушкину, (потаянную отчаянную борьбу Гоголя с «необъятным» Пушкиным, уровень страстей, понятный теперь только разве что большим спортсменам). Эйзенштейн проснулся однажды с чувством, что «Ревизор» — пародия на «Бориса Годунова». Почти в шутку он допустил, что «Мертвые души» (не забудем — сюжет, подаренный малоросу) своего рода пародия на Пушкина, тайный ответ-укус гения-пересмешника недостижимому идеалу. Путешествия Чичикова тогда — пародия на путешествия Онегина, Манилов — на Ленского и т.д.

Шагал делал свои офорты в 1923-м году, Эйзенштейн записал свои дерзкие сопоставления в 1946–1947.

Но отчего же шагаловский рисунок вдруг напомнит пушкинский летящий арабеск, иллюстрации Кузьмина к Евгению Онегину, Чичиков в кибитке вызовет «лета в пыли на почтовых», а губернаторский бал развернется ларинским балом?

Шагаловские иллюстрации уж очень точны, очень бережны по отношению к гоголевскому тексту с самой первой страницы.

«Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности, она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или лучше в окне, помещался сбитенщик, с самоваром из красной меди и лицом также красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стола два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бороною.»

Именно так и у Шагала, только вся эта сценография вполне условна, как у Ларса фон Триера в «Догвиле».

Напомним, по какой причине шагаловские иллюстрации появились на свет. Это был огромный проект: сто семь офортов на гоголевскую тему!

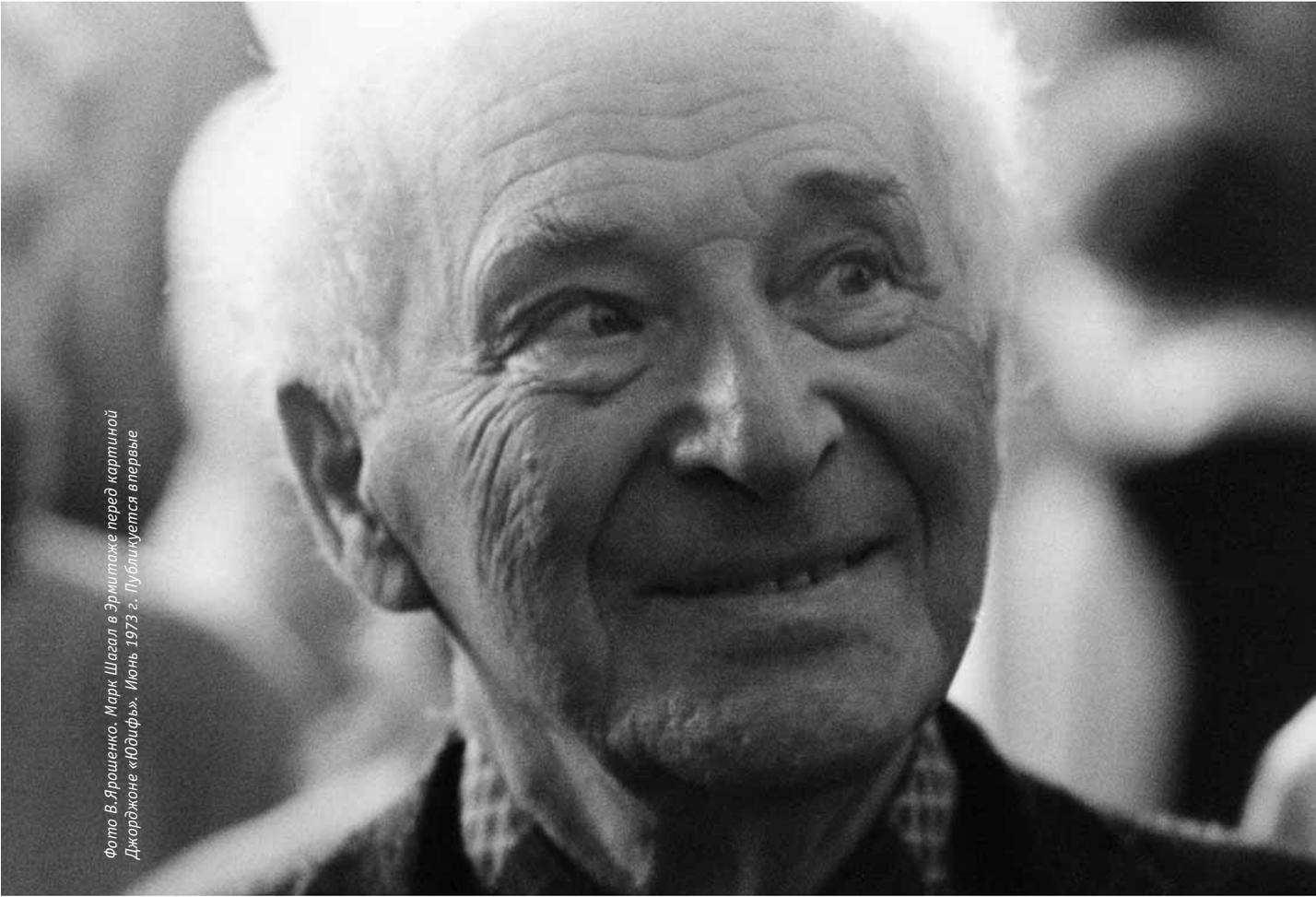
Шагал уехал из советской России в 1922 году (об этом он пишет в повести «Моя жизнь» — поэтичной и гоголевски витальной). Вообще он, витебский еврей, чувствовал какую-то свою типажную близость с нежинским хохлом, проовинциалом, инородцем, так же как и он появившемся в Петербурге ниоткуда... Какое-то время Шагал жил в Берлине, где перед войною прошла его первая европейская выставка, освоил графические техники — офорт, акватину, литографию... В 1923 году он с семьей уже в Париже, где начинал десятилетием раньше.

В Париж Шагал приехал не просто так — его *пригласил* Амбруаз Воллар, человек к тому времени уже совершенно легендарный. Это он, великий и всемогущий, открыл миру Сезанна, Ваг-Гога и Гогена, не говоря уже о прочих. Написал книги о Сезанне, Ренуаре, Дега и Анри Руссо; их и сейчас издают, в том числе и у нас (в интернете продают восемь книг Воллара).

Несколько лет назад в Нью-Йорке, нынешней арт-столице, прошла большая выставка «Воллар — патрон авангарда». Воллар, выскочка, грубиян, полукреол с острова Реньон, нищий, обладал невероятным напором, если не наглостью, интуицией и хваткой, удачливостью (кто кроме него может найти целое скопище шедевров Сезанна среди поломанных стульев?) Кто может купить (и каков размах, 200 сезаннов за сто тысяч франков, невероятная сумма!) и продать их от пятидесяти тысяч каждую? Размах стал его фирменным стилем. Надо отдать должное Воллару — он, самый влиятельный парижский маршан, создавал всемирные имена, вводил в историю и навсегда вытаскивал художника из хронической нищеты. Всегда смотревший в пол Амбруаз «с одного взгляда мог оценить произведение искусства» — писал Сезанн. К двадцатым годам Воллар был уже человеком пожилым, богатым, влиятельным (если не всесильным) маршаном в художественном мире. Появиться в Париже по его приглашению означало получить признание высшей пробы. В это время Воллар имел еще одно увлечение — собственное издательство. Он издавал — с наилучшим из возможного качеством — малыми нумерованными тиражами, на особенной изысканной бумаге лучшие книги с иллюстрациями лучших художников. Предложил он работу и Шагалу. Шагала идея сделать иллюстрации к французскому роману «Генерал Дуракин» не увлекла. Он

¹ «Гоголь в русской критике». Антология. Составитель С.Бочаров. М., «Фортуна эл» 2008 г.

Фото В. Ярошенко. Марк Шагал в Эрмитаже перед картиной Джорджоне «Юдифь». Июнь 1973 г. Публикуется впервые



сделал контрпредложение — он проиллюстрирует самый гениальный русский роман «Мертвые души» для первого издания на французском языке. Воллар эту книгу так никогда и не издал (она была выпущена уже после Второй мировой войны его правопреемником). А в 1939 году престарелый Воллар погиб в автомобильной аварии, не оставив прямых наследников.

Когда железный занавес еще не окончательно установился над Совдепией, Шагал подарил весь комплект гоголевских гравюр Третьяковке, где он благополучно и сохранился.

«Дарю Третьяковской галерее со всей моей любовью русского художника к своей родине эту серию 96 гравюр к «Мертвым душам» Гоголя для издателя «Ambroise Vol-lard» в Париже. Марк Шагал. Париж 1927 г.»

(Когда в 1973 году мы с небольшой группой эрмитажников сопровождали Марка Захаровича и его жену в долгой прогулке по музею, моя жена попросила его автограф на эрмитажном путеводителе. Она одна посмела это попросить. «Но в Эрмитаже нет моих работ» — не без грусти сказал Шагал. «Будут!» убеждено сказала Таня и он, улыбнувшись, расписался на книжке.)

Не стоит пересказывать шагаловские листы, в которых показаны Европе Гоголь и Россия в незнакомом для европейцев ракурсе. Он очень точно, иногда педантично точно следует гоголевскому тексту. Реальность, которую он создает на своих листах — это не реальность России (он признавался, что кроме Витебска да Петербурга России не знал), но художественная реальность *утраченной родины*, ее образа, заключенного в тонкой линии, выводящей коляску с ее знаменитыми колесами, пьяненького кучера в шляпе, неподражаемых шагаловских лошадей, похожих на сказочных единорогов. То трактир, то самый губернский город, огороженный дощатым забором, как греческий полис, отделенный стеною от прочего мира...

Гоголь был в литературе *живописец*, очень точное замечание современников. Он не рассказывает — он *изображает*, рисует. Это оказалось на руку Шагалу.

Этот чудесный дар, словом рисовать картину, всегда ценили в Гоголе. «*Вот что значит дать последний туш картине*», сказал он с довольством Аксакову, прочтя первую главу «Мертвых душ». Особое свойство видеть детали, подробность, сор и мелочь, как знаки бытийности, какую-нибудь особенно ленивую собаку, мужика с обсиженными баранками или будочника с деревянным ружьем, вывески и прочий «*прозаический дрязг жизни*»

стало важнейшими элементами художественной системы Шагала.

Не случайно же офорт «Въезд Чичикова в губернский город NN» Шагал помещает в книге «Моя жизнь»² среди текста, описывающего его жизнь в Витебске. Двадцатилетний Гоголь сообщает в письме Маменьке Марии Ивановне:

*«Дом в котором обретаюсь я, содержит в себе 2-х портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привелигированную повивальную бабку.»*³

Шагал, приехав в Петербург зарабатывал писанием вывесок. В повести «Моя жизнь» пишет:

«Было приятно видеть, как на рынке, или над входом в мясную или фруктовую лавку болтается какая-нибудь из моих первых работ, под нею чешется об угол свинья или разгуливает курица, а ветер и дождь бесцеремонно обдают ее грязными брызгами.»

Ахматова заметила это особое шагаловское, «витебское зрение». В «Царскосельской оде» (уже 1961 года) она писала:

*Настоящую оду
Нашептало... Постой,
Царскосельскую оду
Прячу в ящик пустой.
...
Здесь не Темник, не Шуя —
Город парков и зал.
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск Шагал.
...
Здесь не древние клады,
а дощатый забор.
Интендантские склады
И извозчиный двор.*

Шагал побывал в Ленинграде только в 1973 году, когда давно уже не было в живых Анны Андреевны Ахматовой, знакомой ему еще по довоенному Парижу.

В «Моей жизни», писавшейся в начале двадцатых, Шагал переходит с прозы на рисунок, с рисунка на стихи.

*«Во мне растут зеленые заборы,
И переулки тянутся кривые,*

² Наблюдение Л. Клягиной в работе «Город Гоголя и город Шагала». Известия Уральского Государственного университета.

³ Н.В. Гоголь. Собрание сочинений. М., 1984 г., т. 8, стр. 32.

*Вот только нет домов.
В них — мое детство,
И как они, разрушилось до нитки,
Где их жилье? В моей душе дыривой.»*

Гоголь и сам часто переходит на техники восприятия мира свойственные скорее живописцам, их видению.

«Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по снурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными над ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков, по обыкновению, зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья...»⁴ Шагал делал свои офорты для французского, переводного (первого тогда) издания, для читателя, не знающего русских реальностей. Задача надо сказать труднейшая, — нынешним школьникам тоже уже неимоверно трудно погрузится в вымороченную реальность густого, как кисель, гоголевского космоса. В сущности, перед ним стояла задача двойного перевода: текста в изображение, или, во всяком случае, в изображение, дополняющее и объясняющее текст, а во-вторых — комментирующего для француза российскую реальность, знакомую тому разве что по маркизу де Кюстину и старшему Дюма.

Потому так завораживают шагаловские «Мертвые Души», все эти его трактирные сцены, балы, брички, дороги, шлагбаумы и постоянные дворы, при всей лаконичности наполненные монжеством деталей — поросенком с хреном, щами, самоварами, чашками и блюдцами, кособокими стульями и креслами, обитыми бумазеей, зеркалами, цилиндрами, перчатками, тросточками (гоголевский прикид), кошками курами, собаками и прочей живностью в небе, иконами по углам и извозчиком в оконце...

Мир Гоголя, в сущности, статичен, несмотря на все его залихватские трели о птицах-тройках и русской быстрой езде. У него часто так — «в обратном смысле». Ни времени, ни пространства нет у мертвых душ. Пространство гоголевской России (и у Шагала

так) — вымороченное пространство без времени, даже без третьей координаты, плоское, как циркуль. С перекошенной перспективой, людьми похожими на жаб, и коровами, мирно летающими в небе, как ангелы. Все мертво в этом чистилище — *светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем мирного войска, отчасти нетрезвого по выходным дням*, только язык живой. Повторим за Андреем Белым: *«Что за слог!»*

Герои двоятся, кружатся, перетекают из толстого в тонкого, меняются обликом то в черта, то в какого-то оборотня с выпученым глазом.

После шагаловских иллюстраций канонические гоголевские иллюстрации смешны и деревянные.

Мир Шагала, это, конечно, не мир Гоголя, но это одна планета и одна на этой планете поляна неясных воспоминаний. Мир Шагала все же определеннее, жестче, он похож на мир Ларионова, времен солдатских его примитивов и вывесочных экспериментов. Он, как и тот, опирается на русский лубок, его принципиальную конструкцию — лукавства, двусмысленности, назидательности и циничности одновременно...

Время другое у Шагала по сравнению со временем Гоголя, разверзшееся уже. Время во вселенной Гоголя, густое, застывшее, как смола (вспомним *«клокотанье кипящей смолы»* в «Вие»), туго закрученное и имеющее выходы в самые разные эпохи и измерения.

Вот ищет Чичиков деревню Маниловку:

«Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой, на юру, то есть на возвышении, открытый всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатошь горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций, пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины... У подошвы этого возвышения и частью по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы. Поодаль в стороне синел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес.»

Уже после Гоголя (в 1855 г.) писал с той же тоскою Тютчев:

*«Эти бедные селенья,
эта скудная природа»
Край родной долготерпенья...
Край ты русского народа!»*

⁴ Там же, т.8, стр. 19.

*Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный
Что сквозит и тайно светит
В нагоде твоей смиренной.*

И уж совсем по-гоголевски:

*Удрученный ношей крестной,
Всю тебя земля родная,
В рабком виде Царь небесный
Исходил, благославляя.*

Если отстраниться от привычных с детства картинок, от школьных сочинений, навязших в зубах, — какое странное, какое страшное название: МЕРТВЫЕ ДУШИ. Страшнее, чем «Нагие и Мертвые», «Прокляты и убиты». Ведь это — о душах. Разве души могут быть мертвыми? — вопрошал цензор — и отвечал: не могут, ибо бессмертны. До самого последнего времени поколения советских детей бездонную книгу Гоголя читали как авантурные «Похождения Чичикова», с позволения сказать-с, предтечу Остапа Бендера.

Меж тем книга бездонная, поскольку дно Гоголь сам и выбил, надставляя борта своего произведения. Остановиться он не мог, поскольку знал, что не легкомысленная муза, а *«кто-то незримый пишет передо мной могущественным пером»*, обладающий правом судить и называть именами.

Такой плотности, многозначности, переливчатой певучести русского текста не было ни до, ни после него. Только Гоголь, *мову* в пеленках слышавший, мог так переладить русскую речь.

Вот он пишет приятелю своему М.А.Максимовичу в 1834 г. о переводах украинских песен: *«Есть пропасть таких фраз, выражений, оборотов, которые нам, малороссиянам, кажутся очень будут понятны для русских, если мы переведем их слово в слово, но которые иногда уничтожают половину силы подлинника. Почти всегда сильное лаконическое место становится непонятным на русском, потому что оно не в духе русского языка; и тогда лучше десятью словами определить всю обширность его, нежели скрыть его....на русском слабее выражает, нежели на нашем.... Помни, что твой перевод для русских, и потому все малороссийские обороты речи и конструкцию прочь!»*⁵

Гоголь ставил перед собою неисполнимую задачу — его книга должна была преобразовать мир. Но она

ненаписанная (будем по-пушкински судить художника по законам, которые он сам над собою поставил — первую часть он вообще называл крыльцом к великому зданию) ведь и прообразовала русский мир, без нее он уже существовать просто не может, как не может без Гоголя бытовать Русский язык.

П.В. Анненков друг и конфидендент Гоголя, в Риме переписывал главы «Мертвых душ» под диктовку Гоголя. Он вспоминал: «Никогда еще пафос диктовки не достигал такой высоты... По окончании этой изумительной VI главы я был в волнении; положив перо на стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: *«Поверьте, что и другие не хуже ее.»*

Вернемся к Шагалу. В июне 1973 года, как всем известно, Шагал побывал в Советском Союзе. Это была невероятная сенсация, о которой я узнал, как и многие, по «голосам».

Сослились времена, человек-легенда, оказывается, существует и его можно увидеть! Но как с ним встретиться? Как увидеть своего тогдашнего кумира?

Я тогда работал спецкорреспондентом отдела культуры молодежного журнала, часто бывал в Ленинграде, был вхож к директору Эрмитажа Борису Борисовичу Пиотровскому, великому археологу, открывшему Урарту, о котором незадолго до этого опубликовал большой материал. В общем, мы с женою Таней поехали в Ленинград...

Пришел я к Борису Борисовичу, принес журнал; принял он меня благосклонно, и тут звонит смольнинский телефон «вертушка». И все как я рассчитал! По разговору понимаю, что речь идет о завтрашнем визите Шагала в Эрмитаж. Положил Пиотровский трубку, я с просьбой допустить до Шагала. Он сказал — завтра музей выходной, закрыт, вообще просили никакой ажиотации не создавать, никаких посторонних.

Я умоляюще смотрел на него.

Впрочем... у вас же пропуска есть — во все отделы и все залы... приходите-ка утром с директорского подъезда, скажем на третий этаж... кто вас остановит?

Наутро мы с Таней, взяв фотоаппаратуру и диктофон, отправились в Эрмитаж.

Шагала и его супругу водила по Эрмитажу совсем небольшая группа сотрудников — Пиотровский, Инна

⁵ Н.В. Гоголь. Собрание сочинений в восьми томах. М., 1984 г., т. 8, стр. 78–79.

Сергеевна Немилова, хранитель отдела западноевропейского искусства, молодой искусствовед Костеневич, ученый секретарь, еще несколько человек. Я, насколько помню, был единственный фотограф...

Диктофон я отдал Тане, которая не сумела от волнения им правильно распорядиться, и двухчасовой комментарий Шагала к эрмитажной экскурсии не записался. Зато я сделал много уникальных фотографий — Шагал в Эрмитаже.

Я фотографировал Шагала, зачарованно стоящего перед «Юдифью» Джорджоне... «Вот ты какая красавица!»

У них с женою была игра, которой я потом научил детей: Он спрашивал В.: «Покупаем?»... Покупали они очень придирчиво... Джорджоне, Тициана, Рембрандта, Моне... С тех пор мы тоже так ходим по музеям, «прицениваясь».

В те дни директор Русского музея Василий Алексеевич Пушкирев велел вытащить Шагала из тайного хранилища, о котором ходили легенды, и показать народу («Влюбленные над городом»).

Обласканный на Западе, Шагал при жизни не дождался, как и Гоголь, признания властей своей родины — ни в Москве, ни в Минске, ни в Витебске. А ведь сотни его работ могли бы оказаться в наших музеях.

* * *

Ни до, ни после Гоголя не было у нас писателя такой обескураживающей искренности, которую и вынести трудно.

Из предисловия ко второму изданию «Мертвых душ»:

«... В книге этой многое описано неверно, не так как есть и как действительно происходит в русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в нашей земле. Притом от моей собственной оплошности, незрелости, и поспешности произошло множество всяких ошибок и промахов, так что на всякой странице есть что поправить: я прошу, читатель, тебя поправить меня... как бы например, хорошо было, если бы хотя бы один из тех, которые богаты опытом и познанием..., сделал свои заметки сплошь на всю книгу, [выделено мной — В.Я.] не пропуская ни одного листа ее, и принялся бы читать ее не иначе, как взявши в

руки перо, И ПОЛОЖИВШИ ПЕРЕД СОБОЙ ЛИСТ ПОЧТОВОЙ БУМАГИ, И ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНИЦ, ПРИПОМНИЛ БЫ ВСЕ, ВСЮ ЖИЗНЬ СВОЮ И ВСЕХ ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ ВСТРЕЧАЛСЯ, все происшествия, случившиеся перед его глазами, все, что видел сам, или что-то слышал от других..., и посылал бы ко мне всякий лист, по мере того, как он пишется, покуда таким образом не прочтется вся книга. Какую кровную он оказал бы мне услугу!»

Гоголя за эти слова винули в фиглярстве и лицемерии — а ведь он был не только искренен, но и предсказал что-то похожее на «Живой журнал» в интернете.

...«... Если бы случилось, что моя сердечная просьба была бы уважена моими читателями и нашлись бы из них действительно такие ДОБРЫЕ ДУШИ...»

По молодости лет он хлопотал о профессорской кафедре истории в Киевском университете, собираясь попутно «дернуть историю Малороссии, эдак томов на шестнадцать». Слава Богу, не сложилось, не дали ему кафедру, а то остались бы мы без «Мертвых душ».

Гоголь непрестанно меняется в восприятии поколений. Четверть века назад в официозной «Правде» к 175 летию Гоголя напечатана статья Б.Бурсова «Родник Русского реализма». В ней сказано: «Пушкин — поистине душа русской литературы. Гоголь — больше плоть ее. Он весь в углублении, в подземном слое бытия русского, взятого во всей целостности.»

Теперь мы видим это иначе.

Никакая Гоголь не плоть в подземном слое, там обретаются покойники да басаврюк. Гоголь — это другое... Может быть, мучительное прорастание живой души, одушевление литературы, этой Галатеи, изваянной Пушкиным. Это с гоголевской руки пошло своеволие формы, непослушание слова. Пушкина слова слушались.

Как Петр ввел в Россию европейские учреждения и европейское платье, Растрелли — европейскую архитектуру, так Пушкин утвердил в ней европейскую литературу.

Гоголь сделал ее трудной, мучительной, заглубленной внутрь человека, отталкивающе-притягательной. «А как попробуешь добраться до души, ее уж и нет.» Но добраться он попробовал первый. С него начался Достоевский.

Это Гоголь подложил Раскольникову топор в дворницкой, хотя никогда бы в этом не признался. ■■■



НОЧНОЕ СВЕТИЛО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Игорь КЛЕХ

200 ЛЕТ СПУСТЯ

«Знаете ли вы украинскую ночь?» Как известно, это не вопрос, а развернутый ответ — гоголевская версия южной ночи (в рассказе «Майская ночь, или Утопленница», 1831) в противовес пушкинской (в поэме «Полтава», 1829) — «Тиха украинская ночь». Завораживают обе, но если Пушкин имеет целью передать ощущение совершенного покоя («Своей дремоты превозмочь / Не хочет воздух»), то Гоголь любой ценой стремится воспроизвести текучесть и пульсацию покровы ночи («Горит и дышит... и движет океан благоуханий»), как на полотнах не родившегося еще Ван Гога. И дело не только в различии поэтических задач и средств в том и другом случае.

Невозможно отрицать определенную полярность — взаимопротивление, отталкивание и дополненность — творческого наследия двух писателей, задавших параметры русской литературе классического периода, а возможно, и определивших оси ее координат. Следующий по пятам за первопроходцем и желающий с ним соперничать (как Гоголь и, в меньшей степени, Лермонтов) обязан максимально себя с ним расподобить (как то происходит с детьми в семье). Поэтому Пушкин сочиняет «роман в стихах» — а Гоголь прозаическую «поэму», Пушкин пишет необычные трагедии — а Гоголь жутковатые комедии, Пушкин добивается невиданной прозаичности и прозрачности письма — а Гоголь его неслыханной поэтичности

и загадочности, Пушкин гиперсексуален — а Гоголь асексуален (но об этом позже) и так далее.

Посмертно Пушкина назначили «солнцем» русской поэзии — «нашим всем» и приверженцем так называемого чистого искусства, «искусства для искусства», а в Гоголе увидели сатирика — его «Шинель» сочли родоначальницей угнетенного «маленького человека» и целой плеяды писателей «натуральной школы», исповедовавших метод «критического реализма». Бесы политического радикализма, чаще всего поповичи или бастарды, пытались таким образом и *солнце* затмить, и *луну* похитить с русского небосвода (но об этом также позже).

Конечно же, *солнечный* Пушкин ощущал метафизику *ночи* и ориентировался в потемках человеческой души не хуже Гоголя. Тому есть масса подтверждений: настоящий подарок фрейдистам — сон Татьяны Лариной; многолетнее исследование эстетики и клиники «бунта бессмысленного и беспощадного»; кощунственный азарт «Пира во время чумы», «Каменного гостя», «Египетских ночей»; траектории сумасшествия в «Пиковой даме», «Медном ваднике», стихотворениях «Бесы», «Не дай мне бог сойти с ума».

Но в самых критических обстоятельствах жизни и творчества Пушкин имел талант оставаться собой и не терять куража. Ему неведом был тихий ужас мертвоцеких объятий бесконечной ночи, в которых имел

несчастье очнуться Гоголь. Даже когда из-под гоголева пера выходили жизнерадостные и солнечные картины, под ними неизменно шевелился мировой хаос — мрачная изнанка нашей жизни, от встречи с которой легко поседеть за одну ночь. Сама собой напрашивается аналогия с солнцем и луной, явью и сном, здоровьем и болезнью и неразлучными сестрами — жизнью и смертью.

И вот пролетело два столетия.

Вопреки литературным мечтаниям молодого Гоголя, — что, дескать, Пушкин есть русский человек в его свободном развитии лет этак через двести, — Пушкиных на нашей улице не прибавилось. При том что Пушкин давно сделался и остается важнейшим мерилom и одной из ключевых фигур России и всего русского мира (что поэт почувствовал в своем предсмертном «Памятнике» — и это его единственное высказывание в жанре предсказания). Зато интуиция не подвела Гоголя с загадочным для него самого и его современников образом русской тройки в финале «Мертвых душ», как выяснится уже в XX веке. Узник своих видений, Гоголь куда более Пушкина был развернут лицом (обращен носом) к концу света и концу истории (оказался Хомой и Вием в одном лице).

За истекший период столько было написано всякого и диаметрально противоположного о Гоголе, что сам черт ногу сломит.

Современники знали Гоголя вживе, зато потомки узнали много о нем такого, чего те не могли и предположить, чему и сам Гоголь воспротивился бы, познакомившись с психоанализом Фрейда или модернистскими притчами Кафки, после которых на Западе только и начали что-то понимать в его творчестве. Причем ни современники, ни сам Гоголь, ни потомки не вправе заявить, что знали или знают Гоголя досконально. Глубже Гоголя в дебри человеческой психологии заглянул Достоевский, его ревнивый соперник, но в само сердце тьмы дальше Гоголя, кажется, не проник никто в словесности. Наш мир воспринимался им в опрокинутой перспективе — словно из глубин небытия, из послесмертия. Оттого оптика Гоголя не вполне человечна, а персонажи гротескны — одновременно комичны и космичны, уморительны и ужасны. Это не юмор или сатира в привычном понимании, а антропологическая комедия. И самое поразительное в ней: невозможная и непостижимая трогательность карикатурных созданий, их несомненная человечность. Даже в самых ранних его повестях сквозь природное веселье молодости (уже тогда *смех* вместо *радости*) проглядывало

отчаяние, породившее то, что он сам назвал «слезами» за фасадом «смеха». Этот скрытый плач и сделал Гоголя великим комедиографом, метафизическим писателем и, надо полагать, христианином (а не его скороспелое и ханжеское религиозное учительство последнего десятилетия жизни).

ХОТЕТЬ И МОЧЬ. БОЛЬНОЙ ИЛИ СУМАСШЕДШИЙ?

Хотел Гоголь многого — и желательно, невозможного, поскольку был максималистом и мегаломаном, сформировавшимся в атмосфере патриархальной помещицкой усадьбы и полусредневекового украинского села, в самодостаточном захолустье. Он вырос мечтателем среди «существователей» и «небокоптителей», рано оторванным от семьи и безжалостно выдержанным до совершеннолетия в училище закрытого учебного заведения (как Пушкин, Киплинг, Джойс и многие другие), что в прежние века широко практиковалось и эффективно дисциплинировало потомство, но в случае с художниками всегда имело результатом неизгладимую травму.

Это к вопросу, горячо обсуждавшемуся в XIX веке радикальными публицистами и психиатрами: являлся ли Гоголь просто больным или психически больным в последний период жизни?

Тогда как попросту он был морально травмирован в довольно раннем возрасте, и оттого его психика и дар развились в таком необычном и странном направлении. Его любимый младший брат Андрий вообще не пережил отлучения от дома и мамок, если кто этого не знает. Николай один продолжил обучение в новоиспеченной элитарной нежинской высшей гимназии, вскоре переименованной в лицей (второй или третий в России после Царскосельского), где он рос диковатым, скрытным и крайне неряшливым подростком — золотушным насмешником (это все, чем он мог ответить обидчикам) и сладкоежкой (по воспоминанию одного из соучеников: «В карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей — конфет и пряников. И все это, по временам доставая оттуда, он жевал не переставая, даже в классах, во время занятий», — что это как не проявление желания вернуться в мир материнской заботы, желания «быть накормленным?»). Учился скверно, проявляя интерес только к рисованию и литературным занятиям. Чрезвычайно любопытно об этом пишет младший современник Гоголя и его первый биограф Пантелеймон

Кулиш: «Литературные занятия были его страстью. Слово в ту эпоху вообще было какою-то новостью, к которой не успели приглядеться. Самый процесс применения его как орудия к выражению понятий, чувств и мыслей казался тогда восхитительно забавою. Это было время появления первых глав «Евгения Онегина», время, когда книги не читались, а выучивались наизусть».

В девятнадцать лет выйдя из стен Нежинского лицея, Гоголь незамедлительно отправился покорять Санкт-Петербург с исчезающе малой суммой денег и символическими рекомендациями, имея чин коллежского регистратора, самый низший в табели о рангах. Попытки прославиться с ходу игрой на театральных подмостках или публикацией графоманской поэмы постыдно провалились. Отрезвила юношу и привела в чувство сумасбродная заграничная поездка в Любек, с расстройством не принадлежавших ему денег семьи.

Поочередно Гоголю хотелось:

- «завоевать столицу», добившись успеха на государственном чиновничьем поприще (потерпел неудачу, но благодаря литературной известности очень скоро обзавелся связями в высших кругах общества, а после постановки «Ревизора» заручился протекцией и денежной поддержкой императорской фамилии);

- заняв университетскую кафедру (где он недолго продержался), написать многотомную «Всемирную историю» или хотя бы «Историю Малороссии» (получился «Тарас Бульба» — микроэпос в жанре прозаической думы или народной песни, этакая русско-украинская «Илиада»);

- сочинить эстетический трактат (вышли яркие осколки — «Арабески» и литературно-критические статьи);

- занять место в русской литературе не ниже Пушкина (при жизни Пушкина добился его расположения и признания, а после смерти поэта и выхода «Мертвых душ» даже сравнивался с ним на какое-то время в литературном значении);

- благодаря «Выбранным местам из переписки с друзьями» сделаться в России не просто «властителем дум», а проповедником и вероучителем (потерпел оглушительный провал, с отголосками по сю пору);

- написав оптимистическое продолжение «Мертвых душ» (прозаический аналог ивановского «Явления Христа народу» в живописи), стать пророком и спасителем отечества и мира (финал известен: только пепел знает, что значит сгореть дотла; но попытка оказалась заразной и имела продолжение: поздние Достоевский и Толстой, соцреализм, Солженицын).

А что мог Гоголь? О, невероятно много!

В частности:

- написать живописнейшие этнографические сказки полтавского цикла и уникальную идиллию («Старосветские помещики»);

- представить в классических «жутких историях» художественный реестр архаических ужасов с архетипическими незабываемыми образами;

- создать синкретический эпос о героических козацких войнах, с великими мифами о сыноубийстве, воинском братстве, отечестве и вере;

- запечатлеть ряд классических психодрам (клинического сумасшествия, склоки, сплетни, жениховства);

- написать евангельские мистерии с двойным дном «Шинель» и «Ревизор», а также недооцененную по сей день «Коляску» — самое бессмысленное произведение в мировой литературе, пародию на само повествовательное искусство;

- стать одним из основоположников культурной мифологии Петербурга, литературы абсурда и сюрреализма.

В итоге:

- ■ внести неоценимый вклад в характерологию русской литературы и культуры — от образов старосветских или перессорившихся на пустом месте помещиков цикла «Миргород» до грандиозных канонических фигур русской литературы в «Петербургских повестях», «Мертвых душах» и великих комедиях, — какое искушение всех их перечислить, от Башмачкина и Поприщина до Хлестакова и Ноздрева! И это самый поверхностный перечень только в содержательном плане!

Потому что главное чудо в искусстве Гоголя — это его язык, выпуклый и бесконечно изобретательный, порождающий такие связи и «соображения понятий», каких вы не найдете больше ни у кого в мировой литературе (например, отмеченная Андреем Белым в монографии «Мастерство Гоголя» связь человеческой фигуры с ландшафтом в росчерке! Или немотивированные и недо воплощенные фантомные персонажи в «Петербургских повестях» и «Мертвых душах» — откуда и зачем явились? Куда пропали?!). Это и есть настоящий, а не вымученный и выморочный позитив — приключение, восторг и духовное обновление, оставляющие неизгладимый отпечаток в сознании и душе читателя. Как удачно кто-то выразился: если Пушкин однажды существовал — значит, достижение гармонии (в жизни и творчестве) возможно. Почти то же можно сказать о Гоголе: поскольку существует

феномен гоголевского письма (естественно, в художественных его произведениях) — чудеса на свете имеют быть.

Беда подкралась незаметно и закономерно. Невозможно сомневаться, что Гоголь по своей психической конституции был склонен к душевному расстройству и умопомрачению, но кто из ведущих писателей литературно перегретого XIX века, века литераторов «властителей дум», был гарантирован от этого?! В послепушкинскую эпоху русская литература утратила внутреннее равновесие и суверенитет, достигнутые благодаря усилиям Карамзина, Крылова, Грибоедова, Пушкина. Начиная с прирожденных романтиков Лермонтова и Гоголя и идеологически озбоченных славянофилов и Белинского, незрелый рационализм принялся понемногу разъедать нашу художественную литературу, сделался ее хронической внутренней болезнью. Писатели, и Гоголь в числе первых, все чаще становились заложниками и мучениками тирании рассудка, а русская литература делалась все более похожа на скульптурную группу Лаокоона. Тема довольно скользкая, и об этом ниже.

ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОГОЛЯ

Первым постарался «построить» Гоголя Белинский на почве возникших идейных расхождений и пощадил только по причине прежних заслуг и очевидного уже даже для самых горячих поклонников умственного расстройства прижизненного классика.

За дело принялись добросовестные биографы — Шенрок, Анненков, Кулиш, врач Тарасенков (автор бесценного свидетельства об уходе из жизни Гоголя, позднее неоднократно оспоренного обиженными за честь мундира медиками, включая психиатра-клинициста Чижана, родившегося вскоре после смерти Гоголя и написавшего серьезное исследование о болезни Гоголя, которого он не без оснований считал параноидальной личностью).

«Шестидесятники» из лагеря радикалов произвели резекцию творческого наследия Гоголя, представив его сатириком и предтечей критического реализма, вдохновителем социального романа, сентиментально-го и беспощадного.

Достоевский был донельзя уязвлен Гоголем, чему свидетельством являются его «Бедные люди», «Записки из подполья» и «Село Степанчиково». Но ему и

самому хотелось стать писателем-сверхчеловеком и кормчим — особенно в менторском «Дневнике писателя» и программной Пушкинской речи, по-своему, замечательных.

Для Льва Толстого Гоголь был никто, но его учительский жест он усвоил и успешно развил. По аргументированному заключению дореволюционных психиатров сам Толстой, как и Достоевский, являлся эпилептоидом, со склонностью к вязкому «лабиринтному» мышлению и доктринерству и антипатией и неспособностью к лаконизму.

Для здравомысленного на редкость Чехова его почти что земляк Гоголь был «Степным Царем» — поразительным мистиком русской земли, ее меланхолических просторов и природы (что нашло отклик в самом лирическом произведении Чехова «Степь» и страсти к путешествиям и перемене мест). Еще для него Гоголь — это виртуоз неподражаемой мало-российско-полтавской придури, обладавший своеобразным лукавством ума очень близким к английскому чувству юмора с невозмутимым выражением физиономии. Чеховская склонность к метонимии, к говорящей детали, также идет от Гоголя — это совершенно особый род мышления и художественной практики.

И вот пришли декаденты *fin de siècle*.

Для Мережковского Гоголь — язычник, переквалифицировавшийся в мистика христианского толка, тогда как проблема состоит в том, чтобы их скрестить, «поженить». Для парадоксалиста Розанова Гоголь — чёрт, абсолютный негатив, нигилист, жизнеотрицатель и злой гений русской культуры. Для большинства других Гоголь такой же антипод Пушкина, как «мертвая вода» по сравнению с «живой водой» (но даже в русских сказках мертвая вода действовала заодно с живой — одна сращивала члены, а другая одушевляла изрубленного в куски богатыря!). Никто так не ревизовал и не демонизировал Гоголя как символисты и деятели Серебряного века.

И только Блок обнаруживает и сознает свое «избирательное сродство» с Гоголем по целому ряду признаков. Он также *степной царь* («На поле Куликовом», «Скифы» и др.), русофил, жертвенный мистик и свидетель исторического краха сословной России, асексуал в браке и, несомненно, великий поэт (а его ранние «Стихи о Прекрасной Даме», аналог гоголевского «Ганца Кюхельгартена», было бы не жалко и в печке сжечь!).

К столетним юбилеям — в 1899 и 1909 годах — мифологии Пушкина и Гоголя приобретают характер



сложившихся культов. Что через несколько десятилетий будет обыграно Хармсом в абсурдистском скетче «Пушкин и Гоголь» («...Об что это я?!»).

Показательно, что на Бульварном кольце в Москве с разницей в тридцать лет на расстоянии полутора километров были установлены выдающиеся памятники обоим. В советское время бронзового опекушинского Пушкина перенесли на другую сторону улицы и развернули, а похожего на больную птицу сидящего андреевского Гоголя вообще сослали на задний двор и заменили, по распоряжению правительства, более парадным стоящим. Ходил тогда стишок: «Нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали».

Неистовая и филигранная «Конармия» Бабеля являлась, по существу, красным «Тарасом Бульбой».

Некоторые ремесленные приемы, лирические интонации и «чертовщину» позаимствовал у Гоголя и развил киевлянин Булгаков.

Набоков в годы Второй мировой войны написал англоязычную книгу о Гоголе — очень остроумную, но безнадежно кабинетную, эстетскую и отчасти мещанскую. Зоценко в те же годы сделал Гоголя героем своей психоаналитической повести и взял одним из поводов в мир писательской профессиональной мизантропии и сопутствующих нервных расстройств, за что и поплатился по окончании войны.

В книгах большинства советских литературоведов Гоголь выглядел настолько правозверным, что и врагу не пожелаешь такой судьбы. Впрочем, может, поздному Гоголю именно это и понравилось бы. Рассудок не может не приводить к плоскому утилитаризму, окрас которого не имеет большого значения. Публицистика для рассудочного мировоззрения — коронный жанр, а художественное творчество — мусор. Некоторые старцы и в год 200-летнего юбилея всерьез утверждают, что «Выбранные места из переписки с друзьями» являются вершиной творчества Гоголя.

Такая судьба у Гоголя: что о нем ни пишется — все равно получается шарж. Сам виноват.

НОХОЛ ЛИ ГОГОЛЬ?

Гоголь, конечно, хохол, но русский хохол, россиянин малороссийского происхождения, что совершенно неприемлемо для украинских националистов. Они не могут решить, что с ним делать: проклясть, оплакать или фальсифицировать? Гоголь искал блуждающий центр и границы русского мира в своем творчестве и мистических прозрениях. Он

любил Украину — ее природу, воздух, песни, гумор, историю, — но не настолько, чтобы занять кафедру в захолустном в ту пору Киевском университете и начать писать на литературно не разогретой «мове» для разрозненной украинской «громады». Масштаб его дарования требовал большей читательской аудитории и решения более крупных задач, нежели народное просвещение.

Кстати, его род происходил от двух знатных полковников, по мужской линии — от украинского, а по женской — от польского. Первый звался Остапом Гоголем (так вот откуда имена Остапа и Андрия Бульбенок в «Тарасе Бульбе» — от прадеда и от умершего ребенком любимого младшего брата! А «бульба», кстати, это «пузырь», и только позднее — «картошка»). Писатель отказался по окончании лица от двойной фамилии — а ведь мог бы быть Гогольняновским! Почувствуйте разницу. Так что детство будущего писателя оказалось пропитано историческими и отчасти фамильными преданиями старины, но главное — украинскими народными песнями, сформировавшими его талант в самом зародыше, без всякого преувеличения. Он не любил эти песни — он их обожал, азартно коллекционировал на протяжении всей жизни, исследовал, охотно пел в компании, иногда по тридцать раз подряд один и тот же понравившийся куплет, покуда его не останавливали земляки: «Годи, Мыколо, годи!» («довольно» то есть). По собственному признанию Гоголя, все его существо отзывалось на мелодии народных песен и трепетало им в унисон, а сердце жадно дожидалось тех всегда неожиданных слов, что торкнули бы его, подобно «кострому железу» («О малороссийских песнях», 1834).

К сожалению, не существует специального толкового исследования, что именно из украинского фольклора наложило отпечаток на творчество Гоголя. Зато в вышеупомянутой статье имеется свидетельство о том, что производило на двадцатипятилетнего Гоголя наибольшее впечатление и было им, скорее всего, перенято. В содержательном плане, помимо специфической меланхолии и сердечности, это наивный дуализм песен, синкретическая нерасчлененность внутреннего и внешнего мира, легкость перехода от отчаяния к веселью, от слез к смеху, и наоборот. А в формальном отношении, это поразительная безыскусность и произвол анонимного автора (как у Пастернака: чем случайней — тем верней!), а также полный отказ от развернутых описаний (то, что так любо и дорого было дотошному Льву Толстому! Ясное дело, ему не за что было любить прозу Гоголя) и метонимичность, когда часть представляет целое: «вместо целого внешнего

находится только одна резкая черта, одна часть его». Но это и есть «поэзия поэзии» — высший пилотаж в любом роде искусства!

Можно только пожалеть, что часть одуроченных украинцев не готова признать Гоголя украинским писателем. Потому что Гоголь был и остается и украинским писателем тоже — даром что писал на русском языке и своей большой родиной считал Россию. Искусство — это такая область, в которой части не вычитаются, а слагаются и даже перемножаются. Так можно и пробросаться. Другого Гоголя украинской земле не породить, потому что один уже был — первый и единственный. И именно тогда, когда надо было быть.

БЕЗ ПОЛА

Отказ от пола не такая уж редкость в мировом искусстве, литературе и философии. Сексменьшинства всячески стремятся сегодня представить «отказников» репрессированными или латентными (то есть подавленными или дремлющими) гомосексуалами, в лучшем случае — потенциальными бисексуалами. Но это далеко не всегда так, иначе и старых дев нам вскоре придется признать лесбиянками. Некоторые теоретики-утописты видели в них андрогинов, но и это не может быть правдой, потому что пол как наличность — это судьба, а отказ от пола — либо одно из условий служения, либо богоборчество и возвращение билета Творцу. Давно известная миру переориентация и возгонка эротической энергии, названная Фрейдом сублимацией, либо даже просто спор и несогласие с собственной половой природой, придают особый накал их творчеству — делают его чрезвычайно плодотворным, загадочным и мучительным процессом. Таковы, например, в изобразительном искусстве «трудоголики» Леонардо, Микеланджело, Ван Гог и Филонов, в философии — Кант, Ницше, Вейнингери Чаадаев, в литературе — Свифт, Гоголь и По (на поразительное сходство которых в личном и отчасти творческом плане обратил внимание Зощенко, столкнувшийся с похожими проблемами, действуя методом «от противного»), Кафка и Платонов (причем наличие случайных связей, любовей или даже семьи никак не отменяет вражды с собственной сексуальностью в творчестве, как, например, у автора «Анны Карениной» и «Крейцеровой сонаты»). Перечень легко может быть расширен и продолжен.

Гоголь в этом отношении почти чистый случай. По свидетельству врача Тарасенкова никаких физических

причин для воздержания у Гоголя не имелось, однако начисто отсутствовало желание вести половую жизнь, которой, по его признанию, у него давно уже не было и от которой он не получал никогда удовольствия. Есть основания подозревать, что писатель либо и не пытался ее вести изначально, либо потерпел неудачу, отбившую навсегда охоту к этому делу. Нельзя не признать, что женские душа и тело для Гоголя — потемки. Его женские образы всегда либо слишком идеализированы и абстрактны, либо комичны и бездушны, либо ведьмы и утопленницы, а писанные молодые красавицы, как и у По, слишком часто лежат в гробу. При том что Гоголь в зрелые годы охотно и тесно дружил с замечательными женщинами разного возраста, и они отвечали ему взаимностью. Так что мог бы узнать женщин получше, но по какой-то причине категорически не желал перейти черты. Ровно так же как датский сказочник Андерсен, с которым они и похожи даже внешне. Каждый из них выпрыгнул бы от невесты в окно, подобно герою гоголевской «Женитьбы», и скорее удавился бы, чем примкнул к сторонникам однополой любви (что в привилегированном обществе почти не порицалось тогда и даже наоборот). Гендерная сексуальность была символически осмеяна Гоголем в «Носе», но только русские американцы Саймон Карлинский и Борис Парамонов додумались, что и повесть «Вий» о том же — «про это». С панночкой Хоме удалось худо-бедно справиться, но только не с Вием, словом из трех букв, которому «залупляют» веки, — здесь-то и наступил ему конец. По-гоголевски смешная и жуткая версия. Наши литературоведы постарались забыть, что целомудренный Гоголь, по свидетельству современников и первых биографов, являлся большим любителем и рассказчиком чудовищно непристойных, скабрёзных анекдотов и крепких слов. Даже в отредактированных изданиях его переписки хватает отточий.

Не меньше женщин с Гоголем не повезло и евреям, но это отдельная и не столь элементарная, как может показаться, тема. Об этом как-нибудь в другой раз.

ГОГОЛЬ И ГОРОДА

Гоголь — птица, селезень. Как выяснилось — без пола, холостой. Но не менее важно, что птица перелетная. Фамилия ли его сподобила так часто глядеть на наш мир с высоты птичьего полета или еще что, — гений, например, который, как известно, дух, прилетит-улетит, — не имеет значения. Склонность Гоголя к перелетам несомненна — дорога его

лечила и держала при жизни. Его письма пестрят выражениями вроде: «Дорога сделала надо мной чудо. Свежесть и бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал» — или «Дорога — мое единственное лекарство — оказала и на этот раз свое действие». Поэтому он писал стоя у конторки, тосковал и болел сидя, кровати боялся, а когда лег — умер.

Мигрирующий Гоголь совершил в течение жизни перелет по разомкнутой дуге: Полтава — Санкт-Петербург — Рим — Иерусалим — Москва. Зачем так часто менял он города и что в них находил?

С Полтавой понятно: лучше человеку прожить жизнь там, где он родился, считали древние греки, но добавляли — счастлив тот, кто родился в правильном городе. А не родился — придется потрудиться и прожить жизнь не вполне счастливым, и не совсем там или совсем не там.

С Санкт-Петербургом, столицей Российской империи, также вполне ясно: это попытка перемещения одной из точек окружности в самый центр (как Санкт-Петербург, наоборот, был перемещением центра на окружность). Пребывание Гоголя в нелюбимой им северной столице — самый плодотворный в творческом отношении период его жизни. Беда только, что здесь вам не юг. Климат гнил (город на болоте), дефицит солнца и, соответственно, плоти (не барокко, а классицизм; не вегетация, а имперский камень; не теплая семейственность, а ледяная бюрократия и т. д.). К тому же Петербург — одна из самых дорогих в то время европейских столиц (дороже Парижа и наравне с Лондоном).

Рим в этом смысле — просто находка и чудо. Дешевле в десять раз, что немаловажно (несколько тысяч серебром или ассигнациями от царского двора хватало на годы безбедной жизни и перемещения по Европе). Древнейший в мире город — и при этом, как и Киев в тот период, помесь города с деревней (Колизей и козы, глиняный спуск к Тибру, не закованному в гранит, всё пешком, кухня простонародная, изумительно плотоядная, и храмы, сумопотрясающими шедеврами искусств). Но главное — климат, еще мягче и солнечнее, чем на исторической малой родине, и дистанция — чтобы отсюда, как в перевернутом бинокле, суметь увидеть не уместающуюся в кадре Русь. Не счесть дифирамбов Риму в переписке Гоголя, смертельно тосковавшего по южному лету на российском севере. Вот цитата из письма Максимовичу, с которым он празднично мечтал сделаться киевлянином — поселиться над Днепром, преподавать, собирать и петь украинские песни, многоотомную историю человечества писать:

«...напиши, в каком состоянии у вас весна. Жажду, жажду весны. Чувствуешь ли ты свое счастье? знаешь ли ты его? Ты, свидетель ее рождения, вливаешь ее, дышишь ею, — и после этого ты еще смеешь говорить, что не с кем тебе перевести душу... Да дай мне ее одну, одну, и никого больше я не желаю видеть, по крайней мере на все продолжение ее».

Эту вечную весну в Вечном Городе он получил:

«Что за воздух! Удивительная весна! Гляжу — не нагляжусь. Розы усыпали теперь весь Рим; но обонянию моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. Их нет у нас. Верите ли, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного большущего носа, у которого ноздри были бы в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны».

Не менее важно, и даже более, что Рим являлся религиозной столицей западного мира и в этом отношении превосходил град Петра (небесного патрона русского царя, его основателя), примерно, как любой храм превосходит любое жилое строение. «Нет лучшей участи, — писал Гоголь Плетневу, — как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к небу». Кстати, польские ксендзы чуть не «охмурили» здесь Гоголя, как Козлевича, но он оказался все же хитрее них и не предал веры отцов.

По мере все большего отхода от художественного творчества в пользу религиозных вдохновений, Гоголь не мог не дерзнуть отправиться на историческую родину Спасителя — не посетить Святую землю и Иерусалим. Увы, эта поездка оказалась смазанной страницей его биографии и творчества. Святая земля и Гоголь разминувшись, чтобы не сказать, разочаровали друг друга.

Доживать свой век и умереть Гоголю пришлось не на *родине своей души* (как он сам определял Италию и Рим), а в России — в древней и очень «домашней» дворянской Москве. И это было не случайностью, а окончательным выбором *правильного города*. Если бы только не его жесткий климат, — для Гоголя, ценившего лишь «ненатопленное тепло», — и не творческая исчерпанность писателя, отправившего в печь плод многолетних потуг, фальшивый второй том своего *opus magnum*. Но какой все же умница, он чист перед литературой и перед людьми! Только вот люди, любящие вроде бы все и замечательные, не дали ему по-людски умереть на родине, как ни прискорбно это признать.

МЕДИЦИНСКИЙ ТРИЛЛЕР

Никакой загадки в безвременной и скоропостижной смерти Гоголя нет. Он захотел умереть и сделал это, как ни старались ему помешать.

Поводом стала внезапная смерть занемогшей жены Хомякова и сестры покойного Языкова, сердечного приятеля Гоголя. Врачи попытались лечить ее каломелью, хлористой ртутью, смертельной для нее. Гоголь был потрясен и на похороны не пошел. В те же дни начала февраля 1852 года его пугал Страшным судом фанатичный проповедник Матвей Константиновский, покуда писатель не взмолился: «Довольно, оставьте меня! Не могу долее слушать! Слишком страшно...» Что-то сломалось в Гоголе, он начал жестокий пост на Масленой неделе, отказавшись от всех своих гедонистических привычек. В ночь с пятницы на субботу, усердно молясь на коленях перед образами, Гоголь услышал «голоса», которые говорили ему, что он умрет. Он поверил им и согласился с ними... потому что это был его внутренний голос. Как писатель он совершил все, что мог, еще несколько лет назад.

В ночь с Чистого понедельника на вторник он сжег в печке продолжение «Мертвых душ» (не в первый раз; свои произведения он сжигал не реже, чем

Маяковский пытался застрелиться), расплакался и вернулся в кресло, неделю спустя, наконец, согласился лечь в постель, в халате и сапогах, и отвернулся лицом к стенке, а на десятый день великого поста умер. Ни священники, включая авторитетнейшего митрополита Филарета (автора стихотворного возражения Пушкину на его «Дар напрасный, дар случайный»), ни друзья-славянофилы (которым он отвечал: «Надобно же умирать, а я уже готов, и умру[...] Что это вы мне говорите! Мне ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!..»), ни врачи (которых он безуспешно умолял: «Не трогайте меня, пожалуйста! Оставьте меня...») не сумели заставить его прекратить то, что они посчитали голодовкой.

Тогда сообще принялись за него всерьез: запретили красное вино, раздели догола и принялись ставить клизму, горчичники, восемь крупных пиявок на ноздри, лед на голову, кричать на него и насильно сажать в ванну, поливать голову едким спиртом, магнетизировать (гипнотизировать), обманно и насильственно кормить питательным бульоном, травить каломелью и обкладывать тело горячим хлебом. Никакому Гоголю нечто такое не могло и привидеться!

Господи, прости нас за то, что мы с ним сделали.





Н.В.ГОГОЛЬ

ПЯТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

1836–1841 гг.

ИЗ «Вестника Европы» за 1894 год

Владимир ШЕНРОК

XXI¹

1839 год

Печально вступил Гоголь в следующий, 1839 год, но зато в первой половине своей это был один из самых счастливейших годов его жизни. В это время в Рим приехали один за другим молодой граф Иосиф Виельгорский, Жуковский, супруги Шевыревы, Чертковы, Погодины и проч. Приблизительно в это же время Гоголь познакомился и сошелся с известным художником Ивановым. Таким образом, жизнь его была совершенно наполнена, и на чужбине он чувствовал себя в кругу людей, особенно ему близких и дорогих. Все эти счастливые встречи облегчали для него разлуку с самым искренним его другом, с его «ближайшим», с А.С.Данилевским. Если год тому назад, не видясь с последним в продолжение всего двух-трех месяцев, он уже грустил и писал: «Я давно не видался с ним и хотел бы поглядеть на него», — то теперь перспектива продолжительного нравственного одиночества, предстоявшего на неопределенный срок, должна бы была сильно удручить его, если бы не целый ряд самых приятных и частью неожиданных свиданий.

Иванов

Из всех названных лиц Гоголь раньше всех встретил Иванова. Когда произошло их первое знакомство, определить трудно, но оно должно было завязаться не позже конца 1838 г. В переписке Гоголя нет никаких данных для решения этого вопроса, а отсутствие каких-либо упоминаний об Иванове в письмах 1837 года никак не может еще служить доказательством, что они не были знакомы уже тогда. Мы видели раньше, что Гоголь, кроме самых близких людей, любил говорить в письмах и притом всегда с иронией только о таких, которые были для него обычным предметом насмешки и глумления. Гораздо важнее другое соображение: при безусловно замкнутом образе жизни Иванова, при известной его робости и необщительности, сближение с ним Гоголя едва ли могло произойти в короткий срок. Притом Данилевский вовсе не знал тогда Иванова. Все это скорее говорит в пользу того, что если Гоголь и встречался с Ивановым в первые приезды в Рим, то их отношения начались позднее. Наконец, не лишено, конечно, основания и то, что в своей

¹ См. выше: август, стр. 611.

известной книге об Иванове Боткине относит начало знакомства его с Гоголем именно к концу 1838 г. В Иванове Гоголь не мог не оценить прежде всего как его беспредельную любовь к искусству, так и одинаковое с ним увлечение дорогим ему древним Римом, а сходство в их внешнем положении и тяжелые материальные условия обоих должны были еще более укрепить взаимную симпатию. Несмотря на решительное несходство характеров, Гоголь и Иванов во многом представляли собою две родственные по духу натуры. Мы знаем, с каким восторгом всегда приветствовал Гоголь в других присутствии той искры божией, того вдохновенного увлечения красотами природы, которое чувствовал в себе. Не оттого ли его письма к М.П.Балабиной дышат таким светлым настроением и так живо рисуют перед читателем искренние, непринужденные отношения обоих корреспондентов.

Переписка с Балабиной Гоголя была очень непродолжительная и неправильная; тесной духовной связи между ними не было, а между тем едва ли, читая эти письма, можно усомниться в том, что все они вылились из глубины души. Но впечатления молодой девушки были, конечно, очень мимолетны; другое дело — глубокое, сильное чувство художника, положившего всю душу в дорогое искусство. В одном письме к Балабиной Гоголь возмущается, между прочим, пошлыми взглядами людей, лишенных чувства изящного, но несмотря на то считающих для себя обязательным всем восхищаться. «Есть класс людей, — говорит он, — которые за фразами не лезут в карман и говорят: «Как это величаво! Как хорошо!» Словом, превращаются очень легко в восклицательный знак и выдают себя за людей с душой. Их не терпит тоже моя душа, и я скорее готов простить, кто надевает на себя маску набожности, лицемерия, услужливости для достижения какой-нибудь своей цели, нежели кто надевает на себя маску вдохновения и поддельных поэтических чувств». Напротив, людей с душой и истинным художественным чувством Гоголь не мог не ценить высоко, а Иванов был одарен им в высокой степени и восторгался Италией не меньше самого Гоголя, о чем ясно говорят слова этого энтузиаста в письме к брату: «О Риме и Италии говорить нечего: ты уже так и полагай, что в рай едешь». Нельзя не пожалеть, что самое раннее письмо Гоголя к Иванову относится уже к концу 1839 г., а следующие затем письма принадлежат к тому печальному периоду жизни Гоголя, когда лучшие стороны его природы стали сильно искажаться. Мы не можем поэтому, за недостатком данных, судить вполне о степени их взаимности в смысле общих художественных наслаждений, которые несомненно были.

Смерть графа Виельгорского

Днем встречи Гоголя с молодым графом Виельгорским было 20-е декабря 1838 г. Они сошлись быстро, несмотря на то, что, находясь в тисках жесточайшей чахотки, Виельгорский старался избегать беседы с кем бы то ни было. Даровитый, симпатичный юноша производил на всех самое приятное впечатление; тем скорее должен был к нему привязаться оставшийся в то время в Риме без друзей Гоголь. Как быстро умел располагать к себе этот кроткий и симпатичный страдалец, видно, между прочим, из отзыва Погодина, далеко не отличавшегося особенной чувствительностью. В своем путевом дневнике, изданном под названием: «Год в чужих краях», Погодин отметил под 14 марта: «Обедал у графа Виельгорского, который показывал свои материалы для истории литературной критики», и затем, сказав об его уме и любознательности, с сожалением прибавляет: «румянец на щеках его не предвещает добра». В самом деле, соединение в Виельгорском богатых дарований с самыми привлекательными нравственными качествами не могли не возбуждать искренней грусти в каждом, видевшем его в эти последние месяцы жизни. Чем ближе подкрадывалась беспощадная развязка, тем трогательнее становилось это безропотное угасание прекрасной молодой жизни. Тяжело было видеть, как гибнет чистый юноша, исполненный самых благородных стремлений, так много обещающий и так безжалостно отнимаемый судьбой у семьи, друзей, отечества.

Все воспоминания об Иосифе Виельгорском одинаково рисуют его в самом сочувственном свете, и поэтому нам нет причины подвергать сомнению искренность грустного размышления Гоголя после его смерти: «Я ни во что теперь не верю, и если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы. «Оно на краткий миг», шепчет глухо внятный мне голос. Оно дается для того, чтобы существовала по нем вечная тоска сожаления, чтобы глубоко и болезненно крушилась по нем душа». Самое тесное сближение Гоголя с молодым Виельгорским произошло в последние дни страданий умирающего. В этот промежуток времени Гоголь, безусловно, отдался чувству дружбы, всецело посвятив Виельгорскому все заботы и помышления. Как человек в высокой степени впечатлительный, Гоголь в полторы недели своего почти неотлучного присутствия при больном, всей душой переживал и наслаждения тех великих минут, когда люди испытывают отраду в бескорыстной помощи, оказываемой дорогому страдальцу, радуясь малейшему облегчению больного и высоко ценя каждое проявление его благодарности, и с другой стороны в то же самое время Гоголем все сильнее

овладевала жестокая тоска и отчаяние от сознания неминуемой близкой разлуки.

Страшная трагедия последнего расчета с жизнью, всегда оставляющая такое тяжелое, подавляющее чувство, является для присутствующих при кончине особенно ужасной, когда неумолимая смерть избирает своей жертвой, как было и на этот раз, существо прекрасное, чистое, с богатыми надеждами и блестящими дарованиями. Тогда естественный роковой исход болезни представляется как-им-то оскорбительно-нелепым и самая жизнь получает вид печальной несообразности; грозный смысл смерти как будто теряет всякое значение.

Человек глубоко-религиозный, как Гоголь, не может долго оставаться в таком настроении, но на некоторое время все-таки поддается ему, видя неизбежность и вместе с тем невероятную бессмыслицу совершающегося. Какое сильное, потрясающее впечатление имела на Гоголя с каждым днем надвигавшаяся смерть Виельгорского, видно уже из того, что в эти ужасные дни все остальное решительно потеряло для него свое значение: теперь для него были мертвы и утратили всякий смысл и волшебные чары Рима, и высокие художественные замыслы и впечатления, и воспоминания о близких друзьях и знакомых, и тем более собственные мелкие эгоистические расчеты и соображения...

В оставленных Гоголем в его записной книжке воспоминаниях под заглавием: «Ночи на вилле», ярко охарактеризовано тогдашнее исключительное состояние его души. Чтобы вполне оценить важное автобиографическое значение этих заметок, необходимо постараться, подобно автору, отрешиться на время от обыденных интересов и обыденного настроения. Необходимо представить себе, что автору ничтожным и мелочным показалось тогда все, что, может быть, переполняло его душу накануне. Блестящая столичная жизнь, суэта повседневных забот и стремлений, обычные увлечения и печали, все это перед просветленным взором высшей беззаветной любви, в торжественные минуты приготовления дорогого человека к иной, лучшей жизни, становилось чем-то фантастически призрачным перед этой полной глубокого смысла, величавой картиной перехода в таинственную загробную действительность, открывавшуюся перед угасающим благородным юношей.

Гоголь, всегда чрезвычайно доступный религиозным представлениям, конечно, не мог смотреть иначе на совершавшееся перед его глазами зрелище смерти. Часы, проведенные Гоголем у постели больного, оставили глубокий, неизгладимый след в его сердце. «Он сидел больной в креслах. Я при нем. Сон не смел касаться очей моих. Он безмолвно и невольно, казалось, уважал

святыню ночного бдения. Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него. Уже две ночи, как мы говорили друг другу *ты*. Как ближе после этого он стал ко мне! Он сидел все тот же кроткий, тихий, покорный. Боже! с какой радостью, с каким весельем я принял бы на себя его болезнь! И если бы моя смерть могла возвратить его к здоровью, с какой бы готовностью я бы кинулся тогда к ней». Из этих строк, проникнутых искренним чувством, мы вправе заключить, что прежняя привязанность Гоголя к больному еще более усилилась от чувства беспредельной жалости, внушаемой кротким характером и задушевным обращением Виельгорского, в котором ни Гоголь, ни другие лица, видевшие его во время последней болезни, нисколько не замечали столь извинительной и столь обычной у больных раздражительности, от него не слышали ни слова ропота или скорби об ускользавшей молодой жизни, сулившей ему, казалось бы, столько прекрасных, светлых радостей. Эта трогательная покорность судьбе, эта привлекательная сердечность, украсившие ореолом великодушного всепрощения последние дни Виельгорского, придавали страдальцу в глазах Гоголя яркий отпечаток своеобразного поэтического величия. Жалобы, проклятия, стоны, невольно вырывающиеся у многих других в его положении, неизбежно ослабили бы долю благоговейного сочувствия к умирающему, но ничего подобного на этот раз не было, и дышала невыразимым, святым обаянием эта умиленная кротость. Однажды Гоголь не в силах был преодолеть свой сон и ушел от Виельгорского домой отдохнуть. Но сон нисколько не освежил его и, напротив, его стали мучить угрызения совести. «О, как пошла, как подла была эта ночь вместе с моим презренным сном! — бичевал себя Гоголь. — Я дурно спал ее, несмотря на то, что всю неделю проводил ночи без сна. Меня терзали мысли о нем. Мне он представлялся молящий, упрекающий. Я видел его глазами души. Я поспешил на другой день поутру и шел к нему как преступник. Он увидел меня лежащий в постели. Он усмехнулся тем же смехом ангела, которым привык усмехаться. Он дал мне руку. Пожал ее любовно. «Изменик, — сказал он мне: — ты изменил мне!» — «Ангел мой! — сказал я ему: — прости меня. Я страдал сам твоим страданием. Я терзался эту ночь. Не спокойствие был мой отдых: прости меня». Кроткий! Он пожал мне руку! Как я был полно вознагражден тогда за страдания, нанесенные мне моей глупо проведенной ночью».

Проводя унылые бессонные ночи у одра друга, Гоголь сильно надорвал нервы: в груди у него закипело озлобление против всего счастливого, безмятежно пользующегося благами жизни. Он готов был проклинать все дары счастья, все земные почести и сокровища, эту, по

его выражению, «звенящую приманку деревянных кукол, называемых людьми». Такая нота отчаяния только однажды прозвучала в его признаниях.

Любопытно, что Гоголь проклинал даже те милости, которые он получил с высоты престола и которые незадолго перед тем горячо благословлял. Конечно, в этой импровизированной страстной вспышке презрения и ненависти к людям и ко всем земным благам можно видеть только минутное иступленное проявление охватившего его отчаянья, которое одно только объясняет нам, почему Гоголь мог сказать: «О, как бы весело, с какой бы злостью растоптал и подавил я все, что сыплется от могучего скипетра полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение на лице его!»

При виде ничтожества земного счастья в душе Гоголя заговорила яростная ненависть к этим благам, так дорого достаемым и таким непрочным по существу! Не мог не вспомнить он и о себе: сколько унижений и горя пришлось ему вынести в своей скитальческой жизни, скольких волнений ему стоило испрашивание и ожидание субсидий и какой убийственно-дорогой ценой приходилось расплачиваться за художественные наслаждения в Риме! И весь этот горький осадок пережитого в связи с новой невыносимой утратой поднимал целую бурю злобы в душе измученного бессонницами и душевными тревогами Гоголя. Это вихрем налетевшее щемящее горе, грозившее умчать с собой и развеять скудные радости жизни, погрузило нашего писателя в непроглядный мрак тяжелых дум: то, что в другое время и под иными впечатлениями забывалось за роем опьяняющих наслаждений, теперь, в гнетущую минуту глухого отчаяния, поднимало из глубины души безотрадные вопли изнывшего и наиболее сердца.

Припомним, что все это происходило в 1839 г., когда в Гоголе уже подготавливался роковой перелом. При таких обстоятельствах сильное душевное потрясение получает особенную важность. Одним из зловещих признаков наступления в Гоголе психического переворота была резкая перемена в отношениях к друзьям молодости, к которым он становился постоянно равнодушнее и холоднее. Гоголь заметно старился нравственно, и чем приветливее перед ним мелькнула на минуту чистая, бескорыстная дружба к умирающему Иосифу Виельгорскому, тем беспощаднее его охватил потом холод и очерствляющая пустота обыденной жизни. После напряженных тревог и волнений на него вдруг повеяло безотрадной тишиной могилы; не о ком стало заботиться, некого жалеть; со всех сторон надвигался мрак сердечной пустоты; все оставалось по прежнему, но недоставало одного того

высокого, облагораживающего нравственного возбуждения, в котором было так много горечи и тоски, но которое не могли бы заменить ему даже лучшие минуты жизни. Когда все миновало, Гоголь в следующих заключительных строках «Ночей на вилле» правдиво и верно подвел итоги всему пережитому им в это короткое время. «Как странно нова была тогда моя жизнь», — говорит он, — «и как вместе с тем я читал в ней повторение чего-то отдаленного, когда-то давно бывшего! Но, мне кажется, трудно дать идею о ней: ко мне возвратился летучий, свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками и дружбы решительно дружеской, полной милых, почти младенческих, мелочей и наперерыв оказываемых знаков нежной привязанности; когда сладко смотреть очами в очи, когда весь готов на жертвования, часто даже вовсе не нужные. И все эти чувства сладкие, молодые, свежие, — увы! жители невозвратимого мира, — все эти чувства возвратились ко мне. Боже! зачем? Я глядел на тебя, милый мой молодой цвет. Затем ли пахло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старше целым десятком, чтобы отчаяннее и безнадежнее я *увидел исчезающую мою жизнь?* Так угаснувший огонь еще посылает на воздух последнее пламя, озарившее трепетно мрачные стены, чтобы потом скрыться навеки». После этого дерзким и непонятым покажется с первого взгляда сопоставление этого сравнения со сходным, употребленным Гоголем в первой части «Мертвых Душ» по поводу Плюшкина, но сходство несомненное, и притом ничто не мешало, конечно, Гоголю по разным случаям высказывать в лирических отступлениях те чувства и мысли, которые возникали в его душе в разное время и при разных обстоятельствах, а потом находили себе применение в художественном творчестве при обрисовке того или другого героя. Поэтому и о Плюшкине могло быть высказано им более общее наблюдение в этих словах: «На его лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства: явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег; но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки — явление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии».

Нельзя не заметить, что горе Гоголя о смерти Виельгорского и о матери его «ближайшего» нельзя и

сравнивать по глубине и искренности чувства с другими его потерями. Здесь мы не слышим уже благочестивой риторики с холодными утешениями в духе религиозной проповеди, как это часто бывало в других подобных случаях. Много грустных часов провел Гоголь у постели умирающего, но много было зато пережито им высоких, очищающих душу мгновений, украшенных всей прелестью истинного человеческого чувства. В такие минуты чистой скорби забываются пошлые будничные интересы и минуты эти остаются святыми и памятными на веки. Едва ли у кого достанет духа усомниться в искреннем движении души, которое слышится в этих словах: «Чтобы я дал тогда, — говорит Гоголь, — каких бы благ земных, презренных, этих подлых, этих гадких благ... Нет! о них не стоит и говорить! Ты, кому попадутся, — если только попадутся, — в руки эти нестройные, слабые строки, бледные выражения моих чувств, — ты поймешь меня. Иначе они не попадут тебе». В последних словах заслуживает внимания довольно ясное проявление тех мистических взглядов, которые вскоре совершенно завладели душой Гоголя и наполнили собой всю его переписку за последнее десятилетие жизни.

Шевырев

Из других лиц, живших вместе с Гоголем в Риме в 1839 г., нам следует остановиться внимательнее на Шевыреве, Жуковском и Погодине. Впрочем с Шевыревым и его женой Гоголь едва ли мог тогда особенно близко сойтись, так как большая часть времени ревностного профессора была посвящена научным занятиям, которых он не оставлял нигде во время своего путешествия за границей. В то время он усердно посещал лекции археологического института и изучал славянские рукописи Ватиканской библиотеки. Плодом этих работ были потом статьи, напечатанные в «Журнале министерства народного просвещения», в «Московских Ведомостях» и в «Отечественных Записках». Кроме того, своим пребыванием в Риме Шевырев воспользовался также для знакомства с разными учеными знаменитостями того времени, как-то: Меццофанти, Нибби и другими. В Рим Шевырев прибыл еще в 1838 г.; это очевидно уже из того, что его отчеты о занятиях в археологическом институте появлялись в «Московских Ведомостях» еще за 1838 г., и только в письме от 31-го декабря к А.С.Данилевскому о нем сказано мимоходом: «Из моих знакомых здесь Шевырев, Чертков; прочие незначительные, т.е. для меня». И в этих строках Шевырев назван наряду с Чертковым, далеко не близким человеком для Гоголя. Если принять во внимание, что до приезда в Рим Шевырев был слишком поверхностно знаком с Гоголем и что в самом Риме он был постоянно занят,

то завязавшуюся между ними приятель и относительную короткость можно почти с уверенностью отнести к тому промежутку времени, когда в Рим приехал уже Погодин. Тогда, по сведениям «Биографического словаря» профессоров московского университета, Погодин «прожил месяц на квартире у Гоголя, который, *вместе с Шевыревым*, и показал Погодину все его достопримечательности», что подтверждается с другой стороны и воспоминаниями Погодина. В свое пребывание в Риме Шевырев, как известно, расширил свое знакомство с произведениями римской литературы и искусства и в совершенстве изучил итальянский язык. С Гоголем он, без сомнения, почти ежедневно встречался, когда приехал Погодин, и тут уже установилась между ними известная близость, вскоре проявившаяся в том, что, расставаясь со своим семейством, Шевырев поручил последнее дружеским попечениям Гоголя. С этих пор между ними завязалась и переписка и вообще они становятся близкими друг к другу людьми, но близость эта все-таки далеко не была такой, какая существовала между каждым из них и Погодиным. Таким образом можно думать, что по крайней мере в продолжение двух первых месяцев 1839 г. Гоголь преимущественно делил свое время между сообществом Жуковского и молодого умирающего графа Виельгорского. В уже процитированном письме Гоголя к Данилевскому от 1-го декабря 1838 г. читаем известие о его приезде: «На днях приехал наследник, а с ним вместе Жуковский. Он все также добр, также любит меня. Свидание наше было трогательно: он весь полон Пушкиным. Наследник, как известно тебе, имеет добрую душу. Все русские были приглашены к его столу на второй день его приезда».

Гоголь и Жуковский

В написанном вскоре после того письме княжне В.Н.Репниной Гоголь говорит: «Я теперь так счастлив приездом Жуковского, что это одно *наполняет меня всего*. Свидание наше было очень трогательно. Первое имя, произнесенное нами, было Пушкин. Поныне чело его облекается грустью при мысли об этой утрате. *Мы почти весь день вместе осматривали Рим с утра до ночи*. Он весь упоен Римом, и только жалеет на короткость времени» (sic). Письма Гоголя к Жуковскому после их встречи в Риме носят явные следы происшедшего в этот промежуток более тесного сближения между ними. Хотя с внешней стороны письма Гоголя к Шевыреву, которому он еще в Риме, по-видимому, начал говорить на ты, кажутся более товарищескими, но в них нет до самой кончины Гоголя никакого намека на истинное расположение, которое чувствуется обыкновенно в письмах к Погодину (до ссоры с ним в начале сороковых годов) и к Жуковскому.

Вообще нам кажется, что в сношениях с Шевыревым у Гоголя нигде не прорывается сколько-нибудь сильного и искреннего порыва души. По-видимому, и впоследствии Гоголь преимущественно высоко ценил в этом своем приятеле скорее его точность в ведении порученных ему затруднительных и щекотливых денежных дел и его утонченную деликатность, которой он, конечно, без сравнения превосходил более симпатичного Гоголю в начале Погодина. Но едва ли в самом деле Гоголь мог искренно любить Шевырева, тем более, что он состоял с ним преимущественно только в письменных сношениях, а лично видался в сущности почти только в немногие и короткие приезды свои в Москву. Напротив, Жуковский с Гоголем делил от души самые высокие наслаждения прекрасным в продолжение всего пребывания его в Риме. Маститый поэт совершенно оправдал задушевные мечты Гоголя, писавшего ему еще в конце 1837 г.: «Неужели вы не побываете здесь, и не поглядите на Италию? И не отдадите тот поклон, которым должен красавице природе всяк каждающий прекрасному? Здесь престол ее. В других местах мелькает одно только воскраие ее ризы, а здесь она вся глядит в очи, своими пронзительными очами». Все это он действительно переживал потом вместе с Жуковским. С ним Гоголь много странствовал по Риму; они вместе восходили на купол св. Петра, вместе гуляли по целым дням и рисовали с натуры. Когда Жуковский уезжал, Гоголь почувствовал нравственное одиночество и томительную пустоту и ему беспрестанно вспоминались их совместные прогулки. «Доживу ли я», — говорит он, — до того времени, когда мы вновь сядем вместе, оба с кистями? Верите ли, что иногда, рисуя, я, позабывшись, вдруг оборачиваюсь, чтобы сказать слово вам, и, оборотившись, вижу и как будто слышу пустоту, по крайней мере на несколько минут, в земле, где всякое место наполнено и где нет пустоты». Даже встречая на улицах бывшего слугу Жуковского, Гоголь в рассеянности готов был спросить его о его прежнем хозяине. Гоголь особенно жалел, что Жуковский уехал из Рима слишком рано, почти вслед за окончанием карнавала, и не дождался в нем начала весны. «Бывало, помните, — писал он, — мы гонялись за натурой, т.е. движущеюся, а теперь она сама лезет в глаза: то осел, то албанка, то аббат, то наконец такого рода странное существо, которых определить трудно». Так как в письме к Данилевскому от 5-го февраля Гоголь говорит о начале наступившего карнавала, когда Жуковский еще был в Риме, и даже дает ясное указание на то, что он должен через два дня оставить Рим, то отъезд Жуковского можно отнести приблизительно к 10-му февраля этого года. Вскоре после этого, в письме от 12-го февраля, Гоголь уже говорил: «Жуковский теперь только уехал

и оставил меня сиротой и мне сделалось в первый раз грустно в Риме». Наконец, судя по тому, что в предшествующую пору Гоголь «проводил все время с Римом, т.е. с его развалинами и природой и Жуковским», надо думать, что его усиленные ухаживания за больным Иосифом Вильегорским относятся уже к апрелю и маю месяцам этого года. В марте же Гоголя посетил в Риме его также земляк и хороший знакомый родителей, Николай Михайлович Трахимовский, внук известного доктора, ради совета с которым Марья Ивановна Гоголь, перед рождением своего знаменитого сына, приехала в Сорочинцы, где и увидел свет наш писатель. По словам А.С.Данилевского, он был гвардейским офицером, лейб-уланом (потом он был предводителем дворянства в Белостоке). В марте также приехал в Рим и Погодин.

XXII

Гоголь и Погодин

Погодин вел подробный дневник своей поездки и благодаря этому мы можем с большим удобством следить за подробностями сношений его с Гоголем в Риме. Днем приезда Погодина в Рим было 7 марта (за несколько недель до Пасхи). Теперь Гоголю снова представился случай переживать свои любимые наслаждения, когда он принялся знакомить друга с достопримечательностями Рима. Не дав Погодину отдохнуть с дороги, он уже потащил его в храм св. Петра. Исполняя с обычным увлечением добровольно принятую на себя роль чичероне, Гоголь заметно оказывал сильное влияние как на выбор и передачу предметов, подлежащих совместному обзору, так даже на характер самых впечатлений своего спутника. Он с такой энергией и живостью направлял внимание приятеля на все, что им встречалось по дороге любопытного, что последнему оставалось только поспевать следить за ним и наскоро схватывать со всех сторон наплывающие впечатления. Следы этого можно видеть отчасти уже в беглом перечислении в дневнике Погодина предметов и зданий, встречавшихся им на пути, но на время откладываемых для более достопримечательного.

«Вот мост св. Ангела, вот Тибр, вот мавзолей Адрианов, а вот и площадь св. Петра с Сикстовым обелиском», напоминает Погодин, очевидно, весьма бегло промелькнувшие впечатления. Сопровождая Погодина, Гоголь имел обыкновение хранить торжественное молчание, отдаваясь в то же время сам охватывавшим его наслаждениям и наплывавшим мыслям и, может быть, стремясь сильнее и достойнее поразить своего спутника изредка вырывавшимися восклицаниями. Но воспоминания Погодина отзываются какой-то вялостью в сравнении с той

восприимчивостью, которой отличался всегда Гоголь. Если Гоголь не мог, по его выражению, оторваться от «чтения» Рима, которое он начинал теперь в «сотый» раз, то у Погодина, как всегда, время от времени вырываются столь знакомые по его новейшей биографии слащавые и бессодержательные воздыхания, выдающие в нем натуру черствую и вовсе не поэтическую. Что Гоголь живее чувствовал красоты показываемого им излюбленного города, нежели пассивно руководимый им Погодин, восхищавшийся как-то по заказу и как бы из приличия, видно особенно из того случая, когда, под влиянием усталости и подступавшего голода, последний легко примирился (и притом без всякого сожаления или намерения вознаградить в другое время по неволе сделанное упущение) с пропуском осмотра катакомб под церковью св. Севастьяна. Для полного успокоения Погодину оказалось совершенно достаточно заявление Гоголя о том, что эти катакомбы похожи на знакомые ему киевские пещеры, как о том рассказывал сам Погодин в своих воспоминаниях.

Искренно передавая свои впечатления, он, конечно, и не подозревал, как жестоко этим признанием выдал свою довольно равнодушную ко всему изящному и выдающемуся природу. Какую после этого можно давать цену его патетическим возгласам в разных случаях, кажется, нет нужды говорить; но для примера мы позволим себе привести несколько подобных возгласов: «Капитолий! — вздыхает Погодин: — можно ошеломиться от такого громового слова. Капитолий! повторяю я, смотря во все глаза». Впрочем, на Капитолий невольно залюбовался и Погодин, так что через несколько минут уже Гоголь первый предложил ему идти дальше («Ну, полно, — сказал Гоголь, — пойдем дальше!»). На знаменитом *Foro Romano* Погодин снова предается шаблонному раздумью, выраженному самым шаблонным образом: «Боже мой, что же значит человеческая твердость, что значит эта человеческая слабость, которой так надмеваются люди? Здесь, здесь именно, да еще разве на острове св. Елены, можно из глубины сердца воскликнуть с Соломоном: суета сует и всяческая суета!» В самую сильную минуту увлечения Погодин, впрочем, сказал однажды, что хотел бы прожить в Риме год.

Но при первой неудаче от его мгновенных восторгов не остается и следа: он выходит из себя, сердится и негодует на Гоголя, который, обладая более нервной и чуткой натурой, действительно мог иногда своими неровностями и увлечениями смущать своего рассудительного и хладнокровного спутника. Не раз Гоголь был в самом деле виноват излишней самоуверенностью и нетерпеливым характером. Он питал, например, непоколебимое убеждение в том, что знает Рим в совершенстве, но на

деле это убеждение оказывалось часто преувеличенным. Так при посещении Фраскати испортившаяся погода так сильно отразилась на настроении Гоголя, что он не хотел ни на что смотреть и неудержимо стремился домой, на чем в конце концов и настоял, а между тем во время возвращения их домой небо вскоре же стало проясняться. В другой раз Погодин справедливо остался недоволен Гоголем за то, что он, гордясь своим знанием римских порядков и обычаев, имел неосторожность убедить своего приятеля, что для того, чтобы любоваться с достаточным комфортом блестящим фейерверком в крепости св. Ангела на второй день Пасхи, совершенно не стоит заботиться о заблаговременном обеспечении себе мест. Между тем на самом деле давка была так велика, что друзьям пришлось потом без успеха вернуться с дороги усталыми и рассерженными.

Таким образом в начале пребывания Погодина в Риме им руководил преимущественно Гоголь, позднее же Шевырев: не потому ли произошло это, что натуры Шевырева и Погодина ближе подходили друг к другу и что, с другой стороны, они имели гораздо больше общих интересов. Зато в первые недели Гоголь не хотел и не мог никому уступить наслаждения поделиться лишний раз с близким человеком переполнявшими его душу чувствами. Когда он привел Погодина в храм св. Петра, он тотчас поставил его у одного простенка и спросил: «видишь ли напротив этих мраморных ангельчиков над чашей?» — Вижу, ну что же? — Велики они? — Что за велики — маленькие! — «Обернись», — сказал Гоголь. — Я обернулся, — продолжает Погодин, — и увидел перед собой, под пару к тем, маленьким, два, почти колоссальных. Какова церковь! Потом он повел меня по линии всей окружности. Шел, шел, несколько раз останавливался отдыхать. Насилу обошел! Что за пространство!» Мы уже говорили, что не только на этой передаче впечатлений, но и на самом их характере сказываются следы руководства Гоголя, впрочем, и не скрываемого Погодиным. В самом деле, в первое время, когда Погодин всего чаще был сопровождает Гоголем, он отмечал и описывал в своем дневнике преимущественно все то, что всегда останавливало на себе внимание последнего; позже это влияние замечается уже не в такой сильной степени. Под 9 марта в дневнике Погодина записано: «Гоголь повел меня смотреть Рим. — Что же ты мне покажешь нынче? — Подожди, узнаешь — пойдем. — Пошли молча по Корсо. Потом поворотили в переулок. Беспреданно встречаются духовные в разных одеяниях: капуцины в высоких верблюжьих мантиях, подпоясанные ремнями, без шляпы, остриженные; прелаты в лиловых чулках». При этом и других подобных описаниях невольно припоминается,

что именно то и нравилось в Риме наиболее Гоголю, о чем больше всего говорит Погодин в дневнике. Точно также под влиянием Гоголя он прежде всего остановил внимание на изящной красоте развалин Колизея: «Где обвалилась стена, где упал свод под окнами, где отстали карнизы. Даже нельзя жалеть, что он не сохранился в целости».

Наслаждения, вновь переживаемые Гоголем вдвойне — за себя и за приятеля — не один раз с большой живостью изображаются последним. Так при посещении Капитолия Гоголя видимо заранее приводил в восхищение ожидаемый эффект. Погодин так рассказывает об этом: «Перед нами открылась вдали широкая каменная лестница; наверху по бокам ее два огромные коня, которых под уздцы держат всадники, и, наконец конная статуя. В глубине какое-то обширное здание, с высокими колоннами. «Ну, видишь молодцов? — спросил мой чудак. — Вижу, да что же такое? кто они? — Это древние статуи Диоскуровы из театра Помпеева. А это Марк Аврелий на коне. А это Капитолий!» Гоголь усердно водил своего друга и наконец у последнего вырвалось восклицание: «Ах, если бы приехать сюда и пожить надолго. Оставайся, братец, здесь, когда тебе сладко. Не имею духа звать тебя, и понимаю, что ты мог зажитья». Но этому патетическому возгласу едва ли можно придать какое-либо значение, особенно в виду того, что в том же самом дневнике и под тем же числом Погодин записал мысли совершенно противоположного характера, которые явились у него уже независимо от влияния Гоголя, когда он остался наедине с самим собой. Мысли эти очень мало вяжутся с недавно пережитым восторженным состоянием и ясно свидетельствуют о фальшивой и дешевой аффектации Погодина, восхищавшегося наполовину по обязанности. Сравнение их с предыдущими наглядно показывает степень влияния Гоголя, которое, очевидно, слишком поверхностно скользило по душе Погодина. «Рассматривал записку я, что надо осмотреть в Риме, — припоминает на досуге Погодин, — ужас, сколько! Впрочем, если бы что и не успели — так и быть: довольно даже того, что видели в эти два дня». В последних словах перед нами на распахнутой настоящей Погодин: он готов, пожалуй, восхищаться изящным, и нельзя даже сказать, чтобы оно было ему совсем недоступно, но его далеко не художественную душу не захватывали получаемые им впечатления и, быстро тускнея, легко уступали место обычной прозе, так что на другой день по приезде в Рим он уже удовлетворен и может легко мириться с тем, что не все видел в этом чудном городе.

Так же точно, в первый же день по приезде, Погодин, лишь только увидел Шевырева, охотно перенесся привычной мыслью в Москву и, забыв о Риме, весь

вечер проговорил о делах московского университета, что, конечно, делает ему честь как профессору, но не как туристу-эстетику. Нисколько не думая, впрочем, ставит в упрек это равнодушие черствой душе Погодина, мы указываем на него, главным образом, для того, чтобы представить наглядно разницу между ним и Гоголем в их отношениях к изящному. Гоголя, конечно, оскорбила бы такая невосприимчивость его друга, если бы пристрастие к последнему и сила собственного увлечения не помешали его обычной пронизательности. С другой стороны во впечатлениях Погодина, без сомнения, могло быть немало любопытного и для Гоголя, так как исторические воспоминания первого были без сравнения полнее, богаче и разнообразнее, как с другой стороны оба они, т.е. Погодин и Гоголь, в свою очередь, сильно уступали в этом отношении Шевыреву, особенно внимательно изучавшему памятники искусства в Риме.

Так, по возвращении домой после осмотра Капитолия, оба приятеля собрались навестить больного Шевырева и с удовольствием выслушали от него целую обстоятельную лекцию о судьбе и истории Капитолия. Погодин, впрочем, был откровенен в своем недостаточном понимании искусства и однажды чистосердечно признавался в этом: «Зашли в церковь Santa Maria del Popolo. Гоголь показывал нам здесь фрески Пентуриккио, ученика Перуджина, которым он вместе с Жуковским удивляется; но я, признаюсь в невежестве, не вижу в них никакого особенного достоинства». Так же откровенно и добродушно рассказывает Погодин в своем дневнике об обыденных прозаических потребностях сна и пищи, не заглушаемых в нем интересом к чудесам итальянской природы и искусства. Так, вслед за приведенными выше строками, тотчас же после заявления о непонятной для него красоте фресок, Погодин рассказывает: «Устали, проголодались без памяти, а гостиницы все заперты. Надо ждать до шести часов, когда пропоется: ave, Maria». Указывая все это, мы, быть может, несколько преувеличенно выставляем грубо прозаический характер впечатлений Погодина, но спешим оговориться, что сравниваем его в данном случае не с людьми толпы, а с натурами, обладающими выдающейся восприимчивостью.

Так однажды Погодин отметил в своем дневнике встречу с одним московским художником, который, приехав в Рим на год, не заметил времени и прожил тринадцать лет, вовсе еще не думая о возвращении. Вот этой-то способности находить отраду в изящном до самозабвения и не было, очевидно, у Погодина: этого с ним никогда не могло бы случиться. Для понимания же Гоголя наше сравнение его с Погодиным может быть полезно потому, что, только оценив в полной мере особенности его

художественной организации, читатели, быть может, не решатся слишком уже беспощадно судить его за безграничную страсть к Италии, которая для него, человека без средств, была, строго говоря, непозволительной роскошью: то, что было бы преступным в дюжинной, обыкновенной натуре, не может ли до некоторой степени быть оправдано в натуре исключительной ее необыкновенной организацией, так как без последнего условия не могли бы быть созданы и такие бессмертные произведения, как «Ревизор» и «Мертвые Души».

XXIII

Под 3 апреля 1839 г. в дневнике Погодина записано: «Шевырев объявил мне, что решается ехать в Париж вместе с нами (Погодиным и его женой), т.е. побывав прежде в Неаполе. Мы очень обрадовались такому драгоценному чичероне для достопримечательностей Неаполя и Помпеи, где он был долго и знает коротко. Хоть добрый Грифи (отрекомендованный Гоголем Погодину учитель итальянского языка) выучил нас немножко болтать по-итальянски, но какая же разница ехать с Шевыревым, который готов говорить хоть с Данте и Петраркой». Таким образом они расстались с Гоголем. В своих «воспоминаниях о С.П.Шевыреве» Погодин рассказывает, между прочим, о том, какую помощь оказал им в путешествии Шевырев, но вместе с тем и о досаде, причиняемой его педантической точностью во всех мелочах. Гоголь и Шевырев, по словам Погодина, представляли собой две резкие противоположности: первый постоянно всюду опаздывал; второй простирали свою аккуратность так далеко, что хотел являться накануне срока и придумывал сам кучу совершенно ненужных формальностей. На прощанье Гоголь сговорился встретиться еще раз с друзьями в Чивитавеккии, когда они должны были проехать через нее по пути в Марсель. На попечении его была на некоторое время оставлена жена Шевырева. Так как Погодин и Шевырев ехали в Париж, то Гоголь снабдил их рекомендательными письмами к своим знакомым и прежде всего направил их, конечно, к Данилевскому, которого просил познакомить их с А.И.Тургеневым, Мицкевичем, и отрекомендовать хорошие отели и кафе, а сам Гоголь, по возвращении в Рим, получал короткие и отрывочные известия о них от жены Шевырева. Заботы Гоголя доходили до подробных наставлений Данилевскому, что и как именно он должен сделать особенно для Погодина и даже какой заказать для него сюртук. Оставшись в Риме, как мы знаем, Гоголь должен был проводить дни и ночи у постели больного Виельгорского и даже почти не имел времени навещать порученную его заботам Софью Борисовну

Шевыреву. Теперь красные дни его прошли надолго: Виельгорский вскоре скончался и все письма Гоголя были наполнены скорбью о нем. Только что привыкнув к этой утрате, Гоголь испытал новый удар: он был принужден покинуть страстно любимую Италию, чтобы взять из Патриотического института кончивших в нем курс сестер.

Принести эту жертву Гоголю сильно не хотелось и он изыскивал все средства, чтобы отклонить ее от себя. Вместо сборов в далекий путь он думал только об условленной с Погодиным встрече в Мариенбаде, и его письма к матери неожиданно становятся холодными и сухими.

В Гоголе сильно боролись любовь к сестрам и долг брата с крайним нежеланием оставить Рим. К довершению неприятностей, из дому до него доходили самые неутешительные известия о семейных и хозяйственных делах, да и по этим известиям нельзя было составить настоящего понятия о степени запущенности дел. Все, что говорило ему о далекой Васильевке, обдавало суровым холодом прозаических забот, мучительных и досадных, представлявших ужасающую противоположность с розами безмятежного счастья, которые он срывал в обожаемой Италии. Несносная действительность, всегда отказывающая небогатым людям в праве на наслаждения, невозбранно представляющиеся к услугам многих других, мешала ему отдаваться всей душой упоению благами, щедро рассыпанными перед глазами, и настойчиво возбуждала укору совести, уже более года отягощенной займом у Погодина. Чем далее отодвигались расчеты с прозаическими дрязгами, тем томительнее было возвращение к ним из мира поэтических замыслов и художественных впечатлений. Деньги же, полученные от Погодина, были собраны последним с большим трудом при помощи Аксакова, Баратынского, Н.Ф.Павлова и особенно благодаря щедрому подарку Великопольского.

О необходимости приехать в Россию уже давно напоминала Гоголю мать. До половины 1838 г. Гоголь продолжал по-прежнему писать ей с открытым сердцем, но, по мере приближения неприятного срока, его тон становится натянутым и принужденным и наконец раздражительным. Пока этот срок был еще далек, Гоголь спокойно писал, что «как только милость Божья продлится над ним, то он увидит вновь всех дорогих сердцу, с которыми теперь в разлуке», и письма к сестрам были проникнуты обычной любовью и нежностью. В ноябре 1838 г. он уже начинает неохотно отвечать матери на ее новые напоминания: «Вы спрашиваете о сестрах. Выпуск их еще не так близко: еще год. К этому времени, во всяком случае, я надеюсь быть, и мы об этом потолкуем». Вскоре Гоголь был расстроен страшной мнительностью матери, вычитавшей в довольно невинных строках его письма тяжкие упреки

себе. Он вспомнил при этом о болезненной мечтательности ее характера, развившейся еще во время его жизни в России.

Свое впечатление он передает в письме к одной из сестер, в свою очередь принявшей слова Гоголя в превратном смысле, полагая, что он пишет о физической болезни матери... Пришлось успокаивать взволнованную и огорченную сестру. Все это, разумеется, только растревало раны Гоголя. М.П.Балабиной, находившейся в Петербурге, Гоголь отвечал уклончиво о предстоящем приезде в Россию: «Вы пишете и спрашиваете, когда я буду к вам. Это задача для меня самого, которую признаюсь, я не принимался еще разрешать. Притом же вы подали совет моему двоюродному брату такой, который и мне может пригодиться». Наконец он пишет суровое письмо матери (некогда сильно возмущившее своим тоном покойного О.О.Миллера, впрочем, рассматривавшего его отдельно и не принявшего в соображение всю совокупность условий и обстоятельств).

В этом письме он усиленно выдвигает свое нездоровье, но эта отговорка была уже результатом невольной досады, потому что мать не могла ехать сама за дочерьми — необходимо было еще достать деньги и уплатить кое-что — и сама, в свою очередь, конечно, немало сокрушалась о том, что ей приходится причинять неприятность нежно любимому сыну. С другой стороны, и Гоголь знал отлично, что поехать придется и что ущерб для его здоровья будет вовсе уж не так значителен. Но неприятная поездка сулила, кроме тяжелой для него перспективы разлуки с Римом, для возвращения в который понадобятся снова недостающие ему средства, — только бесконечные издержки, долги и беспокойства. С горя и досады Гоголь отвергает присланный ему подарок матери, отказываясь носить сделанные ею рубашки, которыми она, как кажется, по мере сил и умения хотела смягчить неизбежное принуждение. «Напрасно вы нашли мне рубашек, — писал Гоголь, — я их, без всякого сомнения, не могу носить и не буду, потому что они сшиты не так, как я привык». Еще суровее были следующие слова: «Что касается до времени моего приезда, то ничего, наверное, не могу вам сказать: все это будет зависеть от моего здоровья и обстоятельств. Впрочем, я постараюсь быть непременно к выпуску сестер в Петербурге, хотя заранее содрогаюсь от нашего жестокого климата, который решительно был признан доктором гибельным для моего здоровья. Больше ничего не имею вам теперь сказать. Прощайте до следующего письма».

Эти строки должны были произвести, без сомнения, не очень приятное впечатление на любящую мать, но они отражают лишь временное ненастное настроение Гоголя

и никак не должны быть принимаемы во внимание при характеристике отношений его к матери, как проявление исключительного минутного порыва накипевшей у него горечи. В виду сурового упрека, сделанного по поводу этого письма Гоголю покойным О.О.Миллером, считаем необходимым с особым ударением указать на то, что в то время на Гоголя со всех сторон сыпались большие удары и мелкие огорчения. Незадолго перед этим он был удручен смертью крепко полюбившегося ему, симпатичного юноши Виельгорского; затем, после избаловавших его постоянных встреч с друзьями, еще начиная с приезда Жуковского в конце 1838 года, он остался в Риме одинок. При этом в общем счете даже небольшие неприятности должны были действовать раздражающим образом на его болезненный и нервный организм.

Так он только что получил известие из Парижа, что Данилевский не сошелся с Погодиным и Шевыревым, чего Гоголь, по-видимому, никак не ожидал. В тех же числах он писал Данилевскому: «Мне очень жаль, что ты мало сошелся и сблизился со своими гостями. Впрочем, и то сказать, что приехавший в Париж новичок худой товарищ обжившемуся парижанину. Первый еще жаждет и ищет; другой уже устал и утомлен»... Наконец Гоголь должен был ехать.

XXIV

В Россию

Потребность найти утешение в вынужденной поездке на родину заставила Гоголя успокаивать себя тем, что он, кстати, окончит и напечатает драму с сюжетом из малороссийской жизни и что дорога, по обыкновению, разбудит его дремавшее в последнее время вдохновение.

«Труд мой, — писал он с дороги о начатой драме Шевыреву, — нейдет, а чувствую, вещь может быть славная! Или для драматического творения нужно работать в виду театра, в омуте со всех сторон, уставившихся на тебя лиц и глаз зрителей, как я работал во времена оны? Я надеюсь много на дорогу. Дорогой обыкновенно у меня развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге».

В этом же письме из Вены от 10-го августа Гоголь прямо говорит: «Словом, я должен ехать, несмотря на все мое нежелание». Несколько дней после этого он провел снова с Погодиным в Мариенбаде, страдая от повторявшихся на каждом шагу встреч с русскими, допекавшими его вопросами о том, что он пишет. В Мариенбаде он снова пользовался водами. В это время он опять возвратился к давно оставленному изучению народных песен, необходимому для задуманной, но никогда не напечатанной

драмы и для «Тараса Бульбы». «Передо мной, — писал он Шевыреву, — выясняются и проходят поэтическим строем времена казачества, и если я ничего не сделаю из этого, то я буду большой дурак. Малороссийские ли песни, которые теперь у меня под рукой, навеяли их, или на душу мою нашло само собой ясновидение прошедшего, только я чую много того, что ныне редко случается».

До какой степени Гоголь колебался, уже приняв, по-видимому, окончательное решение ехать в Петербург, видно из того, что, уже известив сестер о выезде, он вдруг, неизвестно какими судьбами, очутился снова в Триесте, чуть ли не на обратном пути в Рим, будто бы для того, чтобы продолжить прерванное лечение.

Он снова предается досаде и пишет матери: «Если я буду в России, то это будет никак не раньше ноября месяца, и то если найду для этого удобный случай и если поездка эта меня не разорит. Путешествие же зимой по России несравненно дешевле. Если бы не обязанность моя быть при выпуске моих сестер и устроить по возможности лучше судьбу их, то я бы не сделал подобного дурачества и не рисковал бы так своим здоровьем».

Но это было только новым напрасным огорчением для матери, потому что, покоряясь необходимости, Гоголь тут же изведал ее о вторичном выезде в Вену. После этого Гоголь снова засел на месяц в Вене, до условленной встречи с Погодиным, состоявшейся в двадцатых числах октября. Ему трудно было принудить себя собраться в дорогу и отъезд незаметно откладывался со дня на день, даже и в то время, когда он, наконец, решил поездку бесповоротно. 24-го октября он изведал мать: «сегодня выезжаю», но остался еще раз на несколько дней и 28-го числа снова пишет и уже окончательно: «Итак, я выезжаю сегодня в Россию!» Отметим здесь и одно мелочное обстоятельство; теперь уже он просил мать: «На всякий случай приложите и рубашки, которые у вас для меня сделаны».

XXV

Совершенно непонятной и необъяснимой является в воспоминаниях С.Т.Аксакова приведенная им дата письма, написанного к нему М.С.Щепкиным будто бы 28-го сентября 1839 г., с известием о приезде в Москву Гоголя. Известно, что последнее было принято всеми московскими друзьями Гоголя как событие. Все они давно уже мечтали о его возвращении, а Погодин, собираясь в Италию, говорят, питал даже намерение привезти с собой Гоголя. Тем страннее видеть на заграничных письмах Гоголя, напечатанных г. Кулишем, даты, относящиеся не только к сентябрю, но даже к концу октября 1839 г. По

этим числам, всегда аккуратно выставляемым г. Кулишем и проверенным по печатям почтовых конвертов, видно, что Гоголь оставался за границей почти до ноября. Согласить это противоречие нельзя даже предположением ошибки в месяце и разницей в стилях. Если даже отнести выезд Гоголя из Вены к 16 (по новому стилю 28 октября), а прибытие в Москву к 28 по старому стилю, то и при такой натяжке сказанное затруднение не устраняется.

С одной стороны выезд Гоголя с Аксаковым в Петербург, когда ему нужно было взять сестер из института, отнесен последним к 26 октября 1839 г., не говоря уже о том, что записка Щепкина была получена Аксаковым еще на даче, следовательно, никак уже не в последних числах октября. Наконец, выезде в Петербург предшествовало немалое замедление, происшедшее по вине Аксакова. Все эти показания являются окончательно сбивчивыми и противоречивыми, если сопоставим рассказ Аксакова со следующими словами письма Гоголя из Вены от 28-го октября 1839 г.: «Через месяца полтора или два буду в С.-Петербурге, а недели через две после этого в Москве».

Между тем Гоголь приехал раньше в Москву, а в Петербург все-таки прибыл в начале ноября. Наконец, пребывание Гоголя в начале ноября в Петербург подтверждается одинаково обоими взаимно противоречащими источниками.

Но оставим это загадочное противоречие, высказав лишь в виде простого предположения, что записка Щепкина могла передать неточное сообщение, которое, однако, верно и живо характеризовало отношения к Гоголю москвичей и, ценное в этом смысле, разумеется, вполне заслуживало того внимания, которое обратил на него Аксаков. Остальные мелкие хронологические неточности легко могли вкратку в рассказ, составленный гораздо позднее по памяти. Напротив, подвергнуть сомнению целый ряд вполне точных и согласных между собой дат на письмах, собранных из разных рук г. Кулишем, по нашему мнению, не представляется никакой возможности.

Общий же смысл рассказа Аксакова и особенно делаемые им замечания и характеристики в высшей степени ценны. Отсылая читателей к прекрасному и обстоятельному рассказу Аксакова о жизни Гоголя в Москве и их общей поездке в Петербург, обратим здесь внимание лишь на замеченную Аксаковым перемену в отношениях к нему Гоголя. «Казалось, как бы могло, — говорит Аксаков, — пятилетнее отсутствие, без письменных сношений, так сблизить нас с Гоголем? По чувствам нашим мы, конечно, имели полное право на его дружбу и, без сомнения, Погодин, знавший нас очень коротко, передал ему подробно обо всем, и Гоголь почувствовал, что мы точно его настоящие друзья».

Итак, в Москве у Гоголя, кроме Щепкина, Погодиных и Шевыревых, прибавилось теперь еще одно сердечно расположенное к нему и высоко им ценимое семейство. Если доверять рассказу Аксакова, — а сомневаться в его справедливости мы не имеем основания, — то приезд Гоголя в Москву, прежде чем он поехал взять сестер из института, при его стеснительных материальных условиях и несомненном утомлении от долгой дороги, должен быть объяснен действительным расположением его к московским друзьям, с которыми он имел случай еще более сойтись в Риме. Еще менее мы должны сомневаться в том, что не только Гоголя, как говорится, тянуло к ним, но он и с их стороны нашел самый радушный прием и почувствовал себя в родной сфере и обстановке, чем всего лучше объясняется и внезапная его приветливость и симпатия к дому Аксаковых.

Как известно, Гоголь совершенно изменялся, переходя из близкого круга в общество людей посторонних и наоборот. Это же самое произошло и теперь: благодаря рассказам Погодина о пламенной и бескорыстной любви к нему Аксаковых, он и сам, конечно, почувствовал к ним приязнь и стал их считать своими. Такое начало должно было в ближайшем времени повести их к тем более тесному сближению, что Гоголь не мог не оценить широкого сердца старика Аксакова, доказывавшего ему на каждом шагу свое расположение самым делом и до того осыпавшего его немаловажными услугами, что таким великодушием и беспредельной добротой не мог бы не тронуться самый черствый человек. Самое общение с Аксаковым имело весьма счастливое действие на Гоголя: в продолжение всей дороги до самого Петербурга Гоголь шутил и заставлял своих спутников хохотать до упада, хотя, по наблюдениям того же Аксакова, несмотря на личину веселости, он был сильно расстроен.

Причины удручавших Гоголя печалей нам известны, но зато тем более нам разъясняется теперь влияние на него теплого, в высшей степени сердечного обхождения с ним Аксакова, относившегося к нему со вниманием вполне преданного человека. В самом деле, каждая страница воспоминаний последнего дышит истинным, не часто встречаемым в жизни дружеским чувством. С какой любовью он говорит о характере, привычках Гоголя, о состоянии его здоровья. Болезненность и необычайная зябкость Гоголя уже тогда сильно бросались в глаза, и все это Аксаков замечал и потом занес в свои воспоминания. Уже самая мысль записать все, что так или иначе имело отношение к жизни Гоголя, не принадлежит к числу часто исполняемых у нас и доказывает, до какой степени он дорожил малейшей чертой, касавшейся его друга...

В Петербурге Гоголю пришлось улаживать разные денежные затруднения: «по поводу моих сестер, — жаловался он, — столько мне дел и потребностей денежных, как я никогда не ожидал: за одну музыку и за братые ими уроки нужно заплатить более тысячи, да притом на обмундировку, то, другое, так что у меня голова кружится». Жуковский обещал похлопотать у императрицы, но как нарочно императрица в то время занемогла, и Жуковский не решался утруждать ее.

Об этом мы имеем согласные сведения в обоих наших источниках, но у Аксакова прямо и определенно указываются факты, тогда как, например, в письме Гоголя к Погодину находим лишь общий загадочный намек («Надеюсь на Жуковского, но до сих пор никакого верного ответа не получил. Правда, что время не очень благоприятное»). Между тем в Петербурге приезд Гоголя возбудил неприятные для него толки и разговоры, и он неудержимо стремился возвратиться в Москву. Аксаков сообщает много любопытного о петербургских впечатлениях Гоголя и особенно о его мучениях под давлением настоятельной необходимости во чтобы то ни стало достать деньги, нужные при выпуске сестер. Благородный поступок Аксакова, предложившего ему взаймы 2.000 рублей, его утонченная деликатность и великодушие должны были окончательно упрочить признательность к нему в сердце Гоголя. Впечатление его передано Аксаковым в следующих словах: «Видно, в словах моих и на лице моем выражалось столько чувства правды, что лицо Гоголя не только прояснилось, но сделалось лучезарным. Вместо ответа, он благодарил Бога за эту минуту, за встерчу на земле со мной и моим семейством, протянул мне обе свои руки, крепко сжал мои и посмотрел на меня такими глазами, какими смотрел за несколько месяцев до своей смерти, уезжая из нашего Абрамцева в Москву и прощаясь со мной не надолго».

В половине ноября Гоголь взял сестер из института и мог бы немедленно двинуться обратно в Москву, но принужден был дожидаться Аксакова. И здесь его преследовали неудачи. Еще в письме к Погодину от 4-го ноября он говорил: «Не вижу часу ехать в Москву, и весь бы летел к вам сию же минуту», и сокрушался при мысли о возможных проволочках: «Боже, если я и к 20 ноября (sic) не буду еще в Москве!» Но сам он не умел ухаживать за институтками-сестрами и должен был поместить их до дня отъезда у Балабиных. По нелицеприятному свидетельству Аксакова, Гоголь при посещении им сестер в институте и позднее производил на него впечатление самого нежного брата, но не умевшего, однако, с ними обходиться. «Гоголь очень занимался своими сестрами: он сам покупал все нужное для их костюма, нередко терял

записки нужных покупок, которые они ему давали, и покупал совсем не то, что было нужно; а между тем у него была маленькая претензия, что он во всем знает толк и умеет купить хорошо и дешево».

В Петербурге, по словам Аксакова, не понимали и бранили Гоголя; ухаживать за сестрами он не умел и не знал, как с ними обращаться; большинство впечатлений в Петербурге было для него тяжелое; дальнейшее пребывание в таком положении становилось с каждым днем невыносимее, а уехать в Москву все-таки не удавалось. Всего ужаснее в этой пытке было то, что ему не хотелось долго оставлять своих сестер у Репниных, тем более, что там ничем не могли на них угодить. Они были помещены там с 18-го ноября и пробыли почти месяц. По старой дружбе Репнины и Балабины ухаживали за ними, как умели, но не могли ничем победить их институтской застенчивости.

Елизавета Васильевна Гоголь (впоследствии Быкова) сама признавалась со временем, что они с сестрой не пили по утрам чаю, упорно отказывались от пищи, несмотря ни на какие угощения, и потихоньку ели угли от голода. «Мне приходилось сидеть, — вспоминала она, — рядом с одним из сыновей Балабиных; я просила сестру Аннет поменяться местами (она сидела рядом с Marie Балабиной), — она каждый раз соглашалась, но когда приходило время садиться, у нее не хватало храбрости, и я со слезами на глазах садилась на свое старое место»... Ехать, не дожидаясь Аксакова, Гоголю мешало неимение прислуги и общества для сестер; притом, как мы видели, он нуждался при обхождении с робкими молодыми девушками в помощи более опытных и привычных людей. Однажды у него сорвались по поводу этих невзгод слова горькой досады: «Всему виной Аксаков. Он меня выкупил из беды, он же и посадил». Наконец, томлениям Гоголя наступил давно желанный предел и с облегченным сердцем он возвратился в Москву к самому исходу 1839 года. За этот промежуток времени мысли о драме были отложены, хотя Гоголь и подумывал изредка о напечатании комедии в «Сыне Отечества» и «Библиотеке для Чтения». Гоголь остановился у Погодина и ждал свиданья с матерью, чтобы затем при первой возможности возвратиться в Рим.

1840г.

Возможность эта представилась, когда он получил от Жуковского 4.000 р. В порыве восторга он писал: «Рим мой! А о благодарности нечего и говорить: она сильна. Я употреблю все и, даст Бог, выплачу мой долг». Оставалось повидаться с матерью и устроить домашние дела. Одну из сестер Гоголю удалось поместить у П.И.Раевской,

приятельницы его знакомой А.П.Елагиной. Когда счастливый случай послал ему в лице молодого Панова также и товарища в поездке, то оставаться в Москве уже не было причин, и 18-го мая он выехал из нее в Италию, получив, между прочим, обещание от Константина Сергеевича Аксакова, что он вскоре также последует за ними туда. Уговаривая последнего посетить излюбленную им страну, Гоголь преследовал не один эгоистический интерес: ему хотелось «перенести своего юного приятеля из отвлеченного мира мысли в мир искусства».

В конце нашего обзора главнейших фактов из жизни Гоголя в Москве в первой половине 1840 г. Укажем особенно на вынесенное семейством Аксаковых заключение о пристрастии Гоголя к Италии: «Нам казалось, что Гоголь недоволен любит Россию, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художников, роскошь климата, поэтические развалины славного прошедшего, — все это вместе бросало невыгодную тень на природу нашу и нашу жизнь».

XXVI

Воспоминания С.Т.Аксакова, так ярко рисующие во всех подробностях жизнь Гоголя в Москве, при всей своей несомненной правдивости и полноте, все-таки не исчерпывают безусловно всех его тогдашних стремлений и интересов. Пробел в этой мастерской картине заключается преимущественно в том, что заветные надежды и планы Гоголя оставались не вполне известными Аксакову, так что о них мы можем полнее судить уже по другим источникам, и притом, главным образом, по письмам Гоголя к Жуковскому, напечатанным в «Русском Архиве». Как известно, Гоголь не был большим охотником посвящать в свои тайные намерения самых дорогих для него людей, а Аксаков уже в силу врожденной деликатности и благородства своего характера не стремился проникать в то, что от него скрывалось, не считая возможным даже подвергать контролю вероятность возвращения ему в близком будущем занятой для Гоголя суммы. В этом последнем отношении он представлял особенно резкую противоположность Погодину, который, будучи связан с Гоголем гораздо более продолжительными и близкими отношениями, не стеснялся, однако, очень скоро начать довольно ощутительно давать чувствовать Гоголю, что дорогой его приятель ни на минуту не забывает в нем должника. Но был у Гоголя, кроме Аксакова, еще другой вполне преданный и совершенно бескорыстный покровитель и друг, обращаться к которому было для Гоголя часто в тоже время и настоятельной необходимостью, и наиболее

надежным ресурсом во всех затруднительных случаях. Таким истинным доброжелателем был для Гоголя, разумеется, Жуковский.

Еще перед выездом из Рима Гоголю пришлось обратиться к маститому поэту, когда он понемногу должен был убедиться, что предстоящая поездка в Россию «неотразима». Мы не знаем, насколько справедливо, что за одних сестер Гоголю надо было заплатить несколько тысяч в Петербурге; но если это было им даже преувеличено, то во всяком случае уже его собственное материальное положение было тогда далеко не блестяще: он находился в такой нужде, что, даже оставаясь спокойно в Риме, был бы принужден позаботиться о поправлении своих незавидных обстоятельств. Жуковскому он жаловался и, конечно, не без основания, — что «послал в Петербург за последними деньгами и больше ни копейки; впереди нет совершенно никаких средств добыть их». Тогда-то под давлением нужды зародилась у Гоголя мысль хлопотать о получении какой-нибудь должности в Риме, чтобы иметь небольшое, но верное обеспечение.

Жаль только, что предположения Гоголя не всегда бывали легко осуществимы, и потому просьбы хлопотать за него должны были, по всей вероятности, не мало затруднять не привыкшего ни в чем отказывать Жуковского. В своих просительных письмах Гоголь, как обыкновенно поступает в подобных случаях большинство нуждающихся, не столько взвешивал возможность осуществления возникающих планов, сколько настаивал на необходимости изыскать для него сколько-нибудь удовлетворительный источник безбедного существования. Мысль его получить пенсию, равную выдаваемому воспитанникам академии художеств в Риме, не имела, разумеется, никакого основания, и гораздо удобнее было Жуковскому просто обратиться к Государю с просьбой для него о некоторой субсидии. Гоголь прекрасно сознавал это и потому тотчас же заменяет свою первую просьбу предложением снова испробовать однажды уже успешно удавшееся средство. Как года два тому назад он получил крупное вознаграждение за поднесенный Государю экземпляр «Ревизора», так теперь он просил Жуковского в надежде на новую награду:

«Найдите случай и средство указать как-нибудь Государю на мои повести: «Старосветские помещики» и «Тараса Бульбу». Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам; все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметны были для всех, кроме вас, меня и Пушкина. Я видел, что по прочтении их более оказывали внимания. Если бы их прочел Государь! Он же так расположен ко всему, где есть теплота, чувство и что пишется

прямо от души. О, меня что-то уверяет, что он бы прибавил ко мне участия».

Будучи убежден во всегдашней готовности Жуковского чем можно помочь ему, Гоголь и в следующем письме основывает свои просьбы о ходатайстве за него перед троном главным образом на своих нуждах. «Мне нужно, — говорил он, — на экипировку сестер, на зарплату за музыку, учителям во все время их пребывания в институте, около 5000 р. и, признаюсь, это на меня навело совершенный столбняк. Об участи своей я не забочусь: мне нужен воздух, да небо, да Рим». В этом письме Гоголь просит Жуковского поговорить о нем с императрицей.

Приехав в Россию, Гоголь не переставал тосковать о Риме, но долго не мог добиться желаемой возможности сколько-нибудь удовлетворительно устроить собственные дела и дела своего семейства. Несомненно одно, — что он никак не ожидал сначала, чтобы ему пришлось остаться в России больше полугода; самое меньшее, на что он рассчитывал, что ему придется вернуться в Италию не позже марта, о чем он ясно говорит в одном из писем к Иванову, вскоре после их разлуки. «Я, к сожалению, не буду в Риме раньше февраля. Никак не могу отклониться от неотразимой для меня поездки в Петербург. Но в феврале непременно намерен очутиться на Via Felice и на моей старой квартире и вновь примемся за capretto arrosto и asciuto», и через несколько строк еще раз прибавляет: «Я буду непременно, если не в феврале, то в марте непременно». Сообразно с этими предположениями Гоголь через Иванова давал даже кое-какие инструкции своему квартирному хозяину.

В промежуток своей полуторамесячной жизни в Петербурге, Гоголь получил предложение от Смирдина продать последнему предполагаемое им собрание его сочинений, но за весьма умеренный гонорар. По расчету Гоголя оказывалось, что Смирдин хотел бесцеремонно эксплуатировать его в тяжелую пору денежного безвременья. И в самом деле предлагаемые им девять тысяч за все три тома, тогда как за одни только комедии Гоголю давали охотно 6.000, являются более чем скромной цифрой. Другой книгопродавец, Ширяев, вызвался тогда же дать 16.000, если только в собрание сочинений Гоголя будут включены также «Мертвые Души».

«Нужно же, — жалуется Гоголь Жуковскому, — как нарочно, чтобы мне именно случилась надобность в то время, когда меня более всего можно притеснить и сделать из меня безгласную, страдающую жертву». Но как ни был Гоголь стеснен нахлынувшими со всех сторон неизбежными расходами, ему удалось, благодаря все той же великодушной руке Жуковского, найти более благоприятный исход.



Фото В.Ярошенко. Рим. Фонтан Треви

Ему только что предстояла ужасающая перспектива, для удовлетворения желаний книгопродавцев, изуродовать свое любимейшее произведение и выпустить в свет наскоро, без надлежащей обработки, преступно обратив плод вдохновения в денежную спекуляцию. Но если Гоголь считал возможным принимать милости двора, то потому конечно, что в его время и в его среде был распространен несколько легкий взгляд на пользование ими, но он все-таки никогда не мог допустить мысли сделаться литературным барышником. Все это чрезвычайно важно для суждения о тех его поступках, которые были вынуждены известной нам тяжелой альтернативой.

Впрочем есть основание думать, что в трудные минуты Гоголь допускал мысль по возможности ускорить окончание «Мертвых Душ», но он мужественно победил соблазн и тем более не мог не сочувствовать и не проникаться уважением к святой выдержке Иванова, так стойко и благородно переносившего на его глазах все невзгоды для своего горячо любимого труда. О минутном колебании Гоголя в указанном выше смысле, кажется, можно заключить по следующим строкам письма его к Жуковскому:

«Я решил не продавать моих сочинений, но употребить и поискать всех средств если не отразить, то отсрочить несчастное течение моих трудных обстоятельств. Как-нибудь на год уехать как можно скорее в Рим, где убитая душа моя воскреснет вновь, как воскресла прошлую зиму, а весну приняться горячо за работу *и, если можно, кончить роман в один год*».

Нам кажется, что этим так мало обращающим на себя внимания при чтении отдельного письма строкам, напротив, необходимо придать особенное значение для правдивой оценки действий и намерений Гоголя. Эти строки в связи с остальной перепиской Гоголя неожиданно проливают яркий свет на ужасную, полную глубокого трагизма внутреннюю борьбу, которую подавлял и хоронил в себе Гоголь, поставленный в необходимость для своего семейства принести ужаснейшую из жертв для истинного художника. Но не склонил он головы до самых последних минут своей жизни и не сделался литературным барышником, хотя много помог ему и в этой ужасной «битве с жизнью» Жуковский, всегда бывший для него, как и Пушкин, добрым гением. Тотчас за выше приведенными строками Гоголь прибавляет:

«Я придумал вот что: сделайте складку, сложитесь все те, которые питают ко мне истинное участие; составьте сумму в 4.000 рублей и дайте мне займы на год. Через год я даю вам слово, если только не обманут меня силы, и я не умру, выплатить вам ее с процентами. Это

мне даст средство как-нибудь и сколько-нибудь выгнуться из моих обстоятельств и возратить на сколько-нибудь меня мне».

Мысль эта запала Гоголю, когда он гостил еще у Жуковского в Петербурге, но она камнем лежала на душе его и высказать ее он решил только на бумаге, уже вернувшись в Москву, как это видно из следующих строк начала письма: «Несколько раз брался за перо писать к вам и как деревянный стоял перед столом: казалось, как будто застыли все нервы, находящиеся в соприкосновении с моим мозгом, и голова моя окаменела».

По получении от Жуковского желаемых четырех тысяч Гоголь, зарывшись в долги, почувствовал себя нравственно еще в худшем положении: приходилось подумать о том, как их выплатить, и больше не оставалось никакого средства, как только завести речь о какой-нибудь должности в Риме. Между тем прошел слух, вскоре оказавшийся верным, — что родственник Репниных, Павел Иванович Кривцов, получил место начальника открывающейся в Риме русской академии художеств и что при нем предполагается должность секретаря с окладом в 1.000 р. в год. Это-то место и захотел получить Гоголь, о чем снова просил своих влиятельных друзей: Жуковского, гр. Толстого и кн. Вяземского. О желании его было известно и Аксакову. При своей крайней неприхотливости и вполне суровом образе жизни (начиная с сороковых годов) Гоголь надеялся, получая 1.000 р. в год, спасти себя от тины вечных долгов и одолжений, а еще более не обременять свою совесть и не насиловать талант, призванный создать великое и, как он думал, спасительное для России в моральном отношении произведение. Но судьба отказала ему и в этом желании, и ему пришлось снова терзаться этими требованиями совести и заботами о существовании. Что долги его страшно тяготили, понятно само собой и подтверждается особенно письмом к Жуковскому от 3 мая 1840 г., где он прямо говорил: «О, если бы вы знали, как мучается моя бедная совесть, что существование мое повисло на плечи великодушных друзей моих». Но это было сказано уже тогда, когда ему удалось обеспечить себя хотя в недалеком будущем известными денежными средствами от продажи своих сочинений.

«Деньги получу не вдруг и не теперь, — писал он, — но верные. От Погодина вы получили половину в этом году того долга, который вы для меня сделали, благодаря великодушной любви вашей». Гоголь готов себя уже зараннее считать счастливым, если ему удастся получить место при Кривцове, и просил, собираясь выехать из Москвы, дать ему ответ уже в Вену (*poste restante*), но имел огорчение получить отказ еще в Москве. На это указывает

письмо его к Жуковскому из Москвы же, начинающееся следующими словами: «Что я могу написать к вам! Благодарить только вас за ваши заботы, за ваше редкое участие. Бог мне дает вкушать наслаждение даже в минуты самых тяжких сердечных болей. Что ж делать мне теперь! О Рим мой, о мой Рим! — Ничего я не в силах сказать... Но если бы меня туда (sic) перенесло теперь, Боже, как бы осветилась душа моя! — Но как, где найти средств! Думаю и ничего не могу придумать! Иногда мне приходило в мысль, неужели мне совершенно не дадут средств быть на свете? Неужели мне не могут дать какого-нибудь официального поручения? Неужели меня не могут приклеить и засчитать в какую-нибудь должность?»

Последние слова особенно заставляют предполагать, что это и был ответ на непредвиденный и слишком скоро полученный отказ. С досады на неудачу Гоголь называл теперь свое предприятие мечтой и утверждал, что «это дело можно устроить только имея в родстве какого-нибудь важного дядюшку или тетюшку». Но все-таки он не скоро еще отказался окончательно от своей надежды и в письме к Погодину из Рима от 17 декабря 1840 г. снова повторяет: «Никаких известий из Петербурга: надеяться ли мне на место при Кривцове? По намерениям Кривцова, о которых я узнал здесь, мне нечего надеяться, потому что Кривцов искал на это место европейской знаменитости по части художеств. Он хотел иметь немца Шадова, а потом даже хотел предложить Овербеку». Гоголь утешал себя по крайней мере тем, что жалование, которое он получал бы на этой должности, было бы ничтожно: «Я равнодушен теперь к этому. К чему мне это послужит? На квартиру да на лекарства разве? На две вещи, равные ничтожностью и бесполезностью». Но следующие тотчас за этими слова выдают его раздражение: «Если к ним не присоединится еще третья, венчающая все, что влачится на свете» (вероятно — похороны).

Таким образом личные дела Гоголя не устроились так, как он желал и надеялся. Не радовали его и обстоятельства домашних. В бытность свою в Москве он должен был заботиться об устройстве сестер: уже в то время, когда они гостили у Погодина, он желал приучить их к работе над переводами, в надежде доставить им этим впоследствии средства к существованию. Предвидя для них в будущем, как для девушек бедных, возможность множества неудач и лишений, он всячески старался поставить их в такие условия, при которых они научились бы высоко ценить труд и довольствоваться самым необходимым. Такой суровый, трудовой образ жизни удовлетворил бы и его нравственным убеждениям, и практической необходимости, и его-то он, подробно развивая свои взгляды, рекомендует в письме к воспитательнице своей сестры,

П.И.Раевской. В самом деле нужда сильно давала чувствовать себя всему семейству на каждом шагу, и в будущем рассчитывать было не на что. Так горячо любившая Гоголя мать сильно затруднялась приездом на свиданье к нему в Москву (и могла приехать к нему благодаря займу у Данилевского), так что, не имея возможности послать ей денег, он писал ей: «Если бы вы могли достать себе денег, хотя только на проезд в Москву! Тут бы как-нибудь и на проезд отсюда я бы добыл. Мне, признаться, хотелось бы, чтобы вы увидели Москву!» и проч. Наставления сестрам были у Гоголя всегда одинаковы и свидетельствовали о ясно сложившейся программе: он заботится об их здоровье, предписывает им ежедневные прогулки, и о работе, которая спасала бы их от нужды и от праздности.

XXVII

Выехав из Москвы, Гоголь тотчас же почувствовал себя перенесенным в родную сферу: несмотря на дружеские отношения с Аксаковым и Погодинами, он, стремясь в любимый Рим, вспоминал с особенным удовольствием о предстоящей встрече с оставленными в нем приятелями, и притом не только с Ивановым, но также с Моллером, Иорданом и другими, из которых с большинством он был гораздо менее близок, нежели с московскими друзьями. Как вырвавшийся из темницы узник, — употребляя его же сравнение, сказанное в другой раз по сходному случаю, — он летел мыслью в Рим и с восторгом писал Иванову: «Господи Боже мой, сколько лет я вас не видел, il carissimo signor Alessandro! Что вы подельваете? В Риме ли вы? Что делает ваша Famosa (т.е. я разумею — картина)» и проч. О России он отзывается несколько легкомысленно: «Я был и в России, и черт знает где». О Моллере, Иордане и других он расспрашивает, как о самых близких, дорогих людях.

По дороге мысль о Риме мелькала Гоголю манящей издали, светлой путеводной звездой. «Теперь я сижу в Вене — писал он Иванову в цитированном выше письме, — пью воды, а в конце августа, или в начале сентября буду в Риме, увижу вас, побредем к Фалькону есть *bacchio arrosto* или *girato* и осушим фольету *asciuto*, и настанет вновь моя райская жизнь». Вместе с тем Гоголь льстил себя отрадной надеждой на предстоящее в Риме свидание с сильно полюбившимся ему молодым Константином Аксаковым, которого он называл тогда «юношей, полным всякой благодати».

Еще в Варшаве Гоголь почувствовал, по его выражению, «побуждение душевное» написать так много для него сделавшему и питавшему к нему такую сердечную дружбу, С.Т.Аксакову. Это «побуждение душевное» есть

снова признак ясно проглядывающего будущего мистического настроения, на этот раз, однако, еще не замеченного последним. (Ср. такие же «душевные побуждения» в позднейших письмах к Смирновой и Виельгорским). Во всяком случае в этом письме слышится самое теплое чувство и потребность поделиться приливом счастья. Всю дорогу Гоголь оставался в самом светлом настроении, чему много способствовали и случайные удачи путешествия, доходившие на этот раз до того, по словам Гоголя, «лучше доехать невозможно. Даже погода была хороша! У места дождь, у меня солнце» или: «Вена приняла меня царским образом». К счастью и величайшему удовольствию Гоголя, уже в Вене многое напоминало ему о близости столь горячо любимой Италии: при нем прибыла туда итальянская труппа оперных артистов, о которых Гоголь в своем восторженном увлечении говорил, что «это была опера чудная, невиданная». Даже в знойном июльском воздухе он не без наслаждения приветствовал донесшийся из его второй родины «хвостик широкка».

Но излишний экстаз потрясающим образом повлиял на здоровье Гоголя и расшатал его и без того надорванные нервы: в Вене, вместо того, чтобы поправляться от пользования водами, он слег и мог вскоре сколько-нибудь стать на ноги благодаря заботам и попечениям о нем случайно встреченного им в этом городе Н.П.Боткина, что было тем счастливее для него, что спутник его Панов еще в половине июля оставил его, условившись съехать с ним вместе в Венеции. Только что Гоголь оправился, он поехал в Италию, надеясь путешествием восстановить пошатнувшееся здоровье. В Венеции он в самом деле встретился с Пановым и здесь он мог возобновить свои литературные занятия. Еще в начале лета, в Вене, он продолжал упорно работать над созданием задуманной им малороссийской комедии, усердно собирая для нее материал и изучая для этой цели сборники малороссийских песен; теперь он занялся приготовлением обещанной М.С.Щепкину для его бенефиса переводной пьесы одного из любимых его итальянских комических писателей, Джордано Жиро: «Дядька в затруднительном положении» (*L'ajo nell'imbarazzo*).

Из Венеции, т.е. из первого пункта, в котором Гоголь почувствовал себя несколько оправившимся, он послал письма более близким своим друзьям: Погодину, которого спрашивал о его семействе, и О.С.Аксаковой (за отсутствием из Москвы Сергея Тимофеевича). Наконец Гоголь снова в Риме. Но только что исполнилась его мечта, как его на самых же первых порах поразила еще более серьезная и тяжелая болезнь, нежели перенесенная им в Вене. Сверх всякого ожидания он должен был со страхом и скорбью удостовериться, что «ни Рим, ни небо, ни то,

что так было причаровало его, ничуть не имеют теперь на него влияния».

В это время у него даже серьезно являлась временами мысль провести как можно долее в спасительной для него дороге и даже ехать с этой целью курьером в Камчатку.

1841 г.

Еще в Вене он в первый раз пережил так часто после овладевавший им ужас близкой, как ему казалось смерти, и это на всю жизнь оставило в нем неизгладимое впечатление. Он уже составил тогда «тощее духовное завещание, чтобы хотя долги были выплачены немедленно после смерти». Когда Гоголь, почувствовал необычайный прилив сил, слишком горячо принялся вдруг за давно оставленную работу, тяжкий недуг свалил его, и лихорадочное напряжение пагубно отозвалось на слабом уже организме. Поездка в Италию сначала, по-видимому, помогла ему, но зато вскоре он слег окончательно и не вставал с постели уже около двух месяцев. Под влиянием этого стечения несчастных обстоятельств Гоголь был вынужден просить друзей о месте при Кривцове. Неприятность усиливалась еще тем, что вместо уплаты прежних долгов Гоголь не мог обойтись без нового займа у Панова в количестве тысячи рублей. Но надо припомнить, что он был на краю гроба, и внезапная болезнь опрокинула вверх дном все его намерения и ожидания. Словом, ни одна из его розовых надежд не исполнилась, но удары судьбы обрушивались на его голову очень исправно.

Все это способствовало усилению в Гоголе рокового мистицизма, который с этого времени стал замечать и С.Т.Аксаков, совершенно разделявший убеждение Гоголя, что «много чудного совершилось с ним после их разлуки». Теперь Гоголь все более утрачивал последние следы жизнерадостного настроения, угасание которого замечал довольно ясно и гостивший у него в 1841 г. П.В.Анненков. Он все глубже уходил в свой внутренний мир; и тут-то у него зародилась мысль создать нечто необычайное в последних томах «Мертвых Душ». Он уже усвоил взгляд на первый том, только как на крыльцо к величественному зданию, а свое выздоровление приписывал прямо «дивной силе Бога, воскресившего его». Материальное положение его уже больше не тревожит: он привыкает к постоянным невзгодам и смотрит на них так: «Я так покоен, что даже не думаю вовсе о том, что у меня ни копейки денег. Живу кое-как в долг. Мне теперь все трын-трава. Если только мое свежее состояние продолжится до весны или лета, то, может быть, мне удастся еще приготовить что-нибудь к печати кроме первого тома «Мертвых Душ». Теперь ему нужна была дорога *даже из Рима*.

5 марта 1841 г. Гоголь снова писал Аксакову, что для него «нужно сделать заем». Но для объяснения последнего обстоятельства необходимо принять в соображение, что он готовил к печати «Ревизора» в исправленном виде и «Мертвые Души». Но он «питает надежду скоро все выплатить». «В начале 1842 г., — обещает он, — выплатится мною все, потому что уже одно то, которое уже у меня готово и которое, если даст Бог, напечатаю в конце текущего года, уже достаточно для уплаты». По влиянию этих светлых надежд, совершенно обновленный, снова принялся он за работу, предаваясь в то же время мистическому утешению, что все посланные ему несчастья были ему на благо.

Это видно, например, из следующих слов письма к Аксакову: «Я рад всему, всему что ни случается со мной в жизни, и как погляжу я только к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами, то растроганная душа моя не находит слов благодарить Невидимую Руку, ведущую меня».

Заметим здесь, что С.Т.Аксакову казалось ново такое настроение Гоголя. Но мы уже имели случай, основываясь на несомненных данных, указать, что еще в 1836 г. подобные взгляды высказывались Гоголем в письме к Жуковскому. Теперь мистическое настроение Гоголя проявлялось, правда, уж слишком заметно, например в утверждении, что во всем, что с ним случалось, «ясно видна святая воля Бога: подобные вещи не приходят от человека, никогда не выдумать ему такого сюжета». Теперь Гоголь получает убеждение, что «и приезд в Москву, и нынешнее путешествие в Россию, — все было благо». О себе Гоголь говорил: «Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Друзья сделают небесполезное дело! Они привезут с собой глиняную вазу; конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится, но в этой вазе теперь заключено сокровище». Во время этого нравственного экстаза Гоголь написал первое обличительное письмо своему другу Данилевскому, упрекая его за «жизнь невозмущенно-праздно протекающую в пресмыканиях по великолепным парижским кафе», в которых он часто сам бывал вместе с Данилевским; Аксаковых упрекал заочно за то, что, потеряв сына, они предались отчаянию, забыв, что «всякую минуту мы должны благодарить за то, что остается»; в письме к матери вызывался заступить сироте-племяннику место отца; о месте при Кривцове говорил уже с полнейшим презрением...

Наконец, окончив работу над первым томом «Мертвых Душ», Гоголь двинулся в Москву уже в сентябре 1841 г. Но, не передавая здесь содержания прекрасных

воспоминаний о Гоголе Анненкова о совместной жизни их в Риме в 1841 г., обратимся к извлечению некоторых биографических данных из первого тома «Мертвых Душ».

В.Шенрок

XXVIII¹

Мертвые души

Внешние обстоятельства жизни Гоголя не могли не оказать сильного влияния именно в этот период заграничных странствований нашего писателя и на его внутренний, интимный мир, отразившийся до известной степени также на великом его создании. В начале этого периода Гоголь еще не замкнулся исключительно в тесный круг немногих избранных людей, не предавался одним религиозным интересам и прежняя чуткость к впечатлениям окружающей действительности еще не покинула его. Любимым поверенным заветных творческих дум Гоголя после смерти Пушкина сделался Жуковский.

Из писем к нему и из «Авторской Исповеди» мы узнаем, что план «Мертвых Душ» создавался постепенно, и самая цель произведения не сразу выяснилась для автора. В «Авторской Исповеди» Гоголь рассказывает о передаче ему Пушкиным сюжета «Мертвых Душ». «Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и, наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего прежде мной читанного, он мне сказал: «Как, с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!». Под небольшой сценой разумелся, конечно, один из драматических «кусочков», которыми вообще сильно интересовался Пушкин. «Мертвые Души» вскоре после этого были начаты, и отрывки из них уже были знакомы Пушкину в первоначальном наброске еще в 1835 г. Чтение первых глав, как известно, навело Пушкина на тяжелое раздумье, и он, охотник до смеха, по окончании чтения произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!»

Этот первоначальный набросок был потом переработан Гоголем и значительно смягчен в отношении удручающего колорита. Уже тогда началась в Гоголе реакция против беспощадного анализа; он боялся производимого его поэмой тягостного впечатления, и хотя старался всеми силами оправдывать наиболее свойственный ему способ художественного изображения, но вместе с тем

¹ См. выше: сентябрь, стр. 55. Том V – Октябрь, 1894

и делал уступки предполагаемому впечатлению читателя. «Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего в начале для меня самого, — говорил Гоголь однажды: — он бы точно содрогнулся». Нельзя не пожалеть об утрате первоначального наброска: это обстоятельство лишает нас возможности судить вернее о том, в каком именно направлении изменилась разработка сюжета «Мертвых Душ» на первых же шагах творческого труда автора.

Открыто заявленное самим Гоголем отсутствие в начале определенного плана для нового произведения дает право предполагать уже в этом периоде работы возможность крупных перемен. Особенно любопытно признание Гоголя, что на первых порах он не давал себе отчета, «что такое именно должен быть самый герой». И так, даже тип Чичикова сложился позднее и, вероятно, не был еще известен Пушкину в своем позднейшем начертании, которое потребовало многих дальнейших наблюдений автора, или, вернее, — если принять во внимание начавшееся вскоре продолжительное отсутствие его из России — внимательного обдумывания и капитальной переработки давно накопившегося материала. Затем в Веве Гоголь с большим успехом воскрешал в своем воображении готовые, давно сложившиеся образы, так что ему казалось, что он находится в России: «передо мной все наше, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь», — или все то, прибавим от себя, что составило потом содержание первого тома «Мертвых Душ». В том же письме он говорил уже, что обдумал весь план произведения, хотя и просил сообщить, «не представится ли каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ». Но это относилось уже к обогащению сюжета, так как Гоголь вообще всегда нуждался во внешней фабуле, в которую мог зато легко вложить самое богатое содержание из своего обширного запаса тонких и метких наблюдений. Эти «казусы» также были необходимы Гоголю во время его работы над первой частью «Мертвых Душ» и более ранними произведениями, как впоследствии для второй части ему понадобились самые разнообразные сведения, с просьбой о доставлении которых он обращался уже не только к друзьям и знакомым, но и ко всей грамотной России. Отчасти уже во втором томе Гоголь брал впервые вымышленные им самим случаи и лица, и старался насильно подчинить этим призракам работу своего воображения. В половине 1838 г. Гоголь уже говорил: «огромно, велико мое творение, и не скоро конец его». Но и кроме того, по словам его, «еще один Левиафан затевается». Этот неосуществившийся Левиафан, без сомнения, является уже явным предвестником

той ложной дороги, на которую вскоре вступил Гоголь. Задатки мистицизма в полной силе сказались также в непосредственно следующих строках: «священная дрожь пробирает меня заранее, как подумая о нем; слышу кое-что из него... божественные вкушу минуты... но... теперь я погружен весь в «Мертвые Души». Таким образом, этот священный трепет не был ли некоторым образом «начала конца»? Мысль о Левиафане нигде не повторяется больше, и вероятно проект о нем был поглощен впоследствии предположениями о последних томах «Мертвых Душ», но отголосок этой мысли ясно слышится в известных словах VII главы, где Гоголь высказывает надежду, что настанет наконец, хотя, может быть, и не скоро, то время, «когда иным ключом грозная вьюга вдохновения поднимется из облаченной в священный ужас и блистание главы, и почуют, в смущенном трепете, величавый гром других речей». Профессор Н.С.Тихонравов в примечании к этому месту напоминает известные стихи Пушкина:

*И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.*

Это сопоставление, осторожно и без дальнейших выводов приведенное покойным ученым, наводит на мысль о возможности в данном случае реминисценции со стороны Гоголя, весьма вероятной при его глубоком уважении к поэтическому слову Пушкина и прекрасной, художественной простоте и выразительности заключающегося в приведенных стихах образа. Гоголь был настолько проникнут обаянием поэзии и еще более личности Пушкина, с таким благоговением чтил его заветы и память о нем, что совпадение указанных выражений в самом деле едва ли могло быть случайным, тем более, что стихи Пушкина чрезвычайно подходили к настроению одного из искреннейших его почитателей.

Тем не менее «Левиафан» погубил Гоголя, потому что в уме последнего уже носилась какая-то необъятная задача, и он начинал ставить своему таланту и человеческому слову вообще такие грандиозные цели, с которыми не только не мог совладеть сам, но которые вообще едва ли могут быть осуществлены. Он, под обаянием величественной мечты, хотел, как видно, превзойти самого себя, заговорить небывалым и неслыханным языком, создать нечто беспримерно-высокое и этим фантастически-великим изображением привести читателей в какой-то необычайный смущенный трепет. Отсюда гибель его таланта.

Впрочем, в некоторых лирических отступлениях первого тома Гоголь в пределах возможного прекрасно достиг своей цели, но едва ли можно себе представить

обещанное «лирическое течение» целой поэмы, или, правильнее сказать, всего романа. К счастью, имея намерение в «Мертвых Душах» изобразить русского человека со всеми его достоинствами и недостатками, Гоголь решил первую часть, уже начатую в духе его прежних произведений, посвятить изображению ничтожных людей, но это недоразумение сказалось несколько позднее: конечно, Гоголь уже задним числом придумал впоследствии объяснение этой будто бы первоначальной цели.

«Вследствие уже давно принятого плана «Мертвых Душ», — писал Гоголь неизвестному лицу, — для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные»... «Эти ничтожные люди, — продолжал он, — однако, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты тех, которые считают себя лучшими других, разумеется, только в разжалованном виде из генералов в солдаты». Гоголю стало, конечно, лишь впоследствии казаться, как это он выразил в том же только что цитированном письме, что «по мере того, как ему стали открываться его недостатки, чудным высшим внушением усиливалось желание избавиться от них», и что он был наведен «необыкновенным душевным событием на то, чтобы передавать их героям своих произведений». Из слов этого письма выходит, как будто это душевное событие совершилось еще в Петербурге, до отъезда за границу, и под ним надо разуметь (если это только действительно душевное событие было, а не есть плод расстроенного воображения), разве только неудачу «Ревизора», но и в том случае при сопоставлении этого факта с тем временем, когда мог Пушкин слышать чтение первых лав поэмы, получается явная хронологическая несообразность. Кажется, никаких душевных событий и высших внушений в ту пору еще не было, и лишь зародыш их коренился во всегдашней наклонности Гоголя к мистицизму, а в первый раз ясно обнаружился в приведенных строках о Левиафане.

Сверх того, по словам С.Т.Аксакова, всегда правдиво передававшего свои воспоминания, Гоголь лично говорил ему, что начал писать «Мертвые Души» только как любопытный и забавный анекдот и лишь впоследствии начал думать о колоссальном создании, и это объяснение действительно согласно с фактами. Нам кажется даже, что к словам Гоголя в начале второй главы, — что обо всем, что занимало мысли Чичикова, «читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть», — *едва ли не при одном из позднейших исправлений были добавлены слова: «очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее, по мере приближения к концу, венчающему дело».*

Во всяком случае, эти слова вместе с выше приведенными имеют весьма близкое отношение к позднейшему взгляду на первый том «Мертвых Душ», как только «на крыльцо ко дворцу, который в нем, Гоголе, строился».

XXIX

За границей перед умственным взором Гоголя с особенным наслаждением рисовалась надолго оставленная, но горячо любимая родина. «Теперь передо мной чужбина, вокруг меня чужбина, — писал он Погодину, — но в сердце моем Русь, одна только Русь».

Даже в Италии, при всем страстном обожании страны, Гоголь не мог освободиться от тоски по родине, и в тоже время, когда он говорил, что нет лучшей участи, как умереть в Риме, и что «целой верстой здесь человек ближе к Богу», — в это же почти время он говорил любимейшему из своих друзей:

«Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, как будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; старинные подсвечники и лампы в роде церковных, все на старинный манер».

Таким образом, в самом Риме Гоголя пленяло, между прочим, и замечаемое им сходство между Италией и Малороссией. По свидетельству Анненкова, во время его совместной жизни с Гоголем в Италии, мысль последнего «о России, вместе с мыслью о Риме, была живейшей частью его существования. Со страстной тоской вспоминал Гоголь на чужбине и о лихой русской езде на тройках, и о любимом им хоре народных песен. Это отразилось и на второй части «Мертвых Душ», где Гоголь изображает, как Петух, «встрепенувшись, пригаркивал, поддавая, где не хватало у хора силы, и сам Чичиков почувствовал, что он русский». В первом томе Гоголь также с любовью изображает артистическое увлечение певчих.

Гоголю живо представилось, по поводу одного из его описаний, «как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе, тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову» и проч. Гоголю всегда нравилось обаяние широкой удали и мощного душевного движения, когда, забываясь в порыве внезапно охватившего восторга, человек становится на время поэтом и отрешается от будничной прозы. Сам он в счастливые минуты способен был даже в начале сороковых годов, а в редких случаях и позднее, отдаваться всею душой взрывам какой-то неудержимой радости, особенно при звуках какой-нибудь разгульной малороссийской песни.

Так, проходя однажды с Анненковым в Риме по глухому переулку, он до того воодушевился, что «наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону».

Гоголь любил испытывать и изображать такое состояние, которое не поддается холодному прозаическому слову и может быть угадано лишь по намекам, как те речи, которых –

*Значенье
Темно иль ничтожно,
но которм –
Без волнения
Внимать невозможно.*

Такое состояние было им представлено в первый раз в конце «Сорочинской ярмарки». Оно же изображается не раз в «Тарасе Бульбе» и в «Мертвых Душах», но всего лучше изображено, в V главе первой части, в прекрасном лирическом отступлении по поводу встречи Чичикова с губернаторской дочкой. Во второй части «Мертвых Душ» мы находим такое же описание в воспоминаниях Тентетникова об Уленьке

(«Иногда случается человеку во сне увидеть что-то подобное, и с тех пор он уже во всю жизнь грезит этим сновиденьем» и проч.) и даже в описании впечатления, произведенного хороводами на Селифана, «когда, взявшись обеими руками за белые руки, медленно двигался он с ними в хороводе, или же выходил на них стеной, в ряду других парней, и, выходя также стеной на встречу им, громко выпевали усмехаясь горластые девки: «Бояре, покажите жениха!» И погасал рдеющий вечер, и тихо померкала вокруг околность, и раздававшийся далеко за рекой возвращался грустным назад отголосок напева, — не знал он и сам тогда, что с ним делалось».

Заканчивая лирическое отступление в V главе первой части «Мертвых Душ», он говорил: «Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша — гусар ли он, студент ли он, или просто только что начавший жизненное поприще, — и Боже! Чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заговорило в нем! Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи вдаль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры и распевания за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что ни есть в мире».

Здесь по связи представления в воображении вновь озарилась ярким светом картина, мелькнувшая перед

ним еще в ранней юности: припомним, что еще в наброске «Страшная рука» Гоголь стремился передать невыразимое обаяние, произведенное незнакомой женщиной на молодого студента; что с разными вариациями та же идея повторилась в «Невском Проспекте» и особенно в «Тарасе Бульбе», поэме, представляющей своим лиризмом явление, находящееся в органической связи с позднейшим уже неудавшимся лиризмом последних томов «Мертвых Душ».

Насколько ярко обрисовано в большинстве случаев это любимое Гоголем восторженное настроение в прежних произведениях, как по поводу вызывавшей его юной женской красоты, так и по поводу воинственного увлечения в пылу битвы, настолько вяло оно передано в воспоминаниях Тентетникова об Уленьке, где сказано только, что после того, как человеку случится увидеть что-то необычайное, «действительность пропадает для него навсегда, и он уже решительно ни на что не годится». Все, что в юности было озарено в глазах Гоголя каким-то чудным сиянием, является теперь обыденным и прозаическим. Приведем пример. Не помнящая себя в боевом пылу, безумная храбрость, опоэтизированная в Андрии, — в «Мертвых Душах» снова изображена мимоходом в лице отчаянного поручика, но храбрость эта, хотя и представлена сочувственно, получила здесь не особенно лестное определение. Так, Гоголь говорит о храбром поручике: «Его взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его: перед ним носится Суворов» и проч.

XXX

Способность к сильным порывам энтузиазма Гоголь считал принадлежностью преимущественно высоко имценимой славянской природы. К сожалению, изображение ее получило впоследствии ложное направление. Слова Гоголя в «Тарасе Бульбе» о том, что славянская порода перед другими — что море перед мелководными реками, послужили отчасти программой для позднейших попыток неумеренного и одностороннего возвеличения русской народности.

Не лишено значения здесь то, что все указанные черты наиболее ярко проявлялись именно в исправленной редакции «Тараса Бульбы», над которым Гоголь работал уже в Риме в 1838 году, когда под влиянием указанных выше причин им сильно завладело желание изобразить «русского человека», «настоящую русскую душу» и «русское чувство», и также поставить на пьедестал русского

человека, — стремление, отчасти сближающее его со славнофилами, с которыми, впрочем, Гоголь в других вопросах не соглашался и в самом деле имел мало общего.

Любопытно, например, что в первоначальной редакции нет той известной речи Тараса, из которой взяты все вышеприведенные выражения, также как нет и следующих слов казаков, сказанных по поводу меткого слова Демида Поповича: «Ну уж Попович! Уж коли кому закрутить слово, так только ну... Да уж и не сказали казаки, что такое ну». Все это место создано в связи с концом VI главы «Мертвых Душ» и приблизительно в одно и то же время с ней; в последней находим такие же размышления по поводу бойкого русского словца, прибавленного мужиком, объяснявшим Чичикову дорогу к Плюшкину, к названию: «заплатанный».

Но особенно в духе и тоне VIII и IX глав исправленной редакции «Тараса Бульбы» написаны заключительные строки V главы первой части «Мертвых Душ»; «Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, там бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово».

Но пока это были только намеки на предполагаемое Гоголем в последних томах «Мертвых Душ» изображение достоинств и лучших сторон русского человека. Невольно возникает вопрос: не смешивал ли Гоголь возможность с действительностью, представляя богатые задатки русской природы уже принесшими в своем полном расцвете блестящие плоды?

Что же представляла на самом деле современная Гоголю жизнь и какой являлась ему природа русского человека не в праздничную минуту высокого воодушевления, — мы видим из его произведений, в которых он, против воли, дает нам часто очень неутешительные ответы на поставленные вопросы, несмотря на то, что нередко он желал бы дать перевес патриотической идеализации над беспристрастным анализом.

У него нередки такие натяжки, например, в следующих словах: «Так как русский человек в решительные минуты найдет, что делать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, Селифан пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога». Но ведь это та самая черта, которую писатель, менее склонный к ложной идеализации в данном направлении, едва ли не вернее представил не в особенно привлекательном виде.

Лермонтов, рассказывая в «Герое нашего времени» подобный случай и сходное рассуждение возницы, говорившего: «И, барин! Бог даст не хуже доедем; ведь нам не впервые!» иронически замечает: «И он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако же все-таки доехали!»...

«Русский возница, — продолжает далее Гоголь, — имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмурив глаза, катает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает».

Здесь уже пристрастно-сочувственное отношение к национальному недостатку как-то странно сливается с самой грустной иронией. Еще справедливее можно отнести сказанное к замечаниям Гоголя: «русский человек не любит сознаваться перед другим, что виноват»; «Чичиков задумался так, как задумывается всякий русский, каких бы то ни был лет, чина и состояния, когда замыслил о разгуле широкой жизни»; — и, наконец, к сочувственному лирическому отступлению в конце VIII главы по поводу того, что значит у русского народа почесывание в затылке.

Во всем этом видна горячая, беспредельная любовь Гоголя к родной стране, видна иногда болезненная потребность любящего человека гордиться даже слабыми сторонами и недостатками предмета его любви. Но любовь эта соединялась нередко с глубокой задушевнью скорбью, когда он говорил, например, по поводу Ноздрева: «И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он через несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался, как ни в чем не бывало, и он ничего, и они ничего».

Тяжело было Гоголю признавать в некоторых отношениях превосходство над русскими других наций. Так устами Собакевича он с досадой называет немецкую природу «жидкокостной»; но не выдерживает последовательно взятого тона и в другом месте, размышляя о купленных Чичиковым умерших крестьянах, одного из них, являясь вновь юмористом, заставляет высказать желание разбогатеть не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг, и потом, изобразив его неудачу, заставляет его приговаривать: «Нет, плохо на свете! Нет житья русскому человеку: все немцы мешают».

Представляя в дальнейшем развитии своей невеселой думы печальный расчет с жизнью заблудившегося и запутавшегося крестьянина, поэт с глубокой тоской и задушевным сочувствием оканчивает свое размышление словами: «Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью».

Это уже не смех сквозь слезы, это прямо вырвавшийся из души глубоко прочувствованный, отчаянный крик нестерпимого страдания уже не за отдельную личность; а за один из очень распространенных народных недостатков. Невольно вспоминается здесь слово одного иностранного автора, сказавшего о Гоголе: «Er jubelt und verzweifelt in einem Athem, er stellt sich zu seinem Volke, wie die Mutter zu ihrem missrathenen und doch heiss geliebten Kinde». Но наряду с этим грустным раздумьем у Гоголя часто замечается и сильная идеализация русского народа на счет других наций; например, «Чичиков показал терпенье, перед которым ничто деревянное терпение немца, заключенное уже в медленном, ленивом обращении крови его».

С другой стороны, Гоголь иногда приписывает русскому народу также недостатки, далеко не ему только принадлежащие. Таково его замечание о том, что «на Руси, если не угнались кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в уменье обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста», и проч.

XXXI

В одном письме к Данилевскому, Гоголь уже сознался: «Мы приближаемся с тобой (высшие силы, какая это тоска!) к тем летам, когда наши ослабевающие силы, увы! часто не в силах вызвать их наружу так же легко, как они прежде всплывали сами наружу». И вот вместо идеалиста Пискарева перед ним носится пошлый образ Чичикова, который под впечатлением молодой, прекрасной женщины чувствует себя уже не поэтом, а только «чем-то вроде молодого человека, почти гусаром». Теперь уже только в виде отдаленного воспоминания в воображении Гоголя мелькает «замечтавшийся двадцатилетний юноша, который, возвращаясь из театра, несет в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями, находится в небесах и заехал к Шиллеру в гости».

Пора поэзии для него миновала, розы молодости доцветали; одни только красоты Италии на некоторое время еще продолжали сохранять над ним свое чудное обаяние. На жизнь Гоголь начинал смотреть уже глазами человека, безвозвратно потерявшего ее лучшие дары. Теперь у него часто вырываются стоны глубокой, неутешной скорби; так говорит он: «На свете дивно устроено: веселье мигом обратится в печальное, если только долго застоишься над ним, и тогда Бог знает что взбредет в голову».

Он содрогается перед беспощадной жестокостью жизни, часто безжалостно сокрушающей лучшие задатки человеческой натуры: «грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек»; но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости».

Ко всему сказанному надо прибавить, что так как и здоровье Гоголя все больше приходило в расстройство, то вместе с тем, по естественной силе вещей, у него пробуждается усиленное внимание к этому важнейшему и уже утраченному навсегда благу... По меткому выражению княжны Репниной, она и ее домашние одно время «жили в его желудке» В одном письме к Данилевскому он в таких выражениях признавался в этом: «Болезненное мое расположение решительно мешает мне заниматься. Я ничего не делаю и не знаю, что делать со временем. Я бы мог теперь проводить время весело, но я отстал от всего, и самым моим знакомым скучно со мной, и мне тоже не о чем говорить с ними. В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который решительно мешает всему».

Вскоре он писал опять: «Слышишь, видишь, как все вызывает на жизнь, и между тем у тебя в брюхе сидит дьявол. О, Рим! Прекрасный Рим!»

В ужасном увядании Гоголя в последнее десятилетие его жизни, по нашему мнению, нисколько не менее трагизма, нежели в его эффектном, сильно действующем на воображение истреблении трудов многих лет в порыве отчаяния, охватившего его в предсмертный час. Но, возвращаясь к предмету нашей речи, заметим, что в виду сказанного едва ли можно видеть случайность в частом и несколько завистливом изображении аппетита Ноздрева, Собакевича, Петуха, а также сна тех людей, «которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей». Напротив, о Гоголе Анненков рассказывает, что он часто страдал в Риме бессонницей. Анненков заметил его «причуду — проводить иногда добрую часть ночи, дремля на диване и не ложась в постель. Поводом к такому образу жизни, по словам Анненкова, могла быть, во-первых, опасная болезнь, недавно им выдержанная и сильно напугавшая его, а во-вторых, боязнь обморока и замирания, которым он, как говорят, действительно был подвержен». Слова, сказанные в начале IV главы об аппетите Чичикова — «автор должен сознаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей», — должны быть понимаемы совершенно в буквальном смысле. «Эти господа, — продолжает Гоголь, — пользуются завидным даянием Неба! Не один господин большой руки пожертвовал бы сию

минуту половиной душ крестьян и половиной имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки; но то беда, что ни за какие деньги, ниже имения с улучшениями и без улучшений, нельзя приобрести такого желудка, какой бывает у господина средней руки».

Из вкусов и наклонностей Гоголя во время первых годов его жизни за границей, как мы видели, особое внимание обращают на себя его увлечения природой и прекрасными видами, живописью и мукой, причем наслаждения последней он делил обыкновенно с Данилевским, когда они вдвоем посещали оперные представления в Париже, — а наслаждения живописью — с Жуковским (в Риме). Об увлечениях его природой мы достаточно говорили выше; приведем здесь лишь следующий рассказ Анненкова о «длинных часах немного созерцания, какому предавался он в Риме»...

«На даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду богатых, как он называл, древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанию. Так точно было и в Тиволи, в густой растительности, окружающей его каскателли: он садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, неподвижные глаза в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижим целые часы, с воспаленными щеками».

Что касается живописи, то по всегдашнему взгляду Гоголя настоящий живописец должен избегать «грубо осязательной правильности», предпочитая ей причудливые и беспорядочные, но тем не менее изящные формы. Этот взгляд инстинктивно сложился у него еще в детстве, как он сам говорит об этом в статье о поэзии Пушкина; он же повторяется и в «Мертвых Душах», где о Ноздре сказано, что, «держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых подобно циркульным вывескам, или выстриженных под гребенку». Сходную мысль находим также в повести: «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», в словах: «местами (виднелось) изломанное колесо, или обруч от брички, или валяющийся

мальчишка в запачканной рубашке: картина, которую любят живописцы».

Жуковскому Гоголь по отъезде его из Рима также писал: «Всякая развалина, колонна, куст, ободранный мальчишка, кажется, воют к вам и просят красок» и проч.

Наконец подобное описание вошло и в написанную около того же времени повесть «Рим». «Тут самая нищета являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незнакомая с терзаньем и слезами, беспечно и живописно протягивавшая руку; видны были картинные полки монахов, переходившие улицы в длинных белых или черных одеждах» и пр.

Оперные впечатления Гоголя отразились особенно в одном сравнении, в котором он говорит, что «Манилов, обвороченный фразой, от удовольствия только потряхивал головой, погружаясь в такое положение, в каком находится любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрипку и пискнула такую тонкую ноту, которая не в мочь и птичьему горлу».

Из переписки с Данилевским и из рассказов последнего о беспрестанных шутках Гоголя по поводу его меломании можно с некоторой вероятностью заключить, что в приведенном сравнении Гоголь должен был припоминать, между прочим, и своего неизменного спутника при посещениях оперных представлений, совершенно отдававшегося музыкальным впечатлениям. Ему Гоголь однажды писал, желая чем-нибудь побудить к некоторой аккуратности в переписке, что если он исполнит его требование, то и желудок его будет лучше варить, и «Рубини лучше петь, Гризи будет в пятьсот раз привлекательнее». В другом письме, соблазняя своего приятеля скорее приехать к нему в Рим и насладиться Рафаэлем, Гоголь уверял его, что он будет стоять перед ним «так же безмолвный и обращенный весь в глаза, как сиживал некогда перед Гризи».

Мы особенно основываемся в этом и некоторых дальнейших указаниях на признании самого Гоголя в третьем письме по поводу «Мертвых Душ» (в «Выбранных местах из переписки с друзьями»), что «в них собраны черты близких и коротко известных ему людей, а также и многих других, обратившись на себя чем-нибудь его внимание». Гоголь говорит в этом письме к неизвестному лицу: «Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей, есть и твои». ... ■■■



фото В.Ярошенко. Иерусалим. Западная Стена (Стена Плача)

ИЗ ИЕРУСАЛИМА С ЛЮБОВЬЮ

СТИХИ

Геннадий БЕЗЗУБОВ*

XXX

Если письма, то от руки,
 Что воспринимается, как причуда,
 Когда они являются ниоткуда,
 Невесомо легки,
 Потому что бумага, она тонка,
 Как долгожданные облака
 В самом конце октябрьского пекла.
 По ее сожжени пуста рука.
 Не остается пепла.
 Не остается ни слов, ни дат.
 Почтальон, застенчив и бородат,
 Ближе к полудню приносит пачку
 Мягких конвертов разной длины,
 В некоторых на просвет видны
 Отдельные фразы, вмятые и не очень,
 Еще не превратившиеся в золу,
 Если конверт приложить к стеклу,
 Тщательно отмытому изнутри и снаружи,
 Можно вникнуть в сумятицу этих неровных строк
 Или того хуже,
 Наблюдать распад, которому самый срок,
 Потому что почерк иной и наклон не туда, и спешка
 Выдают абсолютное крушение основ,
 Если они существовали, конечно.

«Мы еще не решили» (хотя давно бы пора),
 А внизу опять: «Мы еще не решили».
 За этим бессонные ночи и мутные вечера,
 И снова ночная тишь, которую поминутно нарушают
 автомобили
 С номерами неясными, как грядущие дни,
 И бумажные внутренности почтового фургона
 Издают еле слышный шелест,
 Вроде неразборчивой болтовни,
 Затихающей сонно.

XXX

Прощай, Европа! Мы не европейцы.
 Кто, слыша это, держится за сердце,
 Кто весело подсвистывает вслед,
 А нас уж нет.

Прощай же. И не нужно оправданий
 Тому, что протекли дорогой дальней,
 А после, наконец, слились ручьи
 Здесь, в зоне «И».

Прощай, Европа! Видно, в самом деле
 Глаза в твоих музеях проглядели
 Мы до того, что в пустоте зрочка
 Нет слез пока.

* Геннадий Беззубов родился в 1946 году в Москве. Жил в Киеве и Ленинграде, с 1990 — в Иерусалиме. Автор четырех книг стихов, вышедших в Иерусалиме.

Прощай, Европа! Плакать неохота,
Не прихватив ни Дюрера, ни Джотто —
В краю, где камни растворяет свет,
Им места нет.

Прощай, Европа! От тебя подальше,
От многослойности налипшей фальши,
От равенства, ненужного до слез,
От всех речей и поз.

Прощай, Европа! Твердо, насмерть стоя,
Ты пропадаешь в сумерках, как Троя,
Верней, ее руины там, вдали,
Откуда мы ушли

И не вернемся. Так прощай же, что ли,
Мы от тебя оторваны без боли,
Без пафоса, одним движеньем рук,
Под восходящий звук

Нет, не хорала — песни левантийской,
Столь странно близкой,
Что если дух народа вправду есть,
То только здесь.

XXX

Вышел, увидел улицу Яффо во всю длину,
Как она вьется, от ворот до ворот,
Только это, пожалуй, заезжему пахану
Заскорузлую душу не проберет,

Даже если он и походит по ней с мое,
Тасуя колоду примелькавшихся лиц
И понимая город, как временное жилье
Для перелетных птиц,

Тех самых аистов, что слетелись в витрины для
распродаж,
Чтобы вспорхнуть оттуда, как только пойдут дожди,
И приземлиться в Яффо на опустевший пляж,
Где, кроме моря, ничего впереди.

А позади — улица Яффо, одноэтажный шлях,
Что сбоят у каждого каменного двора,
И не разберешь, в котором из них в гостях
Выпил позавчера,

Потому что тогда было совсем темно
И никому, кроме звезд, не был виден обратный путь,
И совершенно пусто — хоть бы одно окно,
Хоть бы ну кто-нибудь,

Только пустые такси, что пытались тебе гудеть
Без особой надежды на седока,
Да на рваном плакате у рынка некто, похожий на смерть,
Но, вроде, живой пока.

XXX

Жизнь пронесется по Яффо на самокате с мотором,
Мимо боковых улочек, по которым
Сподручней передвигаться боком
Или же пребывая в обмороке глубоком,
Как большинство здесь живущих и тех, кто еще в дороге,
Кто, не убоявшись ни конца света,
Ни неизбежных потерь в итоге,
Готов платить и за это.

И тогда все они устремятся по Яффо,
Будто массовка, рвущаяся со сцены,
Будто моль, вылетевшая из шкафа,
Где детали изнанки до ужаса откровенны,
То есть, сожрана ткань, и, по сути, нечем кормиться,
Только брезент моль не берет, и потому пустыня
Переймет цвет брезента, отбрасывая на лица
Отсвет вполне зловеющий, какой-то желтый иссиня.

Только при чем здесь Яффо? Там всех цветов напитки
Утверждают рост потребления, и груды вафель
Громоздятся, венчаясь багровым объявлением о скидке,
Только пустынных тонов фалафель
Напоминает, где мы на самом деле,
А часы стучат, пугая громкостью звука,
Будто сверху на все большой циферблат надели,
В самый центр его целя из слишком тугого лука.

XXX

Собеседник молчит, он не знает ответа,
Только чувствует — двинулось как бы на слом,
Утекая сквозь пальцы, дощатое лето,
Здесь, за дачным столом.

И покуда дожди зарядить не успели,
Кроме разве дождя усыхающих пчел,
Тот, кого содержали всю жизнь в черном теле,
Просто встал и ушел.

А дорога совсем почитай не пылила,
Только солнце пекло да цеплялись репы,
И была незнакома внутри нараставшая сила,
У которой резоны свои.

Будто вправду сейчас, только вот до пяти сосчитаю,
Чужеземные танки попрут через лес,
И душа полетит, поплывет по закатному краю,
Не касаясь небес.

XXX

Сыну Нехемии

К ночи птицы слетаются в этот двор
Благословить луну,
Вот я и слушаю разговор,
Пока не усну

И пойду во сне повторять: «не спит
И не дремлет блюстититель сна».
А пейзаж ночной, как чертеж, отмыт,
Над которым стоит луна.

Все, что нужно сказать,- вот оно, на доске,
Только буквы соедини
Плотнее, — так на дворовом песке
Печатают след они.

И пыль, в отпечатках трехгранных лап,
Сгустится и потечет
Туда, где известно, что дух не слаб,
Где каждое слово в счет.

Слова поднимаются, как вода,
До горла дошли уже,
Толкуются в гортани, стремясь туда,
Перекатываясь, как драже,

Чтоб, по нотам расчисленный, этот свит,
С начала и до конца,
Рассекая воздух, звучал, как хлыст,
В котором капля свинца.

Ну а утром, когда люди придут
Молельный дом отпереть,
Шагнут в тишину, в стоячий пруд,
Где время растет, как шерсть,

Они времени скажут: «Ступай вперед»,
Как будто можно назад,
Если новый день из-за крыш встает,
Расклеванный, как гранат.

XXX

Еще деревья не цвели,
А жизнь была уже сладка,
Тянуло запахом земли
От придорожного лотка,
Где продавали ширпотреб.
Скажи мне, сколько стоил хлеб?
Как звали царскую семью?
А жребий, почему он слеп?
Да нет, прости, вопрос нелеп,
Кому поведем печаль свою?...

Но это даже не печаль,
А так, замытая печать
Исчезнувших библиотек,
Мы букинистам все снесли,
Остались только пыль, трава,
Лужайка, тень прикрытых век,
Свет, проступающий едва,
Дух набухающей земли,
Где всходят просьбы и мольбы.
Просить? Тогда проси скорей,
Записку в кулаке согрей,
Знак изменившейся судьбы.
Тебе ответят, погоди,
Ответ придет еще, дай срок,
Пойдут дожди, пройдут дожди,
И отзовется из груди
С утра затверженный урок —
Пришел ияр, не месяц май —
Не вспоминай.

ПИКНИК

Да, это и меня не обошло.
Так мотыльки скребутся о стекло,
А разные другие господа
Снуют вокруг, неведомо куда.
То пили, то гадали по руке,
Пока дизайнер в белом пиджаке,
Нетерпеливо морщась, объяснял,
В чем состоит магический кристалл
И что за жизнь мы видим сквозь него.

Так излагал он дела существо,
 Покуда на руке вспухал укус —
 Комар его попробовал на вкус,
 А может, вечность кожу обожгла,
 Горячим ветром дунув вдоль стола,
 Как будто по нему прошел Эсав,
 Картонные стаканы разбросав,
 Но Яков и вся его родня
 Остались в креслах, вилками звеня,
 И лишь с опаской зыркали туда,
 Где таял след, где не было следа,
 Но нечто расплывалось все равно,
 Как по бумаге винное пятно.

XXX

Сон, кусками по сорок секунд,
 Нарезан, как черный торт.
 В одном дожди по лицу секут,
 Но это, видать, не тот.

В другом ты влажен уже от жары,
 Но тоже не в том кино,
 Где параллельнейшие миры
 Друг в друга вошли давно.

Так вся раскадровка за ночь пройдет,
 Чтоб ты угадал к утру,
 Куда эта черная нить ведет,
 Минувя дождь и жару.

Ведь сон не затем, чтобы пропотеть,
 И не для разгадки слов,
 Которые с черной доски стереть
 Мигом Творец готов.

Какой виртуоз монтажных работ
 Склеил все это сплошь,
 Да так, что подлинно жизнь течет,
 Пока не пошла под нож

Рассветных звуков — птичьей возни,
 Заводимых машин,
 Все заняты делом, кого ни возьми,
 И только ты один

В попытке концы с концами свести
 От усердия взмок,
 Силишься удержать в горсти
 Тебя пронизавший ток.

XXX

С блестящих пуговиц на бледное лицо —
 Хороший переход? Не знаю, пригодится,
 Ведь в дело все идет — случайное словцо,
 Обмолвки, камушки и даже эти лица.

Но кто же посягнет на принцип монтажа?
 Мы пленники кино, рабы его и слуги,
 И кадры мельтешат, туманясь и дрожа,
 Но что бы мы без них узнали друг о друге?

«Сокуров, Б-же мой, я от него тащусь!...»,
 Но все мы тащимся, Сокурова не зная,
 Туда, где, озверев от воспитанья чувств,
 Речь запинается, как лента не цветная.

И нечего болтать, есть заменитель слов —
 Наезд, отъезд, проезд и ракурс небывалый,
 Эффектов световых невиданный улов,
 Где все подробности ясны, до самой малой.

Такое вот кино, там наша роль весьма
 Отрывочна — молчать, вибрировать на стыке
 Повествований, переполнивших тома,
 И жизни, пущенной на мелкие улики.

XXX

Хотелось бы начать издалека
 И проследить, как выведет рука,
 Притягивая к действию значок,
 Округлый заключительный значок.

А после прочитав наоборот
 Текст целиком и, округляя рот,
 Пытаться донести издалека
 Фонетику другого языка.

Да, заново учиться говорить,
 Ребенком стать, и в языке заплыть
 Так далеко, чтоб прежних смысл речей
 Утратился и числился ничей,
 И чтоб позвать на помощь ты не мог,
 Забыв, какой при этом нужен слог,
 А с берега, пропавшего вдали,
 Тебя уже увидеть не могли.

И вот тогда пойдет другая речь...
 Зачем же было прежнюю беречь,
 Трястись над нею, тщательно храня,
 Как хворост от бегущего огня,
 И втюхивать ненужное тому.

Кто не учился русскому письму?
Такая цель и вправду не к лицу
Отважному далекому пловцу...

Покуда я куда-то доплыву,
Ребенок будет впитывать молву,
И гул толпы, невнятный и живой,
Его уже накроет с головой,
Но выплывет. Мы встретимся в волне,
Когда привижусь я ему во сне,
И в мерном звуке незнакомых фраз
Взаимный смысл откроется для нас.

ЦОМЕТ ХИЗМЕ

Про эти темные откосы
Я мало знаю. По ночам
Не реют во дворах стрекозы,
Не липнут оводы к вещам,

И меж арабскими домами,
Где стоек затхлый дух ковра,
Заметны черные провалы,
Которых не было вчера.

Днем воздух вынесен за скобки
И все просвечено до дна,
И сквозь бетонные коробки
Трава проросшая видна,

А ночь покроем черным гримом
Все потаенные прыщи.
Довольствуйся неуловимым
И тайных смыслов не ищи.

И не томись на остановке,
Следя, как ветер теребит
Сухие пальмовые розги,
Рождая непривычный ритм.

Автобус пронесется слева,
Неосвященный, неживой,
Как неопознанное тело,
Черкнувшее над головой.

К чему он, призрак жизни чуждой,
Нас приглашает, тормозя?
Мол, изнутри увидеть нужно
То, что извне понять нельзя.

И чей-то сын, коротким взглядом
Скользнет, не спящий на посту,
По нам, притормозившим рядом,
Пред тем, как кануть в темноту.

XXX

Любитель дальних мест для небольшой страны
Нормален как никто, что может быть нормальной,
Чем этот ровный взгляд, и речи не нужны,
Когда овечий мык стоит в ночи над спальней.

Затерянный мошав, где нас павлиний крик
Разбудит, разнесясь над уходящим летом.
Уходит? Хорошо. И ты за ним, старик?
О чем толкуешь ты? Что скажешь ты об этом?

И правда, что могу поведать я о них,
Усатых мужиках, молящихся угрюмо,
Когда окрестный мир свернулся и притих,
Как в раковину влез, но только нет в ней шума.

Не к уху прижимай свободную ладонь,
А поднеси к глазам — прочтешь по ней дорогу.
Воспоминаний нет, а будущих не тронь,
Пусть капают себе из крана понемногу.

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Возьми бесплатную газету,
Сходи к ГБ в культурный центр,
Пропустит под газету эту
Тебя дежурный офицер.

Потом концерт прослушай струнный
Бесплатно, денег не берут,
Ведь стоны музыки вечно юной
Не почитаются за труд.

Стихами говорить обучен,
Газетный областной пиит
Тебя там рифмами помучит,
Но насмерть не заговорит.

Ты выйдешь в меркнувшее лето,
Где месяц озаряет путь
Рогами вверх, и только это
Не позволяет обмануть

Заблудших едоков культуры,
Перенесенных вместе с ней,
Как в клетке жмущиеся куры,
Под небо родины ничьей,

Поскольку родина — подмостки,
Где скачет бешеный балет
Да воют бардов подголоски,
А ничего другого нет.

ГАН САКЕР

1

Когда стремительно темнеет,
И в горном воздухе, одна,
Налившись до полна, желтеет
Незаходящая луна,

Наклеена, как знак товарный
Сомнамбулической страны,
Кругами труд неблагодарный
Не прекращают бегуны.

Спросить кого, хотя бы Данта,
К чему ночная беготня?
Ведь ясно, что запас азарта
Иссяк еще при свете дня.

Другой поэт на бархат луга
Раскрыл зеленое окно...
Но что цитировать друг друга —
Все тьмой сейчас облечено

И жизнь, бегущая по краю,
Не озирается на тех,
Кому даны трава сырая,
Дыханье ночи, редкий смех.

2

Беспечно жить не выпадало
Еще ни разу, никогда —
Спокойно ждать, чтоб замерцала
Сперва начальная звезда,

Потом вторая, третья, дальше
Уже без счета, и к чему
Считать оставшиеся марши,
Все глубже заходя во тьму,

Где сладко спят, где не считают
Часов тягучих и минут,
А пробудясь, не получают
Вознаграждения за труд,

Где ни сомнений, ни опаски,
И в нарастающую тьму
Ребенок смотрит из коляски,
Не улыбаясь никому.

■ ■ ■

Необходимые разъяснения:

Улица Яффо — центральная улица Иерусалима, в прошлом Яффская дорога,

которая вела из Иерусалима к порту Яффо.

Фалафель — пищевой продукт.

Ияр — второй месяц еврейского календаря.

Эсав и Яков — братья, дети праотца Ицхака.

Сокуров — кинорежиссер.

ГБ — несуществующая организация.

Ган Сакер — парк в Иерусалиме

Цомет — перекресток.

Хизме — арабская деревня.

Мошав — сельскохозяйственный кооператив.

ПЕРОМ И АВТОМАТОМ

(повести израильской жизни)

Ефим ГАММЕР

Об авторе:

Ефим Гаммер — автор 12 книг, изданных в Иерусалиме, Москве, Риге. Лауреат Бунинской премии, Москва, 2008, серебряная медаль, обладатель Золотого знака и лауреат национальной Российской премии «Золотое перо Руси», Москва, 2005, лауреат премии «Добрая лира», Санкт Петербург, 2007 и международного журналистского конкурса «Петербург. Возрождение мечты», 2003. Ефим Гаммер — член израильских союзов писателей, журналистов, художников и международных творческих союзов — ЮНЕСКО. Живет в Иерусалиме.

ГРОБНИЦА АДАМА И ЕВЫ

Строки из Библии...

ГЛАВА 23

Жизни Сарриной было сто двадцать семь лет: вот лета жизни Сарриной.

2 И умерла Сарра в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее.

3 И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым, и сказал:

4 Я у вас пришлец и поселенец: дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих.

5 Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему:

6 Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похороним умершую твою, никто из нас не откажет тебе в погребальном месте, для погребения умершей твоей.

7 Авраам встал, и поклонился народу земли той, сынам Хетовым:

8 И говорил им и сказал: если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цохарова,

9 Чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения.

10 Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал:

11 Нет, господин мой, послушай меня: я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою.

12 Авраам поклонился перед народом земли той,

13 И говорил Ефрону вслух народа земли той, и сказал: если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою.

14 Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему:

15 Господин мой! послушай меня: земля стоит четыреста сиклей серебра, для меня и для тебя что это? похорони умершую твою.

16 Авраам выслушал Ефрона, и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов.

17 И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг,

18 Владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его.

19. После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской.

20 Так досталась Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения.

Август 1991 года. Хеврон. Гробница библейских патриархов, воздвигнутая царем Иродом над пещерой Махпелой за четыре года до нашей эры из того же иерусалимского камня, что и Стена Плача. Ни износа ей, ни забвения.

В зале Ицхака и Ривки (Исаака и Ревекки) — там, где молятся на коврах и голом полу арабы и евреи, — зацементированный лаз в подземелье. Над ним — жерлом допотопной пушки — медная труба. Встань перед ней на колени, ложись лицом на высверленные отверстия, и — острым блеском костей мигнет дно пещеры. Но если не повезет в первую секунду, то сколько потом ни глядывайся, не будет никакого вознаграждения утомленным глазам — мгла, едва уловимое смещение контуров и затхлое дуновение древних пергаментов. Что это? Запах иссохшей человеческой плоти?

Старый араб Мустафа говорит: это язык мертвых. Мертвые, говорит старый араб, разговаривают с живыми на языке запахов.

Но можно ли верить Мустафе?

Французским туристам он втолковывал: арабская нация самая древняя в мире, а учение Мухаммада, пророка Аллаха, породило иудаизм и христианство.

Старый араб продает у входа в гробницу библейских патриархов и пророков, где — по преданию — нашли последнее земное прибежище также Адам и Ева, украшения из дешевого белого металла. Подслеповатым его глазам они почему-то представляются серебряными изделиями из сокровищницы царя Давида... или Соломона... или Ирода... или Понтия Пилата — в зависимости от образовательного ценза и антикварных изысков экскурсантов.

Можно ли верить Мустафе?

Французский еврей Давид, переписчик Торы, приносит к центральным воротам гробницы книгу «Зогар» и читает стоящим на посту сорокалетним солдатам-резервистам — в Израиле их зовут «милуимники» — любопытный абзац о грядущем воскресении покойников.

«И восстанут из праха»... Поясняет: у каждого в затылочной части головы, у основания черепа, имеется некая косточка, которую даже мельничному жернову не перемолоть в муку. Вот из нее-то и произрастет человек после смерти.

Бородатые милуимники — доктора наук, технари, журналисты — вспоминают о генной инженерии, стойкости костной ткани, антропологических портретах профессора Герасимова. К ним, источающим запасы эрудиции, активно жестикулирующим, присоединяется гладко выбритый усатенький патруль в составе таксиста, продавца фруктов с рынка Кармель и директора школы для трудновоспитуемых подростков. И генная инженерия подвергается сомнению. А антропологические портреты профессора Герасимова — осмеянию.

Можно ли верить Давиду?

...Хеврон — один из четырех святых городов Израиля. Здесь всегда жили евреи. Сегодня они живут неподалеку от Хеврона — в Кирьят-Арбе, за железными воротами, охраняемые солдатом.

Арабские дома сходят по кругу с горных уступов к Кирьят-Арбе, втискивают ее в металлическое кольцо из заборов и колючей проволоки. Выдешь за предел без оружия — нож в спину. Выдешь с оружием — камень.

...Шестнадцатилетний Йоси Твито вышел за предел очерченного круга. Тяжелое ранение. Больница. Намеривался починить велосипед в Хевроне, теперь чинят его самого.

Через несколько дней ешиботник — студент религиозного училища Юваль Дерех, омывая собственной кровью мостовую, догреб чуть ли не вслепую до армейского поста. Бородатый русский репатриант Гриша оказал ему первую помощь. Затем оттянул затвор скорострельной американской винтовки М-16. Прозвучали выстрелы. И над мечетями вспорхнули жирные голуби. Лениво шевельнули крыльями — и вновь под карниз, в тень, подальше от нарождающегося солнца, туда, где их пожирают змеи, охочие до белого голубиного мяса. Как змеи взбираются на этакую верхотуру, нацеленную из средневековья в космос? Смотрители гробницы Адама и Евы, одетые в кремовую форму цвета иерусалимского камня, не говорят. Однако каждую пойманную гадюку запускают с лукавой улыбкой в пластиковую бутылку из-под кока-колы и выставляют в общем зале, у своих вымытых перед молитвой ступней, на цветастом ковре, том ковре, на который не имеет права ступить ни одна еврейская нога. Солдаты внутреннего патруля оберегают их от евреев. И выслушивают оскорбления от ретивых ортодоксов, братьев по вере, с пейзажами и цитот.

— Прислужники арабов!

— Мы молимся — арабам путь открыт. Арабы молятся — нас гонят взащей.

— Почему евреям закрыт доступ в зал Ицхака и Ривки, когда здесь молятся арабы?

— Где справедливость?

Справедливости нет. Есть устав и секретные распоряжения командования: не обострять религиозную нетерпимость! За счет евреев, разумеется.

И устав, и секретные распоряжения известны всем — во всех подробностях. И нашим, и вашим — известны.

Туристам и поселенцам легче. Для них устав не писан. Их устав — расторопность, смекалка и инстинкт самосохранения.

Юваль Дерех, выйдя из синагоги «Авраам авину» — «Наш отец Авраам», засек краем глаза двух молодых арабов с ящиком, полным кур. Но не насторожился. Он шел по улице, арабы за ним. В восьмидесяти метрах от него — армейский пост. Это знал он. Это знали и арабы. Нож извлечен из-под связки кур. И — бросок к Ювалю. Подлый удар сзади. Еще удар. Юваль — за пистолет, что в открытой кобуре на боку. Но поздно. Рукоятка выскользнула из окровавленной ладони.

Ориентировка: совершенно нападение на студента ешивы. Ему нанесены ножевые ранения в спину, грудь, голову, руку. Террористами похищено личное его оружие — пистолет российского производства — «Макаров». На поиски бандитов выделить всех свободных от караульной службы.

И звуки тревожной сирены накладываются на гнусавые завывания муадзинов.

А в казарме, шнурующей ботинки, натягивающей каски и бронезелеты, колобродят слова с англо-русским акцентом: «Хасам Касба! Хазар Каска!»

Касба по-арабски — центр города. Но от того, что кинут нас в центр арабского города — никому не легче. Безмятежная жизнь, если она и бывает у резервистов, видать по всему, закончена, пока не поймают террористов, не найдут пистолет Юваля Дереха.

— Хасам Касба, чтоб тебя!

И следом тоскливое: «Отпуска отменены!», страдательное: «А у меня коньяк во фляжке. Остался с ночи. Не выливать же! А как я проторчу целый день на солнцепеке без воды?»

Хеврон, когда не закапываться глубоко в историю, знаменит дичайшим еврейским погромом 1929 года. Выжившие — теперь глубокие старики. Их дома, окружающие гробницу праотцев, ныне принадлежат арабам, тоже старикам, не посадившим здесь ни одного дерева, выгуливающим коз и баранов в городском парке, между Махпелой и синагогой, в ста метрах от священных залов, куда — босиком и вымыв ноги.

Залы пусты. Хеврон закрыт. Хасан Касба!..

Начинается день. Один из многих. День крови и слез. Градопада камней. И припадочного русского мата.

Майор Пини — сорок восемь израильских лет, пружинистая походка, ермолка на голове — вводит в раствор Касбы свое разошерстное воинство, интернациональное по духу и внешности, еврейское по существу.

— Рассредоточиться по обе стороны улицы! Интервал три метра!

Рассредоточились со сноровкой. «Русский» в паре с «русским». «Грузин с грузином». «Индус с индусом». «Американец с американцем».

Мендель, инженер из Ташкента, ростом с двух Ициков, басит:

— В милуим идут только русские и фраера.

— Точно! — подхватывает толстенный, многоведерного объема, аргентинец Ицик с ностальгически звучащей для нас фамилией Смирнов.

Бедолага, много раз доказывал «русским», что он чистокровный еврей, потом не выдержал: «Я внук водки Смирнофф — оф-оф!» И «русские» уважили Ицика, приняли за своего, в особенности друг мой сибирский, из малоизвестного даже географам города Киренска, Мишаня Гольдин, который тоже оказался однофамильцем водки, самой популярной среди русскоязычных солдат Израиля, — «Голд». Правда, Смирнов, в отличие от Гольдина, обманул наши ожидания — не брал ни грамма, стервец!

Кошерный старик Аарон Козн, которому предписаниями религии запрещено входить в гробницу предков, следовательно и нести там караульную службу, поспешает на чугунных ногах за «аргентинцем» Смирновым и готовит издевательскую для нашего уха фразу — нечто о виллах и вольво: мол, не успели эти «русские» приехать в Израиль, как сразу приохотились к особнякам и дорогим иномаркам, покупаемым за полцены, на льготных для репатриантов условиях. Не то, что он и прочие первопроходцы, кровь проливающие за святую землю на Шестидневной войне, и на войне Судного дня, и на войне в Ливане, и на всяк прочей войне, не счесть уже какой...

Но суровый инженер из Питера с не менее суровой немецкой фамилией Зелигер придерживает ветерана израильских войн, перенесшего нелюбовь к русским танкам на эмигрантов из сталелитейного государства, где металла на душу населения больше, чем в Израиле булочек с маслом.

— Не нарушать дистанцию!

Мы запираем Касбу на живой ключ из солдатской плоти. Запираем от внешнего мира. Внешний мир для Хеврона — это Израиль и настырные журналисты. Я сам журналист. От меня не запирают ни Касбу, ни Хеврон. Я — вне конкуренции.

Касба закрыта. Патрули разбросаны по всем перекресткам. Если не считать животы и седину в бороде, выглядим мы довольно браво. Каски с поднятым плексигласовым щитком, предназначенным защищать физиономию от метко пущенного из пращи камня. Бронежилеты. Американские винтовки М-16, показавшие убийственный класс во Вьетнаме. На стволе — насадка для стрельбы резиновыми пулями. На ремешке, у пояса, — гранаты со слезоточивым газом. Подслюненным пальцем проверяешь направление ветра — на всякий случай. Убеждаешься, как в истории с бутербродом: ветер всегда в твою сторону. И выпячиваешь грудь: поостерегитесь! у меня, смотрите, граната! Бесполезна граната. Нож при зом ветре надежнее. А нож — у врага за пазухой, рядом с похищенным у Юваля Дереха пистолетом. Своей пули не слышать. А ножа своего не заметишь. Носят нож — я о профессионалах — в рукаве, на резинке, как и мы в детстве, когда играли в казаков-разбойников. Дерг кистью — и рукоятка в изгибе пальцев. Рывок руки и — наступает мгновение стремительного змеиного укуса.

За спиной — магазинчик, где режут кур со сноровкой. Ножичек там в правильных руках и пляшет, подлец, безостановочно. Только и слышать «чик» да «чик», затем слабые вскрики птиц с перерезанным горлом и жадное до жизни трепыхание крыльев. Справа от тебя, метрах в ста, Мишаня Гольдин, слева, на том же удалении, Мендель Шварц. Сзади «резчик по живому горлышку» с неутомимым лезвием. Впереди... О, госоподи, начинается!

Навстречу тебе, на твой автомат, прет народ с покупками и желанием непременно прорваться через заслон. Детки напротив тебя собираются в кучку и делают вид, что играют в камешки. Минута-другая, и выясняется: все они живут тут, за углом, в соседнем доме, каждому нужно позарез в свою квартиру, на кухню, в ванну, либо туалет — покушать, попить, отдохнуть, пописать, покакать. А ты — негодяй! пес сторожевой! — встрял шлагбаумом поперек их дороги к большой и малой нужде, к семейному счастью и утолению аппетита.

А дорога — шириной в один «мерседес». Не развернешься на ней, не объедешь. И по ней, продавливаясь меж замолкших домов, грядет неприятность в виде вполне серьезно беременной женщины с сосунком на руках.

Поначалу прибегаешь к фантазии:

— Туда нельзя! Там... там сейчас заминировано!

Неприятность твоя молча отходит к товаркам, пребывающим еще в девическом состоянии и посему не беременным. Товарки подзуживают подругу: уже беременна, тебе и карты в руки, хоть и заняты они сосунком.

И вновь с угрозой поднимается живот — как булыжник пролетариата.

А позади, в магазинчике. лезвие вжиг-вжиг, и запоздалое кудахтанье, и пикантный — не для твоих ноздрей! тебе его сторониться надо! — запах свежепролитой крови. Пусть куриной, но крови... живой крови, зажигающей звериные инстинкты

Поднимается живот, угрожающе поднимается. И шажки под ним мелкие, сторожкие, но ужасно скрипучие. Зачем только носят эти женщины в такую жару — поди, градусов тридцать — туфли на каблуках? Дырявят гудрон, портят обувку и — скрипят, скрипят...

А над туфлями — оскал, белки глаз и множество слов о младенце, который — именно в этот момент своей плакучей истории жизни — описался, обкакался, взопрел, окостенел, окосел, обмишурился, отоварился и вообще ненавидит с рождения всех вас, «олим хадашим ми Руссия» — новых репатриантов из России, понаехавших сюда от белых медведей с Невских проспектов, Арбатов и Домских площадей.

А за туфлями — еще туфли, еще туфли, еще... На таких же каблуках. На таких же скрипучих подошвах. Над ними — упрятанные в одежды ноги, над ногами — упрятанные в одежды бедра, груди и лица, но иной, не молочной упитанности, не сопровождаемые младенцем, — девственные, по всей видимости.

И — говор, говор, говор.

И тут — творческое, спонтанное, питающее белых медведей на Невских проспектах... и на Арбатах, и на Домских площадях...

— Ани командос Руси ми Афганистан! — кричу, делая тут же, для самых сообразительных, подстрочный перевод на язык моей «Азбуки» и «Родной речи». — Я русский командо из Афганистана.

Русские из Афганистана для них — гяуры, что тоже требует перевода. А перевод в их понимании звучит приблизительно так: «иноверцы-христиане, резавшие мусульман без счета, тысячами». Стоит арабу различить «русси» в стыковке с «Афганистан», как он становится тише воды.

Беременная неприятность, услышав крики предостережения — «Ани командос руси ми Афганистан!» — уже не грозит вздутым животом, а товарки ее подбирают юбки и по пыльной мостовой трусят к другому перекрестку, оккупированному уже не русскими израильтянами, способными утихомирить и Соловья-разбойника, а восточными усатеньки-ми побратальниками — с виду более толковыми.

Толковые побратальники, восточного вида и повадок — выходцы из Йемена, Алжира, Египта, Марроко — хоть и знают в большинстве своем арабский с детства, но с женщинами не заигрывают. Вдруг пустые слова — это оскорбление чести и нравственности девичьего сословия? Обвинуют, потом доказывая трибуналу, что — ни сном, ни духом.

Поэтому толковые побратальники, без ссылки на Афганистан, используют наш прием.

— Ты понимаешь по-русски?

Женщины в закуток, и давай лупить глазами по откормленным усатеньким мордам. «И эти оттуда?» Трудно мыслить, когда в мозгу стереотипы: русский — это голубые глаза, светлые волосы, и в каждом кулаке — по нокауту.

А эти что-то непохожи. Но ведь говорят, говорят по-русски! Толковые побратальники на службе резервистов время зря не теряли: начиналась большая репатриация евреев из бывшего Советского Союза, принесшая Израилю еще один миллион жителей, а им, милуимникам, — на гражданке директорам школ, бизнесменам, владельцам ресторанов, лавочникам — новых друзей, учеников, работников, покупателей. Вот они, думая наперед об общих интересах, то бишь о будущем страны и своих барышах, изучали язык Пушкина и Бунина по первоисточнику, полагаясь на радивость не всегда квалифицированных преподавателей. Поневоле набор освоенных ими у товарищей по оружию слов был довольно убог и запросто позволял схлопотать по роже даже при невинном флирте. «Ты меня уважаешь? Пойдешь трахаться? — спрашивали они женщину при первой встрече. До второй, как правило, не доходило. Но виноваты не они? Виноваты или... Нет, не будем о великих знатоках языка Пушкина и Бунина из Козлодойска, подшучивающими над соплеменниками из восточных стран, которым ныне явно не до флирта. Очине, чтобы обескуражить — напугать толпу, сдержат людское наводнение. Стрелять, хоть убейся, нельзя даже в воздух.

Волнами вздымаются женские бюсты. Негодованием исходят дети. Будь тут съемочная камера — крути на пленку сюжет и продавай зарубежной телекомпании за большие деньги. Все, до старательного детского плача, срепетировано, отлажено загодя невидимым режиссером. Но камеры нет. И детишки плачут по инерции, сначала будто бы натурально, потом не совсем серьезно, просто для баловства. Надо же плакать, когда рядом израильские солдаты. Впрочем, и без слез, их понять можно. На головах у пацанчиков подносы с питами и бейгале — своего рода хлебцами и крендельками. Их необходимо срочно распродать, иначе зачерствеют. Они продали бы свой товар и нам, но солдатам не

рекомендуется покупать у них что-либо съестное. Отравят на раз, и случаи подобные — не пропагандистская выдумка. Вот детишки, не сторговавшись с нами, и плачут, слезоиспусканием намекают на черствость наших сердец.

— Пропусти ребятенка! — говорит Мишане Гольдину мой двоюродный брат Гриша Гросман — родился под бомбами в Одессе 1941 года, с шести лет осиротел — остался без мамы, умершей в Риге, и, наверное, потому не выносит детского хныканья. — сам наплакался. — Пропусти ребятенка, — говорит. — Настырный, душа болит.

А на подносе, под питами, у чумазого лицедея припрятан складной нож. Не им ли пырнули Юваля Дереха? Вынесет ребяенок нож — доказывай затем, что не голубь клюнул нашего ешиботника.

— Пацанчик назад, — говорит Мишаня. — Отдохни от слез, съешь конфетку. И угости приятелей.

И бросает на поднос горсть сладких стекляшек в фантике, пяток из тех, что мы получаем в пакете с «сухим пайком» наряду с консервами и галетами.

Детский хор, шмыгнув носом, приступает к плачу по потерянному ножу, к притворному, исключая две-три нотки, плачу. Камеры нет! Чего стараться? А нож забрали не насовсем. Закончится катавасия с розыском террориста — отдадут, как миленькие. Иначе суд, и плати в десятикратном размере за посягательство на личное имущество.

Женщины за их спинами — в голос. И уже не по арабски, на чистом иврите шпарят:

— Твари безмозглые!

Это кому? Нам. Инженерам, журналистам, врачам, профессорам.

— Понаехали к нам от белых медведей!

Нам! Нам! Жителям Москвы, Ленинграда, Риги, Таллина, Киева, Минска.

— Своего же языка не знаете, сволочи!

Нам! Нам! По паспорту евреям.

— Выучили бы хоть как-нибудь иврит, чтобы мы вас понимали.

— А то знаете всего два слова, и орете — «Ацор!» да «Ахора!».

Машинально перевожу в уме: «Ацор!» — «Стой!» «Ахора!» — «Назад!»

Перевожу и беру на вооружение.

— Ацор! Ахора!

В ответ — ураганный ветер визгливых слов, и ни одной басовой струи. Где вы, мужчины, тыкающие нас финягой в спину? Где вы молотобойцы-каменотесы, швыряющие булыжник на расстояние олимпийского норматива?

Мужчины неприметны в прострельном фарватера узких улочек. Увидят предостерегающе поднятую ладонь солдата — и ретируются к базару, кофейням, где вволю могут позлословить о властях неправедных, о держимордах израильских, скудоумных и малограмотных — языка собственных предков не выучили, а туда же, управлять, командовать на русский манер, будто здесь Москва, а не Хеврон.

Мужчины не ввязываются в спор. Лицом к лицу — это для них опасная затея. Сзади, изподтишка, это иной коленкор.

Вспоминаю Ахмеда, моего давнего, 1981 года, соученика по ульпану «Акива», что в Натани, государственного служащего из Хеврона.

— Хороший ты парень, веселый, — говорил мне Ахмед в нашем школьном кафе, видя как я угощаюсь коньяком с кофейком. Магометянин непьющий, он по наивности думал — пьяный, друг ты наш «руси», ничего не упомнишь» — вот и чувствовал себя раскованным, не держал язык за зубами: — Свой ты человек, что говорить! Но учти: появишься у нас в Хевроне в военной форме — лично я всажу тебе нож в спину.

Без угрозы сказал, с доброй улыбкой. И соседи по столику, арабы из Шхема-Наблуса, Рамаллы, Дженина подтвердили кивками: точно! каждый из нас зарежет — по дружбе, из любви к тебе, ближнему.

Почему — в спину? Почему — сзади?

До сих пор не знаю. Но догадываюсь. И потому предпочитаю не показывать спину — никому.

Аарон Гросс — студент Хевронской ешивы — не выполнил этого правила, и теперь лежит на кладбище. Его зарезали здесь, шагах в трехстах от того места, где я сейчас нахожусь, на местном базаре.

Совсем недавно, в день, когда исполнилось восемь лет со дня убийства, я стоял на крыше его ешивы, напротив Махпелы, охранял религиозное училище. Внизу, на первом этаже, при входе — плакат, на нем фотография Аарона в траурной рамочке.

Пейсатые мальчишки с автоматами «жузи» через плечо приходят сюда каждое утро — учить Тору. И учат ее ежедневно до двух-трех часов ночи. Я не оговорился, до двух-трех часов ночи. Иногда поднимаются к нам, солдатам,



Фото В. Проценко. Иерусалим. В старом городе

приносят булочки, кофе в термосе. Здесь, на крыше, откармливают в клетках почтовых голубей. Вдруг — неожиданное нападение? Вдруг — погром, такой как случился в 1929 году? Голубь — это надежнее телефона и даже рации. Вынесет весточку, вызовет подмогу...

Наивно? Не мне судить?

А много ли в их сердцах ненависти? — ведь то и дела проходят мимо траурного портрета Аарона Гросса.

О мести не говорят. Но как-то странно цедят: «Убийца Гросса бродит снова по городу. Выпустили досрочно, в обмен на хорошее поведение...»

Долго ли ему еще ходить?

Пожимают плечами.

— Его уже видели...

Ешиботники — худые, очкастые, с редкими бородками — сажают на время занятий, как голубей в клетку, автоматы свои в оружейные ящики или, как сторожевых псов, на цепь, прикрепленную к лестничным перилам. А возвращаясь по ночам в Хевронское общежитие или домой в Кирьят-Арбу, держат их дулом вперед и идут настороже, готовые в любой момент отразить атаку.

Ночью в Хевроне часто слышатся выстрелы, взрывы гранат. Особенно в том районе, где обосновался раввин Левингер, вечный нарушитель спокойствия. Однажды ночью неподалеку от синагоги «Авраам Авину» раздался взрыв. Спираль дыма поднялась в воздух. Пока я по вертушке докладывал майору Пини о ситуации, дым добрался до моей наблюдательной башни, самой высокой в Хевроне, выросшей на крепостной стене гробницы библейских патриархов. И запершило пороховой гарью в носу, и заслезились глаза. Хорошо, что дым был разряжен. Так что я проморгался минут за двадцать.

А здесь, в низине, в Касбе, — дым поустойчивей, да и ветер не в нашу пользу. Здесь на гранаты рассчитывать не приходится — сам не продохнешься. Здесь — до камнепада — следует на голос давить, на «Ацор!» да «Ахора!»

— Ацор! Стой!

— Я тут живу в соседнем доме.

— Ахора! Назад!

— Мне обед готовить! Мужу и детям.

— А сколько жен у твоего мужа? — спрашиваю на иврите.

— Четыре.

— Другие ему обед сготовят, — отвечаю по-русски. — А ты, голубушка, назад! Вдруг у тебя под юбкой пистолет Юваля запрятан. Я тебе не Рентген чтобы видеть твою натуру насквозь. Найдем пистолет, всех пропустим. А сейчас — «ахора!»

— Совести у вас нет!

А это кто? Это уже мужчина, первый за день. И выглядит — не чета соплеменникам в бежевых балахонах. В костюме, даже с галстуком. Ни дать ни взять, адвокат местного разлива. Сейчас начнет тяжбу. Только успевай слова подбирать на иврите, не утонишься за ним. Но... О, чудо! Он русским владеет. И совсем неплохо. Ну да, многие из них учились у нас... Тьфу! Теперь — не у нас! Теперь — в Советском Союзе. Учились и выучились. Образование получили, русских жен приобрели. И выставляются, оккупантами нас кличут, хотя в пору Шестидневной войны мы гуляли вместе с ними по Невским проспектам, Арбатам, Домским площадям и вполне возможно учились в одних и тех же вузах, располагались по соседству в одних и тех же общежитиях..

А почему бы и нет?

Почему бы?

Да и лицо впечатляющее... И... и если не ошибаюсь, знакомое. Усики. Шевелюра волной. Характерные мочки ушей.

Моя журналистская память так устроена, что человека, пусть даже случайно встреченного в трамвае, я узнаю и через десять-пятнадцать лет.

Спонтанное напряжение, и...

Ба! Да это же — несомненно! — Басам! Собственной персоной!

Тот самый Басам, с кем мы повстречались в Москве, на квартире Ниночки, после проводов сестры моей Сильвы в Израиль.

Тот самый Басам — арабский поэт, которого охотно печатали в России.

Тот самый Басам, с кем мы смаковали рижский бальзам, не пропущенный таможей на Землю обетованную. Помнится, в ночь нашего знакомства мы с Гришей вынудились из-за него спать на полу в кухоньке, у газовой плиты.. А он, оберегая доступ к Ниночке, возлег на коврик, у порога в ее спальню. И так провел всю ночь, бдя! Как собака на сене. Ни мне, ни себе. Пока не дождался нашего отъезда на такси в аэропорт.

Басам, здравствуй!

Но вслух я тебе на русском этого не скажу.

Вслух я тебе скажу это на иврите:

— Ацор! Ахора!

А ты мне?

— Не пропускаешь арабскую женщину в родной дом!

Где же ее родной дом, Басам? Ах, этот? А не потомственный ли это дом Ицхака Мизрахи, известного на весь Ближний Восток мудреца и толкователя Торы, растерзанного не иначе, как предками милой твоей подзащитной женщины — погромщиками-мародерами при разделе его имущества в 1929 году — во время погрома?

— Не понимаешь меня на иврите, я тебе по-русски скажу! — свирепеет Басам.

Нет, Басам! Здесь все начинается и кончается для тебя на иврите — не трогай русскую речь!

— Ацор! Ахора! Ани командос руси ми Афганистан!

ИЗ ЛИВАНА С ОКАЗИЕЙ

Осколок снаряда от Эр-Пи-Джи, советского производства, торчит в железном боку автобуса. Он прошел слева направо — через оконное стекло — в спину. И вышел из груди, чтобы облить кровью его автомат, лежащий на коленях.

Моисей впал в кому, не успев подумать о смерти. Не успев даже в мыслях передать привет матери, жене, дочке. Впал в кому и, отвергнув боли и тяжбы минувшей жизни, парил над Добром и Злом — теми понятиями, которыми из века в век кормится человечество. Пока, в разрыве времен, не приступает к пожиранию единоутробных братьев.

Моисей умер...

Его автомат М-16 покоился на кожаном сидении автобуса — так и не высадил в отместку ни одной пули.

Группа иностранных корреспондентов — эти Хоу, Дитрихи, Смиты, коих он вынужден был сопровождать от Цора до Бейрута, услышав скрежет железа, отвели глаза от запредельной синевы ливанского неба, и теперь с ужасом смотрели на него, военного корреспондента радио «Голос Израиля». И видели в его застекленных глазах отражение арабских деревушек на горных трассах. Скучной была для них поездка в Ливан — никаких ЧП. Теперь — все иначе: поскорей связывайся со своим агентством и наговаривай текст. Смерть дала им материал для первой полосы. Дала им то, что жизнь Моисея дать им никак не могла.

Его мама Рива, лежащая на операционном столе в ашкелонской городской больнице, осознала смерть сына шестым чувством и не позволила себе мирно скончаться под ножом хирурга.

Кому, как не ей, хоронить Моисея на военном кладбище?

Из тысячи болей выбирают одну.

Кровь не стынет в поджилках, когда ноет сердце.

Кого убивают первым, если пришло время войны?

Одного из тех, кто идет впереди?

Одного из тех, кто идет в арьергарде?

Топающего справа, либо слева от колонны?
 Первым убивают Ее сына.
 Из тысячи болей мать выбирает одну.
 Кровь не стынет в поджилках, когда ноет сердце матери.
 Смерть не выбирают.
 Выбирают жизнь.
 Но первым — для матери — убивают ее сына.

* * *

Ривин сын Моисей, сын Моисея и внук Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев из египетского плена, погиб от шального осколка на выезде из Бейрута, так и не успев поспеть в Ашкелон к началу операции.

Рива, мать Моисея и дочь Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев из египетского плена, из тысячи болей выбрала одну — смерть сына.

Его смерть она ощутила внезапно, на операционном столе, за мгновение до того, как уснула под наркозом.

Рива очнулась в палате от приступов тошноты. Тело ее содрогалось в спазмах. Старая женщина чувствовала ноющие покалывания в груди, терзаемой куском стали, поразившей ее сына.

Хаим, племянник Ривы, обретший это имя, означающее на иврите — жизнь, в честь дарованной ему жизни в гетто, чуть ли не силком тащил к ее кровати дежурную медсестру. А та негодуя дергала острыми, как вешалка, плечами и отбивалась скороговоркой:

— Все с ней будет хорошо! Бесейдер! А рвота... Без рвоты не отойдешь от наркоза.

— Сделайте что-нибудь! — кричал, не слыша девушки, Хаим.

И дежурная медсестра сделала «что-то», лишь бы «что-нибудь» сделать: сменила на Риве белье.

— Хватит орать! — сказала она Хаиму, сделав «что-то». И вышла в коридор — плечики взлетел и покачивается, будто худоба-манекенщица от сквозняка.

— Ей плохо! — вдогонку плечикам крикнул Хаим.

— А кому хорошо? — отозвалось из глубины коридора.

Рива булькала горлом, подбирая руки к груди.

— Оставь эту девчонку, Хаим. Она права: кому сейчас хорошо? Идет война, а она... они бастуют. Объявили голодовку на нашу голову. Это надо же, бастуют...

— Но ведь она... Она дежурная!

— Помолчи, Хаим. Мой язык к смерти прилип. Трудно говорить. Закажи памятник.

— Рива, что с тобой? Да ты! Тебе до ста двадцати, и без всякой ржавчины!

— Памятник, Хаим! И беги в родильное отделение. Я чувствую... Хая... Я чувствую... там... с внуком моим... с Моисейчиком... плохо. Не разродится она.

— Рива, да что с тобой впрямь? Каким Моисейчиком? Мы же договорились! Если мальчик, назовем его Давидиком, по моему деду.

— Я знаю, что говорю. Хаим. Беги! Мне... мне...

Рива прикрыла ладонью рот. Но поздно. Ее вновь затрясло. Она выгнулась, так и не отвернувшись от племянника. Хаим выскочил из палаты, пугливым взором отметив, как сквозь ее пепельные пальцы бьют желтые струйки.

«Боже!» — прошептал в коридоре. Выхватил из брючного кармана, не вытаскивая пачки, сигарету. Попросил огонька у проходящего мимо солдата с «Узи» на плече.

— Откуда?

— Из Ливана.

Прикурив, спросил:

— А что у тебя?

— Сын! Сын у меня!

— Так скоро?

— Что? — не понял солдат.

— Да, нет! Я просто так...

* * *

Моисей был счастливый отец...

У него была дочка, шести лет. А сейчас, появился и сын.

В этот раз он очень хотел сына — с той же силой хотения, как в прошлый раз, когда очень хотел дочку.

Дочку назвали Басей, по имени сестры его матери, убитой гитлеровцами в концлагере. А сейчас ему нужен был сын, чтобы назвать его Давидом, по имени деда, растерзанного заживо немецкими овчарками после неудачного побега к партизанам.

Но он уже знал: имя малышу теперь — Моисей, в честь него. Все согласно еврейской традиции.

Моисею не терпелось перенестись к своему младенцу, пускающему изо рта первые пузыри жизни. Но догадывался: за ним присматривает Хая... Язык не поворачивается произнести слово — «вдова».

Чего их беспокоить?

И он перенесся, раз выпала такая оказия, в Кирьят-Гат — за десять километров от Ашкелона. К милашке — дочушке Басеньке, за которой обязалась присматривать соседка Алия Израйлевна.

Алия Израйлевна смотрела телевизор и громко цокала языком, сопереживая происходящему.

На черно-белом экране просторного, как холодильник, ящика демонстрировали врачей ашкелонской городской больницы, учинивших забастовочные санкции с последующей голодовкой медицинского персонала.

Басеньке пора спать. Но она предпочитала другое занятие. В ванне, под теплым душем, отмывала от серой пыли походный «Репортер» Моисея, который обычно висел на его плече, когда он отправлялся в командировку.

Изнемогая, «маг» вел голосом ее папы какой-то путевой репортаж. Басенька, в ожидании своих слов, записанных некогда на пленку, била по клавишам, будто она за роялем.

Наконец дождалась.

— Я слон! Я слон! — раздалось из магнитофона.

Басенька радостно захохотала.

* * *

В коридоре, отгороженном ширмами от больных, тихо бастовали врачи. Они сгрудились у телевизора, слушали последние, касающиеся их голодовки известия и умиротворенно вздыхали.

Коридор, отгороженный ширмами, связывал хирургическое отделение с родильным.

Хаим рванул было по нему, хотя и опасался: остановят!

Нет, его не остановили. И не потому, что в эти минуты стрекотали камеры телевизионщиков. Его не остановили потому, что белые халаты делали вид, будто ничего экстраординарного в лечебном заведении не происходит. Они видели лишь телевизор, а в нем себя — голодающих перед телеоператорами из разных стран мира. И старались не замечать Хаю, дорвавшуюся почти до самого телевизора с ребенком на руках, но так и не втиснувшуюся в кадр.

— Доктор! Доктор! — шептала она, протягивая ребенка врачу. — Смотрите! С ним все в порядке? Он не подает голоса!

— Минутку! — сказал врач. — Потерпите немного. С ним все будет в порядке. А у нас санкции.

Он повернулся на стуле, уставился в экран зазывного ящика, в лицо своего коллеги, профсоюзного беса, бесстрастно излагающего требования забастовочного комитета.

— Доктор! — вспыхнула Хая.

— Потерпите немного. Голос у него прорежется, — бесстрастно ответил врач.

* * *

Автомат Моисея лежал на коленях под его безвольными руками.

В далеком Бейруте.

Его тело, поникнув, подрагивало на мягком автобусном сидении.

В далеком Бейруте.

Но дух его метался по Ашкелонской больнице, от Хаи к врачу, от врача к маме Риве, от мамы Ривы к двоюродному брату Хаиму.

Хая бросилась к телефону-автомату.

Моисей подставил руки. Но так и не смог принять даже на мгновение младенца, чтобы ей было легче набирать на ускользающем от пальца диске заветные цифры. Его сына принял на руки Хаим.

— Алло! Алло! — скороговоркой произносила Хая. — Скорая помощь? Скорая, скорей, сюда! Адрес? Ах, да — адрес! Записывайте! Ашкелонская городская больница! Родильное отделение!

И тут младенец, будто отказываясь от медицинской помощи, самостоятельно подал голос. Пронзительный и сильный — голос человека, вернувшего к жизни. Почему «вернувшегося к жизни»? Потому что Моисею показалось, что это был его голос...

— Живи, малыш! — сказал он тихо, зная, что его никто уже не услышит.

... В Израиле стояло жаркое лето, рекордное по количеству родившихся израильтян.

Жаркое лето достопамятного 1983 года — время затяжной войны в Ливане и бессрочной забастовки врачей.

РЕЗЕРВИСТЫ РУССКОГО БАТАЛЬОНА

Светящиеся фары металлических громад — автобусы и частные машины — осветили весь невеликий пяточок поселенческого плаца. Треножник — в центре, на нем — перевернутая каска, в каске огонь. В огне — отчетливое бормотанье молитвы: «барух ата адонай, алохейну мелех ба олам...»

И невероятно четко:

— Да отсохнет моя рука, если позабуду тебя, Иерусалим!

Яша взял за руку смуглого человека с автоматом «узи», стоявшего у горячей огнем каски.

— Мы прибыли. Хватит молиться.

— Ты о чем? — не понял, повернул к нему лицо человек с автоматом «узи» — внешне похожий на «индуса» и такой же худой.

— Нам нужно помещение.

— Пойдем в синагогу.

— Ты в синагогу, а мы — в помещение!

Цепочкой развернулись резервисты по шоссе тропке поселения. Один за другим вошли в бетонный барак, именуемый жильем. Скинули солдатские мешки на выложенный серыми квадратными плитками пол, начали вынимать всякие разности — зубочистки, баночки с кремом, флаконы с одеколоном, патроны, гранаты со слезоточивым газом.

Ицик заглянул в холодильник, стоявший возле газовой плиты.

— Сменщики не подвели.

В холодильнике были яйца, пачки с молоком, красные перцы рядом со связкой бананов, а над всем этим великолепием — добрый кусок мяса.

— Всех расстрелять! — обрадовался Ицик, будто это он воздвиг этаким мемориал для желудка. — Каждому, кто войдет — памятник! Стопарь — путь к бессмертию!

— Будем жить, евреи! — подытожил Яша, и нож свой, сибирской закалки, метнул — не промахнулся — в прическу довольной жизнью какой-то американской певицы. — Приколка!

Кто не знает эти плакаты — вечные спутники солдатской жизни...

Ицик жарил яичницу. Банку с сосисками вскрывал «индус» Ходу. Кудрявый «грузин» Горали вынимал шампуры из спортивной сумки.

— Ребята, — сказал Яша. — Я пройду по задворкам. Прикину, на каком свете находимся.

В бетонной будке, под электрической лампочкой, у ворот из полосового железа с висячим на них амбарным замком, сидела на табуретке, положив автомат на колени, милашка-девушка, вся из себя в кудряшках. Возле нее стояла женщина в сером длиннополом арабском одеянии и что-то канючила.

— Я на смену, — сказал Яша.

— Мири! — представилась женщина с автоматом, застегивая верхнюю пуговицу па блузке. — Пересменка в полночь. Так что можешь пока погулять с компанией.

— Что? «Русские» тебе не в новинку?

— Нагляделась. И она — русская. — Мири указала на женщину в будке: одежда арабская, волосы каштановые, глаза светлые, округлое лицо со шмыгающим носиком.

Тут уж пришлось удивляться Яше.

— Здравсьте вам! Женушка из университета Лумумбы?

— Выпроводи ее, — попросила Мири. — Мой иврит она не понимает. Объясни ей толком: ночью здесь никому из них оставаться нельзя. Закон.

— Но она русская!

— Это ты теперь — русский. Она — нет. Из деревни она, вон там, напротив.

Яша с некоторой игривостью, еще не осознавая ситуации, потянул женщину за локоток к выходу из будки.

— Так ходи домой, мать-Родина! Муженек, полагаю, заждался тебя.

— Он меня убьет! — четко сказала ему женщина.

— Зачем же замуж выходила? Поди, в Москве?

— Тебе-то это зачем?

— Я журналист. Может, интервью сварганим?

— Балабол ты!

— Со старшей женой что-то не поделили?

— Я — старшая!

— Ну и дура! Ладно, прости. Мы тебя не можем оставлять тут. Придумают, что изнасиловали. Нас всех посадят. И выпить не успеем на помин души.

— А у вас есть что? — дикостью отчаяния повеяло от дородного тела.

— Мы теперь — русские! — усмехнулся Яша.

— Пойдем. К вам.

— Пойдем...

В каменной коробке Ицик потрошил содержимое консервной банки в пластмассовую тарелку.

Седокудрий грузин булькал алюминиевой флягой подле уха.

Индус мелко нарезал помидоры.

Бухарец расставлял пластмассовые стаканчики на столе.

У входа в кухню стоял, широко расставив ноги, похожий на индуса человека с автоматом «узи», уже знакомый по встрече у треножника с перевернутой каской.

— Мы сторожим с десяти до двенадцати. Остальное время — вы. — Поселенец брезгливо посмотрел на фляжку. — С этого начинаете?

— Йеменец? — спросил у него Ицик, присаживаясь на кушетку с гитарой у изголовья.

— Я израильтянин! Второе поколение!

Ицик взял инструмент, проверил колки. Коснулся пальцами струн.

— Оно и видно. — И запел: «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела».

Человек с «узи», махнув рукой, двинул в ночь, в дверях столкнулся с Яшей и его подружкой в платье мышиного цвета.

— Нина, — машинально представилась она.

— Ну и Яша! Ну и молодец! — вскричал старый грузин. — А я Горали! На иврите — судьба! — и щелкнул каблучками, будто он драгунский офицер.

Ицик исполнил известный всем замужним марш новобрачных — вечное творение Мендельсона.

Арабская жена с русским именем Нина прервала дурацкие заигрывания.

— Выпить дадите?

— Ну и Яша! — опять восхитился седокудрий грузин.

— Оставить!

Яша налил женщине из фляжки в чашечку.

— Сердито! — она выпила залпом, поискала вилок сосиску на пластмассовой тарелке, сочно захрумкала мясом.

И только потом, проглотив ком в горле, тяжелым взглядом оглядела всю компанию: морды нерусские, но все, лучше или хуже, говорят на ее родном языке.

— Муж меня убьет.

— Еще?

Горали налил ей в чашку вторую порцию.

Она выпила, не поморщилась. И вдруг расплакалась:

— И почему вы его прочить не можете?

— Нам нельзя. Мы евреи, — тоскливо ответил Горали.

— Так будь грузин! Поцелуй меня. И убей его из-за ревности.

— Поздно. Я теперь еврей. Что случилось, красавица?

— Я тут невыезная! — закричала Нина. — В Москву — ни-ни! В Аман — пожалуйста.. Я и поехала к его родственникам. Со мной — Раббат, девчушка, шестнадцать лет — на выданье. Тут за нее двадцать баранов дают. А там сотню и динары — много, калым! Я и оставила там эту девчушку. Она сама захотела! Все — до гроша — привезла ему. А он! Он — посмотрите на мое лицо!

— Я старый боксер — вижу, — сказал Ицик с кушетки, пропел под Высоцкого: «Волк не может нарушить обычай...»

— Я сделала как лучше!

— Лучше всегда делает мужчина, Нина. Доверяй мне. Я из Ташкента.

— Налейте еще!

Нина села на стул у кухонного столика. Подняла чашечку.

— Сколько мне еще?

Яша отвернул рукав гимнастерки. Взглянул на часы.

— Полчаса. Дальше — закон.

Ицик, догадываясь, поднялся с кушетки.

Яша придержал его ладонью.

— Ходу, — спросил у индуса, — когда последний автобус?

Индус посмотрел на приклепленный к стене голубой листок с автобусным расписанием.

— Последний через двадцать минут. Но это действительно последний.

— Нина, мы тебя проводим.

— На тот свет? — Нина трезво посмотрела на Яшу, и налила себе еще одну порцию.

Яша позвал Ицика:

— Придержи автобус.

Ицик — гитара за спиной, красный бант на грифе, ствол винтовки в руке — вышел из бетонного домика и на плац, где треножник с перевернутой каской. «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

Нина дернулась на слова знакомой песни и на психе саданула кулаком по столу:

— Что вы, евреи, понимаете в своем Отечестве?

— Мы понимаем в женщинах, — успокоил ее старый грузин с еврейской фамилией Горали.

— Вы все тут — русские! И не хозяева!

— Хозяйка! — бухарец застегивал на толстом пузе армейский пояс. — Мы все тут русские. А ты? Надо было знать, за кого идешь замуж! Русские — не русские... У меня в Бухаре — кто я сегодня? Лучше «русским» быть тут сегодня, чем у вас — там...

— Мы шестая часть мира!

— Нина, замечь умом, я тоже человек Востока. У меня одна жена, не три-четыре-пять. Моя жена не будет продавать в Амানে детей своего мужа, даже — выгодно, за динары или доллары.

— Убил бы?

Бухарец, глядя на старого друга, печально развел руками.

Яша взял Нину за вздрогнувший локоть.

— Надо поговорить.

Они вышли из маленькой кухоньки под огромное звездное небо, медленно, переговариваясь, двинулись к плацу с ярким — над каской — огнем.

— Возьми, — Яша вложил ей в руку адресок. — Автобус до Тель-Авива. Остановишься у Стеллы. Это моя давняя подруга. Покажется тесно, перебирайся к жене нашего бухарца, у него много детей, но жена одна. Примет... как родную. Восточные — не все арабы.

— А мои дети? Меня с моими детьми в Москву не пускали!

— Муж тебя не пускал с детьми. Забыла, заложниками бывают не только евреи. Езжай к Стелле. Потом разберемся. А здесь тебе оставаться нельзя. Закон!

Скрипучие ворота отворились под всплеск фар маршрутного автобуса.

Передняя дверь отворилась.

— Еш кесеф? (Деньги есть?) — спросил на иврите водила и с напряженным вниманием стал разглядывать незнакомку в арабском платье.

— Прими, — Яша подтолкнул Нину в автобус. — Довези по адресу. Так нужно.

— Ладно, — ответил шофер по-русски и заговорщицки подмигнул, сунув полученную от Яши ассигнацию в карман. — Если нужно, так нужно! Поехали... «И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить!»

ПОДНИМИТЕ ГЛАЗА ОТ ПЕЧАЛИ...

1. ШМА ИСРАЭЛЬ — СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ

Незадолго до отъезда в Израиль, покидая без надежды на встречу друзей своих, я написал такие строчки:

«Поднимите глаза от печали.

Взвейтесь в небо, оставьте жнивье.

Мы сегодня свое открычали.

Завтра вы откритчите свое.»

И вот передо мной книга «Поднимите глаза». Подзаголовок «Шма, Исраэль». Составитель Цви Патлас — человек, известный мне, почитай, с 1979 года. Мы познакомились в центре абсорбции Гило, где жили по соседству, в то незабываемое время первичного восприятия Израиля, когда наши глаза, тая в сетчатке своей еще контуры родных городов Риги, Одессы, Москвы, поднимались к небу над Святой Землей, к непостижимо мистическому небу, соединяющему нас и с царем Давидом, и с Маккавеями и с Бар Кохбой.

Всем нам надо было учиться ту пору постижению собственного «я», не галутно-еврейского, уступчивого, податливого давлению сапога, а израильскому, в нашем, конечно, представлении, сформированном после Шестидневной войны и войны Судного дня. Это было не перерождение одного человеческого существа в другое. Это было обретение самого себя, опять-таки по нашим тогдашним представлениям.

Каждому ясно, ни начальных школ, ни высших учебных заведений по переустройству хромосом подневольного человека из тоталитарного государства в свободного и живущего по демократическим порядкам ни тогда, да и по сей день, в Израиле не существовало. Приходилось проходить обучение самостоятельно, путем проб и ошибок.

На этом пути вспоминались, выходя из закрытых прежде на замок запасников, какие-то слова на идиш, канторские мелодии, давнее предощущение праздника, когда, разнаряженный, собирался с бабушкой в синагогу. Вспоминалось все то, что в мельтешении буден и стремлении стать как все, было выбито из нас на пионерских сборах, на армейских стрельбищах, в казармах и в университетских аудиториях.

Цви Патласу было легче и проще. В Израиль он приехал в кипе и ему не требовалось душевно напрягаться, чтобы перейти по мировоззренческому мосту из недавнего прошлого в настоящее, настоянное на исторических хрониках. Он этим жил. Как, впрочем, и положено это религиозному еврею, одухотворенному воплощению десяти заповедей и ежедневной, повторяющейся из века в век молитвы «Шма, Исраэль!»

Читаем в книге «Поднимите глаза»: «Слушай, Израиль! — эти слова сопровождают еврея всю его жизнь, с самого рождения. Что же такое «Шма, Исраэль»? Молитва? Пароль? Символ веры? В чем важность этой заповеди? Как нужно ее исполнять? В чем смысл каждого слова? Мы постараемся ответить на эти вопросы.»

...Когда Цви Патлас подарил мне книгу «Поднимите глаза», он сказал: «Напиши о ней.» И предвосхищая мои сомнения, естественные для человека, не связанного глубоко с исполнением традиций иудаизма, поспешно добавил: «Она для таких как ты...»

Поэтому я и размышляю над книгой, а не пишу рецензию...



фото В. Ярошенко. Иерусалим. Старый город

Пусть я не раввин, не студент йешивы, не толкователь Торы, но я из тех, кто в раннем детстве, лет с пяти-шести, ходил по субботам с дедушкой Фройкой в Рижскую синагогу или стоял возле него дома на утренней молитве и следом за ним произносил «Шма, Исраэль!»

Мне и по сей день помнится, как дедушка повязывал кожаными ремешками тфилин на лоб и кисти рук, как открывал молитвенник и начинал нараспев произносить какие-то загадочные слова. Но они — удивительно! — мне были тогда понятны: «Эйл Мелех Неэмон. Шма, Йисрозил! Адойной Элойгейну, Адойной эход.»

Мне помнится и другое, секретное по меркам Сталинской эпохи. Как дедушка Фройка показывал мне свернутый в трубочку нетленный, желтоватого оттенка список и, разглаживая его ладонью на белой скатерке стола, надиктовывал имена предков, от моего отца Арона до царя Давида. Эти имена следом за дедом повторял и я, отталкиваясь от первого, правильнее сказать, последнего в списке — своего.

В классе, в Первом-А 67 семилетней школы я, разумеется, не упоминал о своем внеклассном чтении. И без того Евдокия Евгеньевна получила из-за меня втык, о чем она и рассказала моей маме, прося ее прекратить мои хождения в синагогу. Иначе меня, религиозного мальчишку и хулигана при том, не примут в нужный срок, во втором классе, в пионеры. За давностью лет вина моя, полагаю, анулируется. Честно признаться, эта просьба была выполнена со значительным опозданием, спустя пару лет, хотя исходила от самой красивой на свете учительницы, в которую мы все, первоклассники, были влюблены и полагали, что, когда вырастем, женимся на ней, непременно.

Помнится мне и иное. Как вскоре после визита к нам Евдокии Евгеньевны, в самый страшный момент разгула антисемитизма в СССР, но уже будто бы на переломе эпох, бабушка Сойба, под траурную музыку похорон Сталина, сказала всем нам, живущим с ней под одной крышей на Аудею,10: «Дети мои! Мы умрем здесь и будем похоронены на Рижском еврейском кладбище. А вы будете жить в Израиле и увидите Иерусалим.» Вот что сказала она тогда, в Пурим 1953 года, светлея глазами от своих невозможных слов, — старая, восьмидесятитрехлетняя еврейка, дочь раввина Розенфельда из местечка Ялтушкино, родившаяся в один год с Лениным и пережившая его вместе со Сталиным.

Слова ее оказались пророческими. Все мы, дети ее — три последующие за ней поколения, — в Израиле. И в Иерусалиме мы. И в Тель-Авиве мы. И в Хайфе, и в Кирьят-Гате. А бабушка Сойба и дедушка Фройка на Рижском еврейском кладбище. Там же — другой мой дедушка, по материнской линии, Аврум Вербовский и дочь его, моя тетя Беба Гросман.

В 1992 году, в морозный январский день, я вновь побывал на этом кладбище. Запущенном в ту пору, необустроенном. Я плутал между памятников, искал родные, выбитые еврейскими, мной уже хорошо читаемыми буквами имена. И не находил их. И вдруг словно что-то вытолкнуло меня из растерянности. То ли вслух, то ли в уме я произнес всему кладбищу, тысячам погребенным здесь евреям какие-то священные слова на иврите. Может быть, «Шма, Исраэль». Может быть, «Барух ата Адонай...» И ноги сами понесли меня по тропинке моего детства, той, что вела меня в августе 1957 года во главе траурной процессии за гробом дедушки Фройки. И я нашел его могилу. С камнем у изголовья. Но уже без надгробия — уволокли, вероятно, современные дельцы-бизнесмены на новое захоронение.

Эта история каким-то мистическим образом связана с той, которую поведал нам Цви Патлас на страницах своей книги «Поднимите глаза».

Вот она, в сокращении.

Раби Йосеф-Шломо Каганэман приехал в Израиль из Литвы, города Панавежис. Разъезжая по странам мира, собирая деньги на строительство йешивы, он занимался еще одним благородным делом — разыскивал детей, пропавших без вести в годы катастрофы европейского еврейства.

Однажды... «Поиски привели его в некий католический монастырь в Польше, в котором, по слухам, во время войны укрывалось несколько потерявшихся еврейских ребят, — пишет Цви Патлас. — Настоятель монастыря заявил, что никаких еврейских детей в монастыре нет, что все это дети католиков. Сейчас они готовятся к конфирмации. Все они пережили ужасы войны, измучены и истерзаны. Стоит ли причинять им боль бесполезными распросами о прошлом?»

Раби Коганэман попросил у него всего три минуты. И на это настоятель нехотя согласился. Раввина повели в просторную спальню, где маленькие воспитанники с любопытством уставились на необычно одетого бородатого незнакомца. А тот прикрыл глаза ладонью и громко произнес: Шма, Йисроэль! А-дой-ной Э-логейну, А-дой-ной эход!

И тут несколько подростков соскочили со своих кроватей и бросились к человеку, напомнившему им эти родные слова, которые каждая еврейская мать повторяет перед сном со своими детьми: «Шма, Исраэль!..»

«Шма, Исраэль!» Эти слова моя бабушка Сойба повторяла перед сном каждому из своих тринадцати детей, с начала двадцатого века.. Всем — и тем пяти, что выжили на вечной бескормице, и тем семи, что умерли. Это и было

ее основным занятием, кроме, разумеется, содержания бакалейной лавки, готовки, стирки, активного — бегством! — сопротивления погромщикам и пассивного — неприятием! — советской власти и непреременных родов. Ежегодных. С 1900-го по 1913-й. Тринадцатым был мой папа Арон, родившийся 12 мая 1913 года в Одессе и умерший за три дня до восьмидесяти восьми лет 9 мая 2001 года в Израиле.

Бабушка Сойба дожила до 90 лет. Покинула бренный мир в Риге в 1960-м, через три года после дедушки Фройки. На том свете они, наверное, опять соединились. Ибо их земное соединение было будто бы продиктовано свыше, во всяком случае, прошло как по написанному в нашей Книге Книг.

Мой дедушка Фройка, подыскивая себе жестянную работу, забрел в жаркий летний день в местечко Ялтушкино и, мучаясь от жажды, обратился к приглянувшейся красавице-незнакомке у колодца, дочке местного раввина Розенфельда, с просьбой — напиться. Девушка зачерпнула ему ковшиком воды, и с тех пор — до конца жизни он пил с ней, своей суженой, воду из одного источника. Везде, где ни жил — тогда в Одессе, потом в Кировобаде, Баку, Риге.

Он был кормильцем, а бабушка служила при нем защитным щитом семьи. У Сойбы было три брата. Два старших Розенфельда, Шика и Янкель, укатили в 1905-м от погромов на Украине в Аргентину и Бразилию. И иногда присылали своей сестрице оттуда доллары, пока не наехали на нее коммунаги с пахнувшей Туруханским краем анкетой: «есть ли родственники за границей?»

Младший брат Сойбы подался от погромов в революцию. Он был одним из заместителей Щорса, вроде бы по тылу. Так говорил мой папа Арон. А еще он говорил, что младшего Розенфельда, когда он умер от тифа, хоронили не где-нибудь, а в самой Одессе, на лафете орудия. Под скорбные звуки музыки его оплакивала советская власть, не догадываясь, что только благодаря его стараниям и находчивости наша семья спаслась в свое время от карающей десницы той же советской власти.

В оригинальной упаковке это выглядело так...

Накануне окончательного взятия Одессы красными, но еще в пору иного цветового давления-правления, младший Розенфельд явился на улицу Среднюю в бакалейную лавку мадам Сойбель Гаммер. И сказал: «Сойба! Я имею тебе сказать пару слов. Сейчас придет советская власть и заберет твою лавочку. Продавай ее немедленно, не держась зубами за хорошую цену. И называйся, прошу, уже не лавочница, а по мужу, по Фройке — «жестянщица.» Пролетарское происхождение спасет тебя и всю твою мишпуху.»

Бабушка не перечила. Она поступила по подсказке брата. И из дочки раввина и матерой эксплуататорщицы-лавочницы — на нее работал один только дедушка! — превратилась в жену неимущего пролетария, чем и спасла себя и всех домочадцев от неминуемого наказания. Впрочем, лично она считала, что спасла всех не политическими ухищрениями ума единокровного брата, а своими молитвами. Ежедневными своими молитвами.

«Шма, Исраэль!» — молилась она, склонясь над колыбелью. И чувствовала — это слова веры, слова спасения, слова защиты от врагов. И не покинет ее Шхина — Б-жественное присутствие, не покинет ее и не покинет семью ее, пока она молится. А она молилась всегда. И до рождения Сталина, и после его смерти, пришедшейся на самый веселый еврейский праздник Пурим.

Шма, Исраэль.

Слова веры, слова защиты от врагов, слова спасения.

Слова веры. (Пример из древнейших времен...)

Шхина, Б-жественное присутствие, покинула нашего праотца Якова в момент, когда он, собрав своих сыновей, хотел открыть им то, что произойдет в далеком будущем, рассказать о событиях, которые должны случиться в конце дней, когда придет Машиах.

Яков не знал, почему Шхина покинула его и спросил:

— Может быть, это произошло из-за того, что у одного из вас есть сомнения в вере?

Ответили ему разом сыновья:

— Шма, Исраэль! (Слушай, Израиль! Г-сподь — Б-г наш! Г-сподь один!)

Их слова означали следующее, если их толковать: «Слушай, Израиль, отец наш! Мы принимаем на себя бремя Царства небесного, принимаем Творца как единственного Царя над собой, и нет в наших сердцах никого, кроме Него, так же, как и у тебя в сердце — только Он».

Шма, Исраэль!

Слова защиты от врагов... (Пример из недавнего прошлого, почерпнутый из лагерных стихов бывшего узника Сиона Шимона Грилюса.)

«В сердце устроив кровавый погром,
Снова в наручниках, бороду сбрили.
Стали ермолку срывать вчетвером, -
«Шма, Исраэль», — губы сами творили.»
Шма, Исраэль!

Слова спасения. (Пример из времен Второй мировой войны.)

Я расскажу вам невероятную историю. Но она правдива. Слышал я ее из уст ассимилированного еврея Давида, мужа русской женщины Нины. Слышал в Риге. Неоднократно слышал. И каждый раз старый Давид захлебывался слезами, когда рассказывал эту историю. Он захлебывался слезами, и его обоженное, кирпичного цвета лицо корчило передо мной, будто снова схвачено было пламенем газовой печи Освенцима.

Нацисты затолкнули Давида в печь и закрыли заслонку. И он горел, не сгорая, в ней, рядом с умирающими людьми. Он слышал автоматные очереди. Он знал: освободители близко. И знал: они не успеют. Под звуки выстрелов он превращался в кусок горелого мяса. И тогда, в беспамятстве что ли, Давид вспомнил молитву детства, ежедневную молитву матери, и стал шептать: «Шма, Исраэль!»

Заслонка печи открылась. И он, задыхаясь в запахе своего изжаренного тела, увидел солдата, со звездочкой на пилотке. И вывалился к нему на грудь, прожигая защитную гимнастерку угольями мяса своего человеческого.

Это все, что мне известно о спасении Давида. Дальше, обычно, он говорить не мог. Голос его пресекался. И он начинал плакать, судорожно умывая слезами лицо обгорелое.

Шма, Исраэль!

Еврей живет не в Пространстве.

Еврей живет во Времени.

Это главная тайна еврея.

Его изгоняют из Израиля. Он уходит из страны отцов и говорит : «Шма, Исраэль!» А слышат его Авраам, Ицхак, Яков

Еврея изгоняют из Испании. Он идет в другие народы и говорит: «Шма, Исраэль!» И слышат его царь Давид и сын его Соломон Мудрый. А с ними —

Авраам, Ицхак, Яков.

Еврея изгоняют из Советского Союза. И он возвращается на круги своя — в Израиль. Идет к Махпеле — гробнице праотцев и говорит «Шма, Исраэль». И слышат его великие наши пророки и проводники по вечности Моисей и Илиягу. А с ними и Авраам, Ицхак, Яков, некогда похороненные здесь, в Хеврон-ской пещере.

Евреи живут во Времени.

Каждому — до 120!

А всем вместе?

Помножьте нас на 120. Помножьте всех вместе. Всех. Оставшихся после Катастрофы. И народившихся еще после. Помножьте на 120. Это и будет срок нашей жизни, имя которой — История, а отчество — Вечность.

Мы были — «до...»

Мы были — «после...»

Мы были и после тех, кто был после... И будем...

Мы были, есть и будем!

Шма, Исраэль!

2008 — Иерусалим — Вифлеем — Хеврон — Бейрут — 1982



Екатерина ГОРБОВСКАЯ

УТРО ВЕЧЕРА

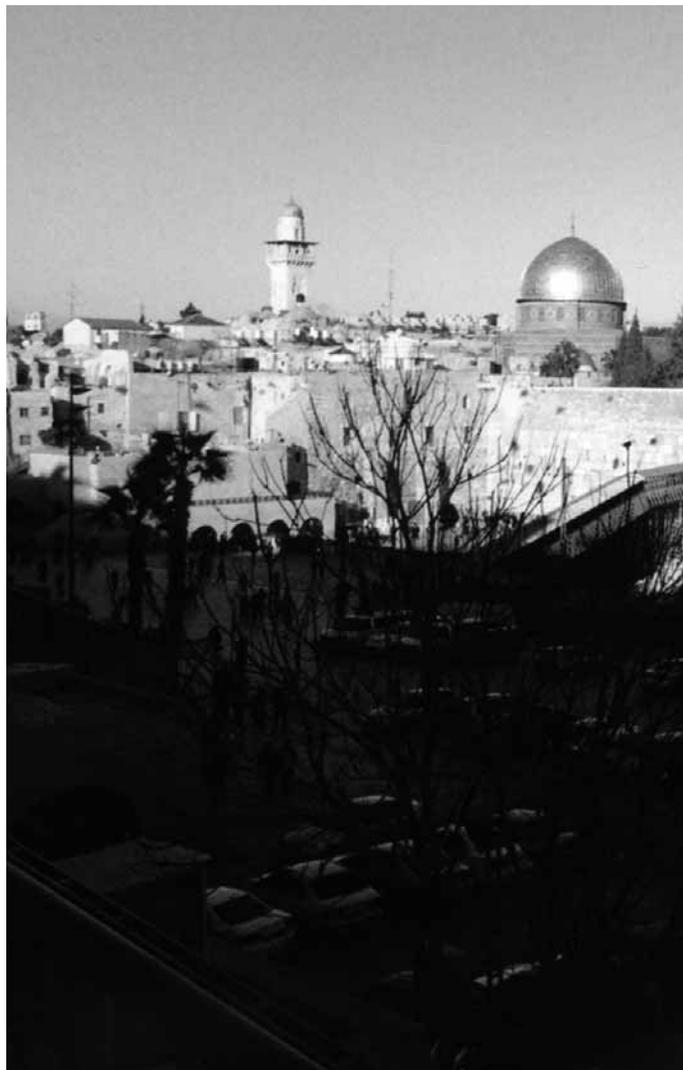
XXX

Утро вечера мудренее —
Но дряннее
И длиннее.
Утром вечера —
Словно не было,
И не спрашивать
больше «Где была?»
Я во сне была —
Там Вас не было.

XXX

Вот была б я молоденькой, худенькой —
Я б такие носила платица!
А тут в зеркало глянешь — Господи!
Ну, на что тут, скажите, тратиться...

А с тех пор, как между нами всё кончено,
Мне повсюду мерещатся белочки,
Тараканы и всякие прочие
Быстробегающие мелочи.
И я даже была у доктора.
Доктор выслушал — и расстроился,
Говорил мне про симптоматику,
И про то, что за этим кроется...



Вот была бы я старенькой, кривенькой —
Я взяла бы тебя на жалость,
Я б схватила тебя,
Тряслась бы вся —
И держалась, держалась, держалась...

XXX

Погода такая, что хочется сдохнуть.
А водка такая,
Что хочется жить,
И встретить мужчину,
И, тронув за локоть,
Сказать: «Кучерявый, давайте дружить!»



Фото В.Ярошенко. Иерусалим. Вид на Храмовую гору и Мечеть Скалы

XXX

В полнолуние люди бесятся,
 Людям надобно полумесяца —
 Там уляжется всё, уложится —
 Всё, что хочется, но не можетя,
 Всё, что можетя, но не хочется,
 Чтобы ночью спать — не ворочаться,
 Чтоб не шарил взгляд — где б повеситься.
 Ах, дожить бы до полумесяца!

XXX

Тихо. Дом — словно обморок,
 Только ходики тикают.
 Вы меня испугаете —
 И я стану заикою.

Вот тогда вы начнёте
 Извиняться и каяться,
 Говорить, что такое —
 Сплошь и рядом встречается...
 И хвататься за голову,
 И метаться по дому,
 И звонить всем подряд —
 И врачам, и знакомым.
 А я буду молчать
 И смотреть укоризненно.
 И вы будете мучаться и терзаться —
 Пожизненно.

XXX

Я любила бы овощи — если б только не брокли.
Я любила бы дождь — если б ноги не мокли.
Я любила бы лето — если б так не потелось.
Я любила бы Вас,
Если б так не хотелось...

XXX

Кто вам сказал,
Что здесь пророки — мотают сроки?
Кто вам сказал,
Что здесь пороки — имеют руки? —
Оно неправда, и живём мы — гламурно,
И будут нам ещё завидовать внуки!

XXX

Лизе

Ты думаешь, что если ты летаешь,
То и все летают — ан нет!
Летают только глупые и добрые, мой свет.
А чтобы, вот, за художника,
Да ещё за еврея —
Тут надо бы остороженько,
Это — как лотерея....
А если и он летает —
Опаснее не бывает.

XXX

Лизе

Она была прекрасна и чиста,
И были высоки её полёты,
Она читала Моцарта с листа
И думала, что Моцарт — это ноты.
Она брала волшебный свой смычок
В прекрасные, *поставленные* руки,
Она играла Моцарта — как Бог
И думала, что Моцарт — это звуки.

Вот скрипка. Сцена. Вот она сама.
И зал — как души спасшихся из ада.
Она сводила публику с ума,
И думала, что так оно и надо.

XXX

Мне кошка вслед кричала: «Дура!»
И пыль слетала с абажура,
Когда я хлопала дверьми:
Ты этого хотел? — Возьми!
Меня крутило и вело,
И я искала помело —
Нашла. Слетала. Помогло —
И отошло, и отлегло...

И нам ли, милый, быть в печали —
Цветы и ужин со свечами...
Хотелось жить, хотелось петь,
Хотелось лечь и умереть.
И слёзы капали в вино.
А свечи гасли. И темно...

Соседка знает за стеной,
Что мы живём как муж с женой.

■■■

ГЕНИЙ СОВРЕМЕННОСТИ

Александр ДАВЫДОВ

ЗАУРЯДНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Я уже вроде бы достаточно лет живу на свете, чтобы привыкнуть к собственной посредственности. Не то, чтобы с нею смириться, вовсе нет, она всегда была мне защитой от многоцветья эпох мне выпавших. Оно бы меня ослепило, но что такое заурядность, как ни темные очки, без которых не взглядеться в излишне яркий образ? Правда, сам он делается сумеречен, сероват. Посредственность то же самое, что жизненная умелость, прилаженность к жизни. А что я к ней прилажен, несомненно. Прилажен исконно, от рождения, даже раньше. Моя заурядность выстрадана и обкатана предками, — и мой долг сыновней почтительности следовать ей и передать в незапятнанном виде будущим поколениям. Но вручить ее покамест некому, я до сих пор избегал деторождения, которое мне видится деяньем почти бессмысленным, коль мой потомок станет не яркой искрой бытия, ни даже самым мельчайшим пророком или первопроходцем, а лишь приумножит всемирную заурядность. Тут были и другие сомненья и страхи, о которых когда-нибудь скажу.

Все в жизни мне давалось столь просто и легко, что даже вовсе не требовало усилия духа или ума. От этого можно было бы испытать удовлетворение, — так уж часто я видел мучеников жизни, истертых до крови об ее мельчайшие шероховатости, лишь надраивавшие до блеска прочную капсулу моего естества. Я не бесчувствен, но мои чувства, признаюсь, поверхностны, мало затрагивают душу. Подробности своей жизни излагать не стану, если уж и я сам не задерживал ни них внимания. Они даже и мне самому малоинтересны. Не стану уподобляться зануде, который на равнодушное «как поживаешь?» начинает и впрямь рассказывать всю свою жизнь с никому не нужными подробностями. Поверь, друг мой, пересказывать мою жизнь все равно, что жевать какую-то серую безвкусную вату. Нет, я вовсе не беспамятен, напротив, схватываю и приберегаю краугольные вехи своего бытия. Однако, как памятки, небрежные заметки на полях, не напитанные ни счастьем, ни горечью, не в коконе сколь бы ни было ярких чувств или ностальгии. Моя память практична, если что и хранит, то лишь для дальнейшего прямого использования. Даже имени своего, пожалуй, не сообщу. Что в имени моем? Его определенность, разве что, спутает. Представь себе обычного человека, достойного любого из имен.

Я мог быть вполне удовлетворен своей заурядностью, возможно, и гордился бы ею или полагал едва ли ни благочестивой, то есть соответствующей заурядности вселенской, в каком-то облике виделся мне мир сквозь мои темные очки, сберегавшие зрение. В таком случае роман моей жизни, соберись я его сочинить, оборвался бы самое большее на третьем абзаце. Вот на этом самом месте. Был бы наверняка удовлетворен и горд, — притом что совершенная посредственность тоже ведь своего рода талант, — если бы ни невесть каким образом влившаяся в мою натуру крупинка ереси, прозреваемая мною так же и в мирозданье. Впрочем, я, как личность обыденная, путаюсь в диалектике ереси и благочестия. Возможно, эта крупинка как раз следствие моей прохладной религиозности, а может быть, связанной с нею олять-таки практичности. Надо ведь хоть что-то припасти, коль вдруг небеса призовут к ответу. Не собрание же общих мест и

невеликих жизненных обретений. Как человек органичный существованию, я словно весь вымыслен не собой. Нет, не как ворох всеобщих мест, но подобно четкой и работоспособной системе, механизму, умно слаженному из чужих упований и благоприобретенных умений, которые я заимствовал походя, как прилежнейший ученик срединного бытия, к тому еще замечательный имитатор. Обладающему безотказным жизненным чутьем, для меня даже сознание было излишним, но я благодарен его бледным виденьям, — все же не хотелось бы скоротать жизнь в беспробудном глухом сне.

Эта незаконная крупинка, которая только мне самому заметный зазор меж мной и существованием, долгие годы не слишком меня тревожила. Мешала не больше, чем соринка попавшая в глаз, от которой надо лишь проморгаться. Я относил подчас настигавшее чувство инобытия к неизжитому детству, когда меня, случалось, оведало дуновенье будто б неземного ужаса, в образ какового, возможно, рядилось чувство даже и не мистичное, но которому взрослый язык за ненужностью не отыскал названия. Что, впрочем, наверняка свойственно любому ребенку, еще не вовсе притертому к жизни, сколь бы он ни был к ней природно талантлив. С другими я не затрагивал этой темы, полагая ее запретной, — к тому ж из моих, по крайней мере, друзей, вряд ли бы кто припомнил свои детские страхи. Я и вообще избегал небытовых и бесцельных, то есть пустых разговоров. Будучи и впрямь заурядным, я еще и строго соблюдал свою заурядность, стараясь не допустить ни единого чудачества, которых не лишена даже и любая посредственная личность. Если подумать, так это мое свойство было довольно-таки подозрительным, учитывая обычную потребность заурядной личности себя украсить хоть какой-нибудь причудой.

Возможно, я был лишен стремления приукрашать свой жизненный облик, поскольку мне была исконна одна причуда, если можно ее так назвать. Да нет, какая там причуда, глубинная и таинственная способность, полагаю отнюдь не всеобщая. Правда, как говорил, я избегаю слишком интимных бесед. Однако вряд ли все вот эти бытовые, скучноватые, надо признаться, мои друзья, знакомые и сослуживцы обладают присущей мне способностью, — иль хотя бы один из них. Мое незаурядное свойство проявилось уже в самом нежном возрасте, — не смогу уточнить в каком именно; моя практичная память размазала прошлое, точней раскатала в ровный путь, на обочине которого высятся вешки памятных событий, как верстовые столбы на коломенском тракте. Вот в чем оно заключалось: откуда-то, из неведомых глубин, с которыми мне вовсе не хотелось знаться, мне являлись мысли-чужаки, притом не чуждые, не тревожные, хотя и вовсе никак не связанные с моим существованием, а так же и размышленьями — ни предыдущими, ни последующими. Притом касались предметов, о которых я вовсе и не задумывался. Они выпрыгивали, как лягушки из тины, нет, скорей как золотые рыбки из прозрачного водоема, гладь которого достоверно отражала окрестности. Нет, скажу еще лучше: они приходили, как гости на пир, облеченные словами, несомненными, единственно возможными и праздничными. Я встречал неожиданных гостей растерянно, чуть смущенно, коль не приготовил им достойной встречи. Какой там праздник, коль вся моя личность была даже и в детские голы — сплошь деловые будни? Выходило, что они ошиблись адресом, потому, чуть потоптавшись, покидали скучное для них, притом, что вовсе не убогое помещение. Я забывал их тотчас, хотя мог бы и записать, но это все равно, что присвоить чужое. Да еще неизвестно кому принадлежащее, может быть, это нечто вредное, хотя и приманчивое, какой-либо коварный дар. К тому ж, не уверен, что записанные, они б оставались столь искрящимися, или только б змеились по чистому листу витиеватой подпалиной.

Конечно, неизвестно откуда пожаловавшим, незванным гостям, я не оказывал достойного их почета. Однако те оказывались и ненавязчивы, и необидчивы. Являлись вновь и вновь, всегда неожиданные. Их явления были бы благодатными, — они, возможно, и оставались моей тайной гордостью, — но те яркие прозрениями словно б разоблачали незначительность моего душевного, — да и не только, — существования, иначе б вовсе меня не тяготившую. Я ведь считал себя опроверженьем любой психоаналитики, душу свою прозрачной до самых последних глубин. Но тут ведь не мусор, не донная муть, а истинные жемчужины, потаенные и бесцельные, преподнесенные неизвестно кем и зачем, как незаслуженный мной подарок. Оказывалось, что где-то в глубинах моего, казалось, столь внятного естества, тайно варится изысканное блюдо, которым мне и угостить-то некого, да к которому и сам не решаюсь притронуться. Не исключю, что мои давние детски нежные страхи служили ему чем-то вроде острой приправы.

Я не Сократ, чтоб беседовать с личным демоном, да и каким он мог быть мне советчиком в моих всегда прозаических нуждах? Эти блестящие, жемчужины были, разумеется, чужеродны моей всегдашней обыденности, причем, хотел бы думать, выдающейся. Одного моего взгляда хватало, чтобы мир будто выцвел, становясь внятным и постижимым, как замирает хищник под взором укротителя. Чем дурная роль в мироздании, быть одним из тех, кто укротил бытие, утопив в общих местах, банальностях и штампах, а сам миновал жизнь, сделавшуюся будничней самих будней, аки посуху, не всколыхнув ее вод? Все-таки я не лишен гордыни: если и готов считать себя посредственностью, то в своем роде совершенной.

Очередная золотая искорка, чуть померцав, угасала в моем сознании, оставив по себе, пусть ненадолго, ностальгическую грусть. Чувство, что моя жизнь ничто как томленье, не больше чем скопление, пусть и рассортированных

разумом, но едва ль ни позорных мелочей, — пустяк без упования и цели. Пусть на миг, но сбивалась ровная поступь моего существования, будто я получил неожиданную подножку.

Бывало, излишние мысли не беспокоили меня годами, а подчас являлись одна за одной, праздничной вереницей. Случалось и хуже — они вдруг начинали глаголеть моими устами, вызывая удивленье моих немудрящих собеседников, поскольку прозвучавшие слова вовсе не относились к делу. Правда, подобная неделикатность излишних мыслей бывала редчайшей. Те были словно помещены в прочную капсулу непричастности моей жизни, ее вовсе не затрагивали, не питали ни ядом, ни вдохновеньем. Обычно чуть поманив и немного растревожив душу, незванные гости удалялись, вежливо прикрыв за собой дверь. Но куда ведущую? Может быть, в кем-то издавна обжитое помещение? Трудно предположить, что в моей душе прозрачной, будто стеклянная, все-таки нашлось место для тайной кельи с ее неизвестным обитателем. Это таинственное негде, посылавшее благодатных вестников, смущавших мою опытную в жизни, но чем-то и наивную, беззащитную душу. Да и где пребывал этот кладезь не нужных мне сокровищ, — в собственной моей стеклянной душе или, может, витал где-то в пространстве? Не сказать, чтоб я об этом часто задумывался. Однако шли годы, — именно, что не тянулись, и не бежали. Моя память испещрялась нетревожными вешками, а жизненные умения становились все совершенней. В конце концов я достиг блистательной машинальности — слова исторгал без запинки, а жизненные решения принимал вовсе не задумываясь. Я мог бы сделать карьеру и поярче, если б твердо не следовал своей срединности, иль, наоборот, срединность не выпускала меня из своих тенет. Значит, спасибо ей за мое бестревожное существование. Оно длилось,

ОБРАЗ ГЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

пока вдруг ни настал миг, когда я ощутил еще едва повеявший из-за поворота могильный ветерок. Это уж не соринка в глазу, от которой проморгаешься. Нет, я оставался еще как бодр и полон сил, исполнен благодетельным равнодушием к горнему, но все-таки я ощутил предвестье если и не трагедии умиранья, то драмы осеннего увяданья жизни. Вдруг почувствовал, что теперь все значительней будет каждый мой шаг, ибо все сугубей делалось пространство, которым я ступаю. Даже странно, что для самой заурядной личности, каков я, оказалась почти невыносимой перспектива провести всю жизнь во сне, среди выцветших образов бытия, чтобы потом погрузиться в уже вечный сон без сновидений, коль нечего с собой прихватить в иные миры. И вот тут-то меня посетило видение, — если прежде ко мне являлись лишь мысли, облеченные в яркий словесный наряд, то теперь это был именно образ, притом человекоподобный, пусть менее определенный, однако более навязчивый, чем прежние гости, приодетые, как на праздник, а угодившие в серые будни. Неопределенным он был лишь в том смысле, что у меня не доставало словесного таланта описать его облик. Он был, как я сказал, человекоподобен, однако в мощи, силе и блеске по моим понятиям недоступной ни единому земному существу.

Это было виденьем яркой жизни, возможность которой я лишь угадывал среди бледных теней будничного существования. Тогда и мир на мгновенье просиял, притом оставшись прежним, — будто я узрел его с какого-то необычного ракурса. Казалось, он, тот образ, впервые смахнул с моих глаз темные очки, самую чрезмерность делавшие выносимой. Завороженный, почти ослепленный, чуть испуганный, — хотя вроде и не пуглив, — нежданым видением, я тотчас угадал, что он не лишь одному мне вестник. Собрав в горстку свой многолетний, однако дробный опыт бытия, пробежав памятью жизненные вешки, я угадал в нем некое обобщение. Он был гением не места, а эпохи, ибо, — я это верно почуял, — отвечал всем ее свойствам, однако вовсе не как ее скудная абстракция. Посетивший меня образ казался живой самой жизни, а существование лишь павшей от него тусклой тенью на замусоленной равнодушными взглядами стенке. Он был, поверь, друг мой, вовсе не мороком. О том, что наша эпоха гениальна, я подозревал издавна, — о том свидетельствовали ее громовые раскаты. Притом, милосердно подернута серенькой пленкой, чтоб оказаться посылной обывателю вроде меня.

Он был убедителен, как сама несомненность. Он был даже не вестником, а самой вестью. Ничего не нашептывал, как то подобает демону-искусителю, но и не благовествовал подобно ангелу, а лишь пребывал в своем горделивом величье. Свидетельствовал: я есть, и ничего более. А коль есть он, то существует и другая жизнь, заслоненная привычными для нас сероватыми буднями. Так, друг мой, так вот. Все ж это был не ангел, ибо не целиком благ, но и не бес, ибо не звероподобен, — впрочем, много ль я смыслю в нематериальных сущностях? Он был драматичен, но вряд ли трагичен. Я, подумав, назвал его демоном эпохи. Потом, еще подумав — гением современности, и остановился на этом определении. Уже само название обозначало, что от него не отмахнешься, хотя, явившись раз, он больше меня не посещал. Притом яркие бесцельные мысли, которые, как я тотчас понял, были его посланиями мне, стали меня донимать все чаще. Впрочем, донимать не то слово, по-прежнему оставались словно б дарами неведомого деликатного благодетеля, — хочешь, принимай, не хочешь, так он не обидится. Причем, даже столь деликатного, что не сопровождал подарок визиткой с собственным именем.

Но тогда все ж непонятно какой он был природы — ангельской или бесовской, одарял меня крупными непрактичной истины или всего только душевным томленьем? Впрямь ли он тайный лидер эпохи, а может, лишь наваждение? Не знаю, что было б, если только он явился, а б велел ему: сгинь! Вряд ли бы у меня повернулся язык, но я вовсе и не желал от себя отогнать возможно единственный подлинно живой образ, вдруг глянувший из вороха картонных лиц и непривиденциальных событий моей скаредной жизни, которая в сравненьи с ним сама-то казалась наваждением.

Я человек без фантазии, как и должно посредственности. Трезвый ум — мое общепризнанное достоинство, даже мои сновидения на диво рациональны, скорей они рассужденье, чем изломанная психоаналитическими бреднями память или пророчество. Мой ум, увы или к счастью, неизвилист, способен прозревать будущее, но только до поворота. Притом, как человек истинно трезвый, я готов к любой неожиданности. Измыслить демона мне, конечно, не под силу, как и смешно претендовать на индивидуального искусителя, да еще столь яркого. Оттого я не сомневался, что это было виденье эпохи, в ее подлинном, грозном обличье. Притом, воплощенной вовсе не призраком, не идеей, а некоей действительно человеческой или человекоподобной сущностью, бытийствовавшей во всей своей личностной определенности. Только вот где и как — во плоти или нематерьяльно?

Вот мои доводы в пользу реальности его существования. Во-первых, я был вынужден признать, что явившийся мне образ вовсе не моя личная фантазия. Такого и предположить невозможно, что мне под силу сотворить столь полнокровный и убедительный образ. Я, конечно ж, не смог бы придумать несуществующий облик, даже из позаимствованных деталей. Значит, подсказывал мне мой трезвый ум, чуравшийся фантазий, явившаяся мне личность была вполне реальна, то есть подлинно существовала. Причем, видимо, как действительное человеческое существо. Я вряд ли взыскан не только вышними небесами, но даже и нижними высями. Учитывая необъемность, или, скажем, малую емкость моей личности, трудно предположить, что я удостоился посланца соседствующих с нашим бытием ментальных или еще каких пространств, — да я в них и не слишком-то верю. В психоаналитическую чушь, как уже признался, верю еще меньше. Значит, моя мысль, прозорливая до поворота, меня приводит к выводу, тоже странному, однако ж, наиболее правдоподобному: с этой личностью, ярко воплотившей нам выпавшую эпоху, мне и впрямь доводилось встречаться на жизненных путях. Что удивляться, коль я и сам подчас тешил свою гордыню тем, что, будучи совершенным конформистом и прекрасным имитатором, я и есть сама эпоха в ее будничной сути. Так что даже имею право говорить от ее имени, правда, лишь не выходя за языковые пределы ее банальностей и общих мест. Предположу, что люди-эпохи, подобно явившемуся мне ее гению, тайно живут среди нас, источая и яд, и правду, притом соблюдая некую преемственность царств. Как, к примеру, кажется, Далай Ламы. Скажешь, друг мой, буйная фантазия, но уж ты-то знаешь, что я совсем лишен воображения. Ты, бывало, прославлял мой ясный ум, так доверься ж ему и теперь, — он нас с тобой доведет, по крайней мере, до поворота.

Я, как человек без воображения, не слишком подозрителен, потому вовсе не предполагаю какой-либо тайной секты демиургов. Кстати, а почему б нет? Однако, эту гипотезу, и верно, слегка маниакальную, побережем напоследок. Признаться, я пытался отвязаться от того видения, однако не слишком решительно. Оно мне явилось, как я говорил, на краткий миг, но, оставив по себе мерцанье, едва ль ни зрительное, которое просветляло мои уж затянувшиеся будни неким даже сладким, хотя и тревожным веяньем увлекательного инобытия. Случалось, я вдруг начинал радоваться непонятно чему или, бывало, печалиться, хотя прежде не знал ни упоенья, ни горя. Я вовсе не старался совсем изгнать таинственного пришельца. Нет, сначала

СВОЙСТВА МОЕЙ ПАМЯТИ

невольно, а потом уже намеренно обшаривал сусеки своей, всегда казалось, столь надежной памяти. Кем-то ведь был заронен тот образ, будь он действительный человек во плоти, или все же воплощенное чаянье людей, истомленных буднями.

Для начала я вскачь пробежался неизвилистым шляхом своей памяти. С ней у нас были отношения вполне деловые, не сентиментальные. Она услужливо и вовремя, как толковая ключница, содержащая в порядке свою кладовую, питала меня припасенными для дела жизненными прецедентами. Те были разнообразны, их было множество, надраенных, то есть избавленных от путающих подробностей, тем самым готовых к немедленному и точному применению. Однако, моя прежде довольно бесчувственная память, стоило мне подвергнуть ее придирчивой ревизии, вдруг оказалась уклончивой и капризной. Я и раньше догадался, а теперь убедился, что немало там припасено впрок, для излишних обыденному существованию целей. Это, признаться, меня и не порадовало, и не смутило. Личности там, в кладовой памяти, хранились, надо сказать, небрежней, чем пространства и мизансцены. Анемичные и обобщенные они, конечно, ничуть не напоминали своевольного гения эпохи. Но я и не ждал быстрого успеха, готов был подробно обшарить тайные сусеки своего прошлого. Конечно, я знал, что след демиурга, если где искать, то в смутно мерцавшем детстве, возможно, младенчестве.

Учитывая восприимчивость младенца, ведь много не требуется, чтобы заковать, заморозить его на всю его жизнь. Довольно что-то шепнуть, нечто навеять, даже невольно, чтоб одарить ярким незабываемым образом.

Да, моя память-ключница была, и верно, услужлива, но, возможно, и чересчур, как старый слуга, уверенный, что знает нужды хозяина лучше него самого. Можно было б призвать в помощь собственную память своих друзей, свидетелей моей жизни, разумеется, скрыв повод моих изысканий. Ну, разумеется, ни единый из них не тянул на демиурга, хотя, не исключу, что тот умел замечательно маскироваться, и был вовсе не худшим чем я имитатором. Но, все же, учитывая, что я наблюдателен, он непременно б себя чем-то выдал, неким сбоем своей заурядности. Хотя должен признаться, что к людскому облику я не слишком внимателен. Часто путаюсь, принимая одного человека за другого. Однако подчас мне кажется, что у самой природы недостает воображения. Неужто и она не гениальна, слишком уж часто взамен штучного товара создавая типаж, то есть довольствуясь штампами? Да я и самого себя, бывает, не узнаю, взглянув поутру в зеркало, где всегда красовался безлико-импозантный мужчина полусредних лет, не хуже и не лучше, чем я себе виделся в своем достаточно льстивом воображении. Друзей я, конечно, выбирал по себе, ничуть не ярче, потому не надеялся найти в них достойных помощников своей памяти. Если моя память практична, то их в своей практичности была просто мелочна. Недавно встретил одного на каком-то случайном сборище. Мы не видались лет двадцать, притом, не то чтоб он остался неизменен, нет, слегка обветшал, еще больше выцвел, хотя и прежде был неяркий, но остался верен своей довольно примитивной матрице, той простоватой схеме, что в нем просвечивала сквозь всеобщие привлекательные свойства юности. Листва с него облетела, остался лишь ствол. Короче говоря, он стал таковым, каким и был обречен стать.

Я, как уже признался, мало сентиментален, к встречам с бывшими друзьями не стремлюсь, но странным образом радуюсь каждой, как шансу наконец-то непрактичного применения памяти. Все ж мои закрома иногда стоит проветрить, да не мешает иногда и сверить с совладельцем припасенных на будущее безделок достоверность моих воспоминаний. Но каждая встреча приносила лишь разочарование. Мой склад безделок был столь же безразличен прежним друзьям, как и их собственный, подобный моему. Каждый из них будто вчера родился, притом за день уже успел оттереться, как разменная монета, лишиться младенческой свежести. Вот и этот мой бывший товарищ, с которым встретился после пары десятилетий разлуки, лишь одарил меня воспоминаниями своего предыдущего дня. Притом, моим двадцатилетним бытованием он и вовсе не заинтересовался. К подобному я уже привык, потому не обиделся. С чего это я взял, что моя посредственная жизнь интересна другой посредственности? И с другой стороны, почему решил, что друг, которого я выбрал по себе, менее, чем я, прозорлив? Тоже, небось, разглядел мерцавшую во мне с малолетства жизненную схему. Ему довольно лишь примерить ее к своей заурядной жизни, и совпадение будет едва ль ни полным, за исключением мелких частности. Тогда и впрямь, если уж обмениваться банальностями, то, по крайней мере, не вовсе потерявшими актуальность. Да и вот ведь я, перед ним, как итог прожитых лет. Зачем, не то что читать, но даже и пролистывать роман, коль знаешь его развязку? Она такова — я жив, на вид здоров и довольно благополучен. Собственно, я сам-то душевно не щедр. Отчего ж тогда рассчитывать даже на такие дары, как внимание к моей жизни? И стоит ли она того?

Все же одним не вовсе заурядным другом я в жизни обзавелся. Хотя

ХУДОЖНИК

даже и не друг он был, скорее приятель, поскольку слишком узкой была полоска ничейной земли, где мы могли с ним время от времени встречаться, ибо моя душа неспособна взмыть в горние выси, чтобы с его душой перекликнуться. Уже незаурядным было само его жизненное занятие, как он утверждал — призвание. Он был художник. Размышляя о том, кто б мог в меня заронить образ гения эпохи, разумеется, я вспомнил его первым. Это логично: художник — повелитель образов. Увы, хоть я не знаток искусства, но даже и мне было ясно, что он посредственный живописец. Хотя, возможно, моя оценка была предрешена уверенностью, что другой и не стал бы со мной знаться. Нет, все же вряд ли меня ввели в заблуждение сухость его форм, блеклые краски и дух уныния, исходивший от его полотен. Чтоб создать на своих картинах жизнеспособный мир, ему, видимо, не доставало таланта и душевной мощи, хотя, допускаю, его мастерство было отменным. На мой вкус, ни единая его картина не была замкнутой в себе и самодостаточной, все с какой-то едва заметной нехваткой. Впрочем, не исключу, что это их достоинство. И все-таки, какой уж там гений эпохи? Тот, по моим понятиям, либо очень умело таился, либо уж, скинув маску и мышинного цвета наряд, явится во всем присущем ему блеске и достоверности. А мой художник был, казалось, простодушен в своих творческих потугах и свой жизненный образ сотворил тоже вовсе не гениально, не лучше, чем смотрелась сама жизнь на его полотнах. Я, конечно же, понимал, что он лишь следует иному стандарту поведения и облика, чем это пристойно в кругу моих деловых партнеров и сослуживцев. И все же эта единственная откровенно творческая личность среди всех моих невзрачных знакомцев виделась мне Художником, тем присвоив все прозрения истинных гениев искусства, однако, как видим, вовсе не по своей воле, а

подавшись моему упованию. Какой уж там гений эпохи, коль было видно, что его гложет червь, хоть я все-таки верил, что не могильный. Он будто не верил природе, не признавал изображенья с натуры. А может быть, то был замах ущербного демиурга, творящего небывалый мир, однако из крох от века существовавшего.

Притом, не исключю, поскольку, как признался, не уверен в своих понятиях о живописи, что он был все же по натуре не лишен некоторой гениальности. На то намекала сама его речь, косноязычная, полувнятная, в которой, однако, нечто насущное сквозило в щелях его запинок и вряд ли сознательных недомолвок, — он как-то и сам признал, что его слова лишь труха, опадающая с его полотен. Допущу, и в своем искусстве он был, хотя и не демиург, но и не ремесленник. Так или иначе, из всех моих друзей, приятелей и знакомых он единственный, как предполагалось, был хоть сколько-нибудь сведущ в горнем. Кроме как ему, мне и некому было поведать о явлении гения эпохи. Я, к своему удивленью, довольно быстро на это решился, учитывая, что даже и от него всегда таил неожиданно приходившие чужеродные мысли. Возможно, я все-таки не исключал, что с явившимся мне демиургом и он в свое время спознался. И уж, по крайней мере, был спокоен, что приятель-художник меня не высмеет.

Я всегда с некой опаской посещал его келью. Притом еще, что художник избегал внятного выражения чувства. Всегда было неясно, рад он моему приходу или не рад вовсе, что смущало. Но смущал больше истерический разор его жилища. Возможно, мне так казалось, приученному родителями, что каждая вещь должна пребывать на присущем ей месте, даже как бы и не по нашему произволу, — а нашей обязанностью было выявить ее суверенное местоположение и в дальнейшем блюсти его. Такое воспитание, видимо, потом отозвалось свойствами моей памяти. Впрочем, допущу, что это был всего лишь наш семейный предрассудок, ведь художника разор его жилища, казалось, вовсе не тяготит. Стены были покрыты картинами едва ль ни сплошным слоем, но все же с мелкими просветами. Причем, ни единой обрамленной, словно б живописец сознательно избегал ложной договоренности или, как и в своей устной речи, предпочитал вольное перетеканье смысла из одной фразы в другую. Его полотна не зияли окнами в иное бытие, а скорей развозили по стенке свое грязно-желтое уныние. И все ж в этом разоре и тоске для меня присутствовало нечто манящее. Я возвращался к художнику вновь и вновь, хотя тот ничем не выражал своего дружелюбия. Не всегдашняя ль моя практичность? Вот, настал час, и пригодился мне одичалый живописец.

Сразу, прямо с порога, безо всяких словесных прелюдий я рассказал ему о своем виденье гения. Живописец выслушал не удивившись. Видимо я оказался прав — художника ль поразить любым зрительным образом? Он помолчал, — а молчать-то умел, в отличие от всех моих знакомцев, тщательно избегавших заминок в беседе. Его паузы бывали столь значительны, что, казалось, вот-вот грянет пророчество в сгустившемся, напряженном воздухе, когда он наконец обомнет губами, познает на вкус каждое готовое прозвучать слово, хотя, возможно, они объяснялись лишь его тугодумством. С пророчеством его речь роднила невнятность, та была обрывочна и нецельна, да еще полна лишних звуков — хрипов, отхаркиваний и пришепетываний, однако высказыванья соотносились неким таинственным образом. Его речь, мне казалось, взыскующая смысла, нуждалась в толмаче, а я не лучший из возможных. По дурной привычке, после каждой нашей с ним встречи я старался самому себе разъяснить, что же все-таки от него услышал. Увы, в моем пересказе, не умеющим передать все разнообразие его заминок и пауз, лишенном речевых дефектов, слитном и внятном, его мысль делалась столь же плоской, как необъемный мир его живописи, будто размазанной по стенке. И все ж, попытаюсь передать, как смогу, ответное слово живописца, не вовсе своей холодной речью, а стараясь сберечь бесценные крупницы его безумия:

— Говоришь, гений эпохи, который реальней и ярче нашей сумеречной жизни? Этаким настигающий образ. (Так и сказал, точно помню, хотя так и не понял, что он разумел под настигающим образом). Ты сейчас заморожен единственным виденьем, а я к ним привычен. Поверь, пусть я и плохой живописец кисти, то гораздо лучший художник воображения. Если б ты знал, сколь яркие образы мне мерещатся в полудреме, а бывает и наяву. Мог бы я и поверить в праздничную жизнь, затаенную под покровом будней, которой я непричастен, ибо ее недостойн. Но тот мир мне казался всего только грезой несостоявшегося художника, фантомом иль кем-то оставленной приманкой для неприкаянного чувства. (Тоже подлинно его слова, — сам-то я что смыслю в неприкаянных чувствах?) Меня вовсе не призывают демоны праздничного мира, только манят, однако не желают водить моей кистью. Лишь попытайся его запечатлеть, всегда получится не мир, а поганый мирок, лишенный подлинного объема и свежих цветов. А тебя послушай, так все наоборот — суверен праздничного мира истинно жив, а все мы грешные не больше, чем блеклые тени его упований. Или нечто в этом роде. Может быть, и в тебе попросту вдруг взыграл неудачливый художник, тобою погубленный, и поделом ему.

Так вот, друг мой, он примерно сказал. Как видишь, даже в моей рациональной передаче его речь звучит довольно-таки противоречиво. Да я уж и говорил, что, переводя с его языка на собственный, теряю не меньше половины смысла. А иногда опасаясь, не весь ли. К тому ж, я, признаться, даже и не понял, отвечает он мне иль старается унять своих

собственных, его донимавших демонов. Наверно и мой язык ему было непросто перевести на его исконный. Я всегда не решался его переспрашивать, как негоже допытываться даже у самого бездарного пророка. Но тут все-таки отважился. Причем тема требовала слов возвышенных, которые, не исключю, мне нашептал сам гений современности:

— Так ты считаешь, что мир именно таков, как нам видится — осенний, в своем всегда вялом чувстве? Что он разве что несбывшееся упование великого демиурга? Что он, прежде яркий, отцвел навсегда, оставив картинку, ветшающую на стенах заплеванных нашей привычкой? А что ж там, за стенкой? Ведь вряд ли все тот же плоский мир без пространства и благодати. Тогда получается, что мы в лучшем случае сухие розы меж страницами зачитанной до дыр книги бытия. К чему тогда и вся жизнь?

Тут, кажется, я впервые увидел художника озадаченным. Во-первых, никогда прежде я не задавал ему столько вопросов разом. Но больше, думаю, его смутил непривычный мне слог. Художник, как обычно, помедлил с ответом, и в паузу вторглись совсем уж излишние звуки, будто мышиная стайка точит древесную переборку.

— Тебе явлен впервые образ величья, — заговорил он, хоть и обращаясь ко мне, но будто говоря сам с собой. — Меня-то он преследовал с малолетства. Скорей не в человеческом облике, а в образе манящего пространства. Яркий мир мне виделся, скорей домом без хозяина, дверь которого замкнута хитроумным запором. А может, и с вовсе распахнутыми дверьми. Кто дерзнет туда ступить, тот и будет гением современности, хоть я подобрал ему вовсе другое название.

Зная художника, я понимал, что бесполезно выпрашивать какое именно. Я лишь подумал, что, видно, он потому и безбытен, что лелеет мечту о вовсе другом жилище. Он смолк, столь глухо, что, казалось, будет молчать до скончанья света. Однако ж все-таки заговорил:

— Подчас мне казалось, что пространство иной жизни, которая сквозит в прорехах будней — вызов мне одному. Дом лишь только меня зовет в нем поселиться. Я распахнул бы окна, весь наш осенний мир залил сияньем блистательной жизни. Скажешь, гордыня? Возможно, но ведь я, поверь, поверь, великий художник воображенья, пусть и немощный в своей кисти. Но подгнивали плоды фантазий, а холсты мои, ты видишь как унылы. Не окна в яркую жизнь, а не больше, чем оборотка их пыльного задника. Все мои творческие порывы, гляди, обернулись немощными потугами. — И он щедрым жестом обвел рукой стены. — Теперь тот самый дом без хозяина, — неважно, на запоре ль его дверь или она распахнута, — мне видится бессердечным. А, может, мы все его недостойны, вот и довольствуемся серыми буднями. Закроем же покрепче глаза, замкнем уши, чтоб не слышать призыв этого пустого манка.

Так и сказал: «пустой манок», и я оценил этот невнятный, но изящный образ, затесавшийся в продуманный сумбур его речи, которую передал, как умею, то есть приблизительно, а может, и вовсе неверно. Я уже поминал, что наши с ним беседы были подобны разговору двух иностранцев. Он вроде слушал внимательно, но его сознание могло вцепиться в любую, как мне казалось, неважную частности. И все ж, думаю, нам обоим была насущна эта перекличка смыслов, ауканье моего практичного разума с его цветистым воображением. Я ему ответил, осторожно выбирая слова, поскольку знал, что художник обидчив:

— Может быть, ты столь скепичен к праздничному пространству, что сам не ступил туда. Верю в мощь твоего воображения, однако любой его образ, оставшийся незапечатленным в своей полноте и смысле, лишь все бледнеющий призрак, прилипший к заплеванной стене. Представь себе, что нашелся тот дерзкий, кто отважился овладеть пустовавшим, как ты уверен, домом, а может, тот принадлежит ему с рождения. У нас-то двоих наследство куда как скуднее. Верь, что мне явившийся демон казался реальней, чем сама явь, куда убедительней в своей гениальности нашей с виду блеклой эпохи. Скажем, в некотором роде, явленье истории в зиявшем проеме будней.

Думаю, художника убедила не моя последняя фраза, а возвышенность речи, уж наверняка подсказанной затаившимся демоном. Он согласно кивнул и ответил примерно вот как:

— Готов поверить, что и самые скудные времена — лишь блеклые тени, отброшенные великим существованием, самые мелочные, даже и они по-своему гениальны. Но что ж ты от меня хочешь, какого ждешь подтверждения? Тебе явился гений воочию, а мне ты его пересказал словами, бессильными описать объемы и краски. Скорей всего это лишь фантазия, или, скажем, какая-то ментальная сущность, демон всеобщих упований. А, может быть, единственный гениальный порыв твоего воображенья. Может, ты и вовсе больше чем я безумен. Такое нередко случается, уважаемый и благопристойный псих — обычное дело. Это было б тяжким для меня открытием. Для меня ты вернейший ориентир, не то чтоб сама неизменность, скорей наоборот — изменчивость, безошибочно чуткая к жизни.

Я упростил его речь, но в данном случае почти уверен, что смысл передал верно. Вот ведь, как оказалось, он меня использовал — я был своего рода путеводной нитью среди сумбура его грез. Уже готовый признаться художнику в подчас меня посещавших праздничных мыслях, я теперь остерегся. Я, собственно, друг мой, если честно, и сам толком не знал, зачем его растревожил. Но тотчас понял,

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

привычно пробежав взглядом по хорошо мне знакомым стенам, шелушащимся блеклой живописью. Я обнаружил портрет, затесавшийся среди плоских, недосказанных, не любовно изображенных пейзажей. Трудно сказать, из последних ли он был творений живописца или, может, я не замечал его долгие годы. Надо сказать, что его изображение невольно западали мне в память, потом там туманно мерцая и путаясь с видениями подлинной жизни. Такова, должно быть, сила искусства, пусть и не вдохновенного. Не скажу, друг мой, что я был потрясен образом, и вовсе не обнаружил в нем ни малейшего сходства с гением эпохи. Однако изображенный мужчина примерно в тех же годах, что были мы с живописцем, под рукой которого сновали мелкие человечки какого-то клопиного города, мне показался знакомым, едва ль ни родственником, притом что знакомство или родство какие-то дефектные. Как бы, друг мой, выразить поточней? Он был мне знаком в каждой отдельной черте своего облика, притом, что, уверен, я никогда не встречал его в жизни. Чем, спросишь, он привлек меня? Нельзя даже сказать, что это было обобщение или типаж, из штамповок подчас, как я поминал, ленивой на творчество природы. Изображение было подобно человеку, но угадывалось лишь человекоподобие, живописно верное, однако неорганичное сочетание подробностей облика. Уточню, что наши беседы с художником всегда велись в магических сумерках, — либо он вовсе не признавал электрического света, либо тот был навек отключен за неуплату, но когда вечерело, его кургузая келья освещалась лишь заткнутыми в консервные банки свечными огарками. Либо, еще предположу, чуть демоническое освещение наделяло тайной его полотна, тогда как яркий свет разоблачал всю их недостаточность. Подчас я думал, а не таков ли чуть демоничный сумрак его избыточной недомолвками речи? Но нет, уверен, что он был столь же истинно, может быть, и божественно косноязычен, сколь почти дьявольски мастеровит в своей художестве. Надо сказать, что портрет прочно завладел моим взглядом, поначалу впившимся в него скорей от растерянности. Я прервал эту отчасти гоголевскую сцену вопросом:

— Кто же он?

Тут я чуть не в первый раз увидел, что живописец улыбнулся. Это была дурная, вовсе не радостная улыбка, однако и без ехидства.

— Узнал?

— Узнал, — кивнул я с почти что полной уверенностью, — но только вот не знаю, кого именно.

Передам его ответ, привычно опустив лишние звуки и значимые паузы:

— Еще бы. Это даже не собирательный, а составной образ, нечто вроде паззла. Так, прихоть, игра. Обобрал чуть ни всех наших с тобой знакомцев, позаимствовав у кого одну характерную черточку, у кого другую. Немного и тебя обокрал. Приладил их точно, как видишь, почти без зазора. Вот и вышла виртуальная личность, неприкаянный образ (вновь прозвучало то же слово: неприкаянный), будто ждущий, когда к нему прильнет естество. Ведь верно, получилось нечто пугающее, как страшит призрак, который на самом-то деле безвреден, ибо он полный?

Тут художник почему-то задул все свечи, кроме одной, пустил полурассвет в свою комнату. А я вспомнил, что мертвым привычно цепляться за живых, как и загробные тени бессильны, не испив свежей крови. К тому ж, кому и быть алчной, как ни пустой сущности? Тут художник заговорил вновь:

— Понимаю, чем он тебя привлек. Видно, тем, что противоположен твоему гению. Вот она, перед тобой воочию, алчная обыденность нашего времени. Пожалуйста, верный фоторобот посредственности, — уж на это хватило моего мастерства, — коль кому-то вдруг захочется отыскать ее совершенный образ. Каждому он родной, всякий в нем заподозрит своего знакома или даже родственника, не решившись опознать себя самого в столь откровенно убогом обличье.

Действительно, уж мой-то гений был вовсе не алчной тенью. Скорей нам всем, ублюдкам эпохи, его алкать, как собственного естества. Живописец говорил и еще что-то, но я уже невнимательно слушал. Не скажу, чтоб меня осенило, но вдруг затаенная мысль обернулась намереньем. Наконец-то я сам понял, какой подмоги ищу у художника. Я почти воскликнул, что мне, ты знаешь, непривычно:

— Если так, то вот что тебе предлагаю: сотвори наконец-то величавый образ. Пусть тоже будет паззл, но теперь из ярких деталей. Пускай тоже фоторобот. А я готов стать тайным соглядатаем, — уворовывать, как и ты делал, внешние приметы гения у каждого, кто обладает хотя бы мельчайшей. Ведь если гений эпохи и впрямь существует, в чем меня убедила несомненность явления, — он столь очевиден, что не просто мысль и обобщение, а обязан существовать во плоти, — притом, пускай и не все, но многие припорошены золотыми блестками его гениальности. Ты вооружишь меня образом, а я отыщу его в жизни, узнаю наконец, кто мне, возможно, с колыбели потихоньку нашептывал чуждые И оттого тревожные мысли. (Все-таки проговорился). А коль не отыщу, так пусть портрет висит на стенке, став чем-то вроде иконы, чтоб все же было к кому воззвать в безблагодатной вселенной.

Уж не знаю, отчего я вдруг себя вообразил знатоком гениальности. Но изголодавшийся не лучший ли дегустатор? Впрочем, вряд ли, голодному лишь бы насытиться. Живописец, наверняка, и не предполагал, чем обернется беседа. Обычно те бывали бескорыстны, чуть взаимно снисходительны, а теперь я даже не обращался с просьбой, но предлагал своего рода сообщничество. Не уверен, что художник считал меня достойным того. Но уговаривать его не пришлось. Можно сказать, он принял заказ, который я обязался оплатить, даже щедро. Но и все-таки, не исключаю, что и самому живописцу показалось заманчивым изобразить возможного владельца недоступного ему жилища. По своей воле дерзнуть он уже вряд ли бы решился, но теперь был направляем моим всегда безотказным упорством. Мог бы я обратиться и к выдающемуся художнику, однако мой отчего-то оказался наиболее подходящим. Так я что озадачил его заказом не лишь под влиянием мгновенного порыва.

Последняя свеча в банке, зацадив, догорела. Тогда вновь померкли картины чуть извращенные или приукрашенные немного безумным ночным освещением. Стихли таинственные ночные шелесты. Занимался печальный рассвет, призывая к делам века сего. Я покинул художника, теперь безмятежно

РОДНЯ

дремавшего в кресле, вдохновленный новой, хотя уже предугаданной наперед жизненной задачей. Не то чтобы я решил подбирать визуальные детали, тождественные мне представшему лику. Конечно, и это, коль удастся, но главное не внешнее сходство, а значение, то есть каждая из них должна отозваться всему существу эпохи. Примерно так, друг мой, точнее сказать не умею. Я решил не искать гения в книгах, которых прочитал довольно, даже чрезмерно для человека моей среды. Вышел бы какой-то пыльный гений, именно что сухая роза, забытая меж давно пережитых страниц. Да, признаться, я к ним и всегда относился, хотя и с любопытством, даже с некоторым почтением, но так же легкомысленно, как относился к женщинам, о чем скажу позже. Так, игра мысли и чувства, — именно что литература.

Я следовал уже предугаданному плану, то есть начал изыскать с моего раннего детства, когда любой шепоток, заговор может оказаться навек запечатленным в наивной и вязкой, как пластилин, душе младенца. Где и пытаться найти притаившегося гения эпохи, как ни в каком-либо закутке моей ранней жизни? Не надеясь, как уже сказал, на беспмятных друзей, я решил призвать в помощь память моих родителей, чье знакомство со мной продолжительней моего собственного, хотя уж давно отвык к ним обращаться за подмогой. Они и так одарили меня щедро, всем тем, что имели сами. С детства поместили меня в замечательно ими обустроенный мирок, нетрагичный и уютный, причем пластичный и устойчивый, вовсе не сухой, — как случалось хрустели иные мирки, раздавленные небрежным колесом истории. Не хотелось бы думать, что трагедия брезгует нашим семейством. Мир моих родителей напоминал стойкое растение, исторические ураганы лишь заставляли трепетать его настойчивый стебель. Это был дивный мир, нетрагичный до самого донца, расплывшийся от истока жизни до последнего часа, от младенческого вскрика до гражданской панихиды. Тот мирок, что угнездился в моей душе, как я и сам собой в этом мирке угнездился. В том была их и мудрость, а не только одно простодушие, поскольку этот мирок с его идущими чередой благодатными буднями, был изобилен всем, чтобы там прожить и умереть достойно. Он был столь симпатично обыден, его основания настолько прочны, что я, казалось, избавлен своими родителями даже от донной душевной мути, потому — сплошное огорчение и обида любому психоаналитику. Было трудно предположить, что в этот бастион трудовых будней способен проникнуть гений эпохи. Однако он веет, где хочет, и наверно велик во всем — равно способен затаиться под личиной обыденности, как и предстать в своей силе и славе. Наверняка он предпочитал таиться, иначе б был понят всеми, отовсюду заметен. **Поэтому** стоило его поискать в самом скрупулезно обыденном существовании. Ведь все ж паре-тройке чудаков удалось каким-то непонятным образом прилудиться к размеренной родительской жизни.

Должен сказать, вовсе не желая принизить своих отца и мать, что родительская мудрость была все-таки не индивидуальной, а родовой. Никого из своих предков и родичей я даже не рассматривал в качестве кандидата в демиурги. Это не значит, что все они были вовсе лишены чудачеств или приметных свойств, заставлявших чуть поигрывать листву родового древа, однако тем не нарушая общую мудрую безликость семейства. Чудачества бывали мелкими, житейскими, однако им, как и пустячным событиям вроде мезальянса и адюльтера, в семье придавали чуть не историческое значение. Сберегались и памятные фразы, афоризмы семейной мудрости. Так мой двоюродный прадед, вернувшись уж не помню с которой из былых войн, обнаружил, что его жена, глуповатая баба, даже не из голода, а по дури продала их дом. На ее предложение снять номер в гостинице дед исторически ответил: «В гостиницу я позову кого-нибудь получше». Это, как считалось, находчивое хамство вошло в семейный обиход вместе с горсткой анекдотов о каком-то другом дальнем дядюшке, умершем прежде, чем я родился, который был «богачом, игроком и кутилой». Думаю, свойства сильно преувеличенные моим непривычным к разгулу семейством.

Немного чудили и другие, но, вероятно, скромней. Их профессии были прозаичней некуда — врачи, юристы, бухгалтеры. И ни одного безумного мудреца. Рецессивные гены гениальности, безумия, как и наследственных болезней, счастливо миновали нашу семью, опозоренную разве что парой неравных браков. Пробежать памятью семейные легенды, окончательно убедившись, что в семейной истории затаиться гению было попросту негде, оказалось вовсе недолгим занятием. Самый краешек мозга это проделал за меня сам собой, пока я вел жлобские прения о продаже кому-то чего-то. Именно так — ветви родового древа отягощались отнюдь не какими-нибудь авокадо и манго, а привычными для средней полосы вполне питательными плодами.

Надо признать, что обыденность моих предков была в своем роде героической. Достаточно глянуть на даты их жизни, чтоб убедиться, что тем пришлось обретаться в аду кромешном. Они относились к молчаливому большинству, притом не таились, не трусили, а по самой своей натуре были отнюдь не чрезмерны. Все как один исповедовали триединный жизненный принцип: трудолюбие, здравый смысл и порядочность со всем подобающим комплектом добродетелей. Я подчас вглядывался в безмятежный лик моего отца, — нет, бывало, он и хмурился, и сердился, но по всегда внятным причинам, — стараясь обнаружить хоть что-то, какой-нибудь след ожога, как свидетельство того, что он побывал у самых адских врат. Ничего, ни единой отметинки, никакой зацепки моему воображению. Такие свидетельства проще было отыскать в его трудовых анкетах. Если ему на миг и открылся демон эпохи, то он был столь ярок, что его ослепил навсегда. Я уже поминал темные очки, так вот они — ценнейшее для меня отцовское наследство. Сам того не подозревая, мой отец был из популяции великих экзорцистов, умевших заклясть всех демонов разора. Но и райские сущности от их бытовой магии как-то меркли и смежали крылья.

Мама была ему под стать, с годами они стали даже внешне похожи. И все-таки чуть иной, более тревожной и честолюбивой. Но ее честолюбие было тоже не **сказать** чтоб чрезмерным. Она считала свое происхождение благородней отцовского и вела всю жизнь скромную бухгалтерию, плюсуя единички гамбургского счета. Кстати, семейные предания хранились только ее ветвью, отцовская представляла собой будто выжженную пустошь. Там лишь копошились вовсе блеклые тени, притом еще, что отцовские родители умерли, когда я был ребенком. Да к тому ж в дальнем городе, то есть для моего чувства — переселились из одного сумеречного пространство в другое. Отец словно бытовал без жизненного плана. У матери, конечно, он был, причем весьма продуманный, а еще больше прочувствованный с малолетства, частью которого стал и будущий сын, которого она, уверен, полюбила всем сердцем задолго до моего рождения. Она как будто предусмотрительно приготовила мне одежду на вырост. Плод, который теперь — моя личность, был завязан еще в древние для меня времена и к сроку созрел. Так вышло, что я угодил в чужую мечту, где вполне уютно обжиться. Это лишь означало, что материнский план верен, а тот образ, с которым мне предстояло слиться, не выдуман спанталыку, а выпестован родовым сознанием, — некой продуктивной матрицей. Я был подобен родителям, лишь с чуть более гибким умом, — ровно в соответствие с внешне изощрившейся эпохой.

Я и не претендовал быть штучным изделием, а за благопристойный образ я должен быть благодарен семье, ибо тот меня избавил от жизненной маяты. Ну, конечно, в юности я пытался против него бунтовать, что, не исключаю, было тоже предусмотрено материнском планом. Вполне, вполне возможно, интуитивная жизненная мудрость моей матери, кажется, даже превосходила мою собственную. С родителями у меня установились отношения даже слишком простые и внятные, которые могли показаться холодноватыми, а может быть, они таковыми постепенно и стали. Для себя я принял честный кодекс семейных взаимоотношений, главной своей целью поставив ничем родителей не смутить и не озадачить. Видимо, уже долгие годы они от меня большего и не ждали, по крайней мере, не требовали. Возможно, я боялся их чем-то смутить даже излишне, будто тем самым могут быть хотя бы в малейшей мере поколеблены основы моего мироощущения и миропонимания, я вдруг потеряю путеводную нить. А может быть, опасался разбередить все же предполагаемую отцовскую рану. Поэтому к дознанию о демиурге эпохи я подошел вдумчиво, приготовился загодя, заранее припас осторожные слова.

Надо сказать, что в пору моей юности мы с отцом затевали даже споры, способные взмыть в метафизические выси, которых отец в беседе не чурался. Но я, и тогда уже умелый спорщик, избегал победы над отцом, причем не так из вежливости, как опасаясь тем самым словно б нанести поражение эпохе. Точней, ее здравым основам, без которых вся жизнь превратится в сумбур. Даже и в горячке спора я успевал любоваться его ясным умом и здравомыслием, столь совершенным, что оно оборачивалось даже некой таинственностью, — в такой мере он был един со своим временем, с которым я, как выясняется, все же чуть разминулся. Пойми его — поймешь всю эпоху. Может быть, в сложенном живописцем паззле я различил легкое фамильное сходство. Но тот образ был всего лишь суммой черт, он больше напоминал карикатуру. И выраженье лица было каким-то скаредным, чуть ни ехидным. Мой же отец — точный слепок, беспечная благодатная обыденность, как я уже говорил, кажется, и не раз. И речь его — всегда уютно-умное перетирание общих мест. Как, предполагаю, и моя собственная.

Память родителей отличалась от памяти моих друзей, разве что некоторой своей историчностью. Да мать еще собирала вехи своих действительных или мнимых мельчайших, — а ей-то казалось важных, — побед. Они и правы — к чему озиаться, коль ветер прошлого и так поддувает им в спину? Но, может быть, они соблюдали осторожность, — мало ли какие таятся вампиры в сумеречных просторах их памяти. Мой интерес к каким-то случайным, можно сказать, несудьбоносным личностям и прежде ввергал их некоторое смятение. Да и мне самому он казался все-таки минимальным чудачеством. Хотя я и не писатель, мне было любопытно проследить судьбу человека, даже просто мелькнувшего в моей жизни, не оставив никакого следа. Значит, все-таки приберегал про запас случайные образы, как и коллекционировал самые разные умения и повадки. В общем-то, это было всего лишь очередным проявлением нашей семейной предусмотрительности. Сейчас я

ЧУДАКИ

несколько раз закинул сеть в мое с родителями совместное прошлое, пока наконец не поймал, ну пусть не золотую рыбку, но все же какую-то рыбешку, — на крупную я, конечно, и не рассчитывал. Но все же обладателей чуть живых лиц среди многих типических. Затем еще одну, потом даже и третью. Та оказалась совсем уж полудохлой килькой. По-моему, очень отдаленная родственница, придурковатая, полукуродивая, которая, меня запеленав, повязывала кулек пылающим алым бантом и, баюкая, пела песню про ангелочка, тут же сочиняя слова. Собственно, память о дурашливой тетке была заимствованной. Сама она куда-то канула еще до того, как я обрел сознание, оставшись лишь семейной байкой, которую мама повествовала не раз, и столь проникновенно, что я, еще не покончивший с детской сентиментальностью, чуть ни смахивал слезу. Ее образ оказался прочно внедрен в мою память, — когда одним серым, паскудным утром, отец мне сказал, что она умерла, я, по-моему, действительно всхлипнул, хотя был отнюдь не плаксивым ребенком, той слезой удостоверив ее причастность к моей судьбе. По моему представлению, в ней вовсе ничто не напоминало гения эпохи, однако та ворожила, нашептывала, невесть чем одаряла мою младенчески податливую душу. Все ж это обещанье какой-то неожиданности в моей наперед расписанной предками жизни.

Однако свой скромный пир памяти я начал не с давно канувшей тети, а с первой пойманной рыбешки. Когда-то с отцом, кажется ненадолго, сдружился странный человек, уделявший мне такое внимание, что теперь в нем заподозрили б извращенца, — но та эпоха была чиста помыслами. В отличие от других родительских знакомцев, достойных, цивилизованных и в большинстве совсем даже не глупых, притом еще пресней моих — среди всех ни единого даже кухонного пророка, — этот был социально не определен ни одеждой, ни обликом. Какой-то обтерханный, немного жалкий, но притом отличался от прочих горделивой повадкой. Грива до плеч, что тогда было непривычно, высокий лоб в ранних морщинах, — как теперь понимаю, тогда он был молод. Проявляя внимание, он со мной не сюсюкался, а, помню, говорил будто с равным, что-то рассказывая, о чем-то расспрашивая. Об этом чуде я и спросил отца в равнодушной тональности. Уже привычный к моему праздному, как ему казалось, любопытствованию, отец не почуял в вопросе хоть сколько-нибудь далеко идущего замысла. Стал добросовестно припоминать:

— Да, помню, высокий такой, шепелявый. Верно, приходил раза два-три. (Странно, мне-то он виделся значимой фигурой собственного детства, или отец что-то напутал). Даже не знаю, откуда взялся.

— Ты принял его за стукача и быстро отвадил, — встряла мать, вдруг прислушавшись к разговору.

— Это вовсе другой, тот и был стукачом, — неуверенно произнес отец. — Я знаю, о ком он. Высокий, говорил чуть невнятно. С тобой (это уже мне) все шептался, приносил игрушки.

Получается, тот человек попросту меня подкупил, иль, по меньшей мере, мою память. Однако удача — он все ж оказался не мнимостью.

— Этого как не помнить? — кивнула мама. — Мой отец его лечил от сифилиса. Он вылечился и пропал. Кажется, был журналистом, по крайней мере, если не ошибаюсь, пописывал.

Ну вот, тем более удача. Возможно, писатель, да еще сифилитик, к тому же проникший в родительскую жизнь сквозь тайный проем («не знаю, откуда взялся»), тогда почему б ни какой-нибудь литературный гений? Стоило порыться в энциклопедиях. Но вопрос — чем бы наше семейство могло привлечь гениального творца? Возможен ответ — как раз своей милой заурядностью, сулящей миг отдохновения от глубоких дум и богоравной ответственности за мироздание. Я почти готов был поверить, что вот он, уже угодил мне в сети искомый демиург, однако отец заспорил даже с некой горячностью. Когда родителям все ж доводилось сверять свою память, оба становились упорны и дотошны. Предположения о личности и профессии странного для их общения человека сыпались одно за другим, доходя до нелепостей: садовник? химик? архитектор? вовсе палач? Почти позабытый персонаж моего детства делался многолик. Я почти готов был поверить, что с первой же попытки обнаружил демиурга эпохи. Однако в моей памяти, и так-то нечеткой, от

родительского галдежа и сумбура воспоминаний образ его все больше бледнел, мешался с другими. Наконец только и сохранился что изборожденный думами лоб, достойный демиурга. Этот лоб я позже преподнес живописцу, изобразив на бумажном листе, как умею, но еще и описав словесно. А художник его изобразил на загрунтованном загодя холсте в полном соответствии с моей памятью. Теперь высокий лоб бесстыдно выпирал из шелушащейся куцыми пейзажами стенки, приискивая достойные себя думы.

Другой персонаж мне виделся немного отчетливей. Это был дачный сосед, запавший в память, как и предполагаемый журналист, по внешней примете, в данном случае — густой, курчавой бороде. Тем он напоминал пророка из иллюстрированной Библии. Сосед мне виделся старцем, хотя, наверно, и он был тогда молод. Я его не то чтоб побаивался, но он мне внушал чувство растерянности, всякий раз при встрече подмигивая, сперва одним глазом, потом другим. Может, у него просто был тик, а мне мерещилось, будто он меня призывает в сообщники или намекает на общую тайну. Откуда ж у меня, человечка с тогда еще девственной душой, возьмется тайны? Одни детские секретки, но весь мир тогда казался таинствен. Этот пророк-самозванец, как помню, чуть подгаживал упоительное детское лето, вселяя тревогу. Не помню, обращался ль он ко мне изустно. Теперь, обобщенный памятью, кажется, что да, по крайней мере, нечто всегда бормотал, неразборчиво, однако упорно, бубнил и бубнил. Вообще, на этот раз моя память проявила особенную услужливость, превратив его чуть не в эмблему, — «неприкаянного чувства», добавил я мысленно, вспомнив речь полубезумного живописца, — хотя уже сама борода, в детскую пору, была для меня приметой сакральной, то есть причастности иноприродному бытию. А родительская память и тут подкачала. У отца будто настала амнезия, он так и не вспомнил ни бороды, ни целиком соседа, что странно, прожив бок о бок несколько летних сезонов, прежде чем наша семья предпочла морские курорты. Мать только лишь припомнила, что он вроде бы утонул в местной речушке. Такое было возможно, ибо мелкая, узкая речонка алкала ежегодных жертвоприношений. Я и сам в ней однажды едва не утонул. Но вряд ли он все же утопленник, иначе б в ранних, пугливых сновиденьях мне б являлся увитый водорослями, как водяной.

Я, недолго помучив, отстал наконец от родителей, уже начавших догадываться, что мой интерес неспроста. Когда я от них возвращался домой, слегка растревоженный беседой, мне явился навеянный ею образ, ярчайший и красочный, даже не эмблема, а будто начищенная до блеска медаль. Почти наверняка вымышленный, но из тех, что подменяют настоящую память, по крайней мере, вызывают сомнение уже как раз своей интенсивностью в сравнении с блеклыми картинками других воспоминаний. Они больше напоминают красочную иллюстрацию, вырванную из когда-то любимой, но полузабытой книги. Так вот, мне привиделся дачный пейзаж — ближнее поле, с вьющейся в обход него дорогой, кончик которой истончается, будто змеиный, тем отчего-то рождая ностальгическое чувство. Наклонные столбы света пробивают соседний лесок. Я, наверно, вовсе мал, так как земля совсем близко перед глазами, но иду почему-то один. А навстречу мне, в солнечном ореоле, будто вплетенный в многозначный орнамент моего видения — тот самый бородатый чудак. Нет, при всем том, в сравнении с привидевшемся мне гением всего лишь бледная тень, но в каком-то негаданном величье. Он играет руками, будто меня осеняет или завораживает, говорит некие слова, почти разборчиво. Словно, чуть прислушайся, я их вспомню. Нет, так и не расслышал, друг мой, но все ж возвращался с уловом — усиьем памяти вырвал из глазниц его оба глаза, будто зовущих в сообщники или намекавших на тайну, и

ДЕМОН ИЛИ АНГЕЛ?

принес их художнику.

Тот сделал много попыток вписать взгляд демиурга пониже уже запечатленного лба, пока не добился удовлетворившего меня сходства и устроившей его соразмерности намечавшегося лика. Пока выходило нечто пугающее, до мерзости мнимое: на холсте — лоб, выражавший беспредметную мысль, да еще глаза, как зеркало, приманившее пустое видение. Но для начала я почему-то и не ожидал иного. Главное, что художник, казалось, увлекся моим заданьем. Мною похищенный взгляд прилаживал так и сяк, нечто пытался мне разъяснить своей сокровенной речью. Привыкший к полуудачам, он, кажется, и впрямь собрался творить шедевр, оттого беспокоился, ворчал:

— Не знаю, что выйдет. Может, не стоит заканчивать, пусть так и останется образом из всего двух деталей, будто выглядывающих оттуда, где ничего и нет, лишь изнанка мира, пыльная, непримененная плоскость. Демиург неистов, а на картине, доведи ее до конца, получится маска, застывшее, а не живое лицо, манекен, набитый трухой всеобщих упований, вместо живой плоти. Тут бы сгодились два действительных гения, пылающих свечи, а мы с тобой оба — два потухших огарка. Подумай, для того ль тебе образ гения, — допустим, я уже поверил в его существование, — чтоб приобщиться его жизни, или затем, чтоб его укротить, обеднить смыслом, спеленать нашей с тобой обыденностью, опошлить, как все, чего нам стоило лишь коснуться умом, взглядом или деяньем? Не это ли тайная мысль, в которой ты и себе не хочешь признаться? Не оттого ль ты выбрал в помощники бездарного живописца? Коль он существует, твой демон, ты

бросил ему необдуманный вызов. В сравнение с ним ты никто, в наипрямшем смысле. Возможно, все мы лишь бледные тени его греха, — кто ведь знает его отношения с горним? — но столь величавого, что не нам его судить, снующим, словно юркие серенькие мышата, суетливые акциденции на обочине его блистательной жизни.

Его речь, в моей передаче краткая, длилась не меньше часа, пока он водил кистью по загрунтованному холсту. Из нее следовало, что я все ж его убедил в реальности гения, или, по крайней мере, заразил своей мечтой. Метафору недоступного ему дворца он уже не применил. Однако догадка художника о моих демоно(ангело)борческих намерениях, высказанная как раз довольно внятно, была так очевидно несправедлива, что я не стал даже с ним спорить. Ты ведь это знаешь, друг мой? Скорей всего она выражала его неуверенность в своей творческой мощи. Сам же наверняка боялся, что предполагаемый гений так и сгинет в тенетах его ущербного творчества. Что до меня, то не так уж я ценил свое существование, — то есть ценил, пока его не с чем было сравнить. Теперь же вдруг понял, что готов пропасть, будто полуденная тень, только б явился всем затаившийся гений, в своих блеске и славе.

Больше меня заинтересовала проговорка художника об отношениях моего демона с горним. Его ли проговорка, или это лепет моей всегда дремлющей совести? Вот тут я в сомнении — фраза, что я поместил в конец его речи, как ее героический аккорд, вряд ли прозвучала. Вероятно, я ее слепил из трухи его словес и значительных умолчаний, которую прежде будто размочил слюнями во рту. Притом, что не раз мне случалось обознаться, надеть слова-призраки значением наверняка им чуждым. Ведь каждое слово в устах живописца мне виделось словно ряжеными, и все вместе — будто накинувшие маски его карнавала, пусть и неяркого, в свете будней, однако с путаницей и розыгрышами. А подчас его речь мне виделась толпой дезертиров, одетых в обноски, добытые мародерством, которую он и сам отчаялся призвать к порядку. Напрасно и пытаться взять над ними команду. Лишь в первый миг постаравшись оценить, что сулит мне явившийся образ, как ты заметил, я потом называл его наугад — гением современности, демоном эпохи, демиургом, разок и ангелом, я вовсе не имел в виду какой-либо принятой классификации нематериальных сущностей. В ней я и вообще-то был слаб, потому нерешителен, — не скажу, чтоб неразборчив. Даже не с рождения, а по родовому сознанию, агностик, я с горним старался быть осторожен, будто соблюдая пакт о ненападении. С родителями, побывавшими у адских врат, я не касался этой темы, одной из запретнейших между нами.

Предупреждая твой вопрос, друг мой, уточню, что мой гений, — иль кто он? — вовсе не был крылатым, что было б слишком плоской метафорой. Притом, в нем присутствовала готовность к полету. Можно было и в своих отношениях с гением эпохи остаться агностиком, — мол, какая разница, кто он и откуда? — но в том-то и дело, что слишком уж он отличался от моей скаредной жизни, сулившей всего-то мелочь, но и ничем, по сути, не грозившей. Мои родители-экзорцисты, кажется, заклили и самую смерть, превратив в какую-то свою унылую приживалку, пожалуй, пусть и крупную, однако неизбежную, потому стерпимую неприятность. А для матери, думаю, достойные похороны, успенье в почете, виделось последней скромной победой в ее ненастойчивой тяжбе с существованием. Мой величавый образ как раз и сулил, и грозил, обещал необычайное приключение духа. Кто он, и впрямь? А мы все, и правда ль, ошметки его греха, коль он демон? Себя-то я, видимо, по скромности, не считал грешником. Ну да, сотворил несколько житейских пакостей, скорей из недомыслия. Даже нет, из деликатности, чтоб не унижать ближнего своей чистотой. И в этом тоже выразилась моя природная нечрезмерность.

На нашей-то жизненной периферии и грех не губителен, и добродетель — невеликая заслуга. Грешим по слабости, добродетельны — по лености. Не то демон иль ангел, глянувший из самой сердцевины бытия. Ведь прежде из всех иноприродных звуков я подчас различал лишь глумливый шепоток вселенной. Но, видно, не вовсе заткнул уши и замкнул взор, как, уверен, и мой художник. Гений эпохи уж наверняка причастен горнему, приобщен во всей мощи своего естества. Весь он как зычный зов, но куда призывает? Привычней, конечно, так и жить в нашей сумеречной неопределенности, не стяжав ни рая, ни преисподней. Но ведь не зря он мне явился, когда я лишь только услышал отдаленный лепет неизбежности, едва слышный оклик притаившейся за углом смерти. Как мне, с моим невеликим жизненным размахом понять столь несоразмерную мне сущность? Слышал, что ангелы благовествуют, а демоны сулят. Мой демиург, кажется, не сулил ни возврата юности, мне, уже предчувствовавшему драму увяданья, что разрешится последней трагедией; ни знания, ни любви. Он был подобен некой победной вести, но благой ли? Я всегда уповал на время, которое надежный союзник любой посредственности, и впрямь лучший лекарь. Настойчивость моего до сих пор здорового существования смиряла легкую рябь сомнений и допустимых житейских бед. Я решил и сейчас по привычке уповать на будущее, которое рано или поздно мне приносило ответ на любой из поставленных жизнью вопросов.

Думаю, что у художника, которого само его ремесло вынуждает находиться в общении с тонкими мирами, пусть и, по его собственному признанию, ущербным и односторонним, было понятие о моем демоне чуть более определенное. Нет, конечно, в его речи мне вовсе не померещилось упоминанье о горнем. Еще раз глянув на портрет, я заподозрил, что он

над ним потрудился и в мое отсутствие. Над задумчивым лбом художник чуть наметил, видно, с робостью, неуверенно, толь небольшие рожки, толь едва мерцавший ореол. Может быть, у него просто рука дрогнула. По крайней мере, от столь робкого мазка можно было запросто отречься. Потому я сделал вид, что принял его за случайную опisku, как и не поделился с художником сомнениями о природе своего демиурга. Кроме всего, я опасался, что меня окончательно запутает его плутающая меж понятий речь. А художник заговорил вновь:

— Еще неизвестно, друг мой (отмечу, что он впервые назвал меня другом), кого мы приманим, какой темный смысл прильнет к мозаичному образу. Может вовсе не демиург, не воплощение эпохи, не тот, чьи мы лишь робкие тени, а какой-нибудь мелкотравчатый бесенок, лукавая сущность, готовая накинуть первое попавшееся облачение. Получится дрянная обманка, суммарный образ наших бессильных упований. Оконце в мир, который еще скудней нашего.

— Ты все-таки робок, — упрекнул я художника. — Риск не так уж велик, да нам и рисковать-то нечем. Поставить ли на кон убогую душу, которая вся — чужие слова и заимствованные понятия? Всего-то и ставка — наша бескрылая жизнь, грядущие блуждания среди непоименованных духов.

Договорив последнюю фразу, сулившую наихудшую посмертную перспективу, я и сам испугался. Не понимаю, как она подвернулась мне на язык. Видно, все мое существо исподволь проникалось мне явленным гением. Иль, может быть, это был образ невзначай выпавший из речений художника. Возможно я, хотя и опытный толмач, но упустил там некую угрозу, а может быть, преуменьшил его смятение. Или приобщение к сонму непоименованных духов было нашим с ним общим подспудным ужасом? Художник стоял перед лишь только намеченным портретом эпохи, поигрывая костяным ножом для разрезания бумаги, но достаточно острым, чтоб его исполосовать вдоль и поперек. Я заговорил со смятенным художником, осторожно, как с опасным для себя и окружающих безумцем:

— Да не страдай заранее. Это всего лишь попытка, почти та же игра, которую ты затеял, собрав типичные черты в лик вселенской посредственности, или считай, что прихоть заказчика, то есть моя личная. Коль тебе не хватит таланта, так этот образ тихо опочит, как некрещеный младенец, оставив по себе лишь смутную тревогу, малую отметину на нашей ко всему привычной совести.

Возглашал примерно такие слова и одновременно думал: что я несу? этим ли умиротворишь безумца? чем демон эпохи схож с некрещеным младенцем? Впрочем, договорив, я тут же понял, откуда взялась эта с виду бессмысленная метафора: дом, где до сих пор обитали родители, а я прожил детство и юность, воздвигнут на месте кладбища некрещеных младенцев. Возможно, оттуда грустная сокровенность пространства моего детского существования, которую я всегда смутно чувствовал. Образ уворованного смертью младенца, ангела-демона, все-таки задевал даже мою, защищенную от горнего душу. Он стал для меня тихим зовом печального и таинственного бытия, чуть ни символом всего, что не здесь, а негде. Может быть, художник так и понял, — он знал историю моего прежнего дома и всегда ежился, когда нам случалось бродить в его окрестностях. Странно, однако моя речь и впрямь успокоила живописца, а возможно, он просто устал. Ведь наша с ним беседа, как всегда закончилась

ПРЕДУТРЕННИЙ ГОРОД

под утро. Он погасил, послунив палец, одну за другой недогоревшие свечки, а я вышел на улицу в смутный час, когда ты беззащитен пред угрозами мироздания, но также разверст и благодати. Когда пустынный город открыт неотмирным ветрам, когда тоскливые улицы плетут свой сюжет, неразличимый в дневном свете. Курлыкали голуби, граяли вороны в лабиринтах пустых улиц. Отовсюду неслись шепотки полусонного города. Живописец, если я не ослышался, озабоченно бормотнул мне в спину: «Как бы нам не обознасться?», имея в виду, разумеется, нашего ангела-демона. Почему-то я был уверен, что не обознаюсь. А называть его буду по-прежнему, как придется.

Я шагал не торопясь. Навстречу мне попадались любители утренних прогулок иль просто приподнявшиеся гуляки, встрепанные и странные, каждого из которых я был готов принять за вестника инобытия. Но, вынужден признать, что тем утром не встретил ни единой личности, которая мне показалась бы примечательной. Явление гения эпохи, конечно ж, меня изменило. Нет, я соблюдал свою внешнюю форму, даже еще скрупулезней, чем прежде, настаивал на своей неизменности. Однако то, что мне прежде давалось легко, теперь требовало все больших усилий. Боюсь, немного прохудилась моя капсула, равно спасавшая от жизненного хлада и жара, зато я был открыт чуду. Неужели чуть дала сбой иммунная система моей души, и я, как вич-инфицированный, теперь беззащитен перед раньше безвредным вирусом? Мне иногда казалось, что мое еще недавно практичное сознание теперь сделалось чересчур восприимчивым, готово вцепиться в любую мелочь, чтоб ее положить в основание мира иного, чем тот, где я обитал раньше. Этот новый мир, я чувствовал, уже готов заплетать свой сюжет, как бы в стороне от моего обыденного существования. Но я уже стал путаться, где средоточье, а где периферия.

Так понимаю, что моя нынешняя восприимчивость к тому, что я прежде считал неважным, к мелочам, деталям, ко всему орнаменту бытия, о неслучайности, даже мистичности которого (т.е. орнамента) я вдруг стал догадываться, была вполне законной, коль я решился на поиск гения современности. Знает ли мой художник, что гений может избежать лика, а, скажем, затаиться в листовном обрамленьи чела? Если нет, придется как-то ему подсказать. Давно уж смерклось мое мгновенное озаренье гением, но я стал немного различать сокровенное сиянье жизни. Ведь, чтоб уловить демона, требуется пространство ему соразмерное, — в равное моему прежнему, вовсе уж мелкому образу мира ему б не вместиться. Последнее, не вовсе мне понятное соображение чуть покрутилось у меня в голове, устроив там некоторый переполох. Я вдруг понял, что прежние, необычные и непрактичные мысли, которые я, — помнишь, друг мой? — уподобил, хотя и незваным, но и не то чтоб нежеланным гостям, теперь ко мне зачастили. И, хуже того, я сам, вроде б, как-то незаметно перестал ощущать их пришлыми, чужаками. Как-то они в моем мозгу обжились, став едва ли ни домочадцами. Нет, нет, до этого еще далеко, но, по крайней мере, уже нет такого, что я существую от них отдельно, они — сами по себе. Еще хорошо, что покамест они тушуются, не пытаюсь ворваться в обыденно-деловой пласт моей жизни, чтоб устроить там бучу.

Гуляя по городу, обернувшись лабиринтом, я вдруг подумал, не вечно ль я заморожен демонами? Не всегда ль выполняю чью-то неуклонную волю? Прежде — обыденной жизни, измышленной, вычувствованной поколениями, с ее тухлыми бесенятами. Теперь же кинулся вдогон яркому образу, который мне едва ль ни чудился в небесах, повыше городских зданий. Но он и впрямь, не пустой ли манок, облачное видение? В любом случае, где ж мое своеволие, где моя-то собственная жизнь, какая ни есть? Я ж не робот, наконец, подчиненный чужой программе. На миг я даже усомнился в существовании собственной души. Я ведь напрочь не помнил своего душевного развития, — как я что-либо постиг, сам додумался до чего-то. Я словно б даже и не знал детства, родился уже умудренным, то есть разумным и будто заранее целиком прилаженным к жизни. Моя мудрость разве что совершенствовалась с годами. Ну, вылитый робот, — те, говорят, тоже бывают способны к саморазвитию.

Но я тут же отшел сомнения, в которых, не иначе, повинна межеумочная, предрассветная пора, когда сквозит изо всех миров, а душа зябнет и всегда тревожна. Яркий образ, конечно же, безобманен. В сравнение с ним все остальное обман. Эпоха, которая, нам с тобой, друг мой, выпала, конечно же, не покойна. Кровь проливается легко, но даже и слишком. Выходит, что это и вовсе не кровь, а клюквенный морс или, скажем, блеклая сукровица. Это бурная эпоха, но ответь, почему ж она не видится нам трагедийной? Так, мелодрамой, разыгранной на расцвеченных ярко подмостках мастеровитой, притом не талантливой труппой. Даже апокалипсизм ее кажется мелодраматичным. Когда я по телевизору наблюдал, как рухнули здания, мне почему-то не привиделся гений эпохи в бестревожных небесах. Наверняка он чурается громких эффектов, а все мы и впрямь юркие тени его греха. Он, как я уже говорил, видится мне не идеей, вовсе не обобщением, а именно человеческим существом, в котором целиком воплотился дух современности, давно уж ведущим свою сокровенную проповедь, не таясь, однако нами не расслышанный. Он как напряженный на разрыв нерв нашего времени, его истинная суть. Это мы ко всему глухи, нас способно разбудить лишь эхо архангельских труб, которые сами для нас неполнозвучны.

Как видишь, друг мой, в предрассветный час, нечаянные и, возможно, сомнительные мысли устроили в моей голове парад, воспользовавшись моей задремавшей бдительностью. Да нет, ты и сам наверняка расслышал в них отзвук пророческого гула, который точно уж несомненен. А мне уже почти на пороге моего ложноклассического дома вдруг пришла в голову странная затея. Я попытался, закрыв глаза, вообразить себе эпоху в ее полноте и целостности, в красках и объемах, выражавших ее смысл и чувство. Возможно, и с тайной мыслью зазвать демона в ему пристойное помещение, о чем я раньше, ты ведь знаешь, и не мечтал. Конечно же, знал, что попытка окажется тщетной, но решил воспользоваться межеумочным часом, когда душа вся открыта горнему и вожделеет чуда, а память — прилежная ключница, задремав, уже не так бдительно стережет свои закрома.

Нет, пожалуй, не так — попытаться вообразить эпоху в ее полноцветье даже в предутренний час у меня не хватило дерзости. Скорей, я попытался ее застичь врасплох, когда та была, подобно и мне, беззащитным младенцем, — так ли уж и впрямь умудренным? — может быть, даже менее крикливо обозначившем свое появленье на свет. Мы крепили, росли и мужали обок друг друга, отчасти ведь осененные ангелом или демоном. Я обратил взор внутрь себя, пробежался теперь свободной от мирских задач памятью вспять по все истончавшейся тропке, вдруг ощутив нечто созвучное радости. Перспектива души иная, чем видимого мира, оттого кончик пути, аппендикс, так и остался тонок. Он поигрывал, как змеиный хвост, бередя своим кончиком давнюю рану. Для начала вышло не так плохо: среди туманных под утро полей моей памяти, в конце истончавшейся тропки образ новорожденной эпохи вскинулся на миг, потом же увял, как там и все увядало. Честно скажу, я не надеялся на большее. Новорожденный образ был таким, что не описать словами, не стану и

пытаться. Больше всего похож на ком податливой глины, разминаемый могучей и нежной рукой. Прделанное впервые упражнение я решил сделать постоянным, надеясь, что, развив способность к некорыстным воспоминаниям, сумею-таки призвать гения эпохи. Не думай что таким образом, я постараюсь утвердить свою власть над ним. Куда мне? До такой степени мое нахальство не простиралось.

Да, чуть не позабыл

ЖЕНЩИНЫ

о полудурке, сочинившей мне песню про ангелочка. Не помню, в тот ли раз, когда я впервые решился понудить родительскую память, или снова нашел повод, но все же я и о ней расспросил отца и мать, кажется по отдельности. Тут они оба не оказались беспамятными. Если б не был уверен в нравственной безупречности родителей, я мог заподозрить их вину перед бедной родственницей. Впрочем, их душевная чистота не знала самодовольства, крепкие духом, они жалели убогих и сирых. Оба они мне сообщили немало жалких подробностей о бедной тетушке, которая вряд ли все же была нам кровной родней, слишком уж иной породы. Она ко всему еще была эпилептичкой, а я уже говорил, что безумье к нашей семье никогда б не смогло прилблудиться. Так и погибла моя условная тетушка, в не старых годах, захлебнувшись пеной своего безумия. Мать сетовала, что не записала ее песенку про ангела, почему б не имевшую литературную ценность? Однако ни единой строки не смогла припомнить, а жаль. Но тетушкин образ они оба сумели описать необычайно зрительно. Я словно б видел воочью, как та лежит в сосновом гробу, одетая по нищете в потертый халат. Я словно б видел воочью ее пухлые губы, лепетавшие песню об ангеле, только лишь ко мне обращенную. Я преподнес живописцу именно эти губы, умевшие возгласить ангельскую песнь. Губы женские, но эта деталь, мне кажется, мало отлична у мужчин и женщин. Теперь на холсте, ниже бдящих зрачков разверзлось зиянье полуоткрытого рта, — зов ниоткуда, возможно и в никуда. Надо признать, что гений эпохи был намечен храбро и вдохновенно. Художник оказался не столь бездарен, как мы с ним оба считали.

Тут, мой друг, в связи, как ни крути, все-таки с женскими губами, имеет смысл задаться вопросом — каков пол демона эпохи? Может, мой гений андрогинен? А почему б ему и вовсе не оказаться женщиной? почему б не предстать в образе воительницы Афины? Я ведь не мужской шовинист, для этого слишком умерен. Тут опять помеха мое невежество в сфере нематериального бытия. На великих картинах ангелы, кажется, бесполы, но все-таки скорее мужчины, а бесы — мужчины, все, как один, подчас даже с явственной половой приметой. Но слышал, бывают и демоницы. Любопытно, почему мой художник не задумался о половой принадлежности гения, по крайней мере, как помню, со мной эту загвоздку не обсудил. Притом, что в одной вдохновеннейшей своей речи, и даже более чем всегда невнятной, он назвал весь наш мир лишь сережкой в ухе великой богини страстей, или, не помню, может быть, гребнем в ее волосах. Нет, кажется, бусинкой в ее ожерелье. Хотя, вероятно, я его как всегда неверно понял. А, может быть, как раз верно, — по его проговоркам я знал, что в юности он был увлечен демоничными женщинами, которых называл лярвами. Хотя ведь художнику наверняка свойственно романтизировать семейные склоки.

Предположу так: будучи единствен, демон эпохи каждому способен явиться в приемлемом облике. Хотя он наверняка приобщен и к женским свойствам, но мне мог предстать только в мужском обличье. Возможно, в том повинна мама, благородно меня избавившая от подспудных страстей, ибо ни в чем не сходна с Иокастой. Столь внятная и хозяйственная женщина, всегда мне видевшаяся в обрамленье быта, никак бы не просочилась в мое подсознание со своими кастрюлями, маринадами и отчасти придуманными женскими хворями. Под благотворным материнским влиянием я сам стал своего рода экзорцистом, своей обыденностью вмиг смиряя женскую демоничность, как и, наверно, их возможную гениальность. Любая разрушительница-мегера была готова стать созидательницей нашего с ней семейного очага. Однако меня это почему-то не вдохновляло, — и впрямь, чем тут вдохновиться? Мой мужской опыт был обширен, но неглубок. В этой своевольной сфере, где может отличиться и любая посредственность, исполнившись вины и злодеяния, я был опять-таки непримечателен — неутомим, не боялся простительных извращений, причем умеренно похотлив, скорей любопытен. Вспоминаю лишь длинную вереницу умных и простоватых, красивых и так себе, ухоженных и не слишком, но в чем-то одинаковых, бездушных, как выстроенные в затылок манекены. Я с ними обходился честно, пожалуй, и дружелюбно, но можно сказать, не рассчитывая. Чурался витиеватости женского чувства, как и напитанного страстью женского ума, то есть не приносил жертв великой богине, для которой весь мир лишь перстенок на мизинце.

Расставался я с женщинами легко и беспечно, почти без обид. По природе не будучи занудой, я умел занудить любовь, обратив в какую-то тягучую скуку, невыносимую для даже самой страстной женщине. Я мог просыпать женщину сквозь пальцы, будто горсть праха. Этим признанием, — ты знаешь, друг мой, — я вовсе не хочу принизить женщину, скорей уж самого себя. Я был, конечно, по-мужски привлекателен, однако, не обольщаюсь, — почти уверен, по той,

наверняка, причине, что моя заурядность давала простор воображению. Как белоснежный экран, был пригоден, чтоб там разыграть любую мелодраму. Не знаю почему, наверно из простой вежливости, я, не склонный к актерству, в общении с другим полом избрал некую манеру, которую где-то подсмотрел, чуть пошловато-игривую, но без гротеска. Напрасный труд, проще было целиком отдаться женскому воображению. Но, в общем-то, ему и не служили помехой крохи моей индивидуальности, — каждая лепила мой образ по своему произволу. Чего только не напридумали влюбленные женщины, — если б собрать вместе все их заблужденья и фантазии, я сделался бы сто-лик, мог себя вообразить ярчайшей, богатейшей личностью эпохи. Я был незначителен, но, может быть, и опаслив, — слишком здравомыслен и, в общем-то, скромнен, чтоб поддаться женским чарам. Да и на страже моей заурядности мне виделась вечно дбдущей моя мать, вооруженная пылесосом, шваброй, сковородкой и другими священными атрибутами бытовой магии.

Притом она, — ну, и отец, конечно, — страдала от моей бездетности, как всегда, безмолвно и вежливо. Я, собственно, лишь об этом догадывался. Как иначе? Тут и женский инстинкт потетешкаться с внуком, тут и ответственность за продолжение рода пред чередой благородных, как она считала, праотцев. Да и вообще, моя перспектива так и прожить холостяком, наверняка должна была их пугать, как недопустимое в приличном семействе чудачество, притом обернувшееся их собственной жизненной нестячей. Я, в общем-то, не собирался прожить бездетным, однако, деторождения опасался не меньше, чем женских чар. Даже не знаю почему, испытывал какое-то сложное, составное чувство. Ну, понятное дело, лишняя ответственность, — за чью-то иную, не свою собственную жизнь, все ж сокровенную, хотя мой будущий младенец вроде б и не сулил неожиданностей. Может, боялся, что умиленный младенцем, размякну, рассусолюсь, стану негоден для трезвого и жесткого существования. Или прямо наоборот — буду к нему безразличен, тем снова убедившись в своей душевной скудости. Но вот что, наверно, важнее: должен признать, — а ты, мой друг, видимо, угадал, — что я, возможно, не меньше, чем женских чар, опасаясь своего детства, когда был доступен неотмирным страхам — ведь тут уже будет истинная переключка памяти, а кто знает — что аукнется, где откликнется? А, может, все это мура, а мой истинный страх — усопший некрещеный младенец, на косточках которого воздвигнут дом, где прошло мое детство. Хватит, друг мой, остановлюсь, докопавшись до жутких видений. Лучше еще немного расскажу о женщинах, которые в моей жизни вовсе не страшная, чуть игривая тема, как и вообще величавые темы в ней завелись лишь недавно.

Допускаю, я все-таки немного взыскан великой богиней, по благодати, не по заслугам. Впрямь ведь среди женщин попадались и любящие. Я-то сперва сомневался: как можно меня любить? что во мне полюбить? Все так деловито, прилажено к повседневному бытованию, никакого избытка, который, наверно, и есть душа. Но ведь в пустыне просторно для миражей, а что проще и естественней полюбить, чем собственную мечту? Иные женщины в своей страстной погоне за миражом вообразили меня самого почти что гением современности. Вот эти-то, наверно, как раз и сами были с крупницей гениальности, ведь им пришлось меня выдумать от и до, притом, что я, — ты знаешь, — вовсе не склонен к самозванству.

Одна из них, как потом выяснилось, самая мне дорогая, даже единственно ценная, — почти и не манекен, не маска с застывшим единственным выражением, — меня едва не разоблачила. Может, все дело в том, что она была со мной нежна, а я не знал материнской нежности, одну только заботу. Но ведь и другие бывали нежны. Однако это был редкий случай, когда я, способный лишь откликаться другому чувству, тоже испытывал пусть и отраженную нежность. Так и или иначе, но в отношениях с ней я до того размяк, что, кажется, стал проговариваться, может быть, во сне. А, возможно, она была действительно прозорливей других. Иногда мне казалось, что женщина в точности повторяет мои неожиданные мысли. Причем даже с неким укором. Она как-то и открыто меня упрекнула, что, мол, я вечно придуриваюсь, таю от людей богатства собственного ума и духа. Вот оно как. Мое лицо приняла за маску, а сущностью предположила мой случайный дар, таимое чудачество. Все ж она чуть задела, тронула большое своим ноготком, поэтому для меня незабвенна. Она вскоре пропала бесследно, будто в воду канула, притом, что я обнаружил пропажу спустя некоторое время. С тех пор не давала весточки. Хочу думать, что она жива и благополучна, — к чему лишний грех моей почти безупречной совести? Думаю, сознала мою ничтожность и потихоньку сбежала без объяснений и драм. И все же она оставила в моей притаившейся душе какой-то рубчик и теперь тихо старится в туманных полях моей памяти. Пожалуй, хватит, друг мой, сам знаешь, как я терпеть не могу мужских откровений о бабах. Да и к делу это вряд ли относится, — гений современности, конечно, мужчина. Может быть чуть андрогинный. Художник и сам, если надо, обогатит его женскими свойствами, — ведь и в его портрете вселенской посредственности, как я убедился, к тому приглядевшись при дневном свете, внятно сквозит влившаяся в него лярва.

Все же у той единственно запомнившейся женщины, было необходимо похитить какую-либо черточку, чтоб ею обогатить образ гения эпохи. Я вызвал ее в памяти уже чуть постаревшую и всю разглядел с новой корыстью, хотя знал, что корыстная память всегда немного привирает. Уши, нет, откровенно женственные, как и ее подбородок. Щеки чересчур

пухлые для демона, не пойдет. Но вот победная родинка над левой скулой может согдиться. Нечто подобное мне почудилось в явившемся мне лике, — именно по смыслу, а не натурально. Но, в конце концов, ни к чему не обязывавшая точка, может быть, опять-таки помарка.

Художнику я не признался, кому принадлежит или принадлежало похищенное пятнышко. Может, он сам догадался, по крайней мере, ни о чем не спросил, а лишь прицелившись, зажмурив один глаз, нанес ее на полотно. Вроде бы черная точка, но враз придавшая асимметрию будущему образу и тем некую живость. Прежде нанесенные на холст детали были, наверно, слишком ответственны — лоб, распираемый мыслью, пронзительный взор и ворожившие губы с их провиденциальным лепетом. А тут всего только

В ПОИСКАХ ГЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

намек, какой-то боковой ракурс, но и наметивший будущий абрис лика гения современности. Вышло неожиданно сильно, живописец и сам остался доволен, что, как ты знаешь, с ним случалось редко.

Пожалуй, из своей и чужой памяти я вылуцил все, что мог. Теперь предстояло нырнуть в гущу жизни, внимательней приглядеться к живым, а не оболганным или возвеличенным памятью людям. Взгляд мой всегда был хватким и небескорыстным, я умел, как немногие, выковыривать из булки изюм. Но теперь его (взгляд, конечно) следовало иначе настроить, вооружить по-иному, от чего наверняка переменится сам жизненный ландшафт. Но может случиться и хуже — их будет два, наложившиеся один на другой. Мягкий, чуть ни ласковый, по крайней мере, привычный пейзаж, где пролегает мой уверенный путь, вдруг да ощетинится колючими скалами вечной породы. Притом я все же не собирался пустить в распыл свои умения, как изначально дарованные, так и благоприобретенные. Имею в виду, что не собирался впадать в раж, в безумие, мне, казалось, генетически не грозившее, но ведь кто его знает. И так, с того мига, когда мне явился гений, — ну, не прям с самого того, а постепенно, — я сделался чуть нервозен. Ни к селу ни к городу наорал, с неожиданным надсадом, на свою секретаршу, вопреки обычной, — ты знаешь — вежливости с меньшими братьями и сестрами, — кажется, мелочь, но все-таки непривычный сбой в моем урегулированном существовании. Мои сновидения, прежде были вовсе не фантастичными, словно фотоснимки жизни, лучше сказать, ее черно-белая хроника. Так и осталось, но теперь пленку будто запускал пьяный киномеханик, — она рвалась, путались части, иногда он ее запускал задом наперед. Так понимаю, что моя жизнь томилась, подточенная гением, притом упорно хранила верность себе самой. Имею в виду, что все же чуралась многоцветных фантазий. Пленка рвалась, и, казалось, в разрыв должны излиться пророческие видения, или хотя бы просверкнуть основа бытия, куда гений эпохи вмурован, как муравей в янтарную каплю, но нет — чернота, вместо просверка истины одна только искристая морось, наподобье августовского звездопада. Одна радость, что демон современности, исподволь подтачивая мое нравственное здоровье, не задевал здоровья физического, которое пока оставалось отменным, к тому же укрепляемое, как растительно-химическими снадобьями, так и механизмами, призванными взбодрить твою плоть.

Я уже говорил, что в нашей среде успешных или полууспешных, по крайней мере, полноправных граждан века сего было напрасно искать приметы гения. Сплошь хваткие парни, будто скроенные по одному, притом довольно бездарному лекалу, в усредненном возрасте, то есть будто б навсегда плененные средним. Как добросовестный разведчик, я и к ним пригляделся своим обновленным взглядом. Тьфу ты, даже досадно, — у меня-то прирожденный талант мимикрии, а те привлекали парикмахеров, модельеров, портных уж не знаю кого еще, чтоб сделать из себя однотип, чуть сходный с изображенной художником вселенской посредственностью, но тот, на портрете, и выглядел никаким, а эти воплощали в том числе и худшие свойства эпохи. Какое-то серенькое, неромантичное зло, — а ведь среди них, я знаю, попадались и настоящие душегубы. Они столь успешно вытравили отпущенные им природой или Богом ошметки индивидуальности, что даже злодейство словно б не привилось к их душам, еще скудней моей собственной. Так и вертится на языке запретное клеймо: «пустой человек». Впрочем, я, как ты знаешь, не богослов, и в качестве агностика вполне допускаю, что у них свои отношения с горним, — взгляни хоть на горделивые золотые крестики, болтающиеся на их шее, как удавка. Но к гению эпохи эти парни очевидно не причастны.

Прежде избегая необязательных сборищ, я теперь стал посещать места, где, как считалось, собираются люди значительные — умники, таланты, не мне чета. Только не политические собрания, — ведь я и сам когда-то значился меж основателей Партии гуманности и прогресса, — кажется, так называлась, давно это было, — потому знаю, что там за человеческая гниль, мелкие бесенята, обсевшие поверхность гениальной эпохи.

Даже странно, что я не искал гения современности среди композиторов и музыкантов, хотя можно было запознать, что искомый гений словно б родился из духа музыки. Но дело в том, что я к ней с детства испытывал боязливое чувство. Мои родители любили музыку, но как-то простецки, — даже музыкальный демон им оказался безвреден.

Посещали концерты; в нашем доме старенькая радиолa, случалось, целые дни исторгала величавую классику, разрывая мне душу. К музыке я рано оглох, избегая душевной сумятицы. Но, кто знает, не скопилась ли она в каких-нибудь тайных пазухах, — но тогда она там стала истинной музыка, не звучаний, а мерцающих смыслов.

Зато рискнул посетить философскую конференцию, к тому же надеясь, что высокие умы где-то сболтнут о демоне эпохи, — ведь наверняка он их скрыто направляет. Но сразу убедился, что нынешние умники — экзорцисты еще почище моих папы с мамой. Они-то — в простоте душевной, а тут будто настоящий заговор против демона современности. Можно восхищаться, как ловко теперешние мыслители присвоили атрибуты гениальности, сложив заклинания, которые надежно отпугнут и демона, и ангела. В их компании увянет любой гений, а лица такие, что любая их черточка напрочь убила б наш с художником замысел. Помню тухлый, унылый зальчик с самодовольными портретами: Аристотель, Платон, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант, Гегель, Маркс, которого не решились убрать, но и отереть пыль с него, к тому еще фотография Лакана, почему-то с подписью: «Батай». Что здесь путаница, я не мог ошибиться, — был удостоен лицезреть обоих как-то на парижском коктейле. Тогда я толком не знал, кто такие, но учуял общее к ним почтение, потому внимательно разглядел, а не перемолвился из-за недостаточного владения иностранными языками. Впоследствии узнал, что как раз их-то многие считают гениями современности, но, что удивительно — в их облике, теперь вспоминая, я не распознал ничего общего с тем гением, что мне как-то явился.

Позже я полюбопытствовал заглянуть в их творения. Не скажу, что много понял, но сперва оценил вдохновенность их теургии. Поначалу могло казаться, что они приманивают гения эпохи, но нет, подозреваю, что они его отпугивали куда более умело и надежно, чем пыльная академическая скучища. Причем усложнение мысли становилось даже комическим. Конечно, не мне судить, но было чувство, что они, не исключая, сознательно, расположившись спиной к истине, комически извиваются, чтоб на нее все же глянуть, а, может, наоборот — увернуться. Они словно очерчивали пустоту, где мог бы гнездиться гений, но вот образа как раз и не возникало. Кажется, весь мир им виделся дурным нечто, досадно ускользнувшим от символизации, где не нашлось бы места ни ангелу, ни демону.

И все же на помянутой конференции я добыл для художника еще детальку. Один человек меня все ж заинтересовал своим выразительным обликом. Не из тех, кто произносил речи или участвовал в прениях, — он и вообще молчал, лишь скептически ухмылялся, даже иногда подхихикивал в ладошку. Возможно, своим мыслям. Он был курчав и горбонос, с заостренным подбородком, узок лицом, будто склеенным из двух профилей, кажется, чуть горбат, по крайней мере, сутул. Вроде б отрешенный, он вовсе не выглядел случайным посетителем вроде меня. Хотя себя вел не шумно, лишь иногда тихонько притопывал ногой, но был замечен, — мне казалось, что велеречивые мыслители изредка бросали на него чуть тревожные взоры. Не исключу, он был лицом здесь известным.

Должно быть, чем-то и я привлек его вниманье. К моему смущению, он начал подмигивать почти интимно, даже намечать какие-то рожицы. Он, видно, заметил, что я чужой на этом пиру мысли, которая тут казалась плотна, но бесплодна, что я утомлен и разочарован. А может, это моя фантазия, а он просто некий дурачок, городской сумасшедший, зашел погреться. Мы с ним потом столкнулись в гардеробе, и он мне что-то шепнул на ухо, прежде чем пропасть, как не было. Даже — чушь какая! — я на миг вообразил, что тот произнес пароль и теперь ждет отклика. Я успел незнакомца переспросить: «Как-как, что вы сказали?», однако он исчез так неожиданно, что я усомнился: а не привиделся ль мне, как некое философское видение, призрак конференции? Пожалуй, все-таки нет — он казался другой породы, и шепот его еще долго звенел у меня в ухе. Только вот, что именно он сказал? Притом, вроде, внятно, выделяя каждый звук, но слова были незнакомыми, да и звучанья мне показались словно б иностранными. Впрочем, не могу похвастать, как уже признался, глубоким знанием иностранных языков, — так, на уровне практической необходимости и банального трепа. Но мне почему-то кажется, что он все-таки был не иностранец, хотя кто знает. Да и русским-то я совсем не уверен, что владею в полном объеме. Отчетливо прозвучавшее слово затем превратилось в зрительный образ, и подчас будто вспыхивало на стенах, начертанное незнакомым мне шрифтом. Потом забылось навсегда.

Художнику я преподнес курчавую шевелюру, похищенную у незнакомца. К тому ж попытался произнести нашептанное им слово, тогда еще не забытое. Мне показалось, что вкупе с курчавой шевелюрой оно встревожило живописца. Художник вместо обычной невнятно-вдохновенной речи только и произнес: «Ага». Можно представить, о чем, точнее, о ком он подумал. (Ты ведь тоже догадался, друг мой?) Надо сказать, он вообще в последнее время стал ко мне относиться прохладно, словно к опостылевшему настырному заказчику, — а возможно, и боязливо. А может, я тут и не при чем, а его допекала очередная лярва, так как в его жилье мне на глаза стали попадаться женские приметы. Но Бог с ним, пусть даже меня возненавидит, главное, что портрет обогащался, уже не гляделся диким и пугающим, сохранив неукротимость все определенной намеченного облика.

Не стоит думать, что я посещал только пафосные собрания — вернисажи, премьеры, концерты и тому подобное, — где, как я убедился, тоже царит однотип. То есть все будто создано коллективным творцом, который, возможно, талант, но не гений. Наверно, это и называется стилем эпохи, который поверхность, а не ее сокровенная суть. Кроме всего, я теперь не чурался

В ПОИСКАХ ГЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

городской толпы, здесь уповая на количество, не на качество. Стал ходить пешком, от чего давно уж отвык, надеясь, что среди изобилия черт обязаны ж мне попасться пригодные. А может быть, втайне надеясь, что гений вдруг сам прынет из толпы мне навстречу, но такого не случилось, и, как я понимаю, вряд ли могло случиться. В толпе я немного терялся, делался неразборчив, случалось, потом буквально заваливал художника деталями, которые счел выразительными. То приносил чье-то ухо, то подбородок, то щеки с какой-то характерной деталью. Живописец пытался их кое-как приладить к портрету, однако не прижилась ни единый выхваченный из толпы фрагмент. Постепенно я впал в охотничий раж, целых лиц почти и не видел, только детали, где известно, кто мог таиться. Мне уже и снились по ночам расплосованные лики, однако не кроваво, а будто изрезанные портреты.

Ты знаешь, друг мой, что к театру я давно уже стал подозрителен. Даже в детстве начал догадываться, что это искусство иллюзии, причем в его пошлейшем виде, аляповатый концентрат жизни. Отренированные, пустопорожние страсти, условные пространства, в которые нам предложили верить, властители, увенчанные короной из папье-маше в сусальной позолоте, все обилье обманных аксессуаров. Выходит еще надстройка иллюзии над вселенской иллюзией. Если актер талантлив, тем хуже — он умело подтачивает, заранее профанирует тот яркий образ, который мне явился, как гений современности; остальных же снабдил лукавой обманкой. Последнее время, только речь пойдет о театре, я нервничаю и раздражаюсь. Видимо, повинна моя все растущая чувствительность к ложному. К тому ж, было время, я к нему относился слишком всерьез. Ты ведь помнишь, что я, как многие посредственности, в пору юности был заядлым театралом. Позже, если не брезговал театральным зрелищем, то лишь с целью укрепиться в распознавание обмана. Потому и не предлагаю побивать скоморохов, что театр в этом смысле полезное руководство.

Ты уж понял, друг мой, к чему я клоню. Я таки впервые за много лет посетил театр, со смесью отвращения и любопытства. Пьеса была какая-то современная чернуха, сюжета я так и не уловил, даже не понял, наша она или иноземная. Впрочем, не виню драматурга, уверен, что тот не хуже прочих. Может, там сюжет и вовсе не предполагался. Признаю, что действие было жизнеподобным: существование не воздвигнутое на котурны, а вовсе наоборот — уродливо искаженное, что иная неправдивость. Собственно, я пришел смотреть не пьесу и не спектакль целиком, но актера, исполнявшего главную роль, новую знаменитость. Как его? Ну, неважно. Должен признать, что он-то был в своем роде хорош. Нагнетая чувство с каждой сценой, под конец он уж рвал страсть в ключья. Вот уж яркий образ — ну точно современный демон. И внешность какова! Сходство с моим гением делалось иногда просто пугающим. Даже замечательно вооруженный против театральщины, я подчас забывал, что над его внешностью поработали гримеры, а выражение страсти лишь результат мастерства.

Но вот она, сила искусства. Я после спектакля час целый топтался у служебного выхода, как, — помнишь? — случилось, мы с тобой вместе в давние годы юности. Спросишь: зачем? Разумеется, не из чистого упоения, как бывало тогда. Нет, не отрицаю некоторой захваченности образом, слишком похожим на ниспосланного мне демона, однако и не без коварной мысли подглядеть, каков тот актер без грима. Дождался. Ну что ж, как и думал — без грима и антуража, с обычным выраженьем лица, вовсе не гений, а умелый мистификатор, хоть и немного поярче окружающего бесцветья. Но все ж я будто коршун ринулся на добычу, в том смысле, что своровал его мощный, раздвоенный подбородок, выражавший непреклонную волю. Не знаю, сколь актеру присущую в жизни, но гример его подбородок никак не сумел бы подправить. К собственному удивлению, я побрел вслед за актером, как за ускользнувшей мечтой, или будто влюбленный за предметом страсти. Его путь был ненаправлен, даже словно путался, вилял кривоколенными улочками. Актер шел чуть горбясь, наверно, усталый, опустошенный, как уже одна форма без содержания. Преследования он не заметил, а у меня и мысли не возникло его догнать и к нему обратиться. Не жалею, что упустил его в очередном проулке. А сворованный подбородок легко занял свое место на почти готовом портрете, точно вошел в приготовленный паз. Однако не заметил, чтоб это обрадовало живописца. Он и вообще с каждым днем делался все мрачней и тревожней. Ворчал, как обычно проперхавшись и помямлив:

— Гляди, это еще и не целый облик, но уже властное предчувствие (его слова!) Пустоты словно ведают будущее. То не пространство, где вольно витать нашей фантазии. Ты сам глуховат, а для меня они как громовое пророчество, всевластная воля, пред которой мне должно склониться.

Тут уж я наверняка упростил его мысль, но так понял, что и он теперь захвачен гением современности. Но, коль сказать еще проще, он явно трусил, ведь был робким творцом, которому любое зиянье наверняка виделось пробоем от вышних небес до преисподней. Но раньше я и не думал, что он так радеет о цельности своего расхристанного существования. Мне-то хаос его жизни всегда казался метафизичным, но живописец, как сам признал, всегда искал опору в моем здравомыслии, а вышло так, что именно я и смутил его каким-то залетным демоном. Да нет, если б, — именно что не залетным, а самим гением современности. Это ль ни худшее предательство? Он ждал, что я подам ему грошик, а я будто искуситель, посулил изверившемуся, уже бескрылому творцу несметные сокровища, которые бедняк даже и не ведает как применить. Мне стало жаль художника, — меня, который действительно глуховат к горнему, отмаливала некая безбожная молитва, которая — гул всеобщего бытованья в мире, а бедного живописца всего только его косноязычная ворожба. Я попытался его ободрить, чтоб попасть в тон столь же велеречиво:

— Ну, вот и здорово. Теперь ты в полной мере художник, наконец-то почувствовал могучую длань на своем запястье. Мог ли ты мечтать, что тебя вдохновит сам гений современности? Кто знает, может ты сейчас на пороге дома, который тебе, казалось, вовек недоступен?

— Гений ли современности? — воскликнул в ответ художник. — Не демон ли наших с тобой безумья и гордыни?

Бред, конечно, но и впрямь, кто знает. Как известно, гениальность с безумием соседствуют. Что ж касается гордыни, то лично я скромнен.

— Гляди, почувствуй, — настаивал художник, — он уже овладел пространством. Тут, как ты заметил, не те хоромы, о которых я давно уже устал мечтать, где каждая емкость — высокая мысль и вдохновенное чувство. Здесь он будто царь, облаченный в рубище. Я слышу, как на нем трещит одежда не по размеру. Моя жизнь трещит по швам, так-то, мой храбрый исследователь.

Я невольно усмехнулся титулу, которого меня удостоил живописец. Я вовсе не храбрец и уж точно не авантюрист, просто не привык упускать выгоду. А куда уж большая, по крайней мере, для меня, истомленного безрадостным ландшафтом своего скудного бытования? Наверно, в чем-то я переоценил художника, как в чем-то и недооценил. Он оказался осторожней меня. Я даже подумал: а не уклончивость ли изламывает его речь, придавая значительности? Нет, все же не только она. Ведь выяснилось, что он взыскан наверняка придирчивым гением. Надеюсь, что художник все ж не отвергнет дар благодати, который наверняка втайне, робея, испрашивал. Гений и впрямь завладел его жилищем. Имей больше фантазии, возможно, и я б ощутил пророческий зов пустот. В сравненье с незаконченным шедевром его прежние полотна и вовсе увяли, а женские приметы, прежде грозные, теперь казались трогательными и смятенными.

Меж тем, и я сам, друг мой, чувствовал, что демон эпохи, явившись только раз, исподволь овладевает моей жизнью. Она пока еще не сбила, ибо настойчив был заданный издревле ритм, но была словно уже вовсе предоставлена самой себе, катилась по инерции, а ведь катиться можно только под гору. Равнинный ландшафт моей жизни и впрямь будто вздыбился — где-то на вершине, среди облаков туманно реял гений эпохи, откуда мир нашего скудного бытования мог видаться летящим под откос. Я все-таки сохранял видимость жизненного благополучия, как всегда совершал все должные бытовые обряды. Автопилот оставался надежен, — может быть, со стороны я виделся еще более вжившимся в срединное существование, чем прежде, но там уже не сквозили даже легчайшие веянья духа. Иногда свербила мысль пресечь жизненный марафон, сойти с дистанции на обочину. Казалось, почему б нет? Я довольно уже намолотил бабла, чтоб долгие годы не заботиться о хлебе насущном. Но это слишком для такого как я середнячка, и жертва чересчур велика. Ведь у меня и нет ничего, кроме умения держать жизненный ритм. Допустим, пожертвую своим туповатым существованием, но что мне останется? Призрачный гений, праздные, хотя и красивые соображения, — праздный простор, где наверняка возрастет лишь безумие. Но тебе, друг мой, признаюсь в том, в чем никому б не признался: меня иногда посещает сладкая мысль — скажи, кем нашептанная? — стать садовником или пусть мусорщиком в Гефсиманском саду. Но всякий раз мне слышится протестующий вопль всех моих предков. Ладно, хватит. Что-то я стал слишком откровенен, а разведчик должен таиться.

Короче говоря, я вел двойную жизнь. С утра — практичен и сух, по вечерам становился юрким и зорким, шнырял там и сям, потом вываливая перед художником ворох неприменимых деталей. Его комната превратилась в прозекторскую, или как там зовется? В общем, повсюду, на листах, на холстах, даже на обоях — обрубленные уши, носы, и еще вроде б совсем лишнее — бородавки, родинки, пигментные пятна. Я и сам теперь к нему заходил с опаской. Притом бесстрашно продолжал изыскания.

Ты знаешь, что как потомственный интеллигент, я уважал все

В ПОИСКАХ ГЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ (ОКОНЧАНИЕ)

искусства, — в качестве развлечения, украшения жизни, милых побрякушек, приятных излишеств, непонятно почему так высоко ценимых. Впрочем, ведь и драгоценные камни, вовсе не обязательные для жизни, и, честно говоря, не такие уж красивые, стоят несуразно дорого. Сужу объективно, так как мой прадед владел ювелирной фирмой. Но дело не в том. Уважительный скопом ко всем искусствам, я когда-то искренне любил одно лишь — поэзию. Она для меня будто спархивала с книжных страниц. Не знаю почему, но меня завораживали эти ритмичные звучания, странное и бескорыстное применение языка. Им в ответ пели какие-то душевные струны, память становилась нежной, а существование стерпимым, хотелось плакать, но не горькой слезой бессилья или обиды, а прозрачными, горными слезами. Я и сам в детстве пытался стихоплетствовать, — не то чтоб удачно, но все ж нечто напевное отзывалось в тех несовершенных звучаниях. Родители сперва поощряли мои стихотворные упражнения, даже, к моему горделивому смущению, их зачитывали на семейных торжествах. Потом, заподозрив страсть, деликатно и умело старались отвадить от стихотворства. То и сошло на нет, но не думаю, чтоб их стараньями. На пороге юности как-то само иссякло. А, может быть, — не помню, — я сам заткнул этот кастальский ключик. Вряд ли ведь у меня был настоящий талант, — тогда и стоило обрубить культы, которые потом бы всю жизнь бесцельно и мучительно болтались за моими плечами вместо пригодных к полету крыльев. В начале юности я отверг поэзию, как нечто слишком сентиментальное, чувствительное, демобилизующее, что будет помехой в жизни. Уже тогда у меня вызрел суровый и внятный жизненный план, который я и осуществлял с тех пор, подробно и неукоснительно. Теперь же, как я признался, больше, пожалуй, он осуществляет мою жизнь. После того, как покончил со стихотворством, я оглох и к чужой поэзии. Нет, оглох не то слово, — и не охладел, — скорей, стал ее избегать, как соблазна. Теперь же в поисках своего демона я так осмелел, что наконец отважился вновь приглядеться, если не к стихам, так к стихотворцам. Это было неизбежно при том исключительном значении, которое я некогда придавал поэзии, пусть и в очень давние годы.

Значит, я видимо не случайно попал на выступление известного поэта, — хотя и не намеренно, просто увидел анонс. Его стихов я прежде не читал, но имя слышал не раз. Если судить с чужих слов, он был примечательной личностью эпохи, если не великой. Были годы, когда его полагалось знать и хвалить. В общем, наверняка хороший поэт, нисколько не сомневаюсь, — с негромкой, но почетной славой. Когда ж, он, канув на десятилетье, вернулся из дальних стран, то на краткое время стал даже событием. С тех пор он давно выпал из суетного общественного внимания, но был, как прежде, ценим знатоками. Наверняка ни одна антология, хрестоматия не обходится без его стихов, там коротавших вечность. Мне его имя казалось прочно вмурованным в давно канувшие времена, так что я твердо относил поэта к сонму опочивших классиков и удивился, обнаружив его имя на афише, как ни в чем не бывало.

Я раньше никогда не общался с поэтами, полусознательно их избегая, потому (что) они мне виделись в сияющем ореоле, едва ль не увенчанные лаврами. Не берусь судить о каждом, но этот был не таков — скромн, одет неприметно, кстати, оказался моложе, чем я думал. Внешность такова, что я б в нем не заподозрил поэта. Впрочем, напомним, что их прежде видал лишь на книжных портретах и фотографиях, да еще в телевизоре, где все держится неестественно, — знаю по своему опыту. Его лицо, тоже обычное, лишь слегка испещренное былыми страстями, в моем представлении непозитическое, хранило следы убитой гордости. Поэт тревожно, слегка уныло озирал полупустой (sic transit!) зальчик. Его стих ворвался мне в сознание с полстрочки, сделав почти то, чего я и боялся долгие годы. Вновь запели тайные струны, отозвавшись ритмичной ворожбе. Я был опять заморожен поэзией, не его именно, а как таковой. Но поэт был наверняка талантлив, на фальшивку я не поддамся, ты знаешь. Не скажу, что я был разочарован его обыденными повадкой и обликом. Скорее, наоборот — в сочетании с мутными, манящими образами его стихов обыденность лица и повадки казалась тайной, отсылающей к неведомому. В моем сознании даже на миг будто б замерцал гений эпохи. Но морок вскорости развеялся, я начал смутно догадываться, что безумие поэта не то чтоб симулированное, но, странным образом, довольно продуманное.

Да, друг мой, тут наверняка виной мое преувеличенное представление, если не о поэзии, так о поэтах. Но впрямь, что ль, они живут средь облаков? Нет, я, конечно, не сомневался, что телесно они вполне люди, и мелочны бывают, как мы с тобой. Притом был уверен, что истинным творцам их творенья нашептывают музы, что они вспыхивают от небесной искры. Казалось, Бог, как Его ни понимай, Мир, История, Рай и Ад (как их ни понимай) — вот чему творец предстоит, а тут довольно очевидно приплетались какие-то побочные соображения. В своих стихах поэт будто беседовал с кем-то за сценой, даже спорил, а временами словно в чем-то оправдывался. Будто б у них, поэтов, существовали какие-то условия и условности, некие договоренности, неведомые нам, простакам, взыскующим истины. Может, я и не прав, но мне вдруг так почудилось. Я вспомнил определение моего живописца, не важно чем спровоцированное: диалог вертикальный и

горизонтальный. У поэта горизонтальный подчас заглушал вертикальный, а в последних, как он сообщил, стихах, так и вовсе затер окончательно. Тут я, теперь чувствительный к любой профанации, отправился в буфет выпить коньяку. Поэт был наверняка замечательный, но, спознавшись с гением современности, я стал, может быть, чересчур требовательным.

Я, друг мой, все ж упорно храня остатки здравого смысла, отнюдь не склонен в любом совпадении видеть providенциальность. Это даже и пошловато. Не все в жизни — рифма, много случайных созвучий. То, что поэт спустя полчаса подсел к моему столику с бутылкой пива, наверняка одна из таких случайностей. Соседству я не обрадовался, ибо не коллекционирую встречи с великими современниками, к тому ж минутное возбуждение от стиха сменилось уже привычной глухотой к нему, верней, опаской. Да и внешнюю деталь я успел похитить раньше — на всякий случай сохранил в памяти его плотные, довольно выразительные щеки, впрочем, не уверенный, что те достойны гения современности. К моему удивлению, как потом оказалось, они точно соответствуют нашей с художником конструкции, став на должное место без сучка и задоринки. Видимо, все ж творец для меня зыбился в поэтическом мареве, чуть искажившим облик.

Смущенный соседством, да к тому ж своей ролью воришки, хотя щеки похитил символически, без ущерба для их владельца, я уткнулся в коньячную рюмку. Надо было б уйти, но я привык давать судьбе шанс. Мой живописец боялся пустот и пауз, я — никогда. Те не только задают ритм существованию, но они и форточки, откуда веют теплые токи жизни, которую даже такой умелец, как я, не всегда расчислит. Наученный ждать, я не торопил судьбу, — та сама не замедлила. Вдруг прозвучал несуразный возглас поэта:

— Почти такой же!

Я стал озираться, не понимая, к кому иль чему относится, если разобрать, довольно странное восклицанье. Поэт глядел на меня в упор, он именно ко мне обратился. Тут, признать, я чуть не ударился в панику. Учитывая мои в последнее время слишком отзывчивые нервы, мне хрен знает что померещилось. Даже не передать словами, — вроде того, что сама поэзия, со всей ее ворожкой, божественным косноязычием, причастностью горным тайнам удостоверила мою неизменность иль почти точное соответствие чему-то, конечно, не второстепенному. Вопрос, хорошо это или плохо? В ответ я выдавил робко-обыденное:

— Мы с вами знакомы?

— Ну да, — грустно кивнул поэт, — меня-то наверняка не узнать.

Теперь из вежливости мне стоило хотя б сделать вид, что я припомнил его. А ведь — нет, несмотря, на свою и так цепкую, а теперь еще обостренную память. Уверенный, что он обознался, я все ж привел ее в боевую готовность: мигом безрезультатно обшарив окрестности, то есть ближнее прошлое, — зная, что великие до странности любят кучковаться, я особо заострил внимание на той вечеринке, где упустил знакомство с Лаканом и Батаем, — она вновь ринулась уже привычной, истончавшейся как змеиный хвост тропой. Я тебе говорил, что, сколь ни обшаривал свое детство, там обнаружил только две приметных личности, исключая полубезумную тетушку. На бородатого соседа этот уж вовсе не похож, иная конструкция внешности, да и тональность бытия совсем другая. Тогда остается... о-па!.. ну да, предполагаемый писатель-сифилитик. Солидная гипотеза, — сразу б выяснилось, кто меня тайно заразил поэзией. От растерянности, я не нашел ничего лучшего, как поинтересоваться, здоров ли он теперь. Он развел руками, а затем ладонью потер сердце.

— Вижу, вспомнил, — удовлетворенно произнес поэт. — Очень ты был занятный малец. Словно с рожденья готовый человечек, разумный и чуткий к существованию (напомню, что примерно то же говорил и художник). Признаться, тобой, еще крохой, я поверял свою жизнь.

Выходило, что поэт, может, и не обознался. Я тебе говорил, что один из чудаков моего детства мне уделял особое внимание, о чем-то всегда расспрашивал, секретничал, вызывая, кажется, не то ревность родителей, не то смутное опасение. Не потому ли материнская память его злобно вато перепутала с каким-то знакомым стукачом? Но ведь мы оба с ней запомнили шепелявость, а поэт обладал не то что безупречной дикцией, а выдающейся, — с истинно поэтическим чуть гундосым распевом. Впрочем, и тут предположу недобрую замету материнской памяти, — это насчет сифилиса. Лечился, да, но у кого именно? Дед мой был венерологом, а покойная бабушка как раз логопедом. Узнать меня даже через столько лет и впрямь было нетрудно, — годам к трем оформившись как индивидуальность, я и внешне, судя по фотокарточкам, мало переменялся. Все вроде б сходилось, однако здравые предположенья с некоторых пор мне почему-то стали казаться сплошь неверными. Да и отдам голову на отсечение, что сидевший предо мной поэт вовсе не тот чудаков моего детства, — не знаю почему, но уверен. Все похоже, однако не истинно, именно, что не рифма, а созвучье, к тому ж слишком навязчивое, режущий слух ассонанс, — по-моему, так называется. Я в ужасе подумал, что образ гения, должно быть, исподволь меня созидает, притом подтачивая скрепы личности. Тревожно оглядевшись, я с удовлетворением обнаружил, что мир, как и раньше упрям и четок, даже теперь без поэтической зыбки. И поэт вовсе не выглядел призраком,

по крайней мере, отбрасывал довольно смачную тень. Взгляд его стал ностальгичен и я ждал, что сейчас он пустится в воспоминания, которые наверняка подтвердят фиктивность нашего с ним знакомства. Он действительно заговорил:

— Не поверишь, но я б тебя назвал своим учителем жизни (поверю, как ты знаешь, не он первый!) То, что мне давалось тяжким трудом вживанья, тебе изначально даровано. (Вовсе не свидетельство нашего с ним знакомства, взгляни на меня — и так понятно). Я тогда сообразил, что тут не обычная примета детства, а врожденный дар, еще более редкий, чем талант художественный. Действительный талант, как и должно — настойчивый, но и своевольный. Тебе ведь наверняка известно, что тебя извлекли щипцами из материнской утробы.

Вот это открытие! Теперь вроде б все ясно, очевидная ошибка — трудно предположить, чтоб я упирался и был насильно выхвачен в столь ко мне приветливый мир. Но вот загвоздка: я с детства замечал, что череп у меня вытянутый, да еще чуть сплюснутый по бокам. Вовсе от этого не страдал, — легкий изъяс придавал внешности аристократизм, меня отличавший от неродовитых предков. Если он прав, значит, тайна моих ярких мыслей или даже явления демона не чисто духовная, но отчасти биологическая, — щипцы могли что-то помять в моей голове. Когда я потом расспросил мать, она даже как-то презрительно отрицала мое насильственное изъятие в мир. Мне показалось, чистосердечно, но кто его знает? Может, забыла, потому что хотела забыть, а может, и сама не знала, к примеру, находилась в обмороке, — я плохо себе представляю, как рождаются дети. Но, в любом случае, я не придал этому факту излишнего значения.

Тем временем, поэт смолк, видно, его память тоже была по-своему практичной. Запомнился чуткий к жизни малец без обрамлявших деталей, кроме, разве что, акушерских щипцов, которые он скорей всего уже задним числом примыслил. Да и я весь целиком, даже если предположить, что поэт не обозначился, давно уж стал для него поэтическим образом, слившись с наверняка многими юными умельцами жизни. Он был конечно незаурядным творцом, но по-человечески принадлежал к банальной породе. Такие люди считали себя по жизни беспомощными, даже предполагали некий сговор остального человечества. Ну, или не сговор, — скажем так: им казалось, что всем кроме них ведомо некое заветное слово, заклинание, способное укротить своеволие жизни. Притом, что у них были свои методы применения к бытию, куда изощренней моих. Конечно, я сужу плоско — как середнячку понять творцов?

У поэта, кажется, иссякла радость встречи с прошлым. Взгляд подернулся дымкой и поскучнел. Наверно, не зная что сказать, он задал обычный вопрос:

— Как поживаешь, что поделяваешь?

Тут бы и мне отделаться пустой вежливостью, а я ляпнул несусветное:

— Ищу гения современности.

Наверно, сказало все вместе — возбужденье от стихов и близости поэта, бессонная ночь, охота за призраком. Да к тому ж бессознательно наверняка хотел удостовериться, что не просто бытую в жизни, а занят значительным делом. Поэт сперва глянул на меня так, словно я произвел неприличный звук, но затем вдруг оживился.

— Гения? — переспросил он, нечто припоминая. — Я тебе просто болтнул, сдуру и по молодости, — кстати, только тебе открылся. Вовсе не думал смутить твою душу, закованную в броню с малолетства, притом детски беспамятную. Я, конечно ж, никого иного, как себя, тогда видел гением современности, пусть будущей, ее создателем. И вовсе не тайным, — казалось, наступит миг, и притекут ко мне люди и грады. Это все, дружок, пустая гордыня. Мы теперь лишены пророческого дара, — лишь разбередим рану, которую не умеем врачевать. Былых гениев не зря почитают. То было сладким утром человечества, теперь — его скучноватая, но солидная зрелость. Их прозренья, отчужденные и обобществленные, стали кирпичиками той стены, что упасает наш мир от слишком пронзительных видений, — как от великого зла, так и великого блага. Лишь варвар на нее покусится. Не зря мудрые римляне в гении посвящали посмертно. Гений современности — и звучит жутко. Это живая рана, куда никто не вложит персты, чистое зло, поверь мне. Уж не говорю, что они в укор всем, кто не гений. Подумай, мало ли что повернется в какой-нибудь гениальной башке, и нас вновь пошлют в Освенцим. Или он найдет чем еще смутить доверчивые души. Возгласит, к примеру: «Бог умер», и Бог действительно умрет, верней, так и не воскреснет. Да явись сейчас гений в своем величье, его б закидали тухлыми помидорами, и поделом ему. В прежних мечтах я был горделив и безбожен, теперь я смиренен.

Ну, не сказал бы, — понося гениальность и гениев, поэт распалился, даже взмахивал руками, будто сам их побивал гнильем. Потом обмяк и устало спросил:

— Тебе-то он зачем? Живи своей безупречной жизнью, плодись, размножайся, облизывай мед с горьковатый листьев. Затем опрокинешься в великое Ничто, где сплетутся нити всех громких и скромных существований.

Дельное предложение. Не скажу, что его речь меня поразила, — он будто говорил по книжке, мною некогда читанной. Что пред моим виденьем все жалкие слова? Должно быть, не он взыскивал гения, а к нему самому издавна

приблудился какой-то личный демон невысокого полета. Но вот что важнее: ты, друг мой, наверняка решил, что тайна хотя б наполовину раскрыта — поэт, пускай, и не будучи гением, некогда заронил в меня зернышком тот тревожный образ, который к сроку пророс и заколосился. Да вот беда: сейчас уверен, что признание поэта, что, мол, он мне в детстве наваял гения, я сам же выдумал. Ну, коль не целиком выдумал, то слишком вольно, даже произвольно, перевел его речь на свой нынешний язык, взыскующий горнего. Что ж касается поэта, то он, — не важно, правда ль заронил в меня образ гения, — с годами очевидно иссяк. А истинный гений, выходит, спрятался, чтоб его не закидали тухлыми помидорами? Забавно.

Ты, друг мой, наверняка думаешь, что после секвенции поэта о гении и последовавшего за ней доброго совета, я сразу встал и ушел, — или он тотчас распрощался. Отнюдь, — как раз тут-то у нас обоих и прошла неловкость. Мы с поэтом еще долго болтали, пока бар не закрылся на ночь, верней, говорил он, а я слушал. Он будто отчитывался перед моим детством. Его повесть была избыточна — слава, поездки, встречи с великими, происки завистников, но вот гения там, и верно, не доставало. Расстались мы на том, что я пообещал выпустить за свой счет его собрание сочинений (5 томов, переплет, тиснение, золотой обрез, тир. 3000 экз.), и, как знаешь, не обманул. Таким образом я рассчитался с поэзией (тут и благодарность, и отместка) но

ОБРЕТЕННЫЙ ГЕНИЙ

и будто искупил упорно мерцавшую провиденциальность нашей встречи, которая могла б мне обойтись дорожке денег — остатками здравого смысла.

Вот почти вся история, друг мой. Портрет был наконец готов, мелкие подробности облика художник нашел сам — вполне точно, видимо, исходя из самой конструкции лица. Притом наделил гения моим чуть сплюснутым черепом, в чем тоже, верю, не ошибся, хотя образ демона современности уже почти вовсе погас в моей памяти. Художник мне сообщил звонком, что исполнил заказ. Голос был тусклый, не выражавший, ни удовлетворенья, ни радости, однако и не смятенный. Я пошел на свиданье с портретом, меньше волнуясь, чем надо бы. Видно, на сам поиск и разъятие лиц истратил чуть не все отпущенное мне вдохновение. Дверь в жилище художника осталась распахнутой, а квартирка была пуста. Меня б не удивило, если б уклончивый живописец просто куда-нибудь смылся, в испуге, что провалил столь патетичный заказ, — при его-то робости. Но теперь, — как сказать поточней? — все пустоты жилища, которых он так страшился, прежде певшие на свой тон, будто слились воедино, вознося хорал к пустынным небесам. Без кисти и красок ему почти что удался образ великого Ничто.

Прости, друг мой, что я вдруг заговорил его мутной и косноязычной речью, но пока мы трудились над портретом гения, наверно спелись наши души. Если ж сказать проще: в жилье художника не осталось не то что ни единой женской приметы, а вообще ни следа пребывания живого существа, — и стены теперь не шелушились увядшими полотнами. Вместо прежнего разора — белоснежная чистота монашеской кельи. Я вспомнил, как сетовал живописец на убогость своего пространства, которое — отпечаток его бездарного существования, куда стыдно пригласить не только гения эпохи, но и малейшую творческую сущность. Все ж у него хватило решимости отереть следы своего бескрылого коротанья жизни. Теперь великое ничто будто призывало все ненапрасное, что есть во вселенной. А сам-то он, спросишь, куда исчез? Самое странное, что с тех пор канул бесследно, — по крайней мере, в моей жизни он больше не появился, а я, признать, его не разыскивал, хотя был готов, как договорились, щедро оплатить заказ. Какова причина бегства, я так и не понял, как и не знаю, стала ль для него встреча с гением современности губительной или животворной. А может, тут и не причем мой гений, а просто его сглодала очередная лярва, которые издавна на него точили зубки. Иногда мне приходит даже безумная мысль, что и не было никакого художника, а он лишь повод, вымышленное звено между мной и гением современности.

Но Бог с ним, с живописцем, существует он или мной, а может, кем-то иным выдуман, — тебе наверняка любопытно, завершил ли он — реальный или ментальный, — свое дело, закончил ли портрет? Я сперва подумал, что пустоту он мне и преподнес в качестве портрета гения, тем либо намекнув на убогость моей фантазии, либо расписавшись в своей творческой немощи. Но нет, картина была, просто я ее не вдруг заметил, как белое на белом. На выбеленной стене висело будто зеркало, прикрытое белоснежной простыней, как в доме, откуда не вынесли покойника. На миг мелькнула трусливая мысль поскорей смыться, — как сделал автор, — тем избежав необратимого поступка. Мой здравый смысл и так уж дал трещину, не разобьется ль вдребезги об могучий образ? Иль, наоборот, коль портрет не удался, наступит разочарованье навсегда, сделал осень моей жизни безнадежно унылой и слякотной.

Но то была мгновенная заминка. Я решительно сбросил, скрывавшую портрет завесу. Ты, друг мой, не зря так напыжился. Это было патетическое мгновение — каменный пик, где, схлестнувшись, застыли волны моего прошлого и будущего. Предо мной оказался и впрямь гений современности, вточь, каким он предстал в моем прежнем виденье. Гений глядел на меня со стены, кажется, чуть удивленно, даже недовольно, — как ведь мне удалось поймать его в сети! Вначале я лишь отметил сходство с моим виденьем, — и действительно был на секунду разочарован, ведь ожидал, сам понимаешь, чего-то исключительного. Даже не знаю, чего именно, поскольку неискушен в художественных впечатлениях. Но потом, то есть почти сразу, я был захвачен образом, который именно не один только облик, ибо каждая деталь внешности, не намекала, а протягивалась нитью к своему особому смыслу, а все ниточки сплетались где-то в ином пространстве. И все разом — красочное зиянье в белоснежной стене. Да как тебе объяснить? Это надо лишь видеть, да к тому ж скорей оком духовным. Он был не изображением, а скорей музыкой. Но истинной. Ты знаешь, что к звучащей музыке я был прежде глух, — от нее у меня слезились глаза, не благородной слезой глубокого чувства, а словно б от аллергии. Теперь я познал музыку, как переключку неотмирных смыслов. Верней даже не тогда, а чуть раньше, когда ощутил, как согласно пустоты возносят хорал к небесам. Еще скажу, что картина была необрамленной, не отчеркнутое, изъятые пространство, а гений будто парил в объятьях великого и плодотворного ничто.

Тем временем, гений, за спиной которого были только намечены, лишь мерцаньем, наверно ангельские крылья, овладевал белоснежной кельей, властно, однако не буйно. Сквозил в проеме и веял, где он хотел. Ты спросишь, друг мой, каким показался мне мир в свете гения современности — совсем ли он пожух иль, наоборот, с меня будто смахнули темные очки, и весь мир взбурлил красками? Пожалуй, ни то, ни другое — мир остался, таким же, каков был раньше, — но как тебе сказать? — наверно так: он будто обрел сюжет, стал отчетлив глубокий замысел. Словно б все наши неброские жизни сплелись в символический орнамент, где каждая оказалась необходима. И память моя заблестала золотыми вешками значительных событий жизни, которые мне прежнему были неразличимы. По крайней мере, я так себе представил, человек посредственный и невеликих знаний.

Это было уже не виденье, а сама достоверность, для меня непосильная. И все-таки и теперь не жалею, что пустился на поиски гения. Он и впрямь был самой истиной. Он теперь сиял как алтарь, на который я возложил свою невеликую жертву. Ты сам наверняка догадался какую — мой пресловутый здравый смысл, доставшийся мне от предков, как богатое наследство. Хотя, неизвестно. Может, все они, поколение за поколением, и скопили образ гения по золотой крупице.

Я вышел на улицу, теперь не в межеумочный час. Там все было прежним, но проникнуто грозным и благодатным замыслом. Отлученному от жизненных умений, для меня теперь каждый шаг был рискован, но зато я был уверен, что истен мой путь. Прости, друг мой, за сумбурное повествование. Ты понимаешь, сколь я несоразмерен гению, сколь он, сама истина, несоразмерен моей речи, совсем недавно устремившейся к подлинности.

Я устал, друг мой, ведь никогда раньше не говорил так долго и откровенно, но тебе не соврешь. Сейчас закончу, но прежде ответив на вопросы, которые, знаю, у тебя вертятся на языке. Вот один: используя, как собирался, портрет в качестве фоторобота, отыскал ли я затаившегося гения, — в жизни или своей теперь им озаренной памяти? Искал, но не очень прилежно. Во-первых, потому что вообще утерять раньше свойственное мне прилежанье. Я недолго существовал по прежней инерции, вскоре моя жизнь рассыпалась и утекла сквозь пальцы. Все, что было, куда-то подевалось, а не только безумный художник, — даже и родители как-то смерклись вдали; надеюсь, те все-таки живы, — будто демон или ангел смел мое прежнее существование одним взмахом крыла. Да и к чему поиски, если образ гения теперь всегда со мной, а мысли, которые я раньше называл непрактичными, с тех пор уж не гости, а поселились в моем сознание, осененные гением современности, — уже в свете чувства. Не думай, что я возомнил самого себя гением, но выходит, что я едва ль ни пророк его. Ты, конечно, и сам заметил, как он исподволь овладевал моей речью.

На другой вопрос: демон то или ангел? — ты сам лучше меня ответишь. Однако наверняка тебя интересует третий: где он, портрет? Так вот же, — и я указал на холст, прикрывавший оконце. Знаю, друг мой, что тебе он видится испещренным каракулями, а облик гения — разъятым. Но взглядишь, прислушайся, он витает в пустотах, звеня чистой струной, что колеблет сама истина. На, взгляни поближе, — так сказав, я сорвал холст, застывший свет. К моему удивленью, за окном был садик, благоухавший цветами, — не тоже ль некий образ современности? По нему бродили животные, прикинувшись мифическим зверьем. Бородатый служитель месил перегнутой лопатой — то ль вскапывал грядку, то ль рыл кому-то могилу. Отдав тебе портрет, я откинулся на своем ложе, помертвев лицом, теперь, думаю, сходным с образом гения, как бывает и любой покойник. Тот, кого я называл своим другом, встревожился. Он пощупал мой лоб, нажав большими пальцами, приоткрыл мне веки. Потом вздохнул с облегчением, убедившись, что мой сон не к смерти. Он улыбнулся, а затем, осиянный, едва касаясь пола, скользнул к выходу. Он вышел из комнатки, тихо прикрыв за собой дверь. ■■■

ПРОЦЕДУРЫ ДО И ПОСЛЕ

Рассказ

Николай КЛИМОНТОВИЧ

Едва Гуревич занял свой номер из двух комнат, как тот ему очень понравился. Гуревич проверил полотенца в ванной, их было достаточно, чистых и белых. Имелись бумажные салфетки в цветок, непчатый рулончик туалетной бумаги. Включил и выключил фен, испытал вытяжку для удаления дурного запаха. В спальне две кровати, тесно сближенные, были крахмально заправлены, на тумбочке лампа, удобно. Вторая розетка была по другую сторону, воткнул в нее зарядное устройство телефона, который жена подарила ему на день рождения. В гостиной имелся сервант, там чайный сервиз, тарелки, рюмки, стаканчики. Здесь же, на виду, электрический чайник, телевизор, холодильник. Не обманули, словом: *три звезды, полулюкс*. И Гуревич стал спокоен за удобство его грядущего двухнедельного одиночества.

Гуревич вышел на балкон — море было справа, от него шел свежий немецкий воздух, и виден был горизонт, *воображаемая линия*. Глубоко внизу под балконом росли кое-какие деревья, сосны, наверное, *точно сосны*, и кустарники, последние уже с листочками, хоть был еще апрель. Захотелось есть. По расчетам Гуревича, близилось время ужина, семь вечера. Часов Гуревич *принципиально* не носил. Часов и галстуков, не хотел выглядеть как *менеджер*, если использовать язык нынешней молодежи. Гуревич забыл, что время отражено в его новом телефоне, не привык еще, по старинке вышел в коридор, спросить у кого-нибудь, сколько времени, там было пусто. Он подумал, что настенные часы должны находиться в холле, откуда осуществлялись посадки в лифт, но и там часов не было. По лестнице, легко дыша, поднималась завитая старуха в алом спортивном костюме с белыми лампасами, *поддельный Адидас*. На вежливый вопрос Гуревича отвечала весело *«часов не имею»*.

Пожинать все-таки удалось. Администратор, дежурно вежливая женщина средних лет, крашенная в лиловый цвет, в золотых перстнях, кольцах, серьгах, с золотой цепочкой на шее, с серебряным монисто на высокой груди и в белом халате, повела Гуревича в дальний угол зала номер семь, поскольку у него оказалась *диета номер пять*, усадила к окну. За столом, судя по сервировке, должно было сидеть еще два человека. *Дамы, может быть*. Гуревич съел уже тефтели с рисом, творожную запеканку с изюмом, запил чаем. Дамская поджарка свиная остыла, но дамы все не шли. *Быть может, так, супружеская пара*, но и супруги не появились.

Гуревич ждать не стал. Вертя в руке апельсин, который дали на десерт, на выходе из столовой спросил у крашеной администратора, проводят ли у них в санатории конкурсы красоты. *Нет*, отвечала та, удивившись. *Жаль, вы заняли бы первое место*. Администратор смутилась, улыбнулась, взглянула на Гуревича разборчивее. Объяснила, где находится бар, *работает с девяти*.

В вестибюле часы были, показывали без двадцати восемь. Довольный ужином и своей удачной шуткой, Гуревич решил, что сегодня гулять не пойдет: поднимется в номер, поменяет пиджак, включит телевизор и выпьет коньяка. Потом посетит бар, и ночью будет хорошо спать. Так он в точности и поступил. По телевизору на пятом канале показывал Петербург. Пиджак почти не помялся. *Московский коньяк дрянн, все-таки.* Закусил апельсином. Думал не торопиться, но все равно в бар, вход в который был из зала с игровыми автоматами, пришел первым. Спросил коньяка, ему предложили *Старый Кенигсберг*, не стал кочевряжиться, оказалось — не напрасно, коньяк был лучше столичного. Сообразил, отчего так пусто — здесь вечерами проходила дискотека, и дамы жеманились приходить первыми, поджидали за углом, пока кто-нибудь опередит. Сегодня первым был Гуревич.

Он уселся за столик рядом с баром, на балконе, в полутьме. Заиграла музыка, по глянцевому танцполу побежали разноцветные блики, танцорки накопились, стали приплясывать. Гуревич смотрел на них сверху вниз — на невесть откуда взявшихся в санатории молодых девиц в штанах и кофточках. Многие были блондинками, Гуревич не знал натуральными или крашенными, некоторые беременны. Гуревич не сразу сообразил, что из динамиков раздается музыка его юности. И девушки одеты точно так, как когда-то, в кофточки и штаны. Но это были, конечно, не те девушки, а дочери тех. *Жизнь идет, а музыка та же.* Наверное, и под кофточками у девиц было все то же: те же лифчики, те же застёжки, та же вялая плоть. И в этом постоянстве жизни не было дурного, одна устойчивость. На площадке появились и старухи, старше Гуревича лет на двадцать, бабушки девушек. Они тоже были в штанах и кофтах, плясали в кружок, охая. Мужчин-танцоров видно не было. Гуревич отправился.

Он смирился, что заснет не сразу, *новое место.* Кроме того, взволновал случай в коридоре: соседнюю дверь номер двадцать два отмыкала дама *на тонких английских ножках*, вспомнил Гуревич Гоголя. Она заодно взглянула на Гуревича, который не мог попасть ключом в отверстие номера двадцать четыре, сказала: *сосед, а не заглянете, эти мужчины...* Гуревич попал, повернул, вошел, глотнул еще коньяка, выглянул наружу из окна — море было на месте, решил воспользоваться приглашением. Вышел в коридор, постучал в соседний номер, из-за двери донесся смех: *а вы уже опоздали, ха-ха, я уж замуж вышла.* Что ж, Гуревич понимал юмор, умел ценить хорошую шутку. Едва улегся, позвонил телефон. Голос жены спросил с тревожной иронией *уже гуляешь.* Гуревичу это не понравилось, но виду не подал. Как это понять *гуляешь*, знает же, что у него *астенический синдром* и *вегетативная дистония*, работает за троих. После *спокойной ночи* подумал, что в последние годы жена поглупела. Или всегда была недалеко, а он не замечал.

Утром под дверью нашел бумажку, велевшую явиться на первый этаж в кабинет номер два к лечащему врачу, фамилия неразборчива, восемь пятнадцать. Прочел время в телефоне, было как раз, спустился на лифте. Врач старенькая, Анна Сергеевна, глуховата. *На что жалуетесь*, да вот, то да се, кружится голова, давление, *астеническая дистония.* На вопрос, чем болел в детстве, Гуревич припомнил, что в студенческие годы был у него гастрит. Врач что-то написала на бумажке и отправила к дежурной сестре, тут же, через стенку. Сестра выписала санаторно-курортную книжку. Гуревич раскрыл, когда вышел за дверь, на первой странице было написано крупно *гастрит.* Гуревич и к этому отнесся с грустным юмором, что ж, прогулки на свежем морском воздухе сами сделают свое дело, смиренно решил он.

За завтраком объявились и соседи по столу: действительно две дамы, одна с собачкой, выглядывавшей из сумки. Гуревич не был, конечно, собаководом, но породу определил — это был шпиц. Вот только странной масти, лиловой, как администраторша. Гуревич присмотрелся, пришел к выводу, что одна дама, по правую руку, побойчее, а слева, со спицей, позагадочнее, с туповато-завлекательной улыбкой. Обе крепкие, лет тридцати шести-семи, груди затянуты, плечи шире бедер, загривки, наверняка с фиолетовым каким-нибудь педикюром, бывалые. Это было скучновато. *Как зовут песика*, поинтересовался Гуревич с притворной ленивой галантностью. *Чанг.* Ну, не Бунина же они читали, *это в честь того, из Голливуда*, угадал Гуревич. *Ага.* Разговорились. Гуревич сознался, что из Москвы, но утаил, что в Москве у него две квартиры, однако его столичность видимого впечатления не произвела. Дамы представились тутошними, из Черняховска, *мы сюда на процедуры по два раза в год приезжаем, а вы кем работаете?* Гуревич уклончиво сказался *инженером по образованию*, все прочее говорить было не обязательно. Свои места работы дамы тоже назвали неразборчиво, и Гуревич вообразил — одна хозяйка автобазы, под ее началом сотня дальнобойщиков, другая имеет строительную фирму по спекуляции сборными домиками десяток прорабов, все с усами, полсотни мастеров, *коттеджи под ключ.* Так или иначе, по повадке — начальницы мелкого пошиба, из деревни во втором поколении, начинали челночниками, он хорошо знал этот тип, никогда не брал на работу. Обратил внимание, что обручальных колец на дамах не было. Что ж, он сам тоже никогда не носил, потому, согласитесь, глупо.

— Что ж, тогда с вас шоколадка, — хохотнула бойкая, бросая салфетку. Тупая загадочно улыбалась, перебирая уши пса.

Почему *тогда*? Гуревич присмотрелся пристальнее: ухоженная, нагловатая, скорее всего, и муж — руководитель, начальник, там, колонны. А может быть — мужа вовсе нет, разведенная, привыкла командовать. — Коньяк и шоколадка, — благосклонно поправил Гуревич, чтобы перехватить инициативу и чтобы не стало окончательно скучно.

Дамы переглянулись, ответ им понравился. По выходе *со столовой*, как выражались его новые знакомые — по аналогии *со скалы*, что ли — в санаторном магазинчике Гуревич купил бутылку *Старого Кинегсберга*, отдал бойкой. *Дамы пошутили*, но взяли. Время до обеда Гуревич потратил не зря: обошел корпус вокруг, обнаружил котельную с тыла, рядом нерусской опрятности коттеджи. К морю вела ухоженная дорожка. Утыкалась в обрыв. Оказалось, море — головокруглительно внизу, ползти к нему по лестнице *семьсот ступенек*, объяснили позже бывалые люди. Гуревич отложил спуск на *после акклиматизации*, но общим аккуратным благочинием был удовлетворен: даже в питательном морском ветерке было что-то пунктуальное. За обедом опять дамы, *где же Чанг?*

— Прилег в номере, слишком много впечатлений, — ответила загадочная совсем по-интеллигентски. Гуревич не знал, юмор ли это, на всякий случай посмеялся. Бойкая знала официантку по имени, явились стаканчики, высунулась из сумки давешняя бутылка, Гуревич мысленно одобрил эту сметливость, *за знакомство — за знакомство*, бойкая сразу махнула свои пятьдесят, загадочная жеманно пригубила. Застучали ложки. *Та или эта, эта или та*, соображал Гуревич по привычке, обе были не слишком хороши, и одна другой стоила. Зато за одним столом, удобно. И решил рассказать свой анекдот, как вместо диагноза, что привел его сюда, ему прописали гастрит. *А вы доктору пятьсот рублей дали?* взволновалась бойкая. *Я хотел было жаловаться главному врачу.* Загадочная протянула сладкие губы трубочкой: *тогда тысяча*. И Гуревич, что редко с ним бывало, почувствовал себя неуклюжим: эти дамы из провинции крепко укоренились в жизни, лучше него знали законы здешнего существования, уверенно дышали в санаторной атмосфере, несколько искусственной на его, Гуревича, вкус.

Вечером пошли в бар втроем. Гуревич угощал. Он по очереди протанцевал с каждой томный танец, каждую легко прихватывая за зад, помнил завет Казановы, что, если уж оказался с двумя дамами, не торопись выбирать, ухаживая за обеими. От быстрых прыжков Гуревич, впрочем, уклонился, *вегетативная недостаточность*.

— Тогда сумочку посторожите, — сказала загадочная, и обе пошли плясать в кружок с другими. *Что ж, они воспитывались в глубинке, родители из деревни, привыкли по клубам...* Так-то оно так, но дамы не испытывали никакого стеснения от собственной провинциальности, ухватисто скакали по танцевальному полу, с кабаньей грацией и силой мчали по жизни. И ведь вряд ли были богаты, нет, тут *другое*.

Дня через три Гуревич с удивлением обнаружил, что дело не движется, а ведь он привык нравиться женщинам — быть может, одна другую стесняется, из одного ведь поселка. Он уж оглядывался вокруг, не найдется ли чего-нибудь попикантнее, близкого круга, из волонтеров любви с высшим гуманитарным образованием. Но нет, даже те, кто помоложе, сосредоточены на прописанных процедурах, а некоторые и вовсе были с мужьями. У тех же, что постарше, жуткие откляченные зады, студенистые ляжки, выкаченные животы туго обтянуты джинсами — *поддельный Левис*, на ногах жуткие кроссовки, делающие легкий обвод дамской ступни следом слоновьей лапы мужского размера. И на всех лицах та сосредоточенность, с какой ждут приема в кабинет врача, а ведь выглядят вполне здоровыми. Как-то в очереди на процедуру рядом с Гуревичем уселась пожилая цыганка с лицом потасканного евнуха, сказала с самозабвением *я ведь только что из больницы*. Ночью никак не мог устроить ноги: зажимал одеяло между колен, потом выпрастывал кончик левой ноги на холодок, потом переворачивался и прятал, высовывал правую. Сначала сладкая дрожь пробежала по телу, потом нога зябла. За завтраком Гуревич соврал, что сегодня у него день рождения, хотя родился он две недели назад.

Решили пойти съесть свежей рыбы. Ресторан подсказала бойкая: в центре города у мола, рядом с отелем *Гранд-Палас*, брусчатка на мостовой сложена не по-русски, веером. Лиловые скатерти, такие же свечи, вино на выбор красное и белое, спросили белого. Пока в ресторане накрывали и выполняли заказ, решили пройтись по молу. Нагнувшись к тихой, почти недвижимой воде, Гуревич обронил в воду свои очки. Очки были дорогие, гибкие, утонули не сразу, но для начала сделали в мутной воде несколько па.

Перед трапезой обе преподнесли ему милые подарки: одна зажигалку, отделанную янтарем, другая такой же брелок для ключей, и где успели купить. Растроганный Гуревич даже несколько устыдился своего розыгрыша. Но сознаться духа не хватило, зато сделался щедр, предупредителен, говорил тост за дамскую дружбу, пытался беседовать о кино. Назвал фильм такого-то, они не видели. Пересказал содержание, *ой, да знаем мы, просто режиссеров не запоминаем*. На десерт потребовали арбуз, Гуревич заказал, себе — кофе с коньяком. Сидел и смотрел подслеповато, как смачно они управлялись с арбузными ломтями, сплевывали косточки. *Та или эта, эта или та*. А, все равно, устало подумал

Гуревич, понимая, что никакого любовного приключения здесь не будет, и он их не интересуется, равно как и они его. Боже, еще неделя жизни в этом тоскливом санатории на волшебном обрыве, как исчезнет, растает, испарится прозрачный эротический флер, что скрашивает существование не совсем еще старого господина в этом грустном мире.

Вечером опять были в баре, Гуревич напился. Он крайне редко бывал пьян, мог выпить очень много, *умел пить*. Но сегодня напился на правах самозваного именинника. Сидя между двумя дамами и блажено улыбаясь, он вдруг со страхом увидел рядом с собою две жуткие хари. Это были, несомненно, те же дамы, но лица их исказились и напомнили хищные свиные рыла с зубами, как у вампиров в кино. Гуревич понял, что на мгновение прозрел их тайный оскал, их сокровенную сущность, и испугался. Это было секундное наваждение, и вот уже перед ним те же неюные дамские раскрашенные смеющиеся лица, но видение было столь несомненно, что Гуревичу захотелось перекреститься, испуг не проходил. Неудержимо тянуло сбежать. Когда его спутницы в очередной раз отправились отплясывать, Гуревич бочком вылез из бара, и, задев плечами косяки, добрался до номера. Он упал на кровать, задыхаясь, тут же заснул. Ему приснилось, что он служит под началом той, бойкой, и она все время дает ему непонятные задания, и все время недовольна им: *не так, не так, вы же мужчина, возьмите себя в руки...* Гуревич очнулся, сел на постели, глотая воздух, как после кошмара, выпутался из пиджака. Мельком подумал, что надо бы измерить давление — пульс был учащенным. Ему стало одиноко, потому что представилось, что он скоро умрет. Он набрал номер жены. Она, наверное, спала, долго не брала трубку, сказала хрипло *алло*. Она стала много курить, подумал Гуревич, и ему стало ее жалко. *Алле*, передразнил он ее так, как делал только в минуты нежности. Она дышала в трубку и молчала, так как плакала. А потом повторила за ним *алле*, их общий пароль. И обоим стало ясно, что до конца еще далеко-далеко.

28 июня 08, Отдых



ВЕТЕР В ДОЛИНЕ ГУДЗОНА

Андрей ГРИЦМАН

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Когда «Вестник Европы» (Виктор Ярошенко и Владимир Салимон) любезно предложили мне написать что-то об Америке к юбилейному, 25-му номеру, я заинтересовался и задумал написать какое-нибудь «умное» эссе, ну что-то вроде «закат Европы — закат Америки» (модная теперь болтовня) или, наоборот, 21-й век — век Америки и т.д и т.п. «Вестник Европы» называет себя журналом для «русских европейцев». А в наше время, можно сказать, — и для «русских американцев», т.е., «немодного» сейчас направления западников или «неоааадаевцев». В начале 19-го века в «Вестнике» вышло интереснейшее эссе выдающегося русского профессора юриспруденции Ф.Мартенса «Американские впечатления». Еще в то время Мартенс начал дискуссию об «американизации всего мира», которую он рассматривал как положительное явление.

Вот и мне, двести лет спустя, пришло время рассказать свои американские впечатления, накопленные почти за тридцать лет жизни в этой стране. Скорее, мне хотелось передать свой личный эмоциональный опыт трансформации в русского американца.

Когда-то я начал писать стихи, — во-первых, потому что просто не мог не писать, но также из-за того, что в свое время, в юности, не очень-то умел логическим образом высказать свою правду более «умным», или образованным, приятелям и себе-седникам. Со временем мне это стало удаваться образным, метафорическим путем, когда в свободном полете метафоры то тут, то там сверкнет истина, чтобы потом исчезнуть, оставив, однако, дуновение памяти.

О чем же эта поэма? Это история потери дома, поисков дома и обретения его на воздушных путях судьбы. Меня иногда спрашивают — где же он, твой дом? Конечно, родина — это Москва. Никому свои детство и юность не отдашь: мартовские ручьи на 2-й Мещанской; быстрины на Истре; серебряные сугробы на Кропоткинской по дороге от Дома Ученых к метро; футбол в дворовой «сетке» у стадиона «Локомотив» и «Волжское крепкое» в подъезде у «Преображенки». Эти образы, каждый из которых имеет особый смысл и открывает дверь в свое «зазеркалье», можно развить в некий знаковый ряд, по нему ощутить веки жизни.

Несмотря на кажущуюся обжитость нами Америки, для пришельцев она все-таки дышит чем-то отдаленно чуждым. Несмотря на благоприобретенную комфортабельную домашность мест, где выросли дети. Это, и несколько необычная северно-южная природа (сосны, ели и лианы вдоль индейских охотничьих рек), южные леса и холмы покрыты тонкой трехсотлетней коркой англо-саксонской и германской пуританских культур, а на обоих побережьях переливаются цветные осколки иных цивилизаций: средиземноморской, южноамериканской. Ветер с гавани и бесконечная клубящаяся даль медленно катится на Север вдоль долины Гудзона, омывая белые островки прибрежных городков, выглядывающих со дна зеленого вязового моря.

Но дом образовался, в конце концов, и здесь, в Америке, и подобно стране под названием «Москва», мы обрели новый, которым является страна «Нью-Йорк», где тоже «каждый камень знает». Здесь выросли дети, вспыхивала любовь и настаивалась горечь. В двух километрах от места, где я сейчас пишу эти строки, покоится прах моей матери — в зеленом холме американского кладбища, больше похожего на ухоженный парк, в отличие от старых российских кладбищ, напоминающих мелколесье, мелкие садовые участки и заросшие дачные малинники. Когда-то я писал, что получаешь право на землю, когда в нее ложатся твои близкие...

В Нью-Йорке возникает чувство, что ты на месте, дома, все открыто — и выход в Атлантику, а там и в Средиземноморье. И чем-то близкий новоанглийский хвойный Север. Нью-Йорк — город перемещенных лиц, портовый город, пересадка, большой вокзал, с которого мы почему-то не поехали дальше, а остались, достали жареную курицу, выстроились в очередь за кипятком, — вот это и стало домом.

После 11 сентября в этом городе никогда не повторится прежний закат.

А особенно — восход. Если бы, как это было в «досамолетную» эпоху, сейчас по-прежнему плыли бы караванами тысячи переселенцев через Атлантику в Нью-Йоркскую гавань к карантинному Эллис-айленду, еще издали бы был бы виден им зияющий остов острова надежды: за факелом статуи — гигантский каменный дреднот с индейским именем, взорванный в гавани. Но Гудзон, на котором стоит город, омывает и смывает все, и каждая весна рождает новую надежду у обитателей долины.

Теперь моя жизнь, после многих перемещений в пространстве и перипетий во времени, полностью связана с этой рекой — жилье на берегу вблизи дельты, где вдалеке различим разворот гавани, и другой дом — в лесах штата Нью-Йорк, в трехстах километрах севернее по долине, у истоков Гудзона. Это глухое место на севере в лесах — стало для меня лучшим местом на этой земле. Так что, жизнь проходит в ощущении пульсации ветра, то тянущегося на север в леса Канады к Арктике, то рвущегося домой к гавани на Атлантику — и далее, в колыбель Леванта.

Ветер — это одновременно звук, движение, напор и свежесть, но также — смешение запахов горячего, индустрии, рыбного рынка и весенних цветов в парках вдоль реки. Поэтому и поэма так названа — «Ветер в долине Гудзона». И десять лет назад, другая большая поэма тоже родилась в ветре — «Хамсин»: сухой, песчаный ветер иудейской пустыни, который навсегда оставил след на моей коже и в душе.

Неосознанно эта поэма о Гудзоне писалась давно, кусками, фрагментами, как «Листья травы», и, наверное, будет длиться и плыть по долине. Большинство фрагментов-глав поэмы написаны в последние месяцы, некоторые родились в виде своих американоязычных собратьев и затем переложились на русскую просодию с «американским акцентом». В ней нет одного постоянного размера или ритма, а скорее — смешение голосов и интонаций одного лирического героя, который и является героем поэмы. Так же, как и автор — говорящий то громче, то тише, то возбужденно, то раздумчиво. Так же, как течет или взрывается речь человека, который хочет про себя что-то объяснить, порой малообъяснимое.

Здесь нет социальных, политических или культурологических оценок. Но есть отражение развития *sensibility* (культурно-эмоционального внутреннего портрета героя), рассказ «о времени и о себе»: эмигрантское привыкание, обживание местности, любви и разлуки, восприятие культурного ландшафта многих мест, периодов жизни и судьбоносных событий, павших на последние почти тридцать лет. Это: Вашингтон и Нью-Йорк, Техас, Майами, Восточное побережье, 11-е сентября, трагедия Нового Орлеана, Луизиана, множество переездов и расставаний, ностальгия по потерянному дому и обживание нового.

После первых пяти лет жизни в Америке ностальгия по утраченному дому стихла, и возникло чувство новорожденной бездомности, как бы второго рождения с генетической памятью прошлой жизни.

Мне пришлось долго ждать своего голоса. Но я дождался — и начал говорить «стихи» со своей собственной интонацией, и по-русски, и по-английски. Было внутреннее ощущение, что я получил право голоса, и голос мой загрубел, «сел», и «сломался» в процессе коренного перелома, переселения и потери всего, что было домом... Поэзия, прежде всего, — отражение судьбы, исповедь, или, если хотите, глоссолалия души, попытка понять философию, созданным самим собой, инструментом сенсорного, метафорического познания, через улавливание подспудного ритма, как внутреннего, так и окружающей жизни. Улавливание этого ритма, этой периодичности, видимо, и является эмпирическим, субъективным поиском связи со Всевышним.

Более внимательный читатель заметит и отметит в данном тексте исторические вехи в жизни этой страны и культурно-географические «горячие точки». Здесь нет объективной оценки страны или событий, но есть попытка поэтического исследования собственной трансформации в этой, второй жизни, после второго рождения. Несколько сторонний взгляд — с одной стороны, инсайдера и активного участника здешней жизни, а с другой, внимательного лазутчика — позволяет рассказать русскому читателю о новом мире на его родном языке и на знакомом понятийном уровне. Отсюда — и разные голоса, многоголосые поэмы; отголоски, включая «подслушанное», — например, женский драматический монолог.

И еще — мой опыт стихотворчества на английском (мир, в который я залетел случайно двадцать лет назад) открыл для меня надъязыковый, «примордиальный» импульс поэзии, который выливается в язык. Но, существует он как римически-звуковая эмоциональная прозрачная структура в горном воздухе поэзии *до* «оформления» стихотворения, на том языке, на котором душе естественнее рассказывать о своем житии.

Важно понять, что у нашего поколения переселенцев ностальгическая нота имеет отношение не обязательно к стране, к земле и т.п., а скорее, к прустовскому «утраченному времени», ощущаемому «перемещенной душой», отпльнувшей вместе с «перемещенным лицом» к другим берегам и далее — вверх по долине реки к заповеднику ничейных, безъязыких лесов.



Вид Нью-Йорка. 1923 г. Частное собрание

ВЕТЕР В ДОЛИНЕ ГУДЗОНА

ПОЭМА

Все ярче листва на закате столетья и странно,
по-прежнему время вращать времена не устало,
как карусель в цепенеющем парке перед закрытием,
в час, когда тени сдувает с холодных скамеек
безжалостный ветер.

Костры разожгли на углах, пешеходы подходят,
и незнакомцы глядят в тебя пустыми глазами,
как боги в музее.
К счастью, пивные открыты,
а в глуши не закрыты ларьки,
далеко посевная, и три одичавших души
согревает бутылка.

Горланят сограждане песни последнего боя,
и пива навалом, свалило начальство,
и спорить уж не о чем больше.
С праздником! Нас пригласили,
отметь этот день, дорогая.
Может быть, это последняя встреча.

XXX

Ветер в долине Гудзона. Стремительный конус —
вектор погоды, летящий на север, к Канаде.
Там горизонт арктический мертвенно светел,
и истекает за льдами явление жизни бесследно.

Не нужно ни спорить теперь, ни влюбляться, ни ждать
спозаранку
последних известий. Вести с неволи дойдут сами собой
своевременно,
радио выключи — нету прощанья, лишь ветер-подранок
тучи несет с океана на странные страны.

Тридцать почти, почти тридцать летучих, прекрасных,
тяжелых и предпоследних —
волоком, по золотому ландшафту заката столетья.
Время пришло теперь память проветрить,
выйти вчистую на волю, на мартовский ветер.

Я полюбил эту резкую кромку дороги, стекло лобовое,
лобную кость горизонта
и день без остатка. Лобное место осталось на площади
третьего срока,
парусник перистый, легкий, летит до Сорренто.

XXX

Не помню последних сорвавшихся слов на рассвете.
Хайвей уходил
за обрыв, пропал за холмами. Тягучая топь.
Конфедерации блеклое знамя
вяло висело под голым безветренным небом.

Нету прощанья, и нету прощенья, но все же
что-то осталось — мелочь в карманах моих для звонков
без ответа в пространство.
Это не эхо, но отзвук далекой сирены, осколок,
где-то замерзший в дальней стране прекрасной Елены.

Но расставаясь, знакомое слышу дыханье, зовы машин,
померкших в туннеле.
Анна на шее, и вера в последнее знание, и очертанье —
как белой известкой на белом.
След на торнпайке февральском, заваленный снегом.

XXX

Что мне сказать об этих годах сумбурных, вечерних
и нежных,
похмельных наутро. Если отбросишь портьеру и глянешь
наружу —
чья-то фигура уходит в туманную, синюю стужу.

Где-то находит меня герой моего монолога. Сколько
осталось до красного света —
С полгода. Но, пропустив то лицо за окном перелетной
Тойоты,
Снова своим двойником добредаешь потом до работы.

И, промелькнув вдоль зеркал по пустым коридорам,
до входа,
видишь себя, словно тень того разговора
с ними, давно замолчавшими в шуме событий.
Эхо беседы за чаем, по средам, в малиновом свете.

XXX

Джаз дождя тянет ноту в начале недели.
Вселенная измороси. Мотели,
пакгаузы, склады, станции, магазины
застыли в пригородной низине.

Здесь такое приходит на ум,
им, запаянным в автокоробках:
не сойти бы с ума, не свернуть бы налево.
Славно жизнь передумать, сначала и слева направо.
Но следить за дорогой — не проснуться калекой.

Как букварь первоклассника, оставленный дома,
задержаться на лето в тихом городе вязов.
Я последний из здешних,
кто останется с верой
в то, что время безгрешно,
в то, что школа откроет пудовые двери
и впустит обратно, на время.

Мы на время уходим, всего на неделю,
до начала недели,
а находим себя в безымянном мотеле
на смятой постели,
с цепочкой на двери.

Джаз дождя по окну
тарабанит неровную тему,
и гудит грузовик на развилке хайвея.
Ты лежишь и не веришь,
что это случилось с тобою.
Вот и время пришло,
как Толстому, восстать,
выйти в звездные двери.
Надо выйти совсем,
не выйти — на время.

XXX

Шоссе непрерывно, пульсирует, тянет,
вконец исчезает за ложем ледового следа.
Темнеет. Залив засыпает под медленным дымом.
Прибрежные штаты затянуты солью, мазутом,
и ржавчиной пахнут ложины непоправимо.

Здесь тени бредут тех, великих, безумных, потерянных в
мире:

Эдгара, Уитмена, Аллена, Крейна.
Портовые краны висят, как судьба, как исчадие гари
над гнилью жилья, скорлупой ресторанов, мотелей,
и статуя светит над бездной знаменем веры.

Так странно — здесь целые семьи живут, умирают,
и звезды над пирсом глядят безучастно на судьбы.
Как студни медуз, засыпают, скучая, кварталы,
и самоубийцы летят на огонь, светляками на Харли.

И далее вниз, вдоль воды, навстречу Спрингстину.
Струна от гитары парквэя гудит неустанно,
и бешеным током бегут огоньков караваны.
Во сне вспоминают селенья забытые давние страны.

Созвездья застыли над осью мостов и разводов,
и волны на берег идут в военно-морском безрассудстве.
Тогда вспоминаешь, как глухо, и странно, и пусто
бывает душе в безымянном мотеле под утро.

XXX

В заштатном прогорклом мотеле остаться в дороге.
Глоток из под крана и вдох детергента, провал
за порогом.

С газетой вкусить наслажденье момента ухода,
пытаясь понять: что не случилось с тобой — случилось
с соседом.

С газетой залечь и прочесть некролог о бухгалтере
местном:
Маккарти, О'Райли, иль Джонсон, почивший и пресный.

В четверг отпеванье, прощанье отныне и присно
в соборе Зачатья на улице сонной, где шепчутся листья.

Я знаю тебя, твою жизнь, твою смерть, твою душу,
газонокосилку и Бьюик и песню из Пресли под душем.

Но, где-то кончина в глуши ДНК сокровенной.
Тебя волновали погода и акций паденье в инферно.

Я тоже волнуюсь, глотаю снотворное зелье.
За пыльным окном проплывают кремлевские ели.

Томлюсь до утра в этом донном безродном мотеле
кварталах в пяти от твоей еще теплой постели.

XXX

Складская, слободская и пагдаузная,
дорога вдоль окраин — тоска истовая:
фабрично-выморочная,
мазутно-газолиновая,
обызвещенная артерия
от ржавых Аппалачей
сквозь бифуркацию тоски
в бескровный тлен пустых мотелей.
И далее везде: в зеленый водоем

бегущих крон, ночных радиоволн
уснувшей Атлантиды,
где в обмороке улиц — фосфор
бессонницы, невидимых и днем
перемещенных лиц.

XXX

Long Beach Island. Креветки на распродаже.
Безумные чайки рвут Wall Street Journal на пирсе.
Забитые ставни лавчонки, жарища на пляже,
горячий песок и ползущие дюны без леса.

Но рыбные лавки открыты: омар, лососина,
хрустящий картофель с треской — британское счастье.
Причалы пропали мазутным горючим и тиной.
И весь городок — лишь мишень рокового ненастья.

Здесь россыпь девчонок в веснушках, словно песчинки,
вспорхнет и исчезнет в седеющем облаке соли.
И жизнь незаметно, как деньги, проносится мимо,
как стая газет по парковки замерзшему полю.

С Атлантики ветер — и остров как Атлантида
уходит под воду, чтоб снова подняться барьером,
и вновь защитить колонистов от гиблого ига.
Потом все стихает и долго рокошет на север.

Но остров горит, словно взорванный, на закате,
и бриз на ничейной соленой земле горько-свежий.
Сюда не дошли соплеменники веры на легком фрегате.
В болоте и плавнях пропала с командой надежда.

Но вновь католическим блеском зажглись и остались
заморские лица ирландско-левантского склада.
Потом расселились и слились, и тянутся мили
слепых городков, тоскливых мотелей и складов.

Но лишь прикоснется дыханье вечернего света
остывшего свода в огромном темнеющем храме —
лицо через стол от меня освещает утрата.
Несбывшейся дочери лик в исчезающей раме.

XXX

Летят за Бангором на север безбрежные мили —
на север, наверх, на Квебэк, на дыханье Гольфстрима,
как детская память, синеют канадские ели,
и души заброшенных ферм проносятся мимо.

Олени бегут на случайную верную гибель,
висит голубика, как грозди карельского лета,
и дышат озера лучами холодного света,
и в них истекают во мхах ледниковые реки.

На лесоповалах когтиты скелеты разрухи,
и пьют шоферюги по барам дощатого счастья.
Тут, словно на Кольском, мужей выдают на поруки,
и шинная гарь стынет в недрах горелого леса.

Ползет паутина по саду заброшенных яблонь.
В развалинах — тени, оставивших дом поколений.
Бобрами заброшены на зиму вехи плотины,
просели на просеке без лесовоза поленья.

Но к декабрю полоса между небом и полем
становится гранью кристально сухого мороза.
Как будто бы Фрост задержался у частокола
и что-то бормочет, хрустит у сиротской березы.

XXX

Близкое небо Вермонта.

Тучи, идущие низко,
за линию горизонта,
за ледяные карнизы,

за тонушие вершины
в остановившейся дали.
Фермы, часовни, лощины,
плотины в синеющей стали.

День, погасая стынет.

Тянется тень сегодня.

Снег на ладони сына —
тающий дар Господний.

XXX

Даллас — метрополис одного убийства.
Дороги дышат мазутом до злой одышки.
Парусина неба затянута влажной слизью,
дальний зов койотов на падаль, безмолвие вышек.

Здесь ничейных прерий безмерна зона.
Ветер с нефтью, дым виснет на голых и ржавых соснах.
Иногда во сне я сюда возвращаюсь снова,
к этой хмари в ночи сырой, купоросной.

Потому что здесь я простился с давнишним домом,
и душа поплыла по волнам забвенья,
но забвенье все же до воскресенья —
до звонка отца на судьбы изломе.

Я все тот же, пап, не забыл ни слова.
Что мне годы все эти в транзитном таможенном зале.
Я не помню имени той, что слева
назвала мое имя, не засыпая.

X X X

Берег Майами — арт-деко урбанной, лианной природы.
Зубчатый берег — мишень в перископе советской
подлодки.

В пенном исчадьи прибойя тают субтропики,
в холлах прохладных воркуют метеосводки.

У «Делано» растворяются в сумерках бляди.
Рядом хибары — как после бомбардировки.
С острым «Мартини» нежно за доллар закуришь «Гавану»,
глядя на светлые соты стеклянной коробки.

В пыльных проулках «Марти» трубит в свои ржавые
трубы,
но ароматны «Кохибя», «Корона», — полно контрабанды.
Татуированы торсы, проколоты губы,
но вечерами в Майами, как на мид-весте, безлюдно.

На горизонте — бесплатный закат над Гаваной,
неразличимый давно одряхлевшим солдатам Батисты.
Резко ложится на курс береговая охрана.
Кошки дичают в саду Хемингуэя, в Ки-Весте.

X X X

На мормонской морозной игле светило померкло,
и родные места загорелись стеклянной листвою.
Каменистый ручей к декабрю превращается в зеркало.
Вот Thanksgiving, и пригороды Вашингтона
по утрам застывают на дне голубого раствора.

Это северный Юг, где мы когда-то любили
синь газонов и реку в дремучих лианах.
Все останется, но постольку поскольку
остается хоть кто-то из тех, для которых не странно
расставлять бесполезные вещи на время по полкам
ничейным,

на ничейной земле постоянного перемещения.
Средь разбитых зеркал мне знакомо лицо анонима,
вновь воскресшего, не просящего о прощеньи,
после четверти века любви, проходящего мимо.
Потому что, раз нету любви — нет и прощенья.

Есть, однако, прощанье. Не то с языком созреваенья,
не то с воздухом в мертво-резервном пространстве.
Когда все ускользает, остаются хрусталики зренья,
среди мертвых окопов — озерный хрусталь Зарасая,
скифский дар — халцедонный прибор Коктебеля.

Не грусти. Все равно мы живем на краю Средиземного
морья:
дымный запах акаций, ржавый танкер и тающий берег.
Все пройдет и остынет. Но есть предрассветное горе.
Когда души расходятся, больше друг другу не веря.
Это значит, не верить себе, забыв о потере,

и готовить себя к своему же другому рождению.
Наклонясь над постелью, память вспомнит по
воскресеньям
о глубинном тепле, постоит надо мной,
и простынет след ее, затихая шагами за дверью.

X X X

Все то же осталось во мне, все то же осталось,
Все тот же акцент, и шрам на руке, и та же усталость,
и книжный развал на полу, и музыка шума,
и наши бездомные встречи проносятся мимо

машины — дорогой на север, знакомой дорогой,
ведущей навстречу любви, судьбе, вдоль речки, сквозь
годы,
по зоне газонов, уже изумрудных под утро,
и капли плывут по стеклу задумчивой ртутью.

Это — Хэллоуин: паутина на небе, на окнах. На страже
патрульной машины сирена, и все это — наше.
Подаренный жизни случайный кусок, погашенный,
нежный.

Так кончился этот безжалостный век. Другой,
безмятежный,

не нам обещает приют какой-то там доли.
Природа там — северный юг: лианы у школы.
И пьяница с виски дешевым стоит на пороге,
и выдох холодный с реки — лишь память о снеге.

Я помню ту жизнь, параллельную жизнь, за преградой,
за тонкой прозрачной стеной остывшего сада.
Как будто подходишь ты снова и медленно шепчешь,
и слов не понять, не понять ничего, но от этого легче.

И я разбираю, как будто, движение губ — безмолвное
меццо.

Я долго смотрю и смотрю, и бьется к тебе ожившее
сердце.

X X X

Моя жизнь протекает как обычно:
заботы, поддержание очага, борьба со стихией.
Пришло время собирать нападавшие яблоки.
Они лежат вперемешку
с замерзшими мышинными тушками,
добычей нашего кота.
Сколько ни сгребай листву,
земля становится желто-бурой к утру,
будто никто тут никогда и не жил.

В последнее время ветры вносят полный хаос,
газон усыпан сломанными ветвями и похож
на перекопанное кладбище деревьев.
Холодная ранняя осень нагрязнула,
и теперь кажется, что мы проведем остаток жизни
на дне ислевающего лиственного моря.

Однако отъезд и побег от домашних забот
никакого покоя не сулят:
одевать детей, наскоро есть
в придорожных кафетериях, переругиваться
с мужем в машине по поводу семейного бюджета,
сдерживать мочевой пузырь до последнего,
съезжать с шоссе в незнакомые городки,
спрашивать дорогу у местных жителей,
заглядывать в их глаза, жалеть их

за то, что у них такая жизнь,
как и они, наверное, жалеют нас за нашу,
лежать в ничьей постели в мотеле
ночью с открытыми глазами,
сквозь наглухо закрытые окна
осязать запах стерильных поверхностей,
мертво-синего квадрата воды во дворе,
слушать дыхание большой реки,
несущей свои воды

среди незримых темных холмов
до самого конца,
туда, где начинается бесконечность,
где океан сливается с небом,
тлеет восход, и где не надо
вставать утром и будить близких.

X X X

Администрации ветеранов окостеневшее ведомство.
Госпиталь — крепость на останках пожарища.
Калеки Вьетнама от времени в бегстве
под утро в палатах с наркотиком тающим.

Там Марлборо газ, пожирающий легкие,
там роботов речь через трубки гортанные.
Я помню лицо обгорелого летчика,
который коснулся крылом камикадзе.

И юных врачей полуночные бдения.
Надежды и письма в Москву покаянные.
В искусственном воздухе, словно растения,
те лица статичны на расстоянии.

Четверть столетия любви и рассеяния,
покая в потере последнего дома, но
себя осознания в каждой потере, и
со временем найденный временный дом.

Я помню — сквозь темный раствор охранительные
плывут вертолеты на базу в Вирджинию.
Так память смысляет черту ватерлинии
между двумя несравнимыми жизнями.

X X X

Время прошло незаметно, неслышно, отложены мысли
до осени.

Сколько центов стоила марка: двенадцать ли, двадцать
восемь?

И пиво «Блю Риббон» — пару долларов пачка. И дочери
первое с колотым кварцем колечко.

Прощай, Мериленд, безраздельная молодость жизни
после прыжка сквозь Атлантики пенную бездну.
Я боялся остаться один. Это, значит, свободным
я не бывал: так любовь неизбежным оброком
душу возьмет, да забудет в метро ненароком.

Сердце мое, словно жизнь в коммунальной квартире.
Донное пламя горит, да подмокла там сера.
Я выхожу поутру, и к капоту льнет влага рассвета.
Тянутся ветви деревьев ко мне за безмолвным ответом.

Что мне сказать, на каком языке объясниться?
Stairway to Heaven звучит сателлитною птицей.
Листья травы, умирая, оставили корни,
словно грибницу любви среди мерзлого дерна.

Я нажимаю на газ, исчезаю в низине
и пропадаю в пути к своей неизвестной отчизне.

XXX

К распахнутой дельте мутнеют тягучие воды.
Текучая глина забытой, темнеющей эры.
Река открывает раскопок послынные годы:
летающие стрелы скелетов трески, банки пива.
И медленным пульсом живут по сезону карьеры.

Здесь люди живут берегами вдоль тающей дамбы:
«баттюры», бродяги, искатели дикого мяса.
И дельтовый блюз, словно волны от медленной бомбы,
плывет от дощатых построек к бездонному руслу.

Здесь виден предел упоения невозвращеньем,
вернее, естественный путь истекания кровью.
И колокол дальней общины гудит благовещеньем,
и туча над ними висит всем обещанным кровом.

И всходит над дельтой во мгле та звезда Вифлеема,
сливается с тысячей точек, бегущих по плавням.
Ночами ясны очертанья плавучего дома,
и еле слышны голоса на таком расстоянии.

XXX

Я люблю тебя все равно, даже когда, как зверь,
шкуру свою оставляю с безродной тварью.
Все позабуду, захлопну накрепко дверь.
Я себе сам порой до конца не верю.

Мертвенным молоком полнится эта ночь.
Тенью в ничейный куб зайдешь ненароком.
Запах прогорклой жизни, и отпечатки губ,
и инвалидный дух — донная жизнь порока.

Тени ночных такси в слизистой Бурбон-стрит.
Из-за угла навзлет черных девчонок всплески.
Место чужой игры, кладбище их любви.
Издали слетаются в потный котел подростки.

Хищников нет в этой долгой, влажной, ночи.
Хищников нет, только проходят жертвы,
чтобы дожить до утра и хоть на день залечить
жизнь на живую нитку, среди вчерашних мертвых.

Утром мы выпьем кофе вместе среди живых,
сделаем вид, что знаем, как по закону жить нам.
Я тебя все равно люблю. Тщетно живу, как все.
Но в Орлеан не хочу. Там по-прежнему больно.

XXX

«Все очень мирно. Лук вовсю растет,
хотя зима, но сад живой и свежий:
салат, томаты, базилик, укроп.
Скучаю по тебе, но уже глуше, реже.
Стихи твои живут, метафоры висят,
пернатые на проводах провисших.
Записку в банке принесет прибор,
и голос твой в моей судьбе все слышен.

Всего лишь год прошел, но вот, идут на ум
лишь дамбы, плавни, веер автоматный,
и влажный шорох страха под мостом,
и трупы у кофейного прилавка.

И мрачная процессия гробов
от кладбища, через проспект, на волю,
покинув тихо временный альков,
вдоль брошенных, погибших островов,
в открытое безжалостное море».

XXX

Удушливой, масляной ночью койоты тенями,
вблизи небоскребов, стоящих на черном болоте.
Бездонная прерия бьется в бетонные стены,
и мертвой петлей толлвэй на крутом развороте.

Трудно представить тоску бесконечных заправок,
дно пустырей и стаи ночных проституток.
Это та пустота, где нету ни левых, ни правых.
Газовой гнилью плавней город дышит под утро.

Роскошь испанских домов в магнолиях рядом.
Сладостным ядом наполнены дни на верандах.
И возвышается мраморным храмом громада —
раковый корпус: пристанище рая и ада.

Я выхожу из кино, после «La Dolce Vita»,
дар одиночества в зоне чужбинной культуры.
Чуждое южное небо на память звездно открыто,
и погасают огни на плаву, в задыхании ветра.

Так далеко обещанье предвиденной жизни,
так согревает к рассвету свободы бездомность.
Сердце бормочет ритмично псалмы или песни,
и источает желанье любви полночная жимолость.

XXX

Ветер стих. Зайди за угол, передохни. Отпускает в груди.
Вверху загорается уголь. Боль стихает. Все одно, куда ни
гляди. На закате: Луга, Бостон, Барт, Анн-Арбор, Калуга.
Дым ложится в затихший окопный Гудзон, скрывая конеч-
ную сущность паррома. Запретить бы совсем, сейчас как
пойдут по низам... Все теперь мастера в ремесле покида-
ния дома.

Размозжи мою мысль, мою речь, эту грусть на волокна,
частицы, впусти в этот город, как влажность. В общем
шуме не слышно, кого назовут, да теперь и не важно.
Лучше бы помолчать, когда нету и слов, слушать тающий
шум погасания пепла. Когда смотришь подолгу, Свобода
подъемлет весло и Манхэттен плывет в пионерское лето.
Все смешалось, разъято, позволено, разрешено. И ползет,
как безвкусный озон, безопасная зона. Все в прострелах
мосты под ничейной луной, и дичает ландшафт без тени
на полгоризонта.

XXX

Опадают пепельные лица
осенью в Нью-Йорке.
Асбестовое солнце не гаснет
ни днем, ни ночью.
Многоглазая рыба на суше —
взорванный остров.
Крыш чешуя
зарастает цветами.
В гуде сирен —
безответное небо.
Сумерек астма —
в аспидном кратере порта.

Люди бредут на пожар.
Рыбы плывут — где поглубже.
Парки пусты на рассвете,
и только колеблемо ветром
нежное поле
проросших под утро сердец.

XXX

Стечение времен, где не находят места
провалы голосов, зияние извне.
Сыреющие дни, под сумрачным навесом
окрестных городов дрожащие огни.

Гниет река и, чувствуя начало,
гербарий осени торжественно раскрыт.
Прохладный тлеет парк,
над брошенным причалом
сочится свет в церковные дворы.

У зеленой — языческие краски,
и статуя корейца на углу
безжизненна. Закат. Витрины гаснут.
День бесконечен. Я тебя люблю.

XXX

Риверсайд парк листвою медленно выслан.
Бульдожка счастлив, клубочек тепла лучится.
Я с того берега, слава тебе Господи, выслан
в город, где всех нас выкормила волчица.

Riverside Park is slowly covered with foliage.
A little dog is happy the tangle of warmth in the low
bushes.

I was, thank God, exiled from suburban lodgings across
the river, where the she-wolf of this city reared us.

Мы в плывучем доме теперь, дорогая.
Зеленая память московских дворов мерцает.
Закроешь глаза, дотянешься до родного.
Но где оно спит, мы и не знаем сами.

We are now in a floating house, my dear.
The green memory of Moscow courtyards flickers.
You will close your eyes and reach out to everything
you hold dear
but we ourselves do not know where it sleeps.

Это наш дом, где наше не знают имя, но
рыбой мезуза летит на свет от порога.
Зимней грозой по реке прошумел Уитман.
Только из этой реки ты не пей на дорогу.

This is the house where they don't know our name, but
where
the mezuzah flies like a fish from the doorstep wherever.
Whitman thunders along the river like a winter's storm,
but don't you drink for the road from that river.

On the other side fire-flies flicker above New Jersey,
to the Far North upwards in the valley.
On the final shores we will remain together.
Manhattan sails out to the sky on a stone ice floe.

За рубежом светляки дрожат над Нью-Джерси,
дальним путем на север, вверху по долине.
На берегах последних мы остаемся вместе.
В небо Манхэттен плывет на каменной льдине.

XXX

Ветер в долине Гудзона, от гавани ветер, и морось.
Влажный мороз, непривычный переселенцам.
Мы здесь живем, проживаем и пробуем голос,
и по ночам уплывает за дальними близкими сердце.

Здесь по зеленым холмам светляки погасают,
только под утро, когда мы запаяны вместе,
словно по сотам, мостами, туннелями, всуе.
Так тяжело — предупреждал Заратустра,
но закрываешь глаза — и увидишь родное:

хляби над ямой Ньюарка, болото Медоулленда,
и Веразано, висящий над выходом в небо.
И, обживая долину, поймешь — нет ни гона, ни плена.
Метка кашрута на корке орловского хлеба.

Зрелищ навалом, но память строки осязает
ту переключку пропавших в глуши электричек.
Сколько десятков повязка привычно сползает,
но и смеешься уже почти по привычке.

Некогда плакать. Осталось попить из-под крана —
то ли с похмелья, то ли с таблеткой от нервов.
Висят по деревьям — совы депрессии странной.
Но отлетает отчаянье на север, к гипербореям.

Ветер в долине. Из дома, где я проживаю,
к чуждой Европе к рассвету уплыли солдаты
первой войны, и второй. Расцветают тут к маю
каменным цветом судьбы гелиотропы.

XXX

Мы живем на закате. Садимся за ужин не тайный.
Рестораны открыты, и очередь, полная веры,
наблюдает луну по пути на земное задание.
Тает в стынущем свете плывущий от берега берег.

За фигурой богини, парящей у кратера взрыва,
катера пропадают в тумане наизготовку.
Мы живем на краю той земли у китового зева.
Полосатое звездное небо линяет на древке

безмянной свободы земли, оторвавшейся древле
от далеких фиордов; хранящей генетику хлада.
Это наша свобода заката и неба, и внемлет
мой герой и любовник для полного счета, когда

магазин закрывают до срока, и кашляет осень,
остывает харчо, «Самовар» погасает к рассвету.
И на ушах — спит лапша от талдычащих авторов песен.
Но теперь никому не призвать тех, причастных, к ответу.

Да и что остается: пройтись по бордвоку случайно,
подышать океанской, на счастье просыпанной, солью.
И тогда, по ночам, поначалу родное, отчаянье
превратится с годами в какую-то жизнь, но без боли.

Прогуляться в Европе по древнему городу праздно.
Цацки, мелочь чужую швырнуть перед взлетом.
Или пройтись к Блумингдэйлу на sale стороны
безопасной
по проспектам, когда-то сожженным огнем артобстрела.

И привычно зажечь по закону заморского кода,
по режиму химчистки и часа последнего трэйна.
Так уйдут в энтропию любви все последние годы.
Легкий троп озвучит мой путь в суете бесполезной.

Возвращаясь домой до конца в долину Гудзона,
к арт-деко среди скал ледникового века,
знать, что жизнь, пролетев сквозь родную запретную
зону,
оставляет в душе легкий тающий слепок.

■■■



Фото В. Ярошенко. Иерусалим. Долина Исафата. Гробница царей и пророков

К СТОЛЕТИЮ СБОРНИКА «ВЕХИ»

ОТ МИФОЛОГЕМ
К ВЕХАМ РЕАЛЬНОСТИ

Григорий ПОМЕРАНЦ

Один из парадоксов русской истории — разрыв между бедностью фольклора восточных славян и богатством взлетов русской культуры. Об этом писали мыслители серебряного века и снова пишет игумен о.Вениамин Новик. Мимоходом процитировав Шпенглера¹, он много раз ссылается на Г.П.Федотова: «Небо и небеса редко упоминаются русским славянином с глубокой теплотой, ужасом или романтическим влечением. Он сосредоточил все свои религиозные чувства на земле».

«Сущность русской религии — божественное материнство. Мария — это не только Мать Божия, это вселенская мать, мать всего человечества. Национальным источником, воспитавшим религию Богоматери, было русское язычество. Греческое православное христианство не содержит достаточных оснований для тех глубоких и богатых форм почитания Божественного материнства, которые развились на русской почве».

Подводя итоги, о.Вениамин пишет: «славянская языческая религиозность связана с мистикой земных стихий: особенно с землей и водой, которые находятся в постоянном коловращении. Эта женственная по своей природе мистика не уравновешена небесной (мужской) мистикой света и разума. Солнце и звезды в языческой мифологии играют подчиненную роль, мистический натурализм типологически связан

с пантеизмом и с характерным для него синкретизмом (всесмешением). В этической сфере это приводит к недостаточному различению добра и зла...» В этом месте я не могу не задуматься. Точно ли у восточных славян никогда не было ясного различения добра и зла? Не было ли потери чего-то, бывшего во всей индоевропейской традиции? Из каких глубин дошел до нас былинный запев: «высота ль высота, поднебесная»? Что заставило восточных славян склонить голову к земле?

Во всяком случае, «недостаточное различение добра и зла» имеет, по-моему, свои корни в истории и в географии русской земли. Россия не была защищена Гималаями, как Тибет, — и не могла сосредоточиться на духовных учениях, принесенных из соседних великих цивилизаций. Соседи Руси (если вынести за скобки далекую Византию) приходили скорее с мечом, чем с сокровищами своей культуры. С этой точки зрения восточноевропейский перекресток был скорее опасным, чем плодотворным для развития. На Русь напали с Востока, Юга и Запада, и центральной фигурой становился деспот, создававший силу против силы. Говоря языком Евгения Шварца, защитником от драконов становился свой дракон, более сильный, чем чужие. И граждане сказочного города Шварца любили своего дракона, кормили дракошу-спасителя своими детками и окружали его память венцом сказаний. Этим

¹ «Русские не смотрят на звезды».

венцом был награжден Иван Грозный, Петр Великий... Проханов² уверенно завершает эту линию фигурой Иосифа Сталина. А сколько при Сталине сидело в лагерях — 1/7 или 1/3 — это ему все равно. Служа Великой Руси, свои драконы загоняли ее духовную культуру в угол и топтали, как угодно, нравственное чувство...

На могилы драконов-спасителей ложится и память о победах 43–45 гг.; а то, что творилось летом 41 и 42 года, отодвигается в тень. Лес рубят — щепки летят. Россия велика, и сами поражения Сталина и его армий создали растянутый фронт, который Гитлер наспех заполнил румынами, итальянцами, — и по этим ахиллесовым пяткам прошли наши потрепанные ополченские дивизии, учась шагать по войне, очертя голову, лицом к смерти, — от победы к победе. Как повторяла тогда газета «За родину» в которой я служил, — «немцы нас научат воевать, а мы их отучим».

В 1956 г., сразу после XX съезда, я работал учителем в станице Шкуринской. И нарушая ход урока, волнуясь, Гриша Ерешко спросил меня: присвоят ли Жукову звание генералиссимуса? Память о войне требовала имени победителя, и на пустое место потихоньку вползала старая тень. Мы отдали ей свои победы, и она их нам не отдает.

В этой линии драконов-спасителей есть, пожалуй, одна противоречивая фигура, один герой, воспетый Пушкиным. Приезжая в Питер, я всегда приходил поздороваться с Медным всадником, и сердце вздрагивало. Но «Утро стрелецкой казни» тоже там засело. И у Ахматовой есть строки, сталкивающиеся друг с другом:

*...Буду я, как стрелецкие женки
Под Кремлевскими стенами вить...*

А наперекор этим стихам — другие:

*В Кремле не можно жить. Преображенец прав³
Там древней ярости еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы
И самозванца спесь взамен народных прав.*

Я думаю, что самым тяжелым наследием Петра был разрыв между русскими европейцами и темной полуобразованностью. Бердяев описал Октябрьскую революцию как выход на подмостки фигур из подворотни русской литературы: Хлестаковых, Ноздревых, Смердяковых. Эта волна смывала подлинное просвещение, начавшееся

с указа о вольности дворянства и стихов Пушкина. И окончательная оценка Петра зависит от того, найдем ли мы опору в духе русской литературы, а о войне будем ли мы когда-нибудь писать правду? И тогда размытость границ между добром и злом исчезнет и воцарится нравственная ясность.

Пока что литературу, завоевавшую признание всего мира, на родине знают плохо. А иконопись XIV—XV вв. и образованному человеку трудно понять. «На Руси богословствовали в красках», — вспоминает о.Вениамин оценку Трубецкого. Но икона — только один из столпов культуры и на этом одном столбе нельзя выстроить устойчивую традицию. Недаром Древнюю Русь называли «немой культурой», великой в красках и ничтожной в слове. «Убожество интеллектуальной культуры Древней Руси поразительно», — продолжает Вениамин Новик. «В течение семи столетий (до XVII в) мы не находим ни следа научной мысли...»

Здесь снова хочется понять, почему? Я думаю — из-за лени учителей Руси, византийцев. Кирилл и Мефодий перевели только Библию. Святоотеческие писания, то есть всё, что можно назвать православной мыслью, они не переводили. «Добротолубие» сделал доступным России Паисий Величковский, выходец из Молдавии, в XVIII веке. Тогда образованные люди читали другое: Вольтера, Дидро, Руссо. Перевод Величковского повис в пустоте. Только западная романтика подтолкнула расцвет русской мысли, в том числе славянофильской. Славянофилы пришли к истокам православия через Шеллинга, либералы учились у Гегеля, радикалы — в Фейербаха. То, что мировая русская мысль началась только с Владимира Соловьева — грех византийцев, не потрудившихся внедрить, вместе с крещением, свой язык, так, как католическая церковь с железным упорством вбивала латынь в немецкие и польские головы, сооружая мост от Аристотеля к Аквинату. Из-за своей лени византийская цивилизация так бездарно развалилась, несмотря на прекрасные иконы. Субглобальные цивилизации, дожившие до наших дней, опираются на три точки: единое святое писание (или родственную группу писаний — в Индии и Китае); единый язык писания, ставший общим языком образованности; наконец, третье: единый шрифт. Граница Запада — латиница, граница мира ислама — арабский шрифт, граница Индии со всеми ее маргиналами — шрифты дewanagari и пали, граница Дальнего Востока — китайские иероглифы, приспособленные и к корейскому, и к японскому языку.

² Выступая на международной конференции в Москве, 3 декабря 2008 г.

³ Подчеркнуто мною. — Г.П.

Маргиналы недостроенного византийского культурного круга не могли его продолжать, у них не было общего языка и шрифта, им оставалось поодиночке примыкать к христианскому Западу и через западную ученость познавать собственные корни. Тем более волшебна и чудесна русская икона XIV–XV вв., достигшая вершин религиозного искусства без всякого знания византийского Логоса. Что касается недостатка рефлексии, то уровень рефлексии у героев Достоевского и Толстого достаточно высок и остается пожелать, чтобы школа стала мостом между подлинно образованным меньшинством и массой полуобразованности, склонной к «всесмешению», к неспособности отличить добро от зла и к культу очередного дракона– спасителя. Здесь хочется процитировать несколько строк из разговора Версилова со своим сыном, в романе «Подросток»:

«У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире... Нас, может быть, всего тысяча человек — может, более, может, менее, — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало... Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет — как нигде...» Вот традиция, к которой надо примкнуть.

Привычка жить на перекрестке культур, связывать вместе византийский чин, степную волю и деспотизм соседних азиатских держав дала толчок русскому гению творить из разнородного — единство, пережить Европу в целом, преодолеть разногласия и враждебную отчужденность европейских наций. В романе Достоевского переплетаются французские, немецкие, английские отголоски. Замысел «Идиота» сложился после чтения трагедии Кальдерона «Жизнь есть сон». И на всю структуру великих романов наложил отпечаток незавершенный замысел Гоголя издать русскую «Божественную комедию». Достоевский этот замысел воплотил в жизнь.

Роман Достоевского сплетает вместе логически несовместимое. Но среднему человеку эта разногласия невыносима. Он прячется от нее в какую-то одну отвлеченную идею — или чувствует, как разногласия разрывает его на части. Об этом говорит герой «Игрока»: «Я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, а знаете, почему: потому что русские

слишком богато и многосторонне одарены (я бы добавил — одарены противоположными идеями — Г.П.), чтоб скоро приискать себе пристойную форму. Тут все дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности всего чаще не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. От того так много форма у них и значит».

Слово «форма» повторяется здесь пять раз. Устойчивая форма трудно дается на перекрестке цивилизаций, на перекрестке самодовлеющих культурных кругов. Фундаментально эту задачу решил только Тибет, отгороженный горами от внешнеполитических забот. В России задача решалась «тысячью», не успевавшей донести свое открытие до народа. Нация в европейском смысле слова здесь не имела возможности сложиться. Российская империя развивалась быстрее, чем русская нация, и когда империя рухнула, русские стали сами себя спрашивать: кто мы? Так называется телевизионная передача Разумовского...

Синявский находил, что «Религия святого духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам — природной бесформенности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую форму (придите и владейте нами), нашим пороком или талантом мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что-то вполне серьезное... В этом смысле Россия — самая благоприятная почва для опыта и фантазии художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна.

От духа — мы чутки ко всяким идейным влияниям, настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, заостряем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному. Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Слово для нас настолько весомо (духовно), что заключает в себе материальную силу, требуя охраны, цензуры. Мы — консерваторы, потому что мы нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это от того, что Дух веет, где хочет, и чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает, у нас не было и не может быть иерархии или

структуры (для этого мы слишком духовны), мы свободно циркулируем из нигилизма в консерватизм и обратно». Я думаю, что Синяевский имел в виду недостаток внутренней, духовной структуры, внутренней формы, ценностей незыблемой скály, вошедшей в плоть и кровь. Михаил Булгаков запечатлел тип полуобразованности в повести «Собачье сердце» Шарик становится человеком, но человек этот еще ждет, чтобы его очеловечили.

Сегодня в России, как и во времена моей юности, я чувствую две задачи: пройти путь от поверхности в глубину, собрать себя как личность; восстановить версоловскую «тысячу» и строить мост между этой «тысячью» (или хоть сотней) и массой, доводить массу до какого-то минимума внутренней стройности и устойчивости. К сожалению, вторая задача сегодня стала труднее, чем казалась семьдесят лет тому назад. Национальное и вселенское еще больше оторвались друг от друга. Опыт «Вех» был выброшен за борт. Национальное допускалось как воплощение единого вселенского духа только для «угнетенных наций», у пасынков бывшей Российской империи. Русским полагался интернационализм, прошедший через казенный сепаратор и очищенный от всех национальных примет. Русское национальное чувство сближалось с великодержавным шовинизмом. Слово «Родина» попадало под запрет: оно вызывало старорежимные ассоциации. В 1932 г. мы в школе заучивали наизусть слова Сталина: «история России состояла, между прочим, в том, что ее били...» Дальше перечислялось, кто бил и в заключение объяснялось: «отсталых бьют». Даже у меня, еврея, родившегося в Вильне, это вызывало чувство недоумения: как это вышло, что били Россию, били — и распознала она от Вислы до Аляски? И про Суворова что-то вспоминал, хотя историю в школе не учили, только обществоведение, т.е. саму суть истории, без подробностей. «История всех предшествующих классов была историей классовой борьбы...» Помню это до сих пор наизусть весь первый абзац «Коммунистического манифеста»...

Классовая борьба продолжалась в шестом пункте анкеты — «социальное происхождение». К примеру, мать Солженицына первой увольняли по сокращению штатов и последней брали на работу: отец ее был «экономистом» (т.е. владел «экономией»; так при царизме называлось крупное, но не помещичье хозяйство; сейчас его называли бы крупным фермером). При этом лица свободных профессий, занимавшиеся частной практикой (врачи, адвокаты) считались трудящимися и не дискриминировались, хотя могли вести буржуазный образ жизни, нанимать кухарок, нянь и хоть бы и горничных. Но по марксистской

науке кухарка не производила рыночной стоимости и хозяин не зарабатывал на ее труде, а стало быть не был эксплуататором, не был классово чужд. Двенадцатилетнему Сане Солженицыну это трудно было понять; казалось, что у евреев какие-то особые привилегии. А он со своей матерью перебивались на грани нищеты...

В этой обстановке возник конфликт между Саней Солженицыным и адвокатскими детьми, исповадавшими пролетарский интернационализм. Этот конфликт наложил отпечаток на все творчество Александра Исаевича, начиная с «Круга первого» и до «Двухсот лет вместе». Несколько раз великий писатель пытается быть объективным, но где-то непременно срывается. Психическая травма, пережитая в детстве, преследует его всю жизнь. Я пытался проследить кое-что в книге «Сны земли». Отсылаю к ней читателя.

Мне хочется здесь только подчеркнуть, что Солженицын, в иных случаях, способен был на прощение и милосердие. Госпожа Теуш, соседка Солженицыных по рязанскому периоду их жизни, показывала мне копию письма оставленной жене, Решетовской, заболевшей раком. Запомнилась одна фраза: «умирать буду с чувством бесконечной вины перед тобой». С этим письмом переданы были 100000 долларов на лечение. Хотя брошенная жена мстила ему, сотрудничала с КГБ и напечатала целый обвинительный акт против бывшего мужа. Видимо, детские травмы устойчивее, чем любые удары, принятые и выдержанные взрослым. Это моя единственная серьезная добавка к тому, что можно прочесть в «Дневниках» Шмемана (на сс. 183 и сл.):

«Итак, снова четыре дня с Солженицыным, вдвоем, в отрыве от людей... Какой же всё-таки остается «образ» от этих четырех дней, в которые мы расставались только на несколько часов сна!

Великий человек? В одержимости своим призванием, в полной с ним слитности — несомненно. Из него действительно исходит сила («манна»⁴)... Но (вот начинается «но») за эти дни меня поразили:

1) Некий примитивизм сознания, это касается одинаково людей, событий, вида на природу и т.д. В сущности, он не чувствует никаких оттенков, никакой ни в чем сложности.

2) Непонимание людей и, может быть, даже нежелание вдумываться, вживаться в них. Распределение их по готовым категориям, утилитаризм в подходе к ним.

3) Отсутствие мягкости, жалости, терпения. Напротив, первый подход: недоверие, подозрительность, истолкование *in malem partem* (с дурной стороны — Г.П.)

⁴ Волшебная сила вождя дикого племени.

- 4) Невероятная самоуверенность, непогрешимость
5) невероятная скрытность».

Запись очень длинная, в несколько страниц, и всё в ней важно. Ограничиваюсь несколькими строками:

«Его мировоззрение, идеология сводятся, в сущности, к двум-трем до ужаса простым убеждениям, в центре которых как самоочевидное средоточие стоит Россия. Россия есть некоторая соборная личность, некое живое целое... У нее было свое «выражение», с которого ее сбил Петр Великий... По отношению к этой идеальной России уже сам интерес к «другому» — к Западу, например, — является соблазном. Это не нужно, это «роскошь». Каждый народ («нация») живет в себе, не вмешиваясь в дела и «призвания» других народов. Таким образом, Запад России дать ничего не может, к тому же он сам глубоко болен. Но главное, чужд, чужд безнадежно, онтологически. Россия, далее, смертельно ранена марксизмом-большевизмом. Это ее расплата за интерес к Западу и утерю «русского духа». Ее исцеление в возвращении к двум китам «русского духа» — к природе как «среде» и к христианству (в которое однако не входит прощение обид. Оно прокламируется, но не выдерживается — Г.П.). На пути этого исцеления главное препятствие — «образованщина», то есть интеллигенция антиприродная и антирусская по самой своей природе, ибо поработанная Западом и, что еще хуже, «еврейству»... Его «русскость не есть синтез, сочетание, сложный сплав всех аспектов и всех «ценностей», созданный, выношенных в России и, даже при всем своем противоречии, составляющих «Россию». Напротив, сами все эти ценности оцениваются по отношению к «русскости». Так, отвергаются во имя ее — Пастернак, Тургенев, Чехов, Мандельштам, Петербург, не говоря о всей современности: Платонов, например...» «Русскость» — как самозамыкание в жизни только собою и своим, — то есть, в итоге, самоудушение».

«Вторая «опухоль» — все возрастающий, как мне кажется, идеологизм Солженицына... Идеология — это христианство, оторвавшееся от Христа, потому она возникла и царствует именно в христианском мире. «Пророк» в Солженицыне показал это с окончательной силой. Человечек в нем все больше и больше «идеологизируется»...»

Здесь впервые сказано очень важное слово — «пророк». Оно берется в кавычки, не буквально, скорее как обозначение чего-то самого глубокого — в противовес политическим страстям, личным обидам, — словом, волнам, бушующим на поверхности. Однако пророчество само по себе — свободно ли оно от страстей, даже библейское? Я выношу за скобки Мохаммеда, я беру самый чтимый христианами пример, предмет

иконописи в храмах. Мне хочется разобрать этот пример, а потом уже коснуться пророков революции и нынешних контрпророков.

Долгая череда пророческих книг — уникальная особенность истории древних евреев. Она росла из судьбы народа в египетском плену, в вавилонском плену, в рассеянии. У этой религиозной традиции была и социальная цель, повторявшаяся из века в век. При всех различиях между пророками, они удерживали евреев от ассимиляции, от признания чужих богов и чужих нравов.

Эта цель была потеряна мировой религией. Для христиан слово «пророк» ушло в прошлое. Откровение св.Иоанна, по сути вещей, было пророчеством, но его так не называли. Религиозные движения Средних веков и на переломе к Новому времени можно назвать пророческими (их вдохновляло видение, озарение); но церковь сжигала Жанну д'Арк, Яна Гуса или Савонораллу. Сожгли бы и Лютера, если бы у него не нашлось покровителей. А византийцы непременно сожгли бы Мохаммеда, только руки до него не дотянулись. Зато потом мусульмане сжигали великих суфиев.

Религиозные власти действовали под давлением политической необходимости. Новый пророк слышал Бога иначе, чем старый. В свете озарения его ум создавал новые тексты — из тех понятий и образов, которые были у него в голове. Смешно представить себе Бога полиглотом, говорившим с Моисеем на иврите, а с Мохаммедом по-арабски. Или приходившим к пророку с ангелом-переводчиком, как апостол Петр проповедовал со св.Марком. Но даже если все это вообразить, — остается бесконечное многообразие вдохновений. В пророках глаголил не только Св. Дух, но и традиция. И у Христа, и у Будды были свои предшественники. Но разница между Христом и пророками в том, что Христос понимал несовершенство слова и умел жертвовать буквой во имя духа. То же делал и Будда, отсекая то, что не ложилось в слова, — не отрицая и не утверждая. А пророки были уверены, что каждое их слово — Божье. Как бы к этому ни относились их современники.

*Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья.
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья...*

В этих стихах Лермонтова пророк прав, виноваты обвинители. Но по слову пророков древние евреи дважды подымали восстание против Рима, и дважды это кончалось национальной катастрофой. Проиграв войну, «сын звезды» оказывался лжепророком. И

равнины с тех пор (и до нынешних дней) запрещали путь пророков. По моему скромному опыту, нельзя смешивать озарение со словами, родившимися в свете озарения. Озарение смигало страх тьмы, страх разгрома и т.п., но не давало точных указаний, куда идти. О пути еще надо подумать. Сплошь и рядом озарение кружит голову и ведет в пропасть.

Этот опыт принадлежит не только древности. Он повторялся в Новое время. В спокойном течении XIX века пришли светские пророки, услышавшие отдаленные предвестия грядущих сдвигов. Они отбросили религию как старый хлам, как вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, дух бездушных порядков. Они говорили: Бог умер. Этих пророков вспомнили, когда великие войны и великие кризисы выбили почву из-под ног народов — там, где устои Нового времени еще не успели окрепнуть. Растерявшиеся массы искали спасителей. Они обращались даже ко мне. Один шизофреник признал меня мессией, а когда я отклонил это — поверил в самого себя. Его отправили в клинику. В другой раз видимо нормальный человек, провожавший меня с «литературной среды», спросил: «не считаю ли я себя пророком». Я с отвращением ответил: «Нет, не считаю, и советую вам думать своим умом». Такие люди находили то, что им нужно, в Солженицыне или Гумилеве.

Россия прошла через захваченность двумя поколениями пророков. Сперва — пророками революции: Лениным, Троцким... Потом, начиная с 20-х годов, стали складываться контр-пророки, восставшие против разрушения русских традиций. Первым испробовал этот путь Лосев, но после двух тяжелых лет в лагере он смирился. Гумилев и Солженицын не смирились. Это их общая черта, несмотря на различия интеллектуальных путей.

Солженицын был захвачен поисками того, что он называл русскостью. Выйдя из лагеря, он не захотел жить в своем родном городе, Ростове. Ростов казался ему темным, уродливым. Видимо, на город легла тень обид, перенесенных в детстве. И казалось, что русскость найдется в центре России. Об этом есть запись в дневнике Лидии Корнеевны Чуковской (Новый мир, 2008, №9). Но Рязань не удовлетворила его, и возник новый идеал, на северо-востоке. Мне кажется, очень сильный толчок дало стихотворение Волошина. Я хорошо помню потрясающее впечатление от «Северо-востока» в 1955 году. Читал Лев Копелев, читал превосходно. Видимо, он же читал Солженицыну. В уме Солженицына метафора Волошина реализовалась в проект забросить Европейскую Россию, безнадежно испакощенную, и создать

убежище русскости на северо-востоке, замкнуться там от всего чужого и залечивать свои душевные раны. Сахаров, побывавший в этих краях, навещающая ссылного диссидента, удивлялся, что хорошего Солженицын там нашел. Потом возник новый план: всемирный успех «Архипелага» дал надежду направить Россию по колее, которая будет проложена в «Красном колесе». Я мало нашел людей, прочитавших целиком этот тяжелый труд, отнявший у Солженицына много сил. Наконец, одним из воплощений его идеала стали общины старообрядцев, замкнувшихся от мира где-нибудь в тайге или в зарубежье. При этом церковных старообрядцев, активно участвовавших в развитии русской промышленности и культуры серебряного века, как-то не заметили ни он, ни Шмеман, возражавший ему.

Гумилев шел другим путем. На нарах, без книг, без возможности научной критики, он связал обрывки идей, сохранившихся в памяти, в глобальную схему этносов. Кое в чем они похожи на тюркские племена. У Гумилева есть серьезные статьи на эту тему. Он любил простодушных варваров и не любил старые гнилые цивилизации. Однажды я увидел его в коридоре Института Востоковедения и, не здороваясь, спросил: «Лев Николаевич, чем вам нравится Чингисхан?» Он еще короче ответил: «Чингисхан не любил стукачей». Мне нетрудно было перевести это на язык исторических фактов: китайская агентура плела интриги в Великой Степи, мешая племенам объединиться в одну орду и прорваться в «Страну середины».

Некоторые черты кочевых племен и их недолговечных объединений просвечивают в гумилевских этносах. Бросается в глаза и литературный талант, умение создавать красивые новые термины. Но если этносы — инвариант всемирной истории, повторяющаяся единица в потоке перемен, то куда девать христианский мир, мир ислама и другие цивилизации?

Здесь возникает трудность. Варвары не раз покорялись цивилизации, в которую вторгались. В том числе — в Индии и Китае. Попытка Гумилева разделить историю этих стран на куски по отдельным варварским вторжениям неубедительна. Единство страны сохраняет культура, носители которой могут меняться. Венгры стали носителями католической культуры, скандинавы — образцовые протестанты. Примерно то же происходило, на свой лад, и на Востоке. Китайская культура сохраняет свою цельность со времен древнейших династий, индийская — со времен вед. Никто, даже Гумилев, не делит Францию на этнос до столетней войны и после нее. Чем же обоснован раздел китайской и индийской истории на куски? Логикой построения теории

этносов? Это белые нитки, без которых система теряет свою универсальность.

В развитии многих цивилизаций были сильные противотечения, были случаи неполной и даже показной ассимиляции — при сохранении племенного духа. Один из примеров — Аннам (переименованный коммунистами во Вьетнам). Но общее движение процесса в сторону культурных кругов, объединенных религий, языком элиты и шрифтом, по-моему, нельзя отрицать. По Гумилеву всё это неустойчивые, рыхлые «суперэтносы» (вроде Советского Союза). Этности, однако, тоже не вечны. «Из тех, кто творил великие дела две тысячи лет до нас, уцелели лишь жалкие остатки немногих» (из статьи «Этногенез и ноосфера»). Нормальный этнос живет около тысячи лет. Как же они гибнут и как возникают новые этности?

В этом месте сказывается знакомство Гумилева с теорией Макса Вебера о возникновении и распаде религиозных и квазирелигиозных общин. Основы их закладывает «харизматический лидер» с группой своих учеников. Он чувствует призыв свыше, ученики ему верят. Затем харизма рутинизируется. Приведу сразу пример: Апостолы Петр и Павел заложили основы церкви, а дальше главой церкви, папой, становится тот, кого выберут [в пародийной форме это повторила история ЦК ВКП(б)].

Основателя традиции Гумилев называет пассионарием, захваченным своей миссией (можно вспомнить слово «мана», которую Шмеман чувствовал у Солженицына. Общась с гумилевцами, я тоже чувствовал в них его «ману»). Пассионарий вместе со своими учениками образует нечто вроде брака по любви, консорцию. Однако с течением времени консорция становится конвиксией, теряет силу сцепления и держится по инерции (так и хочется сказать: рутинизируется), и ее разрушают новые страстные консорции. Веберовская теория возникновения харизматического лидерства и рутинизации харизмы расплывается и прилагается ко всему на свете.

«Именно так зарождалось на сами холмах волчье племя квиристов, ставших римлянами, конфессиональные общины ранних христиан и мусульман, дружины викингов, оседавшие в Шотландии или Исландии, монголы XIII века, да и все, кого мы знаем...» (подчеркнуто мною — Г.П.) «Такая группа может быть разбойничьей бандой викингов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, буддийской общиной монахов, школой импрессионистов и т.п., но общее, что можно вынести за скобки, — это подсознательное взаимовлечение» («Вестник Ленинградского университета»,

1970, № 24). А я-то думал, что христиан объединяла память о Христе. И у банд викингов этой памяти и этих легенд не было. Даже «история всех предшествующих обществ» у Маркса больше похожа на науку, чем куча, в которую валяются импрессионисты вместе с батырами Чингисхана.

На Западе белые нитки теории бросились в глаза. Господин Кейюа, редактор парижского журнала «Диоген», попросил меня выбросить пару страниц, посвященные разбору идей Л.Н.Гумилева: они никому не были интересны. Почему теория этносов вызвала широкий интерес в Советском Союзе? Потому что публика почувствовала в ней запах распада советского суперэтноса, потому что стиль Гумилева был ярким и красочным — а в Прибалтике слово «этнос» стало одним из знамен национального освобождения.

Здесь Гумилев и Солженицын, шедшие разными путями, сходятся. Солженицын просто отбрасывает всю Среднюю Азию, вместе с русскими, сотню лет жившими там, — в них не хватает русскости. Пренебрежительное отношение к местным народам вызвало бурю возмущения и, несомненно, ускорило внутренний распад Советского Союза. В том же направлении действовало гордое слово «этнос». А о примере Европейского сообщества ни Солженицын, ни Гумилев не вспоминали. Современные идеи, шедшие с Запада, противоречили их доморощенным мифам. Пафосом обоих было замыкание в себе самом. Контрпророки не замечали, что советский интернационализм 20-х гг., враждебный некоторым традициям русской культуры, давно уступил место великодержавному шовинизму. Сталин повернул в его сторону еще в тридцатые годы. Он был великий хитрец, великий мастер интриг, но плохой стратег. Стратегические идеи он всегда подбирал у своих соперников, и после прихода к власти Гитлера подражал Гитлеру. Из-за проволоки трудно было разглядеть тайные распоряжения, дошедшие до меня в 1943–1944 гг. Лагерь часто замораживает сознание на том, что было на воле до ареста, и продолжает бороться с мертвым врагом. Влияние лагеря особенно сказалось в творчестве Гумилева, об этом просто и лаконично писал Аверинцев. Я отсылаю читателей к его статье, напечатанной в «Новом мире» в 2003 г., и перепечатанную в сборнике, изданном в честь Витторио Страды. В подсознании Солженицына господствовало другое: детские обиды. Я о них уже напомнил, но мне хочется дополнить сказанное еще парой заметок.

Воюя с ленинским наследством, оба контрпророка не заметили, что восстанавливают психологическую структуру ленинизма (и сталинизма); во главе вождь, за ним бредет Панургово стадо. Оба контрпророка не

заметили структуру «Вех», где для вождя не было места. Оба не поняли, что именно это — фундаментальный ответ «Вех» на вызов революционного пророчества. Не поняли, что «Вехи» — ядро сообщества мыслителей, ни один из которых не претендует на роль вождя, на роль кумира растерявшихся масс.

М.О.Гершензон, задумавший «Вехи», особо просил Бердяева, Булганова, Струве, Франка не советоваться друг с другом, не создавать общей платформы, где сотрутся личные черты и потеряны будут личные пути в глубину. «Вехи» — призыв искать ответ на вызов революции (вполне выявившийся в 1905–1967 гг.) только в собственной глубине, доверив единство незримому диалогу, возникающему над различием реплик, уходящих вглубь. «Вехи» были структурой, в которой мыслитель остается самим собой, а не членом партии, подчиненным ее программе и уставу, а в конечном счете — воле «харизматического лидера». Мы хорошо помним, к чему эти кумиры масс привели Россию (а за ней несколько других стран).

Россия переболела пророками и контрпророками; пора ей выздороветь. В структуре «Вех» заложен диагноз, к которому надо вернуться. Этот диагноз отвергло почти 99% русской интеллигенции — и сто лет платило за свою ошибку. «Вехи» пролагают дорогу глубокой, ясной и трезвой мысли. По этой дороге может идти, дополняя и углубляя свой опыт, свободная личность, переступая запреты цензуры и страха. Замечательно, что при издании «Вех» не было никакой редакции, никакого сглаживания острых углов. Пошла в печать фраза

Гершензона: «Мы должны быть благодарны правительству, что оно штыками ограждает нас от ярости народной». В эти слова вцепился Ленин — и перечеркнул ею «Вехи». Но «Вехи» пережили Ленина.

Бог с ними, с пророками и контрпророками. Пусть они предаются гневу, пусть они в полемике с Лениным увековечивают ленинский стиль полемики. Новая интеллигенция начинается с понимания, что стиль спора важнее предмета спора. Предметы, волновавшие английский парламент XVIII в., давно погрузились в Лету, но стиль остался, и именно этот стиль обеспечил Англии устойчивость и гибкость общественной жизни. Пора слушать оппонента, как слушали друг друга Степун и Трубецкой за несколько лет до краха старой России. Пора понять, что целостная истина есть дух, витающий скорее в паузах диалога, в минуты молчания, чем в крике.

«Вехи» — первый подступ к собору мыслителей, подошедших к границе, где личная глубина открывает глубину, превосходящую всех нас, как лик Спаса, уцелевший на ступеньке, превосходит наше созерцание.

Это та горстка, вокруг которой может собраться новая «тысяча», наподобие той, о которой Версильов говорил своему сыну Аркадию. «Тысячи» хватило, чтобы создать великую русскую литературу, от Пушкина до Чехова. Не будем терять надежды. «Вехи» — шаг, который открывает нам дорогу к одиноким вершинам глобальной цивилизации, и вспомним: «нам внятно всё...» Откроем одиноким вершинам свое сознание. Это шаг, без которого интеллигенция никогда не возродится и не построит моста к просвещению народов. ■■■

ВСТРЕЧИ НА ГЛУБИНЕ



ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ

КЛОД ЛЕВИ-СТРОСС*

в беседе с КОНСТАНТИНОМ ФОН БАРЛЕВЕНОМ

И ГАЛИНОЙ НАУМОВОЙ

Выдающемуся французскому антропологу Клоду Леви-Строссу в конце прошлого года исполнилось 100 лет. Это событие широко отмечалось во всем мире, потому что имя этого легендарного ученого ознаменовало целую эпоху в современной науке.

Беседой с Клодом Леви-Строссом мы завершаем серию публикаций с выдающимися личностями «Интеркультурной библиотеки XX века», предоставленными «Вестнику Европы» одним из реализаторов этого большого международного проекта, антропологом Галиной Наумовой.

* * *

Книга «Печальные тропики» знаменитого французского антрополога Клода Леви-Стросса, принеся автору широкую известность, начинается предложением: «я ненавижу путешествия и исследования» и содержит признание в том, что автор этого труда совершил грех против науки. Несмотря на это, или, может быть, именно благодаря тому, Клод Леви-Стросс стал одним из тех самых значительных ученых нашего времени, чьи заслуги и открытия которых, равно как и огромное влияние на всю современную науку выходят далеко за рамки одной дисциплины. Так «Структурная антропология» Клода Леви-Стросса решающим образом наложила отпечаток на развитие гуманитарных наук, а такие понятия как «первобытное мышление» («le pens e sauvage») и «бриколаж» («bricolage» от «bricoler» «мастерить») вошли во все языки. Говоря о

структурализме сегодня Клод Леви-Стросс называет его модой, с которой лично он не хотел бы иметь ничего общего. И тем не менее, французский структурализм, да и сама история антропологии, не мыслимы без Клода Леви-Стросса.

Константин фон Барлевен и Галина Наумова:

Согласны ли Вы с тем, что современная цивилизация находится сегодня на том этапе своего развития, когда культуры Запада должны осознать необходимость учиться у культур, некогда называемых «третьим миром», так как эти культуры во многих областях сохранили больший потенциал духовной энергии и человечности. Это находит свое символическое выражение и в их повседневной жизни, и в отношениях людей, и в создании большого искусства и литературы.

В Вашем творчестве прочитывается идея того, что Запад все сильнее будет испытывать необходимость приблизиться к аутентичности мифологического мышления архаических культур. Что «белые культуры» должны учиться у тех культур, которые Запад назвал «примитивными». Учиться их мифам, в которых выражен смысл религиозности и первородная сила человеческой креативности, как это было отмечено ещё Леви-Брюлем и Полем Раденом в «Мире примитивного человека», а также в работах Мишеля Лериса.

* Проект «Интеркультурная библиотека XX века»

(ЮНЕСКО, АРТЕ, ГРАССЕ, Париж 1997-2008). К русскому изданию готовится ПРОГРЕСС-ТРАДИЦИЯ, Москва.

Клод Леви-Стросс:

Я думаю, что не столько наши культуры призваны решать эту задачу, сколько наше мировоззрение, способ философского и научного образа мышления, так как эти последние претерпели развитие совсем в другом направлении. Мы должны добиться понимания того, что человек, сознание которого глубоко связано своими корнями с мифом, со всеми средствами, которые его характеризуют, ставит и пытается дать ответы на те же самые вопросы, которые являются также и нашими с вами вопросами, ответы на которые мы ждем от различных дисциплин, отделенных друг от друга узко направленной специализацией. Исследования мифов способствовали созреванию моего убеждения, смысл которого состоит в том, что все духовные образцы, интеллектуальные модели — идеи, мнения, позиции — ясно характеризуются, выявляются посредством их значительного родства на всех стадиях эволюции.

В вашей книге «Первобытное мышление» вы объясняете, что между архаическим и современным мировоззрением вовсе нет огромной пропасти. Следовательно, мы не имеем права смотреть свысока давать первобытному миру уничижительные оценки.

Клод Леви-Стросс:

Я бы не стал утверждать, что одно лучше другого. И все же, как западный человек XX века, я считаю научный метод, таким, каким он себя утвердил в стране заходящего солнца, более «прогрессивным», хотя это нас ни в коей мере не освобождает от задачи, исследовать и другие формы действительности и их привлекать их в наших размышлениях и умозаключениях.

Таким и образом, Вас нельзя упрекнуть в том, что в своем методе исследования структурной антропологии Вы отказались от концепции хронологического процесса истории в пользу концепции синхронизма, спроецированного на все пространство?

Клод Леви-Стросс:

Собственно говоря, нет. Глубоко внутри я вижу себя как историка. Прежде всего, я исхожу из того, что возникновение и способ функционирования какого либо порядка, в котором манифестируются различные реальности, можно постичь только в том случае, если точно знать, из каких структурных элементов он состоит.

В соответствии с этим нельзя полагать, что так называемые «примитивные» культуры находятся вне

времени, вне истории, что они статичны. И напротив, прогрессивные, в смысле цивилизационного развития общества, якобы не подлежат антропологическому исследованию, так как они находятся в историческом процессе.

Клод Леви-Стросс:

Нет, совсем не так! Культуры, которые мы называем «примитивными» и которые сегодня практически исчезли, также находятся в историческом процессе. В них также происходит множество всевозможных событий — войны, эпидемии, эмиграции — как и в более развитых обществах. Собственно различие состоит в том, что для одних важна история, и они стремятся ее использовать, в то время как другие в известной степени сожалеют, что находятся в истории и стараются изо всех сил, насколько это только возможно, преодолеть ее. Эта тенденция может наблюдаться также и в обществах с письменной традицией, и это не единственный, их особо характеризующий признак.

Пытались ли Вы когда-нибудь объяснить и найти причины преобразующих изменений в доисторических культурах? Не возникало ли у Вас потребности приложить этнологию к современности, ввести ее в диалог с сегодняшними культурами?

Клод Леви-Стросс:

Я провел лишь немногие исследования, которые напрямую связаны с нашими современными обществами. Это произошло во время моего пребывания в Бразилии, когда я поручил моим студентам, заниматься полевыми исследованиями в их родном городе Сан-Пауло. Совместно мы разработали целую серию исследований по социальной морфологии, от которых еще должны остаться следы в архивах тамошнего университета. Во Франции сам я не занимался дальнейшей разботкой проектов такого рода, но инициировал их и руководил ими. Основная и руководимая мною «Антропологическая лаборатория» осуществила объемное исследование в некоторых деревнях в Бургундии.

Мифы, по-вашему, — это имманентные парадигмы, с помощью которых можно объяснить мир? Этим вопросом уже задавались такие антропологи как Клиффорд Герц и Мэри Дуглас...

Клод Леви-Стросс:

Я бы не стал говорить «имманентные», это большое слово, точное значение которого сначала необходимо

определить. Безусловно, мифы представляют собой попытку, объяснить некоторые аспекты физического и социального мира. Когда некоторые определенные сложности, с которыми сталкивается человек, суггестивно вводятся в отношение с другими уровнями той же самой реальности, то при этом открывают, что на всех уровнях происходит примерно одно и то же.

Вы сравнивали мифы индейцев Северной и Южной Америки с европейской легендой о Священном Граале. Как это возможно? Как могли возникнуть столь родственные структуры между столь отделенными друг от друга во времени и в пространстве культурами?

Клод Леви-Стросс:

Это сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. Все указывает на то, что предшественники homo erectus уже обладали языком, и еще намного более древний homo habilis также располагал, по меньшей мере, некоторыми лингвистическими формами. С этого времени, вероятно, и возникают мифы, рудименты которых сохранились очень надолго. Именно поэтому вполне возможно, что существует наследство эпохи палеолита, которое распространилось и распределилось по всему миру. И даже если мы дистанцируемся от такого рода доисторических спекуляций, то остается тот аргумент, что человек все же имеет мозг, который всегда и везде функционирует похожим образом, поэтому совпадения и точки пересечения в содержании мыслительных процессов вполне могут появляться.

Какую роль играет творчество Рихарда Вагнера в Вашем исследовании мифов?

Клод Леви-Стросс:

У меня нет точного ответа на этот вопрос. Это не та роль, о которой я мог бы сказать, что она была постоянной во все периоды моей жизни. Но очевидно то, что я был воспитан моими родителями в культе Вагнера, если можно так выразиться, и что я жил уже в раннем детстве очень близко к музыке и философии Вагнера. Я не могу сказать, есть ли здесь прямая связь, но когда я много позже занялся изучением мифов, мне вдруг бросилось в глаза, что Вагнер в отношении «Саги о Нибелунгах» и скандинавской «Эдды» вступил на путь, который основательно отличался от моего. В литературном, поэтическом тексте уже дана интерпретация мифа, в то время как музыка дает в своем регистре почти независимую интерпретацию, если можно так сказать, свою собственную, в ней самой заключенную интерпретацию. Я же, напротив,

попытался показать, что миф всегда имел многослойную структуру, и что никогда невозможно его понять только на одном уровне, его необходимо рассматривать на разных уровнях. Несмотря на это, Вагнеровский метод, в котором выражено стремление к единению музыкальной и литературной интерпретаций, может быть, подсознательно послужил мне моделью.

Вы всю свою жизнь посвятили изучению мифов народов мира. Имеет ли миф какое-либо значение в наше хронометрическое время? Можно ли говорить о существовании мифа в сегодняшнем мире?

Клод Леви-Стросс:

Мне представляется, что единственный домен знания, который сегодня еще существует и который имеет то же устройство, что и миф, — это история. Во всяком случае, история обладает примерно той же ценностью, какую миф имел в архаическом обществе. Чтобы объяснить физические, химические, метрологические и другие феномены, ученые больше не опираются на мифологическое сознание. Я не скажу, что работа историка в точности совпадает с мифотворчеством, но тот способ, согласно которому мы, не будучи профессиональными историками, воспринимаем историю, дает нам возможность брать уроки у прошлого, осознавать настоящее и строить будущее. Однако, все мы понимаем историю по-разному.

Знаете, в этом смысле у меня в прошлом были известные разногласия с Жаном-Полем Сартром, который настаивал на точном определении идеологической роли, которую в его философии играла Французская революция. Для него Французская революция была просто неким фактом, который имел место в истории. Для меня же это факт, который ускользает от нашего понимания и точного определения, потому что Французская революция, с точки зрения аристократа, человека из народа и историка, явление абсолютно различное. Итак, получается что представления, образы, которые мы создаем об истории, в широком смысле, мифические, в том смысле, что они целиком и полностью зависят от той позиции, которую мы сами занимаем в нашем настоящем.

Каким, по-Вашему мнению, мог бы быть миф будущего?

Клод Леви-Стросс:

Очень трудно сказать. Если Вы возьмете наиболее значительные достижения современной науки, например, в области квантовой механики, то мы, не физики, а просто члены общества, ведь ничего в этом не

понимаем и не в состоянии ничего объяснить. Нам это кажется абсурдным и противоречивым. И есть другая часть общества — физики, для которых это вещи совершенно понятные. Когда мы просим их объяснить нам их открытия, то они обязаны сформулировать какие-либо объяснения, которые в широком смысле будут похожи на миф. Таким образом, это как игра в пинг-понг, если хотите. Для физика, для астрофизика — это вовсе не миф, но для нас, других членов общества, это все же, в некотором смысле, примерно то же самое, что было мифом для примитивного человека архаических обществ. Я имею в виду, что миф был чем-то экстраординарным, тем, что рождает в нас чувство непонимания : почему так происходит, как это происходит? Мы не способны понять этого, потому что у нас нет интеллектуальных механизмов, которые бы нам позволили осознать эти явления.

— *Как современный человек может противостоять примату рационализма и прагматизма, доминирующих его жизнь и жизнь всего общества? Вы говорили о механистичности технократического мира.*

Клод Леви-Стросс:

— Необходимо все больше и больше отдавать себе отчет в том, что в тех областях, которые наука забыла, к которым она отнеслась с пренебрежением, которые она оставила в стороне, потому что это ей мешало в ее продвижении по пути прогресса, — так вот там есть много правды, которую нам полезно было бы знать. Как, скажем, в области чувств, или, например, таких феноменов как зрение, обоняние, осязание, — механизмы, которые наука не могла понять прежде, но сегодня уже может найти им объяснение.

— *Если обернуться назад и посмотреть на человеческий опыт в процессе его развития, то какие силы были все же мотором этого движения — идеи, экономические факты или взаимодействие между идеями и действием?*

Клод Леви-Стросс:

— Я бы Вам так ответил на этот вопрос: об этом мы ровным счетом ничего не знаем. В мистических воспоминаниях, которые однажды вдруг всплывают у нас в памяти, есть загадки, которые нам загадывает сама вселенная, — они также являются источниками истории. Мы могли бы, конечно, дать им различные теоретические объяснения. Когда же события происходят в направлении, противоположном нашим ожиданиям, мы говорим,

что это те или иные силы, которые вдруг становятся активными в том или ином направлении, являясь действительными в другой конъюнктуре, о которой мы абсолютно ничего не знаем.

Не должны ли ученые-естествоведы в своей работе опираться также на метафизику может быть даже на веру? Не должны ли они приближаться к объекту своего исследования со своего рода неким поэтическим инстинктом, чтобы осветить категорию Человека и всего Живого в рамках эволюции?

Клод Леви-Стросс:

О метафизике и вере в этой связи я не могу ничего сказать. Безусловно, необходимо, чтобы все проблемы, проблемы естественных наук и всех живых существ, будь то человек, животное или растение, воспринимались со смыслом эстетики. Красота — это ключ к пониманию.

Альберт Эйнштейн, который вновь и вновь обращался мыслями к проблеме соотношения науки и религии, писал в 1931 году в своем опубликованном эссе «Как я вижу мир» о том, что его понимание религии выражается в уважении и даже в восхищении перед бесконечной спиритуальной властью, которая проявляется даже в самых маленьких вещах как манифестация глубочайшего разума и сияющей красоты, которые доступны нашему слабому разумению лишь в их примитивных формах. Это знание и чувство и составляет истинную религиозность... «Мне хватает мистерии вечности жизни, сознания и предчувствия чудесного строения всего существующего, равно как и покорного стремления к пониманию, пусть хоть крошечной частички вселенского разума, нашего воплощение в природе».

Клод Леви-Стросс:

Да, я знаю это место...

Не является это признание Эйнштейна чем то вроде основополагающего кодекса для естественных и гуманитарных наук?

Клод Леви-Стросс:

И да и нет. Моя сдержанность объясняется следующим. Я начну с негативной стороны, поскольку я сам никогда не испытывал никакого религиозного чувства. И хотя я всегда проявлял глубокое уважение к религиозным верованиям, которым, кстати, посвятил большую часть моей жизни, но в моих глазах они называют и объясняют лишь то, что человек не в состоянии понять. Естественно,

Фото В.Ярошенко. Иерусалим. Храм Гроба Господня. Св. Кузюмлия
(Часовня над Гробом Господним). 1 января 2009 г. . Полдень



что если человек так мало знает и поэтому постоянно несет в себе чувство непостижимого, он пытается преобразовать эту негативную ситуацию в некую позитивную реальность, которую он, в конечном итоге, и называет богом. Подобный акт доставляет ему интеллектуальное и эмоциональное удовлетворение. Это негативная сторона вопроса.

С другой стороны, с позитивной стороны, я очень хорошо могу понять позицию Эйнштейна по отношению ко всей комплексности и красоте вселенной со всем сущим, что нас окружает. Что же касается меня самого, если Вы желаете знать, то я могу испытывать то чувство, которое некоторые определяют как сакральное, святое или божественное, только к красивому цветку или красивому животному. Хотя это глупо говорить, красивое животное, потому что оно такое, какое оно есть само по себе, потому что все красиво, даже если это не соответствует нашему традиционному канону красоты.

Таким образом, мы можем все, верующие и неверующие иметь сильные эмоции и большое чувство уважения перед универсальным порядком и его проявлениями, с которыми, я думаю, мы можем быть согласны.

Значит, вы не согласны с известным высказыванием Достоевского о том, что «если бог не существует, то все позволено»?

Клод Леви-Стросс:

Знаете, в известном смысле, я его разделяю, потому что, на самом деле, подавляющее большинство людей на Земле, верят в это с тех давних пор, как существует человек. Если хотите, можно привести изречение другого автора, пусть им будет Плутарх, мыслитель античности, который сказал, «если бы не существовали законы, то люди бы съели друг друга». На самом деле, необходима некая сдерживающая субстанция. Но будет ли она сверхъестественного порядка или социального порядка, будет ли это религиозный запрет или запрет в виде законов, — это, по сути, примерно одно и то же.

Не видите ли вы, в таком случае, тесной связи между скептицизмом в философии Давида Юма, например, утилитаризмом Бентама и механистическим материализмом современного мира?

Клод Леви-Стросс:

Нет, я не согласен с вами. Во-первых, потому что на интеллектуальном уровне я испытываю глубокую симпатию к Давиду Юму, которому я многим обязан в своих

философских изысканиях. И, вероятно, что касается лично меня, то я иду гораздо дальше Юма в скептицизме. Я бы сказал о себе, что я представляю философию интегрального скептицизма, в том смысле, что я глубоко убежден в том, что нам никогда не постичь нашу реальность, — она остается непостижимой.

Таким образом, для вас не существует основополагающего конфликта между наукой и верой?

Клод Леви-Стросс:

Нет. Я не вижу здесь никакого конфликта. Опыт учит нас, что есть выдающиеся ученые, ученые высочайшей квалификации, которые глубоко веруют. Я, во всяком случае, к ним не отношусь. Представление о том, чтобы принадлежать какому-либо вероучению, мне абсолютно чуждо...

Это известно.

Клод Леви-Стросс:

Впрочем, я хотел бы добавить несколько слов, если позволите.

Пожалуйста, с удовольствием.

Клод Леви-Стросс:

Несмотря на то, что я только что сказал, я чувствую себя в обществе верующих людей часто гораздо лучше, чем в обществе рационалистов.

Интересно почему? Как одно совмещается с другим?

Клод Леви-Стросс:

Потому что верующие обладают чем-то, что я назвал бы «sens du mystère» мистическим чувством. Эта мистерия для них — позитивная реальность, для меня же это только чисто негативная реальность. Но тем не менее, их убеждение создает некую атмосферу, в которой легче найти взаимопонимание.

Ваша антропология всегда выходила за границы дисциплин.

Клод Леви-Стросс:

Вы сейчас говорите о влиянии жизни каждого из нас на работу и об обратном влиянии научной работы на биографию. Это правда, что в моем детстве, да и в молодые годы, я отличался необычайной любознательностью, был страшно распылен, и что я пытался заниматься всем

по-немногу. Увы, может быть это наложило отпечаток на мою последующую работу.

Однажды вы сказали, что ваша истинная цель состоит в том, чтобы написать еще один большой роман, так как вы всегда видели антропологию близко связанной с литературой. Так нам рассказывал ваш коллега, антрополог Клиффорд Герц в Принстонском университете.

Клод Леви-Стросс:

Если Вы называете литературой стремление найти наиболее точное выражение того, что хочешь сказать, то, безусловно, стиль очень важен для работы этнографа, так же как и для всякого другого исследователя.

Как в «Печальных тропиках», например?

Клод Леви-Стросс:

Да, моя книга «Печальные тропики», которую вы сейчас упомянули, не претендовала на звание научного труда. Эту книгу я написал в довольно сложный период моей жизни, когда я думал, что уже не сделаю большую научную карьеру, и в таком случае, по крайней мере, могу позволить себе свободу писать о том, что рождалось у меня в голове.

Если говорить о проблемах современного мира, согласны ли вы с тезисом, что современный человек пытается избежать алгебраизации всех сфер жизни, что любая попытка количественного измерения человека, носит антигуманный характер. Ведь вы тоже квалифицируете как серьезную угрозу профанацию мировоззрения, которая сегодня доминирует и в политике, и в науке, и в искусстве и в нашей повседневной жизни?

Клод Леви-Стросс:

Да, я согласен с вами, хотя, прежде всего, необходимо выяснить, что именно является следствием этого мировоззрения. Традиционные общества, во всяком случае, отличались выраженной особенностью аутентичной коммуникации, которая осуществлялась между отдельными персонами в рамках весьма обозримого сообщества, в котором его членам было трудно потеряться из виду. Напротив, если говорить о современной ситуации, принимая во внимание большие демографические изменения, которым подвержены современные, взрывоопасно растущие общества, то становится ясно, что в результате этих процессов неизбежно трансформируются и их качественные компоненты. Это, помимо всего прочего,

привело к тому, что социальные отношения утратили свою аутентичность. Они управляются преимущественно разного рода посредническими учреждениями, которые только тем занимаются, что квантифицируют и нумерируют. Составляют статистики, вырабатывают предписания, готовят формуляры, проводят перепись населения и т.д. Безусловно, этот недостаток, так сказать, дефект нашего общества, олицетворяет собой обратную сторону медали столь хваленного прогресса.

Как вы расцениваете потерю аутентичности архаическими культурами, и в конечном итоге, потерю гуманной идентичности в нашем современном мире?

Клод Леви-Стросс:

Эти потери меня глубоко печалят, поскольку, по моему мнению, богатство и бедность человечества состоит именно в многообразии вероучений, нравов, литературных и эстетических форм выражения, которые они производят. Их исчезновение я наблюдаю в непосредственной близости. Я себя немного утешаю тем, что говорю себе: «Некоторые из традиционных элементов переживут и останутся, и, если это свойство человеческой природы, непрестанно создавать такие различия, то он и в будущем сможет их черпать изнутри себя самого. Но, это наверное, уже будет не то, что я когда-то знал и любил. Я надеюсь, что человек все-таки сумеет избежать того состояния униформированности, жертвой которой он чувствует себя сегодня.

В вашей долгой и плодотворной научной и писательской деятельности в значительной степени вы сконцентрировали свое внимание на маленьких бесписьменных культурах, изображая их в своей аутентичности и человечности, и уже сорок пять лет назад, в «Печальных тропиках» предупреждали мир о разрушительном натиске «монокультурности» западной цивилизации. Не может ли эта, с тех пор еще более далеко продвинувшаяся глобальная технологизация, совершенно стереть человеческую способность восприятия и отзывчивости?

Клод Леви-Стросс:

Эта опасность действительно существует. Но, по всей вероятности, восприимчивость людей найдет другие средства самовыражения, так как человек, как особь, существует с незапамятных времен и всегда доказывал, что отзывчивость и способность чувствовать, переживать, относится к существенным характеристикам его натуры. Нет никакого основания считать, что в будущем это может быть по-другому. Мы просто больше не понимаем

и не видим, в каких областях сегодня проявляется эта отзвучивость, и мы также не знаем, в какой форме она однажды вдруг вновь проявится.

Возможно, в формах искусства, в литературе, в фильме. И все-таки, позвольте немного подробнее остановиться на этом вопросе. Разве не очевиден тот факт, что установленная на всех уровнях современной жизни техническая гомогенизация ведет, помимо нашей воли, к потере эмоциональных и духовных связей и отношений между людьми — как в «периферийных» культурах, и, в первую очередь, у нас, в так называемом «центре мира», избранном и названном так нами самими?

Клод Леви-Стросс:

Безусловно, но если мы будем говорить сегодня о сферах коммуникаций, в которых осуществляются эти связи, то мы будем, прежде всего, иметь в виду старые области и формы коммуникации, а не новые. А если вдруг в это мгновение возникли бы какие-то новые сферы коммуникаций, то мы сегодняшние, не имели бы о них ни малейшего понятия. Они открываются нам неким способом, который мы игнорируем или отклоняем, именно потому, что они противоречат нашим привычкам, нашему воспитанию и всей нашей прошлой жизни.

Какую роль, по вашему мнению, играет искусство в культуре на протяжении всей истории человечества? Вы говорите о том, что «общество не может жить без искусства». Как вы видите современное искусство?

Клод Леви-Стросс:

Общество не может жить без искусства. Всегда имеется какая-либо форма искусства в обществе, но не всегда одна и та же. Я знал общества, в которых имелось большое искусство, графическое и пластическое. В других обществах, напротив, этих видов искусства практически не существовало. В таких обществах искусство проявлялось в танце, в песне, в музыке, наконец. Скажем так: в любом обществе всегда имеется какая-то форма искусства, однако, это не значит, что каждая форма искусства существует во всех обществах. Что же касается современного общества, то мне представляется, что все то, что мы называли в течение многих веков живописью, находится в стадии исчезновения в пользу некоего иного вида искусства, интерес или значение которого я вовсе не хочу умалять. Во всяком случае, имеет место разрыв, ломка, которая происходит между формами искусства, к которым больше не применимы прежняя терминология и прежние категории.

А это современное искусство находит отклик в вашей душе? Может быть иногда или вовсе не находит? Просто современное искусство, неважно европейское, американское...?

Клод Леви-Стросс:

Лично у меня?

Да, лично у вас.

Клод Леви-Стросс:

Это зависит от того, где вы проводите границу между l'art modern и l'art contemporain. Современное искусство, я имею в виду те его формы, в которых оно существует в данный момент, должен сказать, что они очень редко трогают меня.

А в начале XX века, например Андрэ Массон?

Клод Леви-Стросс:

Да, когда я был подростком, я отправлялся раз в неделю на rue La Boétie, где находились большие галереи изобразительного искусства, в которых можно было видеть последние произведения художников, только что созданных ими, последние картины Пикассо... У меня было чувство, когда я смотрел на полотно в стиле кубизма, то я ощущал некоторого рода революционную метафизику. В более поздний период я был очень близко связан с сюрреалистами, которыми я восхищался...

Макс Штерн.

Клод Леви-Стросс:

Максом Штерном в особенности.

Андрэ Бретон.

Клод Леви-Стросс:

Андрэ Бретона я высоко ценил в начале не как художника, а как критика искусства. Андрэ Массона я очень хорошо знал. Андрэ Массоном, Ивом Танги, Марселем Дюшампом я восхищался ими и продолжаю восхищаться и сегодня. С тех пор многое произошло и изменилось. Но я вовсе не хочу судить о ценности, потому что это также еще в широком смысле и вопрос возраста и поколений.

Что вы думаете о красоте как эстетическом принципе по отношению к разным культурам? Может ли человек выжить в культуре, в которой отсутствует эстетика?

Клод Леви-Стросс:

Я думаю, что у всех людей в разных обществах всегда присутствуют эстетические принципы, которые однако могут манифестироваться в совершенно различных областях.

— *Как вы относитесь к тезису гарвардского политолога Самюэля Хантингтона, провозглашенном в его нашумевшей книге «Столкновение цивилизаций» суть которого состоит в том, что будущие войны будут не между государствами, а между культурами.*

Клод Леви-Стросс:

— Да. Я знаю, что эта книга долго оставалась в центре дискуссий, и мнения были очень разными. Я признаю, что, в определенной степени, идея Хантингтона имеет смысл. Если Вы позволите привести пример в качестве личного свидетельства. Когда я еще находился в активной профессиональной жизни, скажем, где-то примерно в 1930 году, на Земле было 2 миллиарда человек, а через 50–60 лет численность населения возросла до 6 миллиардов, а через несколько лет будет уже миллиардов. Именно это событие меня беспокоит больше всего. Оно потрясло меня больше, чем любое другое событие.

В течение моей жизни объем человечества увеличился в троекратном размере. Я думаю, что большая часть или почти целиком все беды, от которых мы страдаем в разных областях жизни, происходят от этого необычайно быстрого роста массы человечества и как результат или как последствие этого роста, или как форма, в которой они проявляются. Человечество приобретает все больше и больше антигуманную тенденцию и становится враждебным по отношению к самому себе, становится своим собственным врагом. Все эти большие идеологии и религии, которые противостоят друг другу, о которых говорит Хантингтон, все это лишь внешнее феноменологическое проявление чего-то куда более глубокого, и что так выросшее в своей численности человечество доказывает все более и более серьезные проблемы жить всем вместе.

А вопрос фундаментализма сегодня и не только в исламе, но и в индуизме и в христианстве...

Клод Леви-Стросс:

Или в иудаизме.

Практически повсюду, но не представляют ли эти разные виды фундаментализма своего рода форму антимодернизма?

Клод Леви-Стросс:

Я думаю это связано с тем, что группы людей испытывают все более серьезные трудности переносить становящее все более близким, даже интимным присутствие людей других культур по причине увеличения заселенности пространства. Я полагаю, что в конечном счете, для того чтобы вести здоровое существование, человечеству необходимы дистанции. Индивидуумы нуждаются в дистанции, социальным группам нужна дистанция, культурам также нужна известная дистанция между собой. И когда эта дистанция исчезает по необходимости, то она создает всевозможные виды патологических феноменов.

Вы не считаете, что эта форма фундаментализма сегодня повсюду во всем мире может быть квалифицирована как своего рода реакция на современные технологии Запада? Что другие культуры, прежде всего мусульманские, не желают этой формы западного доминирования.

Клод Леви-Стросс:

Да. Хотя, в конечном счете, эта реакция не мешает их желанию пользоваться преимуществами этих технологий и адаптировать их, но реакция против доминации Запада, осуществляемая посредством технологий, совершенно очевидна.

Существует ли, по вашему мнению, надежда на то, что в будущем мы сможем иметь в мире подлинный диалог между культурами и религиями, или интеркультурный и интеррелигиозный диалог так и останется несбыточной мечтой, иллюзией?

Клод Леви-Стросс:

Я думаю, что диалог между культурами всегда существовал во все времена, так как никакая культура не может жить полностью изолированно. Культуры всегда находятся в состоянии взаимобмена и коммуникации. Однако, этот диалог в некоторые другие эпохи был выражен гораздо более интенсивно, чем в наше время, несмотря на многообразные средства коммуникаций, которыми мы сегодня располагаем. С эпохи Ренессанса до XVIII века духовная жизнь в Европе была чрезвычайно активной и характеризовалась всевозможными взаимоотношениями между отдельными странами. К сожалению, распространилась и обосновалась псевдо-философия, интеркультурный диалог стал интернациональной неискренностью.

Это значит, что средства электронной массовой связи, интернет, киберпространство вовсе не способствуют диалогу между культурами, как предполагалось?

Клод Леви-Стросс:

Современный мир страдает не от недостатка, а от избытка коммуникаций. Технические возможности, которые Вы упомянули, без сомнения, полезны для исследования, но интеркультурному диалогу скорее мешают.

Не стоит ли в новом тысячелетии разработать всемирно действующую этику, которая стала бы своего рода противовесом глобализации в экономической сфере? Или результатом этого именно и станет отрицание многообразия культур, в которых отражаются обусловленные цивилизационным развитием разнообразные характеристики человека.

Клод Леви-Стросс:

Ваш вопрос связан непосредственно с упомянутой выше избытком коммуникаций. В более ранний период коммуникативные связи было не так легко установить по причине пространственной дистанции между культурами. Вследствие чего, каждая из культур могла развивать свои собственные моральные представления и обычаи, не мешая другим. Напротив, молодой человек нашего с вами времени стоит перед проблемой, что другие, чуждые ему культуры, обосновываются на его родине, в непосредственном соседстве с ним, и что он их едва преносит. Он пытается убежать от этого неудобства и дискомфорта, мечтая об универсальной этике, которая распространяется на всех без исключения и применима ко всем.

Все же было бы в этом что-то искусственное — совсем в противоположность к естественной этике одной культуры, которая сформировалась в течение тысячелетий и содержит конкретные формы. Права человека были четко определены в американской и французской конституции. В настоящее время открывают постоянно новые права, и даже само представление о правах человека становится расплывчатым или объявлено ничтожным, в то время как их в реальности подчиняют определенным интересам.

В отношении универсальной этики мы могли прийти к общему соглашению в формулировке, что что все люди имеют право быть счастливыми. Такое представление о правах человека остается только желать, но, по моему мнению, оно никогда не наступит.

Мы совершенно согласны с вами. Но что вы думаете о понятии человеческого достоинства, которое имеет

большое значение не только в философских традициях Запада, но и в азиатских учениях, в индуизме, буддизме, конфуцианстве, а также в культурах народов Латинской Америки, о которых писал Жорж Дюмезиль?

Клод Леви-Стросс:

Для меня достоинство человека принципиально проявляется в том, что он является живым существом. И если ему вследствие этого даны определенные права, то они не отличаются от прав других людей. Из этой перспективы мы должны рассматривать проблемы, с которыми он сегодня вынужден сталкиваться. Так как если человек будет понимать себя как изолированную единицу по отношению ко всем «остальным тварям», такая позиция создает такую бездну проблем, с которыми мы сегодня повсюду сталкиваемся и которые до глубины души пугают нас самих.

Разве современный человек не расплачивается за то, что он был исторгнут из естественного космического порядка? Разве может быть жизнь в этом мире без представления о потустороннем мире?

Клод Леви-Стросс:

На самом деле человек должен каждое мгновение ощущать себя как часть космического порядка, и я думаю, что это чувство ведет его на путь мудрости. Вместе с тем, нужно задуматься и над тем, что космический порядок проявляется на разных уровнях. Он проявляется также и в циклических ритмах, которые даны нам через солнце и луну, которые обуславливают следующие друг за другом состояния бодрствования и сна и регулируют органические функции. Кроме того, время, необходимое для путешествия на луну это тоже аспект космического порядка. Поэтому нельзя сказать, что человек полностью обособился от космического мироустройства.

Скорее он движется с одного его уровня на другой.

Таким образом Вы считаете освоение мирового пространства дальнейшим конструктивным шагом в эволюции человечества?

Клод Леви-Стросс:

Да, оно мне представляется интересным и важным, однако не следует переоценивать его значение. Путешествие на Луну или на Марс происходит в относительно небольшом окружении вокруг Земли и, приняв во внимание космические расстояния, исчисляемые миллиардами световых лет, не имеют абсолютно никакого значения. То, что представляется нам великим событием в перспективе

нашей истории, моментально теряется в бездне космических постранных.

Как вы оцениваете сегодня биогенетику? Не только с моральной точки зрения, но и с научной?

Клод Леви-Стросс:

Как ученый-антрополог я не компетентен в вопросах генетики. Я должен обратиться к моим коллегам-биологам и генетикам, прочитать их публикации и войти в курс дела.

А с моральной точки зрения?

Клод Леви-Стросс:

С моральной точки зрения существует множество вещей, которые нас шокируют, и мы не имеем ни какого представления о том, каким будет общество и мораль завтра, и то, что нам кажется сегодня очень шокирующим, покажется им в ближайшем будущем совершенно нормальным и соответствующим порядку вещей. Вы знаете, этнологи в этом смысле довольно хорошо подготовлены и знают, что идеи воспринимаются совершенно по-разному в зависимости от модели общества, и что научные завоевания столь же экстраординарны как искусственное оплодотворение. Я бы не сказал этого о смысле научной реальности, но в форме метафоры отнес бы ко многим обществам. Таким образом, сегодня эти проблемы создают противоречие, создадут ли они противоречия может быть другого рода в будущем, я не знаю.

Согласны ли вы с тезисом критиков цивилизации о том, что человечество на нынешнем этапе своего развития находится в стадии дегуманизации?

Клод Леви-Стросс:

Я не совсем уверен, что я понимаю, что такое дегуманизация, потому что в таком случае мы будем говорить о совсем разных вещах. Во всяком случае, современный человек показал, на что он, к несчастью, способен, и это тоже часть и характеристика его человеческого естества.

*Философия понимает этот вопрос в конкретном смысле **condition humain**? Можно ли говорить о том, что человек может принимать рациональные решения, которые противоречат разуму?*

Клод Леви-Стросс:

Я не думаю, что можно говорить о рациональных решениях вне разума. В этом случае, нужно помнить о том, что в жизни человека и в жизни общества имеют место

всевозможные иррациональные факторы, которые играют роль и которым нельзя помешать иррациональную роль, роль необходимую, роль универсально неизбежную. Вы знаете, что Людовик 14 это уже сказал в своем завещании, и что есть такие вещи как ритуалы, большие коллективные манифестации, которые иррациональны, немислимы, потому что этого не понять только одним разумом, это постигается на уровне чувства и эмоций.

Если посмотреть на всю историю человечества, которая датируется многими миллионами лет, почему говорят, что именно к концу XX века история человечества ознаменовалась событиями, характеризующими переход на другой, качественно новый этап, сопровождающийся разного рода экспериментами и катаклизмами.

Клод Леви-Стросс:

Это вопрос масштаба. Мы должны в первую очередь знать, что имеется в виду. Если мы говорим о вековом масштабе, то можно, наверное, сказать, что XX век ознаменовался повторным пунктом истории в двух отношениях. Во-первых, в грандиозных катастрофах, которые произошли в XX веке и во-вторых, громадный научный прогресс, также имевший место в этом веке. В масштабе тысячелетия, то, на самом деле, это имеет гораздо меньше значения. А если мы будем мыслить в масштабе десятков тысячелетий или даже сотен тысячелетий, то это и вовсе не будет иметь никакого значения.

Это значит, что вы не признаете особого значения XX века в истории человечества?

Клод Леви-Стросс:

Ну да, конечно, я же сказал, что для нас, людей, живущих при смене тысячелетий это важно, мы переживаем этот момент как переломный, но если попытаться забраться повыше и посмотреть на мир из другой перспективы, издали, то все совершенно изменится.

Если вы с вашим огромным жизненным и академическим опытом читаете сегодня научные издания, новые исследования, находите ли вы где-либо в США, во Франции, в Германии в других странах традиции, ученых, которых бы вы могли назвать значительными, новые школы, направления, которые бы вас заинтересовали?

Клод Леви-Стросс:

Видите ли, люди моего возраста смотрят больше в сторону прошлого, чем в перспективу будущего. В

академической среде существует одна маленькая история, которую я вам коротко расскажу. Когда Альфред де Виньи, один очень большой французский поэт середины XIX века, захотел стать членом Французской Академии, он отправился делать визиты, как это принято у академиков. Он пошел к одному из них, и у него возникло впечатление, что хозяин не имел ни малейшего представления о том, кто он такой. Итогда Альфред де Виньи спросил хозяина очень скромно на предмет того, читал ли тот его произведения, на что старый академик ему ответил: «В моем возрасте, месье, больше не читают, а перечитывают».

Что же касается меня, то я вам скажу более или менее то же самое. Я перечитываю гораздо больше, чем я читаю что-то новое. И я вижу, что из больших традиций в Германии, Англии, США, во Франции не многое сохранилось. Глядя на то, что просходит сегодня, у меня не складывается впечатление, что антропология находится в периоде своего наивысшего расцвета, что однако не значит, что завтра она не проявит себя положительным образом.

Вы не находите, что именно культуры так называемого третьего мира, хотя этот термин уже безвозвратно устарел, а не Запад и не Европа являются своего рода последним убежищем и резервуаром тех живых, креативных и духовных потенциалов, из которых рождается большое искусство, большая музыка и большая литература?

Клод Леви-Стросс:

В этом я не уверен. Я вовсе не хочу умалить значение и ценность литературного и артистического творчества других стран, но все то, чему нас учит история литературы и история искусства, Европа была между двумя мировыми войнами без сомнения во главе литературного и музыкального творчества, а также в области эстетических новшеств. В настоящее время она гораздо менее активна, гораздо менее продуктивна, а другие страны напротив, проявляют в этих областях свою силу. Все меняется и происходит по-другому, не как это было пол века назад, и это возможно будет также по-другому выглядеть еще через полвека.

Если попытаться определить значение слова «мудрость» в рамках древних традиций, как это к примеру сделал Игнасий де Лойола, по сравнению со значением этого слова в современной технической цивилизации. В чем состоит разница?

Клод Леви-Стросс:

Я думаю, что «мудрость» — это понятие настолько неопределенное, что в него можно вкладывать какое угодно содержание, и его значение в одной культуре не совпадает с его значением в другой. Для меня мудрость, я бы сказал, это знание того, кто мы есть на этой Земле, что мы осознаем что мы здесь живем, что мы стараемся сделать все лучшее, что можем, что мы стараемся не слишком скучать, если можно так выразиться, и что мы знаем в то же время о том, что мы только гости на этой Земле в нашем временном пребывании здесь, мы люди, и перед лицом космического времени все это не имеет большого значения. Именно это сознание должно быть осознано нашим разумом для того, чтобы нам привить известную скромность, таково было мое определение мудрости. Я не совсем уверен в том, что оно совпадает с определением, данным Святым Игнасием Лойолой, о котором вы только что говорили.

Может ли, по вашему мнению, современный человек по-прежнему иметь доверие к миру, к космическому порядку, перед лицом серьезных изменений в соотношении «бог-космос-человек»?

Клод Леви-Стросс:

Вы мне задаете вопросы, которые совершенно выходят за рамки моей компетенции, и которые находятся вне моих дисциплин, но я все-таки попытаюсь ответить на них. Вы знаете, я начинал мою карьеру как профессор философии и я оставил ее, потому что я больше не хотел заниматься философией. Я не скажу, что я совсем ею не занимался, потому что философствование неизбежно. Это то, что мы делаем сейчас... Немножко философии.

Но во всяком случае, ставить такие большие вопросы как этот, который вы только что сформулировали, я должен сказать, что это это не мое, я себя чувствую не способным отвечать на такие вопросы, для меня это вопросы метафизического порядка и я всегда старался избегать их.

Так значит вы никогда не хотели интегрировать неважно какого уровня метафизическую структуру в Ваших трудах?

Нет. Конечно нет. Я всегда стремился избегать их. Я не скажу, что у меня ее совсем нет. Немножко метафизики проявляется то здесь, то там, но она как-то проскользнула против моего желания.

Значит, вы считаете возможным обращаться с такими большими вопросами как мифы, с которыми вы профессионально работали как никто другой, не касаясь метафизики?

Клод Леви-Стросс:

Понимаете, это зависит от того, что вы хотите делать, и еще это зависит от уровня, на котором вы находитесь. Позвольте мне одно сравнение: микроскопы снабжены разными объективами, которые дают различной степени увеличение. Вы помещаете каплю воды на тонкую стеклянную пластинку и рассматриваете ее под микроскопом с очень небольшим увеличением. Вы видите маленькие организмы, которые двигаются, реагируют, борются друг с другом или занимаются любовью, — это одна возможность. Теперь вы настраиваете ваш микроскоп на большее увеличение, и тогда вы больше не видите этих организмов, вы видите только их внутренности их тела, их желудок, другие органы. Затем вы рассматриваете их под еще большим увеличением, и вы видите только клетки их тела. А под самым большим микроскопом будут видны только атомы, из которых эти организмы состоят. Таким образом, метафизика, или тот тип вопросов, которые вы мне задавали, касаются только того, что находится на определенной степени увеличения. Я же выбрал для себя другую позицию, с которой совсем не видно индивида, а видно лишь клетки, из которых они состоят. Таким образом, я ищу механизмы, которые соединяют и заставляют коммуницировать эти клетки одну с другой. Все это мне представляется абсолютно закономерным, и я вовсе не хочу проклинать большие вопросы метафизики. Я просто считаю, что для всего в жизни есть место. Реальность должна изучаться на всех этапах, на различных уровнях. Я занял свое место на определенном уровне, вы, как мне кажется, на другом.

Сегодня во всем мире мы наблюдаем процесс зарождения и роста множества моделей модернизации, которые соответствуют всему разнообразию культур, традиций и религий, а не только исключительно Западу. Это многообразие моделей модернизированного общества по-африкански, по-латино-американски, по-русски, разве это не то многообразие культур, которое можно пожелать для будущего?

Клод Леви-Стросс:

То, что мне хотелось бы пожелать, так это именно многообразие. Однако нельзя быть в этом совершенно уверенным, потому что мы видим, как происходит модернизация в этих странах. Она осуществляется на собственный

манер в духе их собственной культуры, но, в конечном счете, все они идут в одном и том же направлении, к одной и той же цели, предполагаемой «modernité». Вопрос в том, останется ли эта цель целью в будущем, или она будет противоположной той, к которой они сейчас стремятся. Я был поражен моими визитами в Японию, которые я совершал в течение десяти лет много раз, и я мог наблюдать, не усиление модернизации чисто в духе японской культуры, а напротив, ее ослабление. Мои японские друзья мне, между прочим, признавались, когда мы гуляли по улицам, что то, что мы видели пять лет назад, сегодня вы уже не увидите, потому что это все исчезло.

Вас это тревожит?

Клод Леви-Стросс:

Да, меня это очень тронуло, потому что я восхищался Японией. Все то, чем я восхищался в японской культуре и продолжаю восхищаться, так это ее способность использовать модель модернизации, которую предложил Запад, без того, чтобы пожертвовать при этом своей собственной оригинальностью, своей собственной культурной идентичностью.

Проблема потери культурной идентичности странами в процессе модернизации, очевидно, касается не только Японии, но и других стран, которые испытывают трудности совместить особенности своей культуры и религии с условиями развития новых технологий.

Клод Леви-Стросс:

Я думаю, что была одна страна, о которой мы говорили, это Япония, которая могла нам дать пример и создать впечатление того, что это возможно. Но я не уверен в том, это впечатление сохранится и в будущем.

А в странах Латинской Америки, более бедных чем Япония, не составляет ли потеря культурной идентичности в связи имплантацией экзогенных технологий большую опасность?

Клод Леви-Стросс:

Знаете, к несчастью, у нас нет выбора. Совершенно очевидно, что эта технологизация общества распространится и затронет даже народы, которые находятся даже в самых отдаленных уголках. Понятно, мы можем сожалеть об этом в плане эстетики или в смысле духовности, но здесь ничего не поделаешь, технологизация происходит сама по себе и будет развиваться все больше и больше.



фото В.Ярошенко, Иерусалим, Собор Успения Богоматери на горе Сион

Вы хотите сказать, что нужно принять это развитие как данность?

Клод Леви-Стросс:

Я не сказал, что это надо акцептировать, я сказал, что у нас, кажется, нет выбора.

Может ли мистерия человеческой жизни быть постигнута посредством механистических концепций? Не обречены ли эти попытки на крах?

Клод Леви-Стросс:

Мистерия человеческой жизни это прежде всего мистерия самой жизни, мистерия того, что такое сама жизнь. В XIX веке по этому поводу существовала некое туманное представление, и даже сегодня еще так думают в некоторых лабораториях, что если смешать некие особые субстанции и пропустить через них электрический ток, то можно было бы достичь рождения или перерождения. Мне представляется, что все большие открытия современной биологии, генетики, в конечном итоге, все самые большие открытия не были сделаны в этой области со скоростью и невероятным ритмом, но то, что они нам демонстрируют и чему они нас учат, так это то, что жизнь — это вещь куда более сложная, чем мы себе это представляем и, что каждый раз, продвигаясь вперед в этой области, мы открываем, что за решениями, которые нам казалось, мы достигли, появляются новые проблемы. И так, что же такое жизнь, что же такое вселенная? Мое глубокое убеждение состоит в том, и это может быть совершеннейшая ошибка, но я думаю, что мы никогда не узнаем этого.

Разве Вы никогда не использовали понятие божественного как этнолог?

Клод Леви-Стросс:

Нет. Я понимаю под этим термином, если вы непременно желаете говорить об этом, скорее универсальный феномен. То, что я пытаюсь сделать в своей работе этнолога, так это нести субстанциональный вклад в аспекты, касающиеся интеллектуального выражения их особенностей, что мне представляется гораздо более важным, чем аспекты эмоциональные. Я не хочу сказать, что интеллектуальные аспекты это только рациональные аспекты, они очень даже могут быть и иррациональными.

С древних времен характер мистического в различных культурах играл значительную роль в истории

человечества. Может ли мистицизм еще играть роль в современном технологизированном мире? Можно ли представить человека вне категории мистического?

Клод Леви-Стросс:

Вы хотите говорить о мифическом или мистическом?

Скорее о мистическом.

Клод Леви-Стросс:

Просто, если вы позволите, мы не будем определять мистику в одном единственном регистре. Возможно, что в известной дозе мистического нуждается каждый из нас, и можем ее найти в областях куда более разнообразных, чем те, что представлены институтами больших мировых религий.

Существование человека протекает под знаком смерти и связано с вопросом, что его ожидает потом. Естественные науки не дают ему ответ на этот вопрос. Как человек должен справляться с этой угрожающей пустотой?

Клод Леви-Стросс:

Вы говорите об этом с человеком, который давно перешагнул свой 90-летний рубеж, и который находится очень близко к той границе, о которой вы говорите. Я признаюсь, что мысль о переходе в никуда мне хоть и неприятна, но она меня не беспокоит.

Любовь, метафизика любви, может ли она придать жизни смысл?

Клод Леви-Стросс:

Этого я не знаю. Я совершенно уверен в том, что жизнь не имеет никакого смысла. Если вы хотите связать меня с какими-либо религиозными представлениями, что, очевидно, и есть ваше намерение, то я вам отвечу, что я только к одной из больших религий испытываю известную склонность, а именно, к буддизму.

К буддизму?

Клод Леви-Стросс:

Да. Во-первых, потому что буддизм не имеет персонализированного Бога, во-вторых, потому что он допускает представление и толерантно относится к идее о том, что смысла нет, что именно в отсутствии смысла, в бессмыслии и лежит последняя мудрость. Такого рода веру я без проблем готов принять.

Напомним, что междисциплинарный проект «**Интеркультурная библиотека XX века**» (1997–2007) проходил под эгидой ЮНЕСКО в сотрудничестве с телеканалом ARTE и парижским издательством GRASSE.

Он представляет собой серию интервью с наиболее яркими представителями из разнообразных областей знания, науки, техники, политики, религии, культуры, что позволило создать документацию значительных идей и достижений 20 века в контексте разных культур и религий с перспективой на будущее, с учетом философского, политического, экономического, культурного и экологического факторов.

Проект объединил таких всемирно известных французских интеллектуалов как Клодт Леви-Стросс, психоаналитик и лингвист Юлия Кристева, философ-медиаолог Режи Дебрэ, кардинал Поль Пупар, критик современной цивилизации Поль Вирильо, а также лауреатов Нобелевской премии писателей Эли Визель, Надин Гордимер из Южной Африки и Воле Зоинка из Нигерии, польско-литовского поэта Кшеслав Милоша, русско-бельгийского физика и химика Илью Пригожина, политиков Бутрос-Бутрос Гали и Вацлава Гавель, легенд архитектуры Филипа Джонсона и Оскара Нимеера, французского скульптора Луизу Буржуа, живущую в Нью Йорке, мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса, польского философа Лесчека Колаковского; живущих в Париже арабского поэта Адониса и бразильского фотографа Себастиано Сальгадо, гарвардских профессоров биолога-эволюциониста Стивена Д. Гулда (Stephen Jay Gould), экономиста Д.Кеннета Голбрайта, политолога Самюэля Хантингтона, теолога и философа религий Раймундо Паниккара и др.

Результатом проекта стали фильмы (ARTE) и книга «Le livre de savoir» (**Книга мудрости**), издательства Грассе, Париж, которая имела интернациональный успех и уже переведена на 18 языков.

Вместе с тем, беседа с Клодом Леви-Строссом является своего рода и символом нового начинания и публикуется также в связи с подготовкой к **новому большому проекту между Францией и Россией** на основании принятого Президентами двух стран решения о проведении в 2010 году Национальных годов России во Франции и Франции в России.

В рамках культурных мероприятий Года России во Франции в 2010 году предусмотрена большая программа

культурных мероприятий: театральные представления, концерты, выставки, а также ряд встреч между российскими и французскими интеллектуалами.

Цель этих встреч состоит в том, чтобы познакомить французскую и российскую интеллектуальную публики с ведущими направлениями культурной жизни современной России и современной Франции, в личном контакте и открытом диалоге обмениваться мнениями по самым важным вопросам. Живое общение и интеллектуальный дискурс, публикации по результатам встреч и перевод наиболее ярких трудов участников на русский и французский языки, безусловно, будут способствовать общему вкладу Франции и России в создание единого культурного пространства и углублению понимания культур. Надежным средством для лучшего взаимопонимания был и остается диалог интеллектуальных элит.

Концепция встреч французских и российских интеллектуалов, равно как и критерий выбора участников, непосредственно связаны с уже осуществленным проектом «Интеркультурная библиотека XX века», в котором, как мы уже говорили, принимали участие такие французские ученые как К. Леви-Стросс, Эдгар Морен, Режи Дебрэ, Юлия Кристева, Мишель Серр, Поль Вирильо, кардинал Поль Пупар. В рамках проекта предполагается знакомство с творчеством каждого из участников, а также встречи и дискуссии с российскими интеллектуалами и с интеллектуальной общественностью в разных городах России.

Для дискуссий французских и российских интеллектуалов предлагаются глобальные проблемы современного мира и современного человека.

Прежде всего, это вопросы выживания человечества (экология, ресурсы, терроризм),

□ вопрос об ответственности ученых за результаты своего труда (генная инженерия, атом),

□ соотношении богатства и бедности в мире, вопросы культурной идентичности и глобализации,

□ проблема соотношения западной технологии со всем многообразием мировых культур,

□ возрастания в мире этнических и религиозных конфликтов, фундаментализма как формы антимодернизма.

□ роль трансцендентального в перспективе постепенной секуляризации мира и потери духовности

□ роль религии в современном мире

□ взаимоотношение науки, религии и политики

□ урбанизация мира и потеря языкового богатства и культурного разнообразия

□ вопрос о морали власти и относительности свободы

□ вопрос о власти рынка и культе денег в современном мире

□ о кризисе европейского духа и поиске новых путей и создании новых мифов

□ о роли средств массовой информации и коммуникации

Результаты встреч и дискуссий будут публиковаться в прессе, и в первую очередь, в журнале *Вестник Европы*, а также в журналах *Вопросы философии* и *Русский мир*. Кроме этого, запланированы перевод и публикации отдельных трудов французских участников, например «К политике цивилизации» Эдгара Морена, которые будут осуществлены по решению комитета и в соответствии с пожеланиями российских издательств.

Встречи с российскими интеллектуалами во Франции предлагается провести совместно с ведущими французскими университетами при активной поддержке

Посольства России, Российского культурного Центра а также французской ассоциации «Русско-Французский литературный Комитет».

Заключительная встреча должна состояться в Центре интеркультурного диалога Замок Орион в Пиренеях, где уже много лет успешно в рамках проекта «На перекрестке культур» Галины Наумовой проходят международные проекты такого рода.

Например, встреча в замке Орион, (Франция) российских, французских и немецких специалистов (в сотрудничестве с Петербургским университетом и Direction de recherche CNRS (2006-2008) на тему: *Ницше и Лу Саломе. Европа без вражды и насилия*, в которой принял участие крупнейший французский знаток творчества Ницше, президент Европейского университета проф. Жан Пьер Фай. А в мае 2008 прошла встреча известного французского социолога, советника президента Франции Эдгара Морена с Иберо-американским Форумом, объединившем 200 университетов Латинской Америки, Испании, Португалии и Италии на тему *Новая теория коммуникаций XXI века*. ■■■



МИФЫ СТАЛИНИЗМА

ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ

От редакции

В конце 2008г. в Москве прошли две конференции на близкие темы. Первая организована была Библиотекой Иностранной литературы и фондом Наумана, называлась «Мифы России». Она прошла 3-4 декабря в Овальном зале Библиотеки. Одно заседание из четырех было посвящено мифу «Сталин».

Через два дня большую международную конференцию «История сталинизма» проводило издательство РОССПЭН и фонд Первого Президента России Б.Н.Ельцина. В ней ведущие российские и европейские ученые работали на пленарных заседаниях и в шести тематических секциях.

Мы имеем возможность опубликовать только некоторые из многочисленных выступлений на этих, связанных темой и участниками, конференциях.

Общая пленарная заключительная дискуссия конференции «ИСТОРИЯ СТАЛИНИЗМА»

Почетные гости:

Юрий Петрович Любимов, Петр Тодоровский, Даниил Гранин, академик Сигурд Оттович Шмидт, Элен Карен д'Анкос, Теодор Шанин, Владимир Лукин, Министр науки Андрей Фурсенко, иностранные гости, российские ученые.

Ведет Николай Сванидзе.

Николай Сванидзе

... Не будем лукавить уважаемые коллеги, тема всего этого трехдневного разговора выходит далеко за рамки научных интересов

Тема эта очень острая... Такие феномены как сталинизм вызывают острый интерес и, как правило, эксплуатируют социальные проблемы и на них вырастают и усиливаются в общественном сознании...

Сталин и теперь живее всех живых, как показывают рейтинги; во всяком случае — живее многих живых в России и влиятельнее многих популярных политиков современности.

В основе мифа, созданного в свое время крепко, я бы сказал талантливо, лежит такой неоспоримый факт как победа в Великой Отечественной войне, которая в течение десятилетий связывалась, а в ума многих людей и сейчас связывается, с именем Сталина.

Здесь и тоска, которую в России принято называть тоской по «твердой руке». Она, естественно, питается из недостатка российской демократической традиции; это тоска по имперскости, которая особенно усилилась после развала Советского Союза. И здесь главным империалистом (со знаком плюс!) в умах многих людей остается Сталин. Так или иначе, еще можно вспомнить много других оснований для крепости этого мифа... Факт этой актуальности налицо.

Как мне кажется, Россия сегодняшняя не должна и не может нести ответственности — ни юридической, ни моральной — за преступления сталинизма.

Шум в зале, реплики: Ну конечно!

Сванидзе: я позволю себе продолжить. На нас лежит ответственность за то, чтобы эти преступления никогда не могли повториться. Ответственность эта лежит как на руководстве России, так и на российской интеллигенции

и на российском народе. Народ традиционно лъстиво выводится из всякой зоны ответственности, но, на самом деле, ни за что не отвечает только раб, а свободный человек несет всю полноту ответственности, как за свои действия, так и за свой выбор.

И никто ее с нас не снимает.

Состав сегодняшней дискуссии таков, что мы можем выйти за пределы чисто научного разговора и придать ей гуманитарный, человеческий характер. Тем более, что во времена, о которых идет речь, они (???) были уже зрелыми людьми.

Я прошу простить за несколько вводных фраз, которые кому-то показались спорными.

Я хотел бы предложить слово госпоже Карен д'Анкос, потрясающему исследователю, у которой неповторимый угол зрения на все эти проблемы.

Элен Карен д'Анкос

Я хотела бы сказать две вещи. Во первых, надо понять, что вопрос дискуссии о сталинизме это, конечно, русский вопрос, русского общественного мнения.

Но он и для других является актуальным историческим вопросом.

Меня беспокоит тенденция, которая сейчас существует в западных странах: считать, с одной стороны, что изучать историю не очень важно; но с другой стороны, очень распространено мнение, что история принадлежит всем и каждый имеет право иметь свое собственное мнение, какое он пожелает. Получается, что историческая правда — это нечто, что *не совсем существует*. История теперь — вещь субъективная. Мы живем в мире, где СМИ радикально меняют взгляд обществ на ключевые вопросы... Еще полвека назад люди могли говорить, что они знают историю, потому что они ее изучали, читали книги,

смотрели какие-то фильмы, слушали что-то по радио. Всякие дикие или фантастические идеи не могли быть популяризированы слишком уж широко. Теперь с интернетом можно абсолютно все выпускать в мир, можно влиять и менять представления, транслировать заблуждения, подвергать сомнению серьезные исследования, распространять любые фантастические идеи.

Это очень опасные изменения с точки зрения возможности воздействия на общественное мнение.

Второе, что я хочу затронуть, это наши европейские, европейского союза проблемы...

В связи со сказанным, в Европе идет сейчас дискуссия, нужно ли контролировать историю, поскольку она уже очень возбуждает людей. И кто будет определять: где историческая правда — историки или политики?

Это важнейший вопрос. Потому что ЕС, по-моему, вступил на странный путь... Европейская комиссия подготовила директиву (еще не совсем признанную, но она уже подготовлена и продвигается), которая говорит о том, что всякий острый дискуссионный вопрос (еврейский вопрос, холокост, ислам, всякого рода колониальные вопросы, армянский вопрос могут туда войти) не будут отныне свободно обсуждаться. Будет какая-то согласованная установка и историка будут судить, если он говорит что-то с ней не согласное.

Политическая корректность, целесообразность будет торжествовать над исторической правдой. Она будет объяснена и провозглашена политиками и историк пойдет под суд, если он с ней не согласен.

Историки окажутся под политическим контролем. Против этого сейчас протестуют тысячи историков. Надо быть очень осторожными: если государство берется решать, где историческая правда, почему сталинизм не может быть официально объявлен «позитивным», например, в вашей стране? Наши правительства из политических соображений с этим могут согласиться. И так любая страна может требовать согласия с ее официальной политической доктриной истории.

Ни к чему будет залезать в разные архивы, ни к чему копаться в источниках — если государство уже решило какую дать оценку событиям прошлого.

Учебники — тоже очень важный вопрос. Уже официально обсуждается, что в конце концов хорошо бы ввести некую унифицированную для всей Европы историческую догму, проходящую во всех европейских учебниках.

Мы здесь обсуждаем, как донести до общества правду о сталинизме, как убедить общество интересоваться этим. Но с другой стороны и в странах, которые никогда сталинистскими не были, где свобода полная, все-таки

есть какая-то тенденция контролировать историю. Чтобы и историки, и учебники, и общественное мнение согласились с какой-то утвержденной исторической догмой. Так было в Советском Союзе, но я никогда не думала, что такие идеи могут торжествовать в свободной Европе. Но они дискутируются и могут стать преобладающими.

Я считаю, что эта конференция очень важна, потому что сталинизм важнейшая проблема не только для истории России, но и для всего мира. В конце концов, ментальность сталинизма по всей Европе гуляла. Французская коммунистическая партия была одной из самых сталинистских партий; за ней стояли миллионы избирателей. Это менталитет, который все еще существует.

Во Франции интеллигенция с тридцатых годов и до Солженицына была очень коммунистически настроена.

Но она отошла от этого, а коммунистическая партия неожиданно совсем пропала. Выяснилось, что коммунизм тоже может вымирать в менталитете. Люди смотрят ТВ, кино, — почему Сталин нравится им? Потому что героев нет. Нет крупных людей. Кто-то сказал здесь: «гламурный» Сталин — это парадоксально, и в то же время люди ищут каких-то героев.

Я хочу задать один вопрос — что интересует молодых? Старые просто считают, что прошлое было лучше; а молодые? Что их интересует: «гламурный» Сталин, сильное гламурное лицо, или все-таки сталинизм — жесточайшая бесчеловечная система, где государство их контролировало, но и обеспечивало как-то, модернизируя промышленность. В какой степени сталинизм отделяют люди от Сталина?

Большое спасибо.

Юрий Любимов

Начну с цитаты. (Актерски, с грузинским акцентом):

«Толпа это как материя истории, сколько ее в одном месте убудет, столько ее в другом месте прибудет, так что жалеть ее нечего.» Цитата не моя.

В семь лет я хоронил Ленина. Привел меня старший брат, комсомолец. Я отморозил немного нос и щеки; было очень холодно и вокруг Дома Союзов горели костры. Всю ночь. Люди приплясывали от холода. Я все ныл: отведи меня домой. Отвел он меня домой. Получил он от папы своего, который был, конечно антисталинистом, потому что (???) Сталин отобрал у него все что можно. Так что никак я не мог быть сталинистом: щеки отморозил с детства, да и папа дал затрещину старшему брату. Он ушел из дому, я за ним, отец сказал — старшего вообще не пускать в дом, пока не извинится, а маленького вернуть. Меня, конечно, вернули...

Попал я в финскую войну, незначительную, как Твардовский говорил, где пушки едут задом, знаете, кто постарше.

Умудрился я сыграть в пьесе Миллера «Все мои сыновья». Пришел Мехлис(???), ему не понравилось: я там летчик, американец, наш враг, представлен хорошим парнем. Непорядок! Меня проработали; я пытался с ними говорить, послали меня подальше.

Великий полководец? Полководец он скверный, просто скверный. Провел бездарную войну, положил сотни тысяч молодых людей. Они были плохо экипированы, а финны хорошо. Питер все равно был окружен и умерли миллионы людей. Так что полководец он скверный. И недаром великий Рокоссовский говорил: «Прежде всего надо было изолировать недоучившегося попа!»

Я больше доверяю Рокоссовскому. Господин Сталин никого не берег, он был иезуит, сукин сын, плевать он на всех нас хотел! Он хотел царствовать. Он говорил: есть вещи выше чем богатство — это власть. Помешанный, параноик — это даже медициной установлено. И эти нынешние поползновения тоталитарного мышления... Человек нормальный, свободный, должен возражать. Это право каждого: что-то сказать...

Сванидзе: Поразительно, что человек, лежащий в могиле 55 лет вызывает такие острые и противоположные чувства. Это действительно феномен, нуждающийся в объяснении...

Любимов: Да нет, никаких чувств он не вызывает у меня...

Андрей Фурсенко,
министр науки и образования

Мне здесь выступать не по рангу, я пришел не представлять, а послушать, мне это интересно как гражданину России, и как человеку, который получил домашнее историческое образование. Не думаю, что интересны мои воспоминания, как воспринимался в моей семье Сталин, хотя каждый из нас это прошел. Я наверное должен поблагодарить своих бабушек и дедушек за то, что они никогда не воспитывали меня в тоталитарном смысле; что кто-то есть, «кто знает как надо», и точно знает, как должна быть устроена жизнь..

В стране было воспитано, вопреки всему, очень много свободных людей, свободных не только в плане, что они не следовали авторитетам, но и не бежали первыми ниспровергать авторитеты. Потому что это оборотная сторона медали... У нас это очень сильно развито: либо церкви всем жечь, либо строим со свечками стоять.

Меня отец учил: есть архив, есть факты, трактовки не только вторичны, но сильно сзади... Главный наш долг показывать, а не замалчивать факты. И какая бы не была благая цель, факты не должны подтасовываться — ни в ту, ни в другую сторону.

Дикий парадокс, когда Сталин становится героем связан с тем, что есть недостаток личностей. И людям кажется, что Сталин — это крупная личность.

Вопрос книг, архивов, учебников трактуется сегодня, на мой взгляд, не совсем адекватно. Почему-то считают, что если, обсуждая эпоху сталинизма, находят какие-то резоны, это может служить оправданием страшных преступлений. Надо понимать, сукин сын не становится меньшим негодяем, если он не патологический больной, а здоровый человек, основывающий свои действия на холодном расчете; если он считает, что этот расчет помогает ему решать его задачи. Да он становится еще хуже.

Может быть, задача историков показать — какую логику, какую базу люди ставят во главу тех или иных решений для того, чтобы остановить любые возможности вернуться к иному режиму. Сначала к авторитарному, а потом к супертоталитарному строю.

На того, «кто знает, как надо», люди охотно ответственность передают. Людям страшно. Людям плохо. В сложные времена тяга переложить ответственность на того, «кто знает как надо» — очень велика. Эту власть даже не надо тащить — ее с удовольствием дают.

Один из уроков сталинизма, возможно, состоит в том, что надо не бояться и стремиться брать на себя определенную ответственность... Беда приходит тогда, когда люди, и очень умные люди решили, что если они делегируют эту ответственность, будет лучше. Будет хуже.

Я думаю, хорошо, что мы обсуждаем эти темы; принципиально важно, чтобы разные точки зрения были доступны. Но я так же считаю, что ни по одному из направлений мысли не должно быть жесткого диктата.

На интеллигенции лежит огромная ответственность показать, насколько ужасно для общества следование тем принципам, которые на начальном этапе могут показаться даже позитивными для развития страны.

Петр Тодоровский

Последую примеру Любимова, начну с цитаты:

«Порча общественных нравов начинается тогда, когда исчезает правда.»

Нам нужна Большая Правда, которую нужно передать следующему поколению. А нам самим уже не нужна правда, мы очень хорошо знаем сталинизм. Я помню, в восемь лет я шел по нашему маленькому городку, у забора

сидела истощенная женщина, на коленях ее маленькая дочка с удовольствием вгрызалась в крысу. И это изображение преследовало меня всю жизнь — и когда я бежал и кричал: «За Родину, за Сталина». Кричал, конечно, формально.

Я был обработан очень серьезно; у меня не было такого отца, как у Юрия Петровича Любимова, который понимал, что происходит в действительности; я до всего должен был доходить сам.

Надо посмотреть очень внимательно, что написано в школьных учебниках про историю сталинизма. Сколько там страниц отведено на этот трагический период; где аргументы которые разоблачают Сталина, как изверга, который положил 20 миллионов на войне, а в стране, может быть, и не меньше. Ничего этого нет. Может быть, только в прозе отражено.

Нам нужна Большая Правда. Я сейчас закончил фильм, который назвал «На память о пережитых страхах». Продюсер, конечно, сказал, что с таким названием ни один прокатчик фильм не возьмет; мы его назвали «Рио-Рита.» И все равно прокатчики не взяли его. К удивлению моему, Первый канал его купил. В центре этой истории — сталинский выкормыш, погубивший замечательную интеллигентную семью, которые в конце войны дошли до Германии, — отец и трое его сыновей. И они погибли не от войны, а от этого мерзавца и от системы, которой мерзавцы могли пользоваться. От человека, которого с детства научили не верить людям...

Даниил Гранин

Николай Карлович, когда он открывал сегодняшнее заседание, среди основных достижений сталинизма, как безусловное назвал главное — Война, Победа.

Вы знаете, когда война закончилась (а я провелевал почти всю войну), для нас, *солдат*, главным полководцем войны был Жуков.

Как получилось так, что автором победы стал Сталин? Вспоминая то, что было даже не войну, а после войны, я вспоминаю такие вещи: очень скоро, где-то через полтора года, нам, фронтовикам, отменили наградные деньги, маленькие деньги, которые мы получали за ордена. Прекратилось празднование Дня Победы, отменили его как выходной день. Фронтовики перестали носить свои ордена. Это пятидесятые годы... И так далее. Как будто все делалось для того, чтобы солдат *утихомирить*, отлучить их от ощущения победителей, хозяев и авторов победы. Это происходило параллельно с тем, что всячески дискредитировалась роль маршала Жукова. Жуков, который для нас, солдат, олицетворял и был главным полководцем Победы,

был отлучен, отправлен в ссылку... Я уж не говорю о том, что делалось с военнопленными, которых было несметное количество, солдат настоящих, попавших в плен в первые же месяцы войны. У нас в Петербурге выслали так называемых САМОВАРОВ — инвалидов, людей, которые лишились ног и рук, которые катались на этих деревянных платформочках, — чтобы они не портили вида своим искаленным организмом. Их выслали на остров Валаам.

И постепенно со всей этой умелой политикой авторство Победы было присвоено Сталину. Это стало неразделимым понятием: Победа и ее Автор, ее полководец, который никогда не был полководцем.

Я думаю, что эта подмена чрезвычайно не тем даже, что она оскорбительна, несправедлива и так далее — но она послужила во многом основой и нынешнего сталинизма. Это вообще стало главной заслугой нашей истории: победа в Великой Отечественной войне.

Я хочу сказать: надо понимать, что Красная Армия, которую пестовал Сталин и которой он занимался, она проиграла войну — *начисто*.

Война где-то в сентябре-октябре сорок первого, когда стало ясно, что страна гибнет, превратилась в Великую Отечественную войну. На войну поднялся народ. Где-то в августе сорок первого я сидел в окопе, мимо нас проходили отступающие кадровые войска; и я, как и наши солдаты-ополченцы, вооруженный бутылкой с горючей смесью, — единственное вооружение, какое у нас было, — я выменял за мыло, которое мне мать дала в дорогу и головку сахара (куски такие были сахара — я выменял винтовку с патронами, с которой я начал чувствовать себя вооруженным солдатом.

Что это было? Что это такое было? Нас отправили на войну, к которой мы долго готовились, страна непрерывно готовилась к этой войне, а нас отправили безоружных — все народное ополчение.

Я хочу, чтобы была такая правда о войне, которая не оскорбительна, показывает героизм, действительный героизм народа, который, несмотря ни на что, все-таки победил.

Это та правда, которая не сходится с понятием сталинизма, который сегодня рассказывает, как мы побеждали, а не о том, как мы выстрадали эту победу, как мы проигрывали эту войну, и все-таки нашли в себе силы, чтобы переломить ее ход неслыханной ценой, неоправданной ценой, после которой называть-то ее победой язык с трудом поворачивается...

Мы до сих пор страдаем от этих последствий, этого сиротства, этих болезней, этих демографических провалов... Это и есть сегодняшний сталинизм...

(???)

Людмила Улицкая*

КРИЗИС СОЗНАНИЯ

Человечество сегодня переживает тотальный кризис, включающий и кризис самого сознания. Написано уже множество сценариев конца света, и не только безграмотными истериками разных религиозных направлений, но высокообразованными и трезвыми учёными. Тот финансовый кризис, о котором больше всего пишут все газеты мира последние несколько месяцев, по сути дела, является лишь небольшой верхушкой айсберга глобальной катастрофы, которую всю вторую половину XX века пытались заговорить, заклясть, или, в более обывательском слое, не заметить. Одна из существенных характеристик сегодняшнего времени, как мне представляется, непредсказуемое изменение не какого-то одного параметра жизни, а всех без исключения — даже сама биологическая природа человека вдруг стала проявлять свойства, прежде не замечаемые. Фундаментальные законы, на которые опиралось наше сознание, стали давать сбои, или, во всяком случае, обнаружили пределы, за которыми эти законы перестают работать. Надежность существования нашего биологического вида *Homo sapiens* — единственного, как нам представлялось прежде, а теперь и это уже подвергается сомнению, способного к рефлексии, к самопознанию, — эта надежность, обеспечиваемая стабильностью места нашего обитания, прочностью нашей планеты, по разным причинам тоже подвергается сомнению: запасы воды, воздуха, общие пищевые и сырьевые ресурсы обнаружили свою конечность.

Власть человека над природой оказалась иллюзорной. Процессы жизнедеятельности человечества сегодня представляют опасность существованию Земли. Последствия деятельности приобрели невозвратный характер, а научно-технический прогресс не обеспечивает восстановления приносимого планете ущерба. Общество потребления почти «потребило» планету.

Некоторое время тому назад была опубликована книга знаменитого английского астронома сэра Мартина Риса. Он, несомненно, относится к числу наиболее компетентных учёных, обладающим в связи со своей профессией особым взглядом на мир: в его сознании лучше, чем в сознании обыкновенного человека, укладываются миллиарды календарных лет и миллиарды световых лет, начала и концы вселенной он умеет фиксировать своим

проницательным взглядом. Именно в этой точке — прочтите мой комментарий — проявляется величие замысла Творца о человеке, созданном по образу и подобию. Впрочем, сам сэр Мартин Рис, кажется, так не считает. Словом, астроном оценивает шансы человечества дожить или не дожить до XXII века как равные. Впрочем, есть такие астрономы, которые его опровергают — оптимисты полагают, что до закрытия занавеса осталось 8 миллиардов лет. И этот прогноз лично у меня вызывает еще большее недоверие.

Но: вопрос поставлен очень остро. И совершенно очевиден факт, что устройство человеческого существования на Земле катастрофически плохое. С одной стороны — бедность, эпидемии, голод, с другой — перепроизводство продуктов питания и потребления, неизмеримая и бессмысленная роскошь. Бессмысленные войны, неуправляемая агрессия. Высочайшее развитие науки и безграмотность чуть ли не половины населения Земли. Конечно, за всеми этими явлениями стоит кризис сознания. И тех мифологических систем, которые порождены этим сознанием. И если этот факт признать, то одновременно придётся признать и крушение всех мифологий — и условно «старых», и условно «новых». В особенности это касается социальных и политических мифологий. Принцип бинарных оппозиций в применении к этим областям выявил свою ограниченность. Две основные социальные парадигмы — капитализм и коммунизм — не существуют сегодня в реальном поле и жизни, и науки. Это театр теней. В свете этого возникает необходимость отказаться от идеологических штампов ушедшего времени. В определенном смысле, поставленные сегодня вопросы: об особом пути России, вместе с двусмысленным и неопределённым лозунгом «умом Россию не понять», — утратили актуальность, целиком остались в ушедшем прошлом. Сегодня слишком очевидно, что существует особый путь и у Китая, и у Индии, и у Скандинавии, и тщеславиться на этом месте бессмысленно и непродуктивно — с точки зрения выживания мира, уже находящегося в катастрофическом положении. Особенно бессмысленным мне представляется рассмотрение мифологии вождя: оценка роли и личности Иосифа Джугашвили представляет сегодня академический интерес. Цена барреля нефти, а ещё более цена килограмма хлеба и килограмма риса в современном мире гораздо существенней, чем оценка личности Сталина: был ли он гением всех времен и народов или преступником, успешным менеджером или

* СТАРО-НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ МИФЫ: КРИЗИС ЗНАНИЯ ИЛИ СОЗНАНИЯ? Материалы российско-немецкого форума. Москва, Овальный зал ВГБИЛ, 3 декабря 2008 г. Под ред. Фалька Бомсдорфа, Геннадия Бордюгова, Екатерины Гениевой. Техн. ред. Г. Козлова.

уголовником. Произошел тектонический сдвиг: прошлое отрезано от настоящего. Будущего, кажется, не будет. И, с этой точки зрения, уже поздно говорить и о личности Сталина, и о том, будет ли мир двуполярным или многополярным, капиталистическим или социалистическим, демократическим или тоталитарным. В сложившейся ситуации следует, скорее, руководствоваться образом «чистого листа». Старый опыт уже непригоден в новых условиях. Человечество растет, Земля уменьшается, уменьшаются запасы воды и воздуха, уменьшается суммарное количество хлорофилла, накапливается всё больше радиоактивных и химических отходов.

О чем мы собирались здесь говорить? Об особом пути России? О тонких различиях Запада и Востока? О евразийском аспекте? О роли личности Сталина? Поздно. Говорить сегодня можно только о том, что без прорыва, без изменения сознания мы выйдем все без остатка, вместе с этими в зубах навязшими проблемами. Выйдем все — черные и белые, мусульмане и индуисты, бедные и богатые, «гомосексуалы» и «нормалы», ястребы и голуби, правые и левые, и «всё сущее опять покроют воды, и Божий Лик изобразится в них».

Кризис — явление трудное, но очистительное. В процессе кризиса происходит пересмотр того набора аксиом и правил, законов и схем, стереотипов и шаблонов, в которых заковано наше сознание. В первую очередь, это относится к идеологическим конструкциям. Сегодня, в полностью изменившихся параметрах мира, происходит вынужденный пересмотр того материала, который формирует сознание, являясь одновременно и составной частью сознания. Человечество действительно не имеет шансов на выживание, если не произойдет прорыв в сознании, если сознание не начнет работать на другом уровне, отбросив старые мифологемы, освободившись от национальных и групповых эгоизмов, если человечество не научится рассматривать жизнь как главную ценность, понимая жизнь в широком смысле, включая в эту категорию растительный и животный мир, а свой собственный биологический вид рассматривая как самый, быть может, высокоорганизованный, но не как вид-потребитель всех остальных. Идея потребления как основа существования, общество потребления как модель мира нуждаются в пересмотре. На этом пути было совершено чудовищное искажение: человек разумный стал человеком потребляющим, и это поставило всю планету в катастрофическое положение.

Я не знаю, какие нужны механизмы, чтобы поддержать этот процесс переосмысления мира, обновления сознания. Но, в любом случае, необходимо оставить старое и приняться за новое, покончить с конфликтом идеологий

прошлого и заниматься выработкой стратегии выживания. И, с этой точки зрения, я жду наиболее важных и конструктивных слов не от идеологов определенных течений, а скорее от представленных в сегодняшней встрече учёных-социологов, которые по роду своей научной деятельности располагаются не в зоне идеологических разногласий, а в зоне исследования сегодняшнего состояния общества. Они дают инструмент анализа сегодняшнего общественного и индивидуального сознания. Именно они, в первую очередь, замечают изменения ситуации и фиксируют их. От них, в первую очередь, следует ожидать новых идей.

И последнее, что мне хотелось бы сказать: в некотором смысле, «золотой век» кончился вчера. Мы не осознавали, что время, доставшееся на долю нашему поколению, жившему во второй половине XX века в послевоенной Европе, было, несмотря на всю его жестокость, временем невиданного изобилия. Мы не знали голода и репрессий, которые пережили наши бабушки и дедушки. В юности мы путешествовали по огромной и прекрасной стране, купались на безлюдных пляжах и собирали ягоды в чудесных лесах; мы пили чистую воду из ручьев, ловили рыбу в озерах, дышали свежим воздухом, а дожди, которые лились в положенные сроки, не были ни кислотными, ни щелочными — они были благодатными. Мы пережили послевоенную бедность, или скудость, потом так сильно разбогатели, что перестали носить одну пару обуви десятилетиями, стали покупать новую дорогую одежду и перестали её перелицовывать. Мы купили холодильники и телевизоры, почти не заметив, что эта революция оказалась поважнее Октябрьской. Мы незаметно, без объявления, стали жить в мире будущего. Потом открылись границы, и мы, бывшие советские, увидели Париж и Рим, Каир и Дели. Мы забыли о карточках на хлеб и привыкли, что полки магазинов ломятся от продуктов и товаров.

Всё кончилось. Мы въехали в новый век и уже навсегда. Никогда уже не будет в мире такого чудовищного расточительства, такой роскоши. И не потому, что все это перераспределится в те страны, где ходят босиком и носят на себе кусок материи, доставшейся от бабушки. Мир просто уже не сможет жить так, как он жил во второй половине XX века. Никогда.

Мы не хотели добровольного ограничения и самоограничения — теперь оно станет необходимым. Мы подошли к временам, когда произойдёт — и уже происходит — переоценка ценностей, и инфляция коснется не только денег, но и наших представлений о жизни. О ее ценности, о ее первичности, о ее подлинном смысле. Но сколько же мусора нам предстоит выбросить из своих голов...

Андрей Сорокин

Итак, завершая нашу дискуссию, считаю необходимым сделать несколько замечаний. Прежде всего, повторюсь — Людмила Улицкая, нарисовав апокалиптическую картину современного мира в эпоху глобального кризиса, ошарашила меня признанием: *«Особенно бессмысленным мне представляется рассмотрение мифологии вождя: оценка роли и личности Иосифа Джугашвили представляет сегодня академический интерес — цена барреля нефти, а еще более цена килограмма хлеба и килограмма риса в современном мире гораздо существенней, чем оценка личности Сталина...»*.

Согласиться с этой идеей трудно, особенно наблюдая многочисленные вариации на тему Сталин-live на телеэкране, итоги пресловутого телевизионного проекта «Имя России» и многое другое. Полки книжных магазинов и, увы, библиотек заполнены агиографической (???) литературой, посвящённой вождю, А.А. Проханов как никогда активен и, я уверен, — убедителен для огромной массы людей со своей вполне продуманной и стройной концепцией исторически обусловленного мобилизационного типа развития России тогда — в сталинскую эпоху, и сейчас — в начале XXI века.

Сценарии мобилизационного типа развития, авторитарной модернизации обсуждаются отнюдь не только литераторами, но и экспертным сообществом.

А не так уж и давно, накануне закрытия РАО ЕЭС, его руководители (по совместительству, напомним — идеологи либерализма) не знали, как откеститься от соглашения, подписанного красноярским губернатором с начальником краевого ГУИННа об использовании труда заключенных на строительстве Богучанской ГЭС.

История с осуждением настоятеля храма Святой княгини Ольги в Стрельне, выставившего в пригороде Петербурга неканонический образ с изображением на переднем плане Иосифа Сталина, лишь на первый взгляд может показаться анекдотом. О портретах вождя в руках ветеранов из КПРФ и молодых из НБП в этом ряду уже нечего и упоминать. Так что пресловутое пособие для учителей и учебник по новейшей истории России А. Данилова, А. Уткина, А. Филиппова, одобренные Министерством образования и науки РФ, но вызвавшие многочисленные упреки за фактическую реабилитацию сталинских методов управления, — это лишь верхушка айсберга.

Социологи фиксируют: в 1989 году Сталин замыкал первую десятку «самых выдающихся людей всех времен и народов» с 12 % голосов опрошенных, а в июле 2008 года за него высказалось 36 % взрослого населения страны, при этом доля положительно оценивающих его роль

также постоянно растёт и сегодня превышает 50 %. Те же социологи, Борис Дубин, например, фиксируют разлом национального сознания по отношению к этому персонажу и сшибку в этом сознании двух образов: Сталина-тирана и Сталина — победителя в войне. Причем, равные доли, свыше двух третей взрослого населения, поддерживают оба эти образа.

Это не шизофрения, как может показаться. Это попытка массового сознания, наоборот, уйти от его фрагментарности, унаследованной от эпохи перестройки, соединив доступными ментальными средствами крупные осколки разбитого зеркала, отбросив в сторону слишком «мелкие» и слишком острые.

Российское общество не проделало необходимой работы по самоидентификации, по преодолению кризиса исторического сознания, который так ясно диагностируется социологами. Мы стремимся быть наследниками и Столыпина, и Сталина одновременно. Став правопреемником Союза СССР, Россия так и не определилась, а что из этого и предшествующего, досоветского наследия и почему она берет/не берет с собой в будущее.

Существует мнение, что в конце 1980 — начале 90-х годов о преступлениях сталинского режима сказали всё или почти всё. Это такое же заблуждение, как и процитированное вначале суждение Л. Улицкой. Оба, каждое по-своему, дезориентируют общество. Так называемая «архивная революция», благодаря которой только и были рассекречены и опубликованы сотни тысяч архивных документов по советской истории, начала разворачиваться только в ранние 1990-е, уже в новой России, и еще далека от своего завершения. Но документы, практически в полном объёме позволяющие нарисовать историю именно сталинской эпохи, уже открыты и доступны историкам. Перед участниками этой архивной революции — архивистами, историками, издателями — именно сейчас и во весь рост встали новые задачи: дать сталинскому периоду советской истории объективный анализ, непредвзятую интерпретацию, основанную на фактах и документах, а не на умозрительных конструкциях, как это было в эпоху советологической классики на Западе и в эпоху демократической «бури и натиска» в России.

Нельзя не отметить очевидного, а именно — реактуализации исторического прошлого политической практикой настоящего. Уже одного этого достаточно для того чтобы подвергнуть рефлексии исторический опыт, с такой настойчивостью раз за разом вторгающийся в день сегодняшней. Очевидно и другое — факты позволяют усомниться (как минимум), в категорических утверждениях об исторической оправданности сталинизма как неизбежного метода запаздывающей модернизации. На смену

никогда не превалировавшим в обществе представлениям о сталинской политике как репрессивной и разрушительной, в последнее время пришли концепции эффективно-го сталинского менеджмента. Подобные умозрительные идеологизированные конструкции не являются результатом серьезных научных исследований и неприемлемы с моральной точки зрения. Необходимость последней прагматики от политики отвергалась всегда.

Нельзя не вспомнить в заключение в этой связи мысль В.О. Ключевского, зафиксированную им ровно сто лет назад в своём дневнике: «...Дедовские безыдейные нужды, привычки и похоти судите не дедовским судом, прилагайте к ним свою собственную, современную оценку, ибо только такой меркой измерите вы культурное расстояние, отделяющее вас от предков, увидите, ушли ли вы от них вперед или попятитесь назад».

Борис Дубин

СТАЛИН ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГОВ

По сути дела, речь в данном случае и в других разбираемых здесь примерах массовой мифологии идет, можно сказать, об одном мифе — это миф о принадлежности, миф о коллективной идентичности. Его функция — указывать на то, кто мы. Но, во-первых, значение идентификационного мифа в России и, в частности, в современной России заключается не в том, что же содержательно, по смыслу россиян *объединяет* между собой, а в том, что их *отличает* от других. Можно сказать, это интеграция через демаркацию, и принципиальная символическая демаркация (символика границы) тут существенно важнее любой сколько-нибудь реальной интеграции: «мы» — это другие, отличные от «них», от «всех». Отсюда второй пункт: эта воображаемая идентичность — неотрадиционалистская, нормативная, аподиктическая.

Она построена так, что принадлежащим к данной общности, не нужно объяснять, в чем смысл этой принадлежности, а тем, кто к ней не принадлежат, ничего не объяснишь, да и не стоит объяснять: они чужие и «все равно не поймут». «Нам», «нашим» нет необходимости разъяснять друг другу, кто «мы» такие, а тот, кто не знает, кто такие «мы», по определению принадлежит к другим, к чужакам. Так что эта граница чаще всего проблематизируется в негативной и вопросительной форме агрессивного недоумения: «Ты что, нерусский, что ли?» (вариант: «Ты что, русского языка не понимаешь?»). В третьих, этот миф создаётся в настоящее время структурами государственной власти, а поддерживается и тиражируется с помощью новых и новейших средств

массовой коммуникации: исторически в этой роли последовательно сменяли друг друга печать, радио и кино, сейчас фигурирует телевидение. Собственно традиции в таком мифе меньше всего.

Значение мифологических образований в обществах XX–XXI веков как раз и состоит в соединении *современного* мифа с современной же массой и техникой — в мобилизационной и интегративной силе политических мифов, транслируемых масс-медиа.

Если говорить именно о «сталинском мифе» — имеется в виду, конечно же, не историческая фигура и не конкретный политик (лишь 3 % опрошенных сегодня хотели бы жить при таком правителе, как Сталин), а героический символ нашего «мы» со всей сопутствующей мифологией испытания и жертвенности, семантикой «чуда, тайны, авторитета», по Великому Инквизитору Достоевского, — то большинство нынешнего населения России предъясняет в ответах на вопросы социологов **брежневский миф о Сталине**.

Он был сформирован брежневской пропагандой, всей тогдашней государственной машиной, начиная с воспоминаний генералов и генералиссимусов и кончая курсами школьной истории, рассказами для детей и юношества, кино — и телефильмами о победе и роли вождя, людей в форме и в штатском, разведчиков и контрразведчиков в приближении этой «нашей» победы.

Так делалось на протяжении, по крайней мере, двадцати лет, начиная с 1965 года, юбилея 20-летия победы, когда Брежнев выступил с речью, обозначившей конец короткого «коллективного руководства» партией-государством и началом собственного имитационно-авторитарного правления, и не раз произнес имя Сталина во время этой речи при чрезвычайно позитивной реакции зала.

Пик массовой значимости сталинского образа за последние десять-пятнадцать лет — начало 2000-х годов.

Если в 1989 году, на волне перестроечной критики всего советского в печати и на телевидении, его имя, по данным нашего Центра, замыкало первую десятку «самых выдающихся людей всех времен и народов» (его отметили только 12 % опрошенных), то в 2003 г. он стал уже вторым после Петра I, и за него высказались 40 %. К нынешнему дню значимость сталинской фигуры несколько снизилась, в июле 2008 г. Сталина отнесли к «самым выдающимся» 36 % взрослого населения страны. В динамике 2000-х годов легко видеть, что **самым заметным образом за последние 8 лет в России вырос один показатель массового отношения россиян к Сталину — показатель безразличия**.

Таблица 1

Как вы в целом относитесь к Сталину?

(в % от числа опрошенных)

	Апрель 2001	Апрель 2006	Сентябрь 2008
С восхищением	4	5	1
С уважением	27	23	22
С симпатией	7	8	8
Безразлично	12	19	37
С неприязнью, раздражением	18	18	12
Со страхом	16	15	7
С отвращением, ненавистью	9	5	4
Затрудняюсь ответить	7	7	9

N=1600 человек

Растет только равнодушие

Практически все остальные показатели как позитивного, так и негативного свойства, за эти годы уменьшились: понизились уважение и раздражение, восхищение (которого и без того было немного) и страх, растет только равнодушие.

Допустимо предположить, что возобновление попыток просталинской пропаганды на протяжении всей путинской эпохи (Путин начал с того, что сразу же реабилитировал имя Сталина и продолжал этим заниматься на протяжении всех двух сроков своего президентства) означало ощущение верхов власти, что эпоха значимости Сталина, мифа — Сталин, грозит закончиться, живых свидетелей все меньше и меньше, их уже почти нет. *Время свидетелей* истекло — наступает (но, что важно, может и не наступить) время *наследников*. И если сейчас не восстановить, не усилить, не закрепить воображаемый контакт с позитивным образом Сталина с помощью всей системы пропаганды, то через 10–15 лет будет просто поздно. Эти усилия и дали к 2003 г. тот рост сталинского авторитета, о котором говорилось выше. Прошедшая телевизионная игра в «Имя Россия», место, которое в ней занимает символ-Сталин, и манипуляции по ее ходу с рейтингом сталинской фигуры, имеют для участников или приобретают в глазах зрителей, как можно предположить, еще и этот смысл. Фигура вождя, с одной стороны, намекает на нынешнюю эпоху, косвенно символизирует путинский период «наведения порядка», «укрепления властной вертикали» и проч., а, с другой стороны, маскирует реальные дефициты и проблемы «нулевых годов»,

оправдывает ужесточающуюся полицейскую политику государства, нарастающий изоляционизм, настойчиво муссируемый СМИ образ врага, параноидальную шпиономию власти и проч.

Какова же семантика мифа о Сталине в массовом сознании?

Таблица 2

В какой мере вы согласны с суждением?

(в % от числа опрошенных)

	Согласен	Не согласен	Затрудняюсь ответить
Сталин — мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию	57	30	13
Сталин — жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей	68	19	13
Какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое важное, что под его руководством наш народ вышел победителем в Великой Отечественной войне	68	19	13

Сентябрь 2008 г., N=1600 человек

Фактически мы видим здесь столкновение двух Сталиных: Сталин — тиран и Сталин — победитель в войне. Причем равные доли, свыше двух третей взрослого населения, поддерживают оба эти образа. Можно предложить такое их толкование.

За Сталиным-победителем стоит образ России как могучей державы, сильной, агрессивной, вооружённой, славной — в том числе, своей победой в Великой войне (назовём эту совокупность значений комплексом великой державы или великого вождя, по функции это *мобилизационный комплекс*).

За Сталиным-тираном — образ России как жертвы с её вековыми испытаниями, неисчерпаемым терпением, всегдашней бедностью, нетребовательностью, готовностью привыкать и переносить тяготы (эту смысловую конструкцию можно назвать комплексом периферии или маленького человека, по функции это *комплекс адаптации*). Причём эти образы в коллективном сознании неотрывны друг от друга, они друг друга поддерживают

и укрепляют: это две проекции, или два плана российской идентичности, так что в разных ситуациях, с разными реальными и мысленными собеседниками, для разных ролей и задач активизируется то тот, то другой план. И оба они скреплены именем-шифром Сталина.

Два эти плана пока что не расподоблены и не рационализированы коллективным, а во многом и специализированным сознанием, почему и подпитываются демонизирующей семантикой «тайны», «необъяснимой», «сверхъестественной» значимости центрального образа. Именно в этом, как представляется, состоит смысл наиболее популярной сегодня формулировки массового отношения к Сталину: **«Мы ещё не знаем всей правды о Сталине».**

В последние годы с ней соглашались до трети опрошенных, в декабре 2007 г. — 30 %, что на этот раз даже несколько выше, чем доля согласившихся с формулировкой Сталин-победитель (28 %) и Сталин-тиран (29 %). И пока оно так, за миф о Сталине и за всю данную конструкцию идентичности, советскую конструкцию человека и социума тоталитарной и авторитарной эпохи, будут держаться, по крайней мере, те массовые слои населения, которым держаться больше не за что. **В наибольшей степени поддерживают сегодня миф о Сталине именно такие слои — пожилое поколение россиян старше 55 лет, люди с самым низким образованием, с самыми низкими доходами, живущие на социальной и культурной периферии, в малых городах и на селе.**

Таблица 3

Какую роль сыграл Сталин в жизни нашей страны?
(в % к социально-демографическим группам)

Характеристики респондентов	Положительная роль	Отрицательная роль	Затруднились ответить
В среднем по выборке	41	37	22
Возраст			
18–24	33	36	31
25–39	35	43	22
40–54	38	43	19
55 и старше	56	26	18
Образование			
Высшее	39	42	19
Среднее специальное	39	38	23
Среднее	38	37	25
Ниже среднего	54	29	17

Потребительский статус			
Не хватает на продукты	56	28	16
Хватает только на продукты	51	29	20
Хватает на продукты и одежду	37	40	23
Можем покупать ТДП	32	49	19
Размер населенного пункта			
Москва	36	43	21
Города более 500 тыс. Жителей	36	41	23
Города от 100 до 500 тыс. Жителей	37	41	22
Города до 100 тыс. Жителей	43	36	21
Село	51	28	21

Сентябрь 2008г., N=1600 человек

Кто им противостоит? Люди с достаточными, по нынешним временам, доходами, с высшим образованием, москвичи и жители крупнейших городов, россияне активного возраста — от 30 до 50 лет. Легко видеть, что наиболее пассивна в этом плане, слабее всего определилась в данном отношении российская молодёжь: до трети её затрудняются с ответами на соответствующие вопросы, так что вся молодёжная подгруппа разделилась на три примерно равные части. Это значит, что сложившейся нормы отношения к мифу «Сталин» как одному из ключевых символов российской идентичности, социального и культурного стереотипа его оценок у молодёжи нет.

Таким образом, мы видим в массе опрошенных столкновение двух оценочных представлений и разрыв между двумя слоями их носителей. Между тем, миф по своему функциональному устройству и назначению всегда отсылает к баснословному «началу», создавая через эту отсылку к временам до всякого времени и до чьего бы то ни было отдельного существования образ *целого* — мира как целого и общности, которая объединена этим мифом, как целого (в восстановлении целостности, порядка, мирового строя — смысл праздника и его ритуалов). А что мы находим в нашем случае? Мы обнаруживаем разрыв, столкновение или пустоту — как в культурном смысле (соединение несоединимого), так и в смысле социальном, когда между группами и слоями, которые поддерживают и не поддерживают миф о вожде, нет социальной середины и, вместе с тем, нет подхвата молодёжью, новыми поколениями. Допустимо сказать, что у данного мифа

нет надёжных, авторитетных, перспективных носителей, в этом смысле — как бы нет будущего. Вообще говоря, подобный разрыв был в принципиальном плане запрограммирован самой сталинской репрессивной политикой раздробления социума, идеологией взаимной подозрительности и ненависти, натравливавшей одни группы населения против других (говоря известными словами Николая Глазкова, Сталин как мифический отец нации «детей оставил без отцов»).

Иными словами, мы имеем здесь дело с принципиальными дефектами интеграции социальной системы и механизмов ее воспроизводства, репродуктивных институтов. Это значит, что не работают, как им полагалось бы по функциональному назначению, ни школа, ни университет, ни литература и искусство, ни элитные группы — источники, носители, интерпретаторы образцов. Отсутствие этой системной и систематической работы увековечивает упомянутую выше сшибку. Фактически **мы имеем дело со сбоем и дефектностью советской системы воспроизводства общества — и только: никакой «тайны», «загадки» и проч. тут нет.** Ситуация совершенно понятная и эмпирически вполне доступная описанию.

Дальше встают рабочие, специализированные задачи по воссозданию подробностей: нужно писать историю такого типа школы, писать историю такого типа семьи, литературы и проч. Работа кропотливая и долгая, но в общем плане картина, как представляется социологам, достаточно ясна.

Представления о «загадке Сталина», «необъяснимости» его образа, несколько взвинченно отстаиваемые сегодня державно-патриотической пропагандой и официальной словесностью, указывают на особую, как бы надчеловеческую силу, чрезвычайную мощь, некую едва ли не мистическую энергию: соединение несоединимого — отличительная черта сакрального, почему она и реанимируется при каждой новой попытке сакрализовать власть и образ вождя. Однако теперь становится понятнее, о какой силе и энергии идет речь.

Есть разные источники энергии — толковые психиатры и опытные педагоги это знают. Существует энергия свободы и самостоятельности, энергетика открытия и постижения сложного, сила состязательности и солидарности. В данном же случае, мы имеем дело с энергией разрыва и столкновения («сшибки»). Такая взрывная энергия быстро иссякает, она не передается от поколения к поколению, не воспроизводится как достигнутый уровень универсальных человеческих способностей, не растёт и не рафинируется как обобщенное «качество человека». Как было показано, за пределами двух соседних поколений — людей активного возраста и старших, пожилых россиян, — уже третье поколение, молодёжь, эту энергетику не воспринимает и относится к образу (символу, мифу), должностующему вызывать подобный сверхчеловеческий подъём, по преимуществу равнодушно.

Есть также и разные символы. Одни из них, скажем, тень отца Гамлета, побуждают к действию («Гамлет, отомсти!»), другие, как, например, символ-Сталин, скорее ориентируют на отказ от самостоятельного действия, пассивность или перекалывание инициативы на другого, в том числе — обобщенного Другого. Не случайно, что этот символ значим именно для той части населения, которая, по её собственным оценкам, не строит планов на будущее и не знает даже того, что случится с ней в предстоящем году, тем более — через несколько лет, которая не является хозяйном своей жизни и не имеет возможностей влиять на окружающую ситуацию в собственном селе, городе, стране.

Сталинский миф, символ-Сталин больше не обладает активно-мобилизационным значением, если вообще когда-то обладал им на массовом уровне (иное дело — соблазны и миражи части интеллигенции, выдвиженцев и орденосцев, «сталинских соколов» и т. п.). Его функция сегодня — остаточная, инерционная, консервирующая, компенсаторная, изоляционистская. В этой перспективе можно, кажется, с осторожностью предположить, что по отношению к фигуре Сталина Россию ожидает скорее безразличие, чем всплеск какого бы то ни было интереса, тем более — интереса экстраординарного. ■■■



Париж. 30–40-е гг. XX в.

РУССКАЯ ТЕМА В ПАРИЖСКИХ ТЕАТРАХ: УТОМЛЕННЫЕ ТЕКСТОМ

Наталья ИСАЕВА

Весна в Париже. Пока не распустились каштаны, — а они уже на подходе, — пока лучшим развлечением не стало блаженное сидение в уличных кафешках, — народ продолжает сосредоточенно бегать по выставочным залам и театрам. Пересмотрела и я тут множество всяких спектаклей — пару недель только тем и занималась, разнообразными мартовскими премьерками... Если уж совсем честно: лучше было бы спокойно дожидаться тех же каштанов. Такое ощущение, что французская драматическая сцена представлена сейчас в двух основных ипостасях — либо это некое физическое, «пластическое» представление (и речь тут не о танце, балете, — совсем не обязательно, сюда же бывают включены и фрагменты текста, просто движение явно превалирует, жест по большей части заменяет собою слово), либо чрезвычайно искусственная декламация, когда актер выставлен к зрителям фронтально — и говорит, говорит, — как, помню, учили нас в младших классах, — старательно читает литературное произведение «с выражением». Материал самый разный: тут тебе и чрезвычайно модный сейчас Баркер (Howard Barker, очень милый либеральным французам каким-то наивным, черно-романтическим богорочеством), и почти классичный уже Захер-Мазох, и чисто современные французские тексты, написанные начинающими авторами, что ищут себе пропитания на всевозможных государственных и региональных стипендиях (эти пьески — неизменный лирический дневник мятущейся души девочки-подростка, лет этак четырнадцати, даже если написаны вполне маскулинным драматургом, даже если герой — некий абстрактный поэт, опять же

обиженный, непонятый, недоласканный). Ну вот еще, пожалуйста, Клодель, «Атласный башмачок», — а это Оливье Пи (Olivier Py) возобновил старый свой спектакль шестилетней давности, благо театр «Одеон» теперь в его полном распоряжении, — одиннадцать с лишним часов действия, все те же малиновые тени на глазах у актеров, все те же приемы — даже не варьете или кабаре (это я вначале хотела так сязвить, но присмотревшись, задумавшись — поняла: много чести, высоко забираем!), скорее уж попросту — детского утренника. Какая там теология, какая там элегантность клоделевой драматической вязи, — «Остров сокровищ», приправленный дешевой мистикой ala Гарри Поттер...

Думаю, что основная беда идет от потери умения, навыка, от потери какой-то элементарной привычки работать с театральным текстом: и образным, и литературным. При всей изобретательности визуальных приемов единая линия действия никак не протягивается, всё распадается на ряд красочных картинок, а дальше искомый результат зависит от изобретательности постановщика (или же от его компьютерного и видеооборудования). Оборванные лоскутки, мелькание клипов, выразительное движение или телесный поворот, которого хватает максимум на один сиюминутный эпизод... С другой стороны, текст вербальный присутствует на сцене до уныния буквально, «в лоб»; «что написано — то и играю», всякое слово честно понимается, честно передается, честно иллюстрируется соответствующим жестом, если предполагается некий подтекст вразрез, — он тут же

выражен общечеловеческим подмигиванием, заигрыванием с публикой, вот мол, мой персонаж, он врёт, но мы-то с вами понимаем! Ей-Богу, ощущение такое, что театр провалился куда-то в девятнадцатый век, что не было ни прежнего Брука, ни опытов Мнушкиной, — да что там, не было и Станиславского с его внутренней психологической линией. И зритель постепенно отучается различать. Мне было страшно и неловко, когда на «Гамлете» Томаса Остермайера (Thomas Ostermeier) (а гастроли его были организованы в пригородном театре «Жемо» в Со, и публика туда добиралась из Парижа специально, зал был заполнен почти сплошь интеллектуалами-театралами) на самых резких, брутальных мизансценах — вроде интермедии с похоронами Отца — зрители весело смеялись. Вот Гамлет, впервые ощутивший скользкое прикосновение смерти, падает вдруг, как подкошенный, лицом вниз в черную мокрую землю. В ответ — все то же хихиканье публики, — смех как защита от непривычного смысла, смех как заслонка от неловкости, смех как способ обезопасить себя от необходимости думать и читать подкладку действия.

Ну, да ладно там! Расскажу о том, что достаточно известно, размято, привычно. Вот два варианта «Дяди Вани», два Чехова, одновременно идущие в крупных театрах. Первый поставлен режиссершей из Лиона, Клодией Стависки (Claudia Staviski), она как-то вдруг оказалась на виду, — и там, и здесь, даже вот и в Авиньоне вдруг объявилась. В Париж ее позвал на гастроли Питер Брук; с его родовым гнездом, с «Bouffes du Nord» вообще происходят печальные приключения: месяц назад было объявлено, что драма тут доживает последний сезон, и постаревший Брук отдает театр под популярные музыкальные представления, под мюзик-холл, да еще и продюсеру с «говорящей» фамилией Пубель. Вот на полпути к этой «мусорнице» и образовалась вдруг русская классика в ее предельно тривиализованной интерпретации. Все персонажи непрерывно пьют водку, равно как и чай из холодного самовара, няня что-то вяжет и старательно изображает народную печаль, забитость и крестьянское добродушие. Астров кашляет (он тут главный романтический герой, доктор Чехов собственной персоной), женщину, умершую под хлороформом, вспоминает походя, а вот экологическую тему держит с искренним энтузиазмом: рисунки уже приклеены на огромных щитах, явно оформлены для научного доклада или политической демонстрации. Он единственный, кто смотрит в будущее, единственный, кто заслуживает внимания и почтительного восхищения, он внимателен, великодушен, политически корректен, озабочен глобальным

потеплением и здоровым образом жизни — своей и окружающих. Но те не слышат, не внемлют — погрязли в своем варварстве и необразованности. Лысый, гнусный, вздорный дядя Ваня всё норовит пристроиться сзади к Елене, всё лапает ее по-деревенски при каждом удобном случае. Профессор и сама Елена — городские эгоисты, с трудом выносящие неприязнительность поселянских привычек. Чистота Сони — это продолжение чисто подростковой наивности: пальцы теребят краешек платья, ноги развернуты носками внутрь, говорит она специальным, «детским» голосом. Глуповата, не выросла еще, каждый может обидеть... Меленькие людишки, даже не то что неврастеники, а просто диковатые, мутные, очень, очень непросвещенные, не вкусившие французского энциклопедизма. Всё прокручивается без антракта, за два часа, практически в одной и той же декорации — столик да диванчик, на фоне меняющихся нарисованных задников с сельской природой. Добросовестно работает сценическая машинерия: если персонажи согласны между собой, они сидят вместе, если же отчуждены, страдают от недопонимания или же у кого-то отдельный монолог, — часть помоста начинает двигаться, увозя одно из действующих лиц прочь, вперед к зрителям или подальше от них...

Второй «Дядя Ваня» несколько приличнее; постановщиками тут были сами актеры: Родольф Дана (Rodolphe Dana) и Катя Энсенже (Katja Hunsinger), игравшие соответственно роли Астрова и Елены. Тут просматривается и попытка ансамблевой игры, в конце концов, речь идет о единой группе, существующей уже не первый год. Многие из артистов учились в частной парижской театральной школе Флоран, — они соединились вместе в 2002 году, найдя себе пристанище в одном из городков Иль-де-Франс недалеко от Парижа и назвавшись «Collectif Les Possedes», то есть «Коллективом одержимых» (тут, кстати, вполне прозрачна и аллюзия, отсылающая к Достоевскому, поскольку «Les Possedes» — это еще и традиционный перевод названия «Бесов»). Выбирает репертуар и руководит товарищами по цеху Родольф Дана, он вообще любит Жан-Люка Лагарса и Чехова, устраивает читки Гришковца. Ребята — по собственному своему признанию — ищут в пьесах как раз психологию и человечность, долго, просторно говорят между собой, прежде чем пытаться сложить нечто на сцене; они не спешат по-отдельности демонстрировать утрированные, карикатурные персонажи, но вытягивают действие из какого-то общего смысла вещи. Наконец, они реально стараются выстроить хотя бы некое подобие контакта с публикой, — в театре «Бастий» («Bastille»), где «Одержимые» показывали своего Чехова, зрителей поили водкой и

кормили перед началом спектакля, — раздавая припасы бесплатно с того самого длинного стола, который потом становится полноправным участником самого зрелища. Пространство организовано трифронтально, так что публика оказывается сидящей совсем рядом с актерами; как говорит Дана, «нам хотелось, чтобы в этом трагическом водевиле зрители чувствовали себя включенными в само пространство игры, поскольку главной целью здесь было демифологизировать отношение зрителей с театральным пространством. Они тут у себя, у нас в гостях... Границы между выдумкой и реальностью, между актерами и публикой должны исчезнуть».

Ну, положим, благие пожелания в основном так и остались благими пожеланиями. Действие неровно и сыровато, — кроме удивительных на французской сцене редких всплесков естественной, органичной игры, похвастаться особенно нечем. Елена, как водится, холодна и непонятлива, Войницкий в меру простодушен, Астров слегка циничен, цыганист и склонен к буйству. Главная беда опять с Соней. Замотанная, уставшая от бессмысленных, суетливых событий, она скороговоркой пробегает последний монолог и возвращается к своим счетам, к своим повседневным заботам, жалея о потерянном времени и если тоскуя слегка — то Бог его знает, почему... Вот эта извечная вялость больше всего и смущает, — то ли все больны, то ли всем уже всё давно надоело, то ли — что вернее прочего — здесь заранее заданы некие лимиты, некие пределы. Если ищешь человечность, и с тебя ее будет довольно, — так или иначе не уйдешь дальше этой вот гостиной или спальни, — дальше этих вот клаустрофобных, тепловато-кисельных сентиментальных отношений. Дальше гуманизма не прыгнешь. Выше абажура не поднимешься.

И — простите уж мне это устойчивое впечатление — как нехорош тут перевод Андре Марковича (Andre Markowicz), крупнейшего специалиста по русской классической литературе, прекрасно владеющего русским языком, — а это сейчас самый востребованный вариант текста, на него и опираются оба спектакля. Как пагубна вообще эта традиция французского литературного перевода с ее грамматической точностью, тяжеловесным синтаксисом и абсолютным отсутствием слуха на внутренний смысл. Как можно переводить «милосердие» и «любовь» словами, которые восходят к «charité»! И пусть мне не говорят, что это филологически и исторически точно, что христианская любовь должна неперменно соотноситься с латинской «caritas», — вранье, западное ухо все равно различает тут разве что «благорасположение», «филантропию», «благотворительность», но

никак не милость Божью, никак не предельную страсть, со всей ее неловкостью, и стыдом, и эротическими обертонами... Как может профессор Серебряков предлагать всем «действовать», как могут небеса у Сони быть «инкрустированы» алмазами... Ну что тут поделаешь — воинствующие атеисты, боевые рационалисты, — первое, что у них теряется, — это жизненная сила, — ее-то можно только вдохнуть извне, задохнувшись от удивления, получить из чьей-то отцовской руки, — ее сам себе не сконструируешь.

Маркович — это еще и знаменитый, признанный переводчик всего корпуса текстов Достоевского, но как же все-таки здорово, что в своей постановке «Идиота» молодые ребята из команды Венсана Макеня (Vincent Maigne) плюнули на литературную точность и проговорили переводной текст, как Бог на душу положил. Непочтительный Макень соединил «Идиота» с пассажирами из «Бесов», добавил тексты «Дневника писателя», перемешал всё в довольно произвольном порядке... На это представление нас никто специально не приглашал, я как-то увидела в «Парископе» объявление о премьере, — ну и решила, хотя, признаться, меня очень смущал восклицательный знак, приставленный к названию (спектакль «Idiot!» в малом зале Жемье театра «Шайо»).

Вообще-то, применительно к этой вещи трудно говорить о драматическом спектакле, — это, скорее, чистый перформанс. В самом начале на сцену выбирается из зала тощий, сутулый юнец с длинными грязными лохмами. Это Ипполит. Он слушает рок из хриплого плеера, крутит барабан револьвера, приставляет дуло к виску. Осечка. «Вот черт!». Еще осечка. Виногато улыбаясь, уходит. И — закрутилось, запрыгало по каким-то своим кочкам действие. Горит в полутьме живыми языками пламени восковая кукла, убитая Настасья. А вот и вся ее прежняя, всамделишная жизнь: вечеринка у Тоцкого, взвинченные истерикой, стыдом и сладострастием обезумевшие гости, пляшущие по пояс в мыльной пене. Они за стеклянной стенкой, заляпанной свадебным тортом и шампанским, грязью и спермой. Тут же, поверх стекла, Настасья пишет свое послание «папочке», — и тут же — брызгами и разводами — бурая кровь, размазанная десятком обесилевших рук. Тут разговаривают или шепотом, или крича в мегафон на весь свет о самых стыдных тайнах. Тут летят золотые конфетты, золотая пыль — одновременно и деньги, и блестящий снег, и сумасшедший этот, черт его дери, отчаянный праздник, что называется — жизнь, — праздник, что кончается так печально для каждого из нас — и вместе, и порознь...

В первые двадцать минут, даже в первый час, я думала — уйду в перерыве, Бог с ней, с этой молодежной культурой... Ну, эпатаж, ну, децибелы, ну Мышкин вот явился из своей Швейцарии — тоже вылез из публики, с животиком, в коротеньких шортах, он рассказывает историю о Мари, в которую бросались камнями дети в далеком кантоне, он шепелявит и заикается, слюна летит во все стороны: утешает Настасью. «Вы чистая, чистая, я знаю!» Но энергия действия скручивается все туже, и не отпускает, выкручивает руки, — что за грязный шантаж, что за примитивный ход! — но оторваться уже нет сил... Аглая, испорченный подросток, пигалица в джинсах, выкрикивает прямо в зал чудовищные оскорбления всему французскому народу (текст собран из «Идиота», и из «Игрока», и из «Дневника»), — длинный монолог, громкая, микрофонная инвектива Достоевского против европейской умеренности и благопристойности, против красноречия, вытравившего живые чувства. А в конце срывается, гаснет: «ну что я здесь закупорена, как в бутылке, мне бы в Париж, к этим пошлым каштанам, я читала всего Поль де Кока, мне бы в Венецию...»

Антракт. Растерянные зрители смущенно переглядываются. Анатолий Васильев, у которого пропадает важное свидание, говорит: останусь, надо все-таки досмотреть! А вот тут же, в узком фойе, среди пластиковых стаканчиков и теснящейся публики, Ипполит вскарабкался на стол, все так же со своим никчемным пистолетом и тяжким страхом смерти, все так же примеряется к ней, курносой, плачет мокрыми слезами у нас на глазах, а стол толкают, волокут вперед техники. «Следуйте за мной!» И мы возвращаемся в зал.

Князь Мышкин в образе сияющего рыцаря в серебряных доспехах. На него выливают ведрами краску: зеленым цветом — это когда он в парке с Аглаей, а вот еще, и еще — прямо на голову, черный пигмент, белую известку, ею заляпано теперь все лицо, и борода, и тут только проступает лик Туринской плащаницы, глаза закрыты, вот он весь перед нами — отпечаток, слепок

предельного страдания, предельной человечности — и одновременно: оборотка, негатив, след божественного присутствия... Течет вода прямо на сцену, хлещет из какого-то вселенского душа, внутри этого неостановимого потока полуголый Мышкин держит в объятиях, в последнем усилии братской любви — держит жестом «пъеты» на своих коленях полуголого же Рогожина, они меняются крестами. Когда князь отойдет в сторону, спастись еще кого-то, неумело предлагая и ненужное милосердие, и свою неуклюжую жалость, вода будет все так же стекать потоками по голым плечам Рогожина, только теперь — на его теле — она вся обращается в кровь. Чем дольше стоит, тем страшнее кровавые разводы, кровавая лужа у ног... Ему еще предстоит вострить на электрическом точильном круге вполне реальную мотыгу — только искры полетят во все стороны. Мы всё видим, всё знаем заранее, да он и не прячется, — но когда двинется навстречу Настасье, пойдет к ней с пустыми руками, и тела встретятся, почти не коснувшись друг друга, мимолетно, а она вдруг начнет оседать, падать на пол, даже не на сцену, скорее куда-то вниз, за помост, где была бы оркестровая яма. Там ее и подберет Рогожин, оттуда и унесет бережно — свою куклу, которую купил, свою девочку-забаву... Разошлись уже и герои, оскальзавшиеся, падавшие на этой мокрой Голгофе, ушли театральные техники, тщетно пытавшиеся прибраться в этом разоре, — а в глубине сцены, на канате, за ноги, подвешено тряпкой безжизненное тело князя Мышкина, выходит медсестра, злится, кричит ему: «Идиот!», он слабо шевелится, разводит руки горизонтально: вот он, перевернутый крест, вот еще один апостол принял мучения — за то слово, которое здесь так и не было произнесено, за то Слово, что — по умолчанию — подразумевается и жжет изнутри. За то евангельское слово, которого не услышишь обычно на французских подмостках... Редкий спектакль, где не звучала декламация, где актеры не выдавали поставленными голосами аккуратно выученный текст, редкое зрелище, где слово алхимически возгонялось до той субстанции, каковой ему и положено быть с рождения: до состояния чистой энергии. ■■■

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

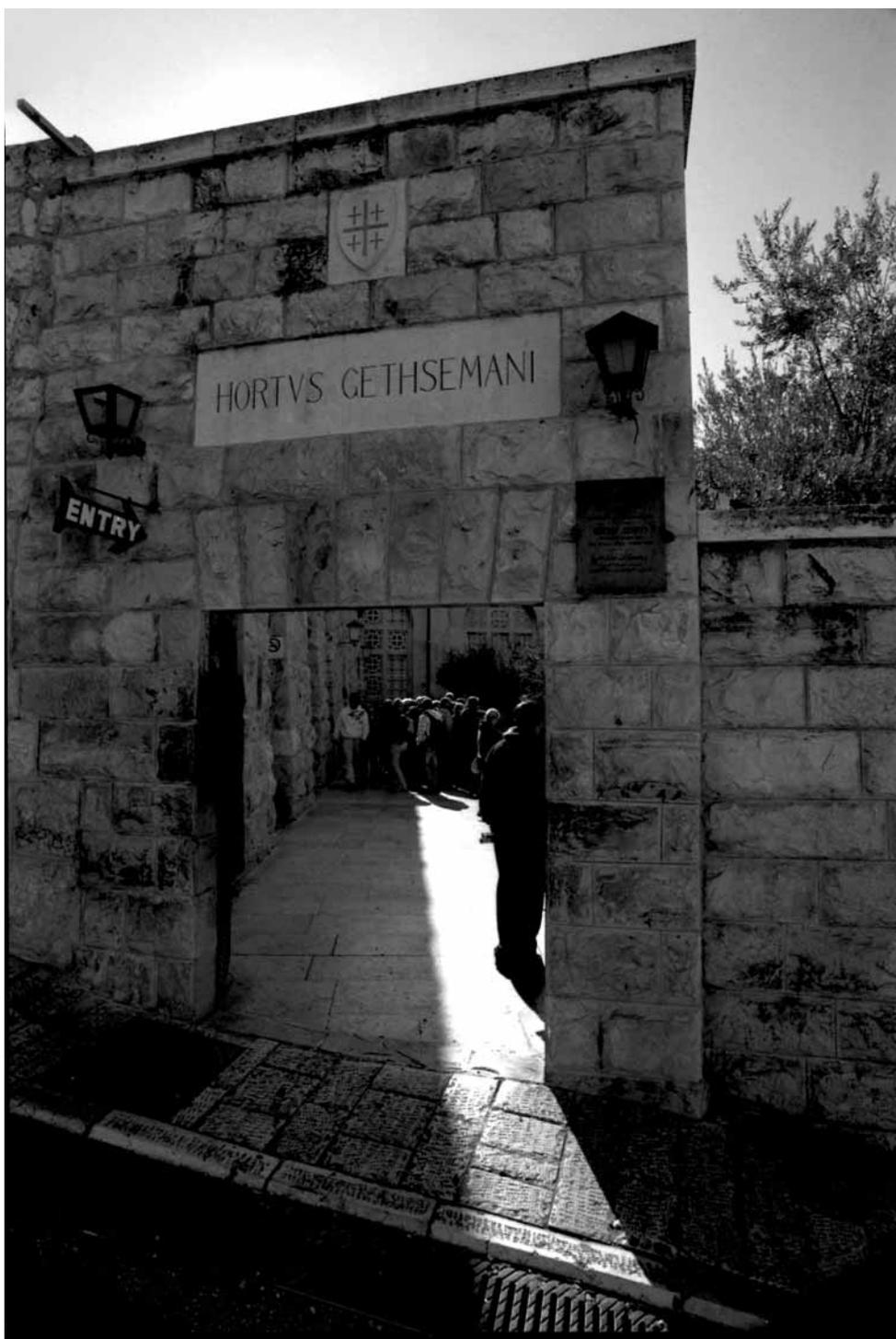


Фото В.Ярошенко. HORTVS GETHSEMANI



Фото В.Ярошенко. Иудейская пустыня. Кумранские пещеры



Фото В.Ярошенко. Вид на Галилейское (Генисаретское) озеро



Фото В. Ярошенко. Вид на Иерусалим с Елеонской горы





Фото В.Ярошенко. Виды с горы Фавор (гора Преображения Христова)



Фото В.Ярошенко. Виды с горы Фавор (гора Преображения Христова)



Фото В.Ярошенко. Гефсиманский сад



ВОИНА И ЭРОТИКА в рисунках Эйзенштейна 1923–1948

Марианна РОШАЛЬ-СТРОЕВА

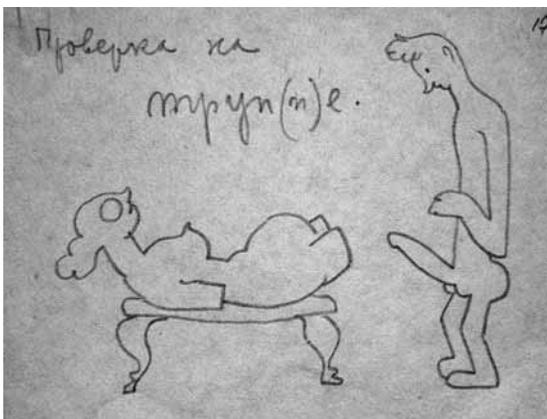
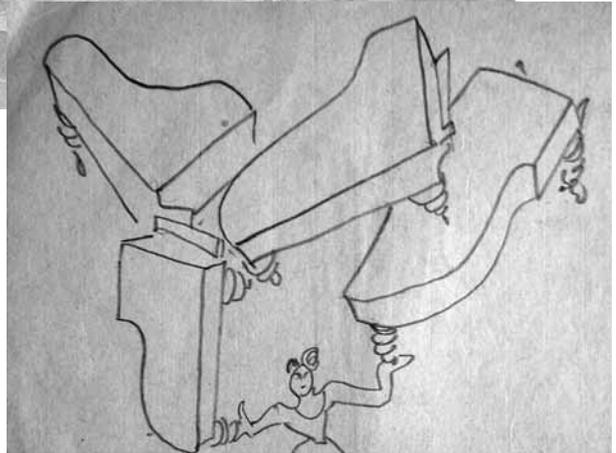
Первый свой рисунок Сергей Эйзенштейн подарил моему отцу Григорию Рошалю еще в 1923 году. Они оба тогда учились и работали у Мейерхольда, которого считали величайшим гением режиссуры. Потом оба ушли от него, связали свои судьбы сначала с театрами, а вскоре и с кино. Дружба их продолжалась многие годы. После того как отец женился на моей маме Вере Строевой, которая тоже стала впоследствии известным кинорежиссером, эта дружба стала еще тесней. Сергей Михайлович предпочитал, например, отмечать свои дни рождения в доме моих родителей и не только с их общими друзьями, но и со мной и моими одноклассниками, ведь мы родились с ним в один день. Один из своих подарков он не без юмора сопроводил надписью «В наш общий день рождения», хотя разница в возрасте была у нас достаточно большой — 7 лет. Эйзенштейн сразу покорила меня своим неотразимым обаянием, умом и остроумием. Мои чувства к нему не изменились до самой его смерти, ни когда я работала монтажницей на «Иване Грозном», ни когда училась у него на режиссерском факультете

ВГИКа. Сергей Михайлович всегда поражаля меня и моих гостей блестящим исполнением какого-то сверхмодного танца, которому он научился в Америке. В последний раз это было в наш день рождения 23 января 1941 года, за несколько месяцев до начала второй Мировой войны.

Когда началась война, отец заканчивал съемки фильма «Дело Артамоновых» по роману Максима Горького. Немецкие летчики даже пытались бомбить мост, декорация которого была построена на натуре, на съемочной площадке Мосфильма. Эйзенштейн или Эйзен, как мы его все называли, посмотрел фильм и его воображение поразил эпизод с пьяными купцами, которые приходят в неистовство, когда к ним привозят на рояли местную диву, и она обнажается, сбрасывая с себя свой пышный наряд. Ее роль исполняла звезда советского кино Любовь Орлова. В результате, Эйзенштейн сделал целую серию рисунков, обыгрывая тему рояля: то ножки инструмента превращаются у него в реактивные двигатели, то на рояле расплывается женская фигура. Он тогда остроумно перефразировал строчку стихов



М. ПОММ



Бальмонта «Рояль был весь открыт, и струны в нем дрожали» в «Рошаль был весь открыт, и струны в нем дрожали», что в полном соответствии бурному темпераменту моего папы.

Во время эвакуации мы все оказались в Алма-Ате, в Казахстане и даже жили сначала в одном доме, прозванном «лауреатником», из-за изобилия проживающих в нем лауреатов Сталинских премий. Эйзенштейн, как и нас, поселили в коммуналке, где в той же квартире обитали еще известный актер Борис Чирков и его жена-балерина. Комната Сергея Михайловича напоминала келью: узкая, выкрашенная в белый цвет, только черные четки на стене, она была похожа на его черно — белые рисунки. Позже его переселили в другой дом и выделили уже две комнаты.

В то время Эйзенштейн продолжал съемки своего великого и спорного фильма «Иван Грозный». Антониони писал о нем «...перед нами предстает произведение, величественность, утонченность, высокопарность и чувственность которого, как кажется на первый взгляд, превышает его тему и даже противоречит ей. На самом деле таков стиль великого русского режиссера» (перевод Н.А.Ставровской)

Образ царя Ивана преследовал Эйзенштейна.. Иван изображен и в центре одного из рисунков окруженный самыми разными фигурами. Это рождает некое новое, по-своему, цельное произведение искусства.

В своем дневнике Эйзенштейн прямо пишет о медленном самоубийстве, которое он предпринял, взявшись снимать фильм об Иване Грозном. Он понимал, что образ Ивана в его трактовке неминуемо будет вызывать ассоциации с вождем всех народов. И не ошибся. Вторая серия фильма была запрещена Сталиным, а негатив приказано было сжечь. Но, как известно, рукописи не горят, экземпляр фильма чудом удалось спасти.

Рисунки военного времени явно проникнуты у Эйзенштейна двойной горечью. Взять, например, рисунок, где в воздухе парят куски мужского тела. Невольно вспоминаются строчки из стихов Маяковского: «А на западе падает красный снег сочными клочьями человеческого мяса». Правда, у Эйзенштейна все выглядит не так мрачно, это скорее черный юмор. Таков и рисунок о некрофильских чувствах оголодавшего по сексу мужчины к женскому обрубку, лежащему на столе.

На других рисунках тех лет преобладает восточная тематика, связанная часто с флорой и фауной Казахстана, хотя круг его ассоциаций очень широк. Тут и Индия с ее слонами и змеями, театральные и кино сюжеты, эскизы костюмов. Блестящий график, шаржи которого начали публиковаться в Риге, когда ему не было

и четырнадцати лет, он часто создавал свои рисунки, не отрывая карандаша от бумаги, в один присест. Его произведения всегда монументальны, даже самые маленькие по размеру. За время войны и эвакуации Эйзенштейн подарил нам более 100 рисунков. Некоторые из них выполнены на листочках в полоску, из школьных тетрадей. Тут и воспоминания о Мексике, и рисунки с дьяволами и ангелочками, и с фантастическими существами. И все они объединены скрытым в них эротическим напряжением.

По возвращении в Москву, Сергея Михайлович закончил съемки второй серии «Ивана Грозного» Он еще надеялся на успех. Он даже подарил мне 42 прекрасные большие фотографии кадров из фильма в роскошном парчовом бюваре. На первой фотографии была надпись красным фломастером «Дорогой Маечке в наш общий день рождения. С любовью» и дата — 1945. Однако в Москве его ждал один удар за другим. Мало того, что вторая серия «Ивана Грозного» была запрещена, а негатив приказано было сжечь. (Только отчаянная смелость Фиры Тобак — монтажера фильма помогла спасти одну копию, которую она спрятала у себя дома.) Эйзенштейн заставили публично покаяться в том, что он искажал историю, очернял опричников. Его лишили права преподавать во ВГИКе. В результате первый инфаркт. Я в это время снимала свою дипломную работу по мотивам пьесы американских драматургов «Глубокие корни» о дискриминации негров, даже героев второй Мировой войны, что очень напоминало разгул антисемитизма у нас в те годы. Узнав об этом, Эйзенштейн прислал мне в подарок американскую открытку с изображением улыбающегося негритенка и надписью «В знак глубоких корней нашей дружбы»

23 января 1948 года Эйзенштейн плохо себя чувствовал, и мы с мамой приехали поздравить его с днем рождения к нему домой. Сергей Михайлович заранее приготовил для меня подарок — старинную бисерную сумочку, к которой ленточкой была привязана его американская визитная карточка. На ней он написал: «Дорогая сверстница, не в пример учителю, никогда не мечте...» Я строго соблюдала его завет и никогда не метала бисер перед свиньями.

1 февраля 1948-го года Сергея Михайловича не стало. Ему было 50 лет.

Эта коллекция рисунков Эйзенштейна была представлена зрителю только однажды в Ганноверском музее эротического искусства моим сыном известным художником Михаилом Рошаль — Федоровым. Он недавно ушел из жизни. Ему тоже было 50 лет. Может быть, над ними нависла тень Ивана Грозного? ■■■

На фотографии:

нижний ряд

В.Коркия,
И.Иртеньев,
А.Парщиков,
Н.Искренко,
М.Эпштейн;

верхний ряд

В.Салимон,
В.Друк,
А.Лаврин,
Е.Попов,
Д.Пригов,
М.Шатуновский,
Е.Бунимович.



3 апреля в Кельне умер Алексей Парщиков.

На этой старой фотографии запечатлена группа московских поэтов в веселые годы противостояния старого и нового времени, когда все мы были полны сил и уверены в правоте нашего общего дела. Алеша стоит рядом с Ниной Искренко, над ними Дмитрий Пригов.

В Москве есть улица, называемая Соловьиный проезд, здесь жил Парщиков. Трудился он тогда в одном из толстых журналов. По ночам поэту досаждали соловьи, а на рабочем месте — известный ныне критик, заведовавший тогда отделом поэзии в этом самом толстом журнале. Парщиков был на редкость терпелив. Только когда критик заявила о стихах одного из его друзей откровенную гадость, Алеша не выдержал. Послал все к черту. Между прочим, тогда пресловутой ныне «успешности» предавалось куда меньше значения, чем совести и чести. С Соловьиным проездом разобраться оказалось куда сложнее, лишь спустя несколько лет, отправился Парщиков в хождение за три моря — Стенфорд, Базель, Кельн, откуда ему все же, как мне кажется, удалось вернуться — в его замечательно талантливых стихах, в книгах эссеистики, в той светлой памяти, что присутствует в сердцах его близких, друзей и читателей.

Иногда он снится мне в образе гениального стеклодува, что необычайно ловко выдувает своими слегка припухлыми губами тончайшие бокалы и графины, разноцветные кубки и чаши. Должно быть, никакой это не сон.

Владимир Салимон

АЛЕКСЕЙ ПАРЩИКОВ

(из двух стихотворений)

Улитка или шелкопряд,
по черной прихоти простуды,
я возвращался в детский сад
и видел смерть свою оттуда.

В сомнамбулической броне
наверняка к ядру земному
с повинной полз к родному дому,
а дом курился на спине.

Внизу картофельный шахтер
писклявым глазом шевелил,
и рвались крылья на простор
от птеродактилевых крыл.

Я встретил залежи утрат
среди ракушечного грунта,
нательный крест Джордано Бруно
и гребни эллинских дриад.

ЭСТОНСКИЙ ОСТРОВ

12 декабря, пятница, день Конституции

В этот день в библиотеке-фонде «Русское зарубежье» открывалась скромная, но очень интересная выставка «Архипелаг Гулаг, эстонский остров».

Организовала ее Людмила Францевна Глушковская — главный редактор умного и культурного русскоязычного таллиннского журнала «Вышгород». Журнал связывает спорящиеся культуры, печатает по-русски лучших эстонских прозаиков, поэтов, философов и историков, дает трибуну русскоязычной эстонской литературе.

И выставка, и теплый доверительный вечер были посвящены памяти и 90-летию Александра Исаевича Солженицына, которое отмечалось накануне; была на нем и Наталия Дмитриевна Солженицына, рассказывала как А.И. любил Эстонию, как прятали его, пишущего «Архипелаг», по хуторам эстонские друзья (еще с лагерных времен) показывала маленькую книжечку, в кожаном мундирчике, бисерно исписанную А.И. русскими и эстонскими словами. Народу в зале было немного; очень пожилые эстонские *дамы* (иначе их и не назовешь, столько неброского достоинства в их обликах), рассказывали свою правду.

Вот рассказ Гильды Саббо, почти монотонно прочитанный ни разу не дрогнувшим голосом. Она говорила о страшной судьбе своего родного села Ново-Эстоновка в Краснодарском крае. Много читали мы книг, вроде бы знаем о злодействах и преступлениях сталинского режима, но судьба исчезнувшей с карты Ново-Эстоновки Отрадененского района Краснодарского края не теряется среди них.

Рассказ Гильды Саббо

«В ночь на 28 июля 1938 года в Эстоновке были арестованы все мужчины и многие женщины. Мне было восемь лет, но я все помню».

Она рассказывает ровным голосом, со своим неисчислимым эстонским акцентом.

«Поздно вечером мы проснулись от страшного крика. Просили открыть дверь. Открыли. Это была жена маминного брата с трехлетним сыном и двухмесячной девочкой на руках. Сказала — дядю арестовали, и других... Мама с бабушкой побежали узнать, что происходит. Я осталась с детьми дома. Потом пришли женщины и сказали, что всех мужчин собрали в клубе, они там стоят на коленях, опустив головы. С вечера их вызвали на собрание, где у них отобрали все, что у них было в карманах, ремни от брюк, шнурки от ботинок. Это видели женщины, заглядывая в окна, пока их не прогнали».

В клуб свозили мужчин из двух эстонских сел. До восхода солнца их отвезли в район в тюрьму, потом в город Армавир, а оттуда в Краснодар, где заканчиваются их судьбы.

Из арестованных шесть человек умерли на допросах. Есть письма. Четырех человек осудили 26 сентября 1938 года на восемь и десять лет.

Остальных, более ста человек, приговорили к высшей мере наказания. На суд их не вызывали. Расстреляли их, — больше ста мужчин и одну женщину — 4-го, 7-го и 15-го октября. Двое умерли в лагере. Двое вернулись домой, отбыв свой срок. От них мы узнали, под большим секретом, что они пережили. Боялись говорить они не зря. Один из вернувшихся при странных обстоятельствах

исчез. Другого нашли на своем дворе утром мертвого. Свидетелей нет. Сохранились только письма моего дяди Яна Холь из норильского лагеря. Некоторые его письма представлены на данной выставке.

1 сентября дети пошли в школу, в том числе и я. Учителей к тому времени расстреляли, как оказалось позже (еще в марте месяце, вызвав на совещание). Преподавание в школах стали вести на русском языке. Мы, первокурсники, не знали русского языка, а наш учитель — Кирилл Кириллович — не знал эстонского. На переменах он не разрешал нам говорить по-эстонски. Седьмого ноября мы выступали в школе перед нашими матерями — уже на русском языке. Так началось мое счастливое школьное детство.

В свободное время мы помогали мамам в сельхозработах. Пололи в поле, пасли лошадей, наблюдали за полями, чтобы их никто не поджег; позже пахали на быках, молотили на молотилке зерно (той самой молотилке, которую по обвинению органов, сожгли наши отцы). Так работали все дети. Мы росли без отцов. Но никто не верил, что наши отцы не вернуться. Ни у кого и в мыслях не было, что их, невинных, расстреляли. Но их расстреляли.

Наши матери писали во все инстанции, какие могли, собрала деньги на адвокатов, ждали и надеялись, — до 1990-го года, когда мне в Краснодаре с большим трудом удалось получить документы о расстреле своих родственников. Прочла в следственном деле, что моего отца расстреляли 4 октября 1938 года.

Он не умер от язвы желудка в 1948 году, как написано в официальном свидетельстве о смерти; увидела дела всех своих родственников. Их было 36 человек крестьян.

Всего арестовали из села больше 100 человек. И их семьи также имеют ложные свидетельства о смерти своих близких.

Копии дел не разрешали делать, можно было делать только короткие выписки. 1990 год. С помощью краснодарского «Мемориала» мне удалось найти приблизительное место захоронения на кладбище в г. Краснодаре, где производились расстрелы.

Там убивали и закапывали людей в 1933, 1936–1937, 1938 и 1942 годах. По неточным данным, (полученным от жителей Краснодара), там было расстреляно около 250 000 человек. Теперь там за кладбищем жилой район.

Я, медик, по своей работе я соприкоснулась с трагедиями многих народов. Я посетила КГБ Краснодара, Пскова, Новгорода, Крыма. По их данным составляла

списки репрессированных. Занималась в архивах РФ и Эстонии.

На архивных материалах издала семь книг под названием «Невозможно молчать», где раскрывается репрессивная политика по отношению к народам СССР, не только эстонского народа, но и других народов.

Будущие историки и политики могут использовать эти документы, как и архивы.

По документам, из эстонцев, живших в 1920-1940-х годах в Советском Союзе, исчезло 100 000 человек. В связи с тем, что в архивах многие особые папки не рассекречены до сих пор, невозможно установить точно, сколько, и в какие годы их не стало».

Известно, что Политбюро в 1930-е годы этим вопросом серьезно занималось; например, протокол 56 от 11 декабря 1937 года.

Пункт 75 «О ликвидации национальных районов и сельских советов».

Пункт 76 «О национальных школах». «Признать вредными существующие в настоящее время особые национальные школы финские, эстонские, латышские, немецкие, английские, греческие и др.»

Или выписка из протокола Политбюро 57, пункт 49, 31.1.1938, адресовано Ежову: «...разрешить, продолжить операцию по разгрому до 15 апреля 38 г. шпионско-диверсионных контингентов из поляков, латышей, немцев, эстонцев, финнов, греков, иранцев, харбинцев, китайцев, румын, как иностранных поданных, так и советских граждан».

Хелли Сузи

Хелли Сузи, дочь Арнольда Сузи, друга А.И. Солженицина, сидевшего с ним и незабываемо описанного в «Ахипелаге» сказала:

«Какие-то сильно сидящие в эстонцах чувства даже ослабли... Я встречаю здесь столько людей, которые могли бы быть своими... Я розовую кашу вам предлагать не хочу. Проблемы были, проблемы есть, но надо все делать, чтобы друг друга понимать. Чтобы не боялись никакой правды. Правду надо признавать, как она есть.

...Восточные религии знали уже тысячи лет назад, что всякая ложь и обман — деструктивная сила, она творит хаос. Правда — это творческая сила и даже спасительная сила. Единственное что спасает, это правда. Чего бы это не стоило, — надо говорить правду».

диалог как форма культурного бытия

Юрий ЗОБНИН

«Культура — это универсальный механизм, который осуществляет саморегуляцию человеческой жизни. Разлаживается этот «механизм» — разлаживается и «жизнь», вне зависимости от масштаба ее проявления — на личностном, семейном, этническом или субэтническом уровне». Эти слова легендарного директора петербургского Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии Наук Н.Н. Скатова оказываются своеобразным «смысловым ключом» для фундаментального сборника материалов VIII-х Международных Лихачёвских научных чтений **«Диалог культур и партнёрство цивилизаций»**, изданного С-Петербургским Гуманитарным университетом профсоюзов¹.

Проблема, вынесенная на конференцию, далеко не «академична» и актуальна не только для научного, но и для общественно-политического сообщества. О злободневной конкретике проблемы «диалога цивилизаций» со всей определенностью заявил на пленарном заседании посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ В.В. Попов: «Россия, расположенная и в Европе, и в Азии, является, по словам Н.А. Бердяева, своеобразным «Востоко-Западом» и, видимо, самостоятельной цивилизацией. И поэтому могла бы сыграть, говоря словами Д.И. Менделеева, своеобразную роль примирителя. <...> Мы не случайно говорим об этом именно сейчас и именно здесь, на Международных Лихачевских чтениях. Тема диалога культур, диалога цивилизаций — это и продолжение деятельности самого Дмитрия Сергеевича, и следующий этап того, что

заповедал академик, считавший, что забота о культуре во всей ее целостности — это дело всего мира, поскольку развитие культуры есть не только движение вперед, но и отбор в мировом масштабе всего лучшего, что создано человечеством».

Действительно, проблема «диалога» одна из важнейших в становлении современного культурного бытия, и отечественного, российского, и «общечеловеческого». Дело в том, что *воля к диалогу* *вовсе не присуща как человеку, так и этносу имманентно. Гораздо более органична на уровне «бытовом», «общепонятном» воля к монологу, понимаемому как навязывание своей точки зрения, реализации своей «программы», никак не согласованной с мнениями и желаниями тех, среди кого подобная «программа» осуществляется.* Знаменитые слова «подпольного человека» Ф.М. Достоевского о том, *что миру должно провалиться, чтобы мне чай пить*, в некоторых современных национальных культурах, сформировавшихся в условиях «однополярного» мира 1990-х гг., могут быть вполне восприняты в качестве позитивного лозунга. Вообще, созерцая только что минувший исторический период, можно прийти к заключению, что все события, связанные с финалом т.н. «холодной войны», стали и для победителей — США и европейских участников тогдашнего НАТО, — и для побежденных стран СССР и Варшавского договора, — глобальной историко-культурной «провокацией».

Первые в эйфории победы упустили — как это сейчас стало ясно — уникальный исторический шанс не «по силе», а «по совести» стать лидерами «глобального

прогресса», утверждающего в планетарном масштабе принципы «цивилизационной гуманизации». Ведь «атлантисты» с их идеологией «общечеловеческих ценностей» даже в глазах подавляющего большинства их противников обладали в миг торжества над коммунистическими режимами на рубеже 1980-х — 1990-х годов безусловной *моральной* правотой. И то, что общественно-политическое *credo* академика Андрея Сахарова — «*Мир, прогресс, права человека*» — воспринимается теперь даже в интеллигентной среде (в лучшем случае) как романтическая декларация «утописта», связано, прежде всего, с невероятной «коммуникативной глухотой» американцев и их союзников. Из всех форм цивилизационного общения с «побежденными» они в 1990-е годы избрали самую бесперспективную в стратегическом плане — «монологический» диктат, превратившись очень скоро в очередную историческую иллюстрацию правоты гениальной поэтической «заповеди» Александра Галича:

Не бойся зоя, не бойся хулы,
 Не бойтесь пекла и ада,
 А бойтесь единственно только того,
 Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
 Кто скажет: «Всем, кто пойдет за мной,
 Рай на земле — награда»

 Гоните его! Не верьте ему!
 Он врет! Он *не знает* — как надо!

Вторые (прежде всего, — Россия), переживая депрессию исторического поражения, впали в некое коммуникативное самоуничужение («мы *убо худии*»), полностью отказавшись в 1990-е от каких-либо попыток «высказывания». Но только «молчать и слушать» для этноса, отнюдь не исчерпавшего свою жизненную энергию, не пребывающего в «гомеостазе» (если следовать терминологии Л.Н. Гумилева), опять-таки, стратегически бесплодно. Солдат должен понимать свой маневр, «ученик» должен общаться с «учителем», особенно если какие-то аспекты «ученичества» ему непонятны. Кстати, и для «учителя» подобное общение небесполезно — ибо и он объективно не застрахован от ошибок просто «по человечеству» своему: *errare humanum est*.

Наконец, в эпоху «холодной войны» был и «третий мир», не очень слышный *тогда*, но громко «заговоривший» *сейчас*, — причем также, в основном, исключительно «монологическим» образом, периодически иллюстрируя сказанное эффектами эскападами в духе авиационной атаки на Международный торговый центр

11/9...

Воля к межнациональному диалогу оказалась ныне практически утраченной. Более того — **сами навыки «диалогического общения» в глобальной историко-культурной среде сейчас, как кажется, нужно выработать заново.** По крайней мере, — например, в свете последнего «кавказского эпизода» сентября 2008 г. — тематика «лихачевской» конференции в СПбГУП представляется своевременной.

Симптоматично, что в возникшей на конференции дискуссии ее тематика была опознана некоторыми из выступавших как «идейно провокационная». «Идеологическое обоснование» подобная точка зрения получила в выступлении профессора социологии Йельского университета **Иммануила Валлерштайна**, утверждавшего, что **диалог предполагает равенство**: «Диалог вероятен только между равными, в противном случае он превращается в монолог. Аналогичным образом и партнёрство возможно только между равными, иначе оно всего лишь маска, скрывающая господство одной из сторон. Без достижения равенства поиск взаимопонимания между культурами будет безнадежной утопией». Под критерием же «равенства» здесь предполагался критерий «жизненного успеха», «достатка», «богатства».

И тут вспоминаешь великие слова Л.Н. Гумилева: **«Неполноценных этносов нет!»**², а также — если перейти на уровень личностный, — не менее великие слова Евгения Евтушенко:

Людей неинтересных в мире нет.
 Их судьбы — как истории планет.
 У каждой есть особое, свое,
 и нет планет похожих на нее.

В том-то и дело, что именно диалог вероятен не между «равными». **Диалог вероятен между «другими», и в этом и заключается, собственно, его смысл.** Между «равными» (согласно терминологии И. Валлерштайна) свойственен скорее «обмен информацией» («стрелка», если принять другую, «блатную» терминологию). Диалог же начинается после того, когда хотя бы один из его участников искренно заинтересовался наличием «другого вне себя» — а какое это «другое», «равное» и ему или «не равное», — это вопрос второй.

Вопрос, поднятый И. Валлерштайном, очень симптоматичен. Ведь сознательной воли к диалогу в той культуре общения, которая формируется с 1990-х годов вплоть до наших дней практически нет. Культура эта — будь то открытый (и, в общем, достаточно тупой)

диктат Америки в отношениях международных, или будь то (откровенно тупой) диктат «нуворишей» в отечественных обстоятельствах — предполагает изначальную «монологичность» (я, богатый/сильный, говорю, а ты, бедный/слабый, слушай). Главная беда тут в том, что *создаваемая «монологичная» культура* (история никого ничему не учит) *оказывается «антикультурой», «культурой умирания»*. Именно об этом говорится в выступлении на конференции члена-корреспондента РАН **Н.Н. Скатова**, который указал **не только на наличии собственно «культуры» в человеческом бытовании, но и на наличие «бескультурия»,** которое тоже весьма действенно и созидательно, однако эта действенность и эта созидательность ведут к тотальному разрушению, к «аннигиляции жизни».

«Бескультурие» в сфере коммуникативной и ассоциируется с «монологизмом». «Монологизм», кстати, свойственен юности, энергии, напору (та же Америка), — и связанным с ними эгоцентризмом и... слабостью. Как известно, *умение слушать и слышать другого* дается далеко не каждому и воспитывается в себе *сознательно*. Искренний интерес к «другому — не — себе» есть результат собственно «культурной» обработки человеческой личности: культура тут непосредственно соприкасается с психологией коммуникации. «Диалог» — есть результат работы над собой, т.е. «культуры» в самом первичной («возделывание») смысле этого слова. По словам директора института философии РАН **Абдусалама Гусейнова**, «диалог <...> требует определенного уровня социально ответственного человеческого существования и развития».

В свете сказанного любопытным представляются те формы диалога, которые были рассмотрены в докладах конференции.

В докладе Директора Государственного Эрмитажа **М.Б. Пиотровского** речь шла о *диалоге «культуры денег и культуры наследия»*. Эти «культуры», по мнению докладчика, сосуществуют сейчас во всем мире и везде находятся в конфликте. Как выйти на диалог между ними? Если не будет осознания того, что деньгам нужно культурное наследие, если деньги станут для нации целью, а не средством, то разрушительность «монолога денег» испытают на себе все «передовые» в культурном отношении нации.

Жорже Сампайо (Португалия), Высокий Представитель Генерального секретаря ООН по «Альянсу цивилизаций» говорил о *«политическом аспекте» диалога между культурами различных этносов*, о благотворном влиянии подобного диалога на «прагматику» взаимоотношений между современными государствами: «...

Диалог цивилизаций, культур и религий возможен и необходим. Это лучшее средство от недоверия, изоляции, конфронтации, мощный стимул к взаимопониманию, терпимости, дружеским отношениям. <...> Каждая нация, культура, религия должна проявлять терпимость по отношению к другим, должна признать за другими право на самобытность. Те, кто проявляет непримиримость по отношению к представителям другой культуры и религии, могут не только навредить самим себе, но и вызвать нестабильную обстановку во всем мире.

Крайне любопытно была поставлена **проблема эмиграции как своеобразного «диалога цивилизаций»** в докладе **В. Кошкарян** (Франция, Университет Ниццы). Докладчик рассматривала историю невольной «интервенции» представителей русской культуры во Францию во время т.н. «первой русской эмиграции» (конец 1910-х — начало 1920-х гг.). Рассказывая о специфике проникновения русской культуры на Запад, Валентина Кошкарян опиралась на малоизвестные воспоминания русской актрисы начала XX века Дины Кировой, основательницы эмигрантского «Интимного театра» в Париже. В пьесах, предлагаемых театру Кировой такими драматургами «зарубежья» как А.М. Ренников и И.Д. Сургучев, можно найти попытки осмыслить специфику «этнокультурного диалога». Вот, например, как рисует «обыкновенного, типичного русского, одного из тысяч, живущих в Европе» герой-француз в пьесе И.Д. Сургучева «Игра»: «...Я ненавижу этого человека и в то же время я влюблен в него! Влюблен! <...> Откуда он к нам попал? Какими судьбами? В конце концов, что мы знаем о русских? Знаем, что это какой-то странный и непонятный народ. Знаем, что у них какая-то нелепая революция, знаем, что они тысячами истребляют друг друга, знаем, что они дикари и едят сальные свечи, а с другой стороны, не угодно ли вам — Толстой, Достоевский, балет, театр, музыка?... Шаляпин... Не угодно ли это все примерить? От них всего ждать можно. И, кроме того, есть в них какой-то непостижимый таинственный шарм».

Особой темой на конференции стал **вопрос о «внутрироссийском» «культурном диалоге» в XX веке**, ибо русское общество тогда оказалось расколото на противостоящие друг другу многообразные «составляющие» («советская Россия» и «зарубежье», «коммунисты» и «диссиденты», свободные и «лагерники» и т.д.). Весьма острый «культурный диалог» может идти здесь и внутри одной и той же социальной группы, обладающей противоречивыми «составляющими». Такой «внутриинтеллигентский» «русский диалог культур» был описан в докладе вологодского писателя и краеведа **Валерия**

Есипова «*Дмитрий Сергеевич Лихачёв и Шаламов: два лагерника, два русских интеллигента*». Анализируя лагерное творчество обоих, В. Есипов говорит о «большой степени духовного родства писателя и ученого, о, своего рода, постоянной переключке их во времени и пространстве (хотя они не были лично знакомы и никогда не встречались)». Докладчик утверждал, что базой для диалога у Лихачева и Шаламова была обоюдная воля к «демифологизации» образа «народа» в интеллигентском сознании. Несмотря на совершенно разные идейно-политические установки, Лихачёв и Шаламов постоянно пытались разобраться в противоречиях русского национального характера, в его не только положительных, но и отрицательных чертах. И если Лихачёв писал: «Несчастье русских — в их легковерии», но видел нравственную преемственность поколений (в том числе и «советски») то Шаламов утверждал: «Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити».

Одним из самых парадоксальных выступлений на VIII Международных Лихачевских чтениях, широко обсуждавшимся на секциях и в кулуарах, было выступление профессора Российского института культурологии **В.Л. Рабиновича**. «Культура, — говорил он — это ансамбль монологов, такой оркестр, где все скрипки первые и каждая хочет, чтобы её услышали. Иные отношения здесь невозможны!». Однако, все-таки, хочется думать, что «последнее слово» во всей, состоявшейся на апрельском форуме дискуссии «о монологе» осталось за простой и безусловной в своей простоте установке кинорежиссера **Эльдара Рязанова**: «Проблем в мире действительно много. Люди, которые пишут книги, картины, сочиняют музыку, это чувствуют. Может быть, они не могут сформулировать это так, как учёные, но выражают тревогу и боль в своих работах. <...> Потому что главная цель искусства — это соединять людей добром, а не разъединять злом».

Упомянутое выше выступление А.А. Гусейнова следует признать одним из самых ярких в вышедшем сборнике. В сущности, это была попытка обозначить «теоретические границы» обсуждаемой на конференции проблемы. Констатируя тот факт, что «фундаментальным противоречием эпохи» является противоречие между «интегрированностью» материальной сферы человеческой жизни и «разделенностью» «этико-культурной» и «духовной», А.А. Гусейнов предложил два возможных «сценария» разрешения этого противоречия. Первый — «вестернизация» всего человечества, т.е. безусловное принятие лидирующей роли Запада в современной истории и трансформация в единую

цивилизационную модель всего многообразия «цивилизационных моделей». Второй сценарий — диалог культур.

Первый сценарий, по мнению А.А. Гусейнова, «может реализоваться только насильственными методами с самыми непредсказуемыми последствиями, вплоть до апокалипсических». Второй — «представляет из себя драматически противоречивый процесс, является ответственным вызовом каждой из культур, вступающим в режим диалога».

«Мудрость всякого диалога, — подчеркнул А.А. Гусейнов, — состоит в соединении общезначимого (универсального) с самобытным. <...> Проблема приобретает особую остроту и человеческую напряженность благодаря тому, что хотя культуры не равны (и очень сильно не равны) между собой, тем не менее все они претендуют на равенство. <...> Каждой культуре свойствен пафос истины». По мнению докладчика, «чтобы взаимодействия культур развивались в режиме диалога, надо заблокировать пути конфронтации между ними» и утвердить в качестве общего правила «три взаимосвязанных запрета, которые являются несомненными и имеют безусловный, категорический смысл».

Запрет первый — на конфронтацию на культурной основе. «Это означает, что культурные особенности и различия не могут быть оправдывающими основаниями для каких-либо насильственных действий».

Запрет второй — на слова, действия, любые иные символически-знаковые проявления, которые могут восприниматься какой-либо культурой как оскорбительные.

Запрет третий — на абсолютистские претензии какой-либо из культур, на провозглашение своей культуры воплощением «высших истин и целей».

«Речь идет о том, — подытожил А.А. Гусейнов, — способно ли человечество выработать единый этос, подобно тому, как раньше его выработали отдельные народы и культуры, сможет ли оно общность основополагающих нравственных принципов дополнить общностью нравов, привычных форм повседневной жизни. <...> Глобальный этос — это не мечта или фантазия. Он реально произрастает в современном опыте международных, межкультурных взаимодействий, тогда, когда это взаимодействие приобретает форму диалога. <...> Глобальный этос допускает и даже предполагает многообразие национальных этосов, подобно тому, как в рамках национального этоса существуют множество субэтосов — этнических религиозных и семейных. <...> Подобно тому, как астрономическое пространство не отменяет пространства географического,

так глобальное культурное пространство не отменяет пространства национальных культур».

Хочется надеяться, что вышедший в С-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов сборник материалов VIII —х Международных Лихачёвских научных чтений *«Диалог культур и партнёрство цивилизаций»* найдет своего читателя в самых широких кругах отечественной и зарубежной общественности. Ведь, как утверждал академик Д.С. Лихачев, «культура —это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации».

Примечания

¹ Диалог культур и партнерство цивилизаций: VIII Международные Лихачевские научные чтения, 22-23 мая 2008 г. —СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008. —528 с.

² «Сама идея “отсталости” или “дикости”? —писал Л.Н. Гумилев, —может возникнуть только при использовании синхронической шкалы времени, когда этносы, имеющие на самом деле различные возрасты, сравниваются,

как будто бы они сверстники. Но это столь же бессмысленно, как сопоставлять между собой в один момент профессора, студента и школьника, причем все равно по какому принципу: то ли по степени эрудиции, то ли по физической силе, то ли по количеству волос на голове, то ли, наконец, по результативности игры в бабки» (Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1993. С. 385).

Основные цели организованного Кировой в Париже «Интимного театра», сформулированные в специальном «манифесте» гласили: «1) не дать русской молодежи, разбросанной в эмиграции, забыть русский язык, русских классиков, русский быт, историю и лучшие стороны прошедшей (и уже им незнакомой) русской жизни в лучших произведениях русских писателей и 2) дать возможность взрослой части русской эмиграции вспомнить то же, и минутами, душой, уйти от чуждых условий жизни к воспоминаниям дорогого прошлого и величия России <...>». Этот творческий манифест «позиционировал эмигрантский театр как особый вид театрального искусства». Там же выделялась курсивом ещё одна строка: «Служить эмиграции напоминанием о России». ■■■

«ПОБЕДА ПРИХОДИТ ПОЗДНО...»¹: русский памятник Эмили Дикинсон

(Дикинсон Э. Стихотворения. Письма. М.: Наука, 2007)

Н.Я. ДЪЯКОНОВА, С.В. БУКРЕЕВА

«Америка была открыта не сразу. В первое свое плавание Колумб открыл только Багамские острова. Так с поэзией Э.Д. Существующие переводы — всего лишь острова, материк еще предстоит открыть»². Так написал в своем дневнике 31 января 1986 года переводчик Аркадий Гаврилов, работая над изданием стихов и писем американской поэтессы Эмили Дикинсон (1830-1886).

Путь Дикинсон к читателю был долгим. «Мысль принадлежит Тому лишь, / Кто ее нам дал, / И еще тому, кто после/ За нее страдал»³, — писала она, словно предсказывая сложности своей литературной судьбы. Даже в Соединенных Штатах ее лирика была «открыта» широкой читательской аудиторией только после смерти поэтессы.

Эмили Дикинсон жила в небольшом городке Амхерсте, недалеко от Бостона, где еще при жизни стала местной легендой⁴; знали только, что она — замкнутая женщина, избегает общества и редко выходит из своего дома. Лишь немногие друзья и близкие знали об ее увлечении поэзией — свои стихи она не стремилась выставлять на суд публики («Публикация — продажа/ Сердца и Ума»⁵).

Не только личная, но и творческая жизнь Дикинсон прошла в уединении, в огражденном от внешних вмешательств поэтическом мире, практически вне литературной современности. Ее творчество — ярчайшее явление американской романтической литературы, которую блестяще представили современникам прозаики (Герман Мелвилл и Натаниэль Готорн) и поэт Уолт Уитмен, — но развивалось это творчество независимо и обособленно. Реалистические тенденции проявились в произведениях многочисленных женщин-писательниц — Гарриет Бичер-Стоу,

Элизабет Стюарт Фелпс, Мэри Уилкинс Фримен, Маргарет Фуллер, Элен Хант Джексон, Сары Орн Джуитт. Размышления о доме, об одиночестве как неизбежной женской доле объединяли Дикинсон и ее писательниц-современниц. Но и к ним ее творчество не было близким. От современной литературы творчество Эмили Дикинсон отдаляла его абстрактная философичность, сосредоточение на проблемах познания, веры, смерти. В соединении с неординарной поэтической формой отвлеченность проблематики отдаляла Дикинсон от читателей. Мало, кто смог оценить ее произведения. Только писательница Элен Хант Джексон признавала их гениальными и видела объяснение их «темноты» в неизведанности глубин души.⁶

При жизни поэтессы ее друзьями анонимно было опубликовано восемь ее стихотворений⁷. Слава пришла поздно, когда поэтессы уже не было в живых. Первые американские издания стихов и писем, текстологически недостоверные, появились в 1890 году. Но только академические издания стихотворений (1955) и писем (1958), подготовленные текстологом и литературоведом Томасом Джонсоном, признаны академическими.⁸ Они включают около 1780 стихотворений и 1050 писем. Принята также и примененная в них нумерация текстов.

В Соединенных Штатах интерес к поэзии Дикинсон возрастал по мере усиления популярности поэтики и эстетики модернизма. Однако, еще литературные критики конца XIX века, хотя и признавали талант Дикинсон, резко критиковали ее за «фрагментарное» изложение мысли, за «неправильные» рифмы, за «хаотичность» и «причужденность фантазии» (Т.У. Хиггинсон, А. Бейтс, У.Д. Хоуэллс,

Э. Лэнд, М.Л. Тодд, Т.Б. Олдрич). Только в 1900-1930 годы в поэзию Дикинсон стали вчитываться всерьез (Э.Д. Ивз, Э. Шепли Сарджент, Н. Форстер, Р. Хиллер, М. Армстронг, Д. Лейда, Ч. Андерсон); и в 1960-е годы имя Дикинсон прочно вошло в литературную историю Америки.

Признание Дикинсон в России запоздало на столетие. Теоретической основой для ее восприятия стали работы А. Зверева, И. Кашкина, Т.Венедиктовой, Э. Осиповой, С. Павлычко и других исследователей. Творчеству Дикинсон посвящен ряд диссертационных исследований 1975-2004 гг.⁹ У нас о Дикинсон заговорили сразу как о поэте-романтике, крупнейшем в истории американской литературы. Первые публикации ее стихов появились в середине 1940-х гг.,¹⁰ первый отдельный сборник поэзии, в переводе Веры Марковой, — в 1981. Со второй половины 1990-х и до начала 2000-х гг., сборники произведений Дикинсон практически одновременно выходили в Москве, Екатеринбурге, Петербурге.¹¹ Неуклонно возрастающая в последние годы популярность Дикинсон позволила Т. Венедиктовой в статье «Путешествие Эмили Дикинсон из Америки в Россию», прийти к, быть может, несколько преувеличенному заключению: «нет такого переводчика в России, который не попробовал бы переводить Дикинсон и не вывесил бы плоды своих трудов во Всемирной сети»¹². Наконец, в 2007 году «острова» — выполненные и опубликованные в разные годы переводы стихов и отдельных писем — сложились в «архипелаг» русской Дикинсон, которым по праву может считаться издание ее произведений в серии «Литературные памятники». Основой этого издания стали переводы, статьи и комментарии Аркадия Георгиевича Гаврилова (1931-1990), посвятившего Дикинсон последние десятилетия своей жизни, но не увидевшего плоды своих трудов ни в этой серии, ни в опубликованных его вдовой, Майей Гавриловой, книгах.¹³ Всего в его переводе представлены 195 стихотворений и 259 писем. Прежде эпистолярное наследие поэтессы было практически неизвестно нашему читателю.

Нельзя не согласиться с С.Б. Джимбиновым в том, что «работа Аркадия Гаврилова — наиболее серьезная попытка приблизить поэзию Э. Дикинсон к русскому читателю».¹⁴ Он выступил не только как исследователь, толкователь, критик, переводчик, но и как поэт. Гаврилов сам был поэтом, подобно Дикинсон неоцененным современниками и писавшим «в стол». Он скрупулезно изучил биографию поэтессы, ее окружение, детально исследовал ее произведения. Каждой загадке в ее судьбе он нашел объяснение — и одиночеству, и уединению, и белому платью, и, наконец, неординарности ее поэтической и эпистолярной формы.

Поэтические переводы Гаврилова — это стройная система, отражающая его понимание творчества

Дикинсон. Согласно его концепции, поэтический мир ее неизменен — един в ранних и поздних произведениях. А потому у Дикинсон не было творческого пути, поскольку путь — «это развитие, рост от этапа к этапу, от книги к книге».¹⁵ Все ее творчество в разные периоды одинаково проникнуто единой мыслью о единстве философских основ вселенной. Они определяются всеилием природы и священным долгом поэта передать ее по законам высшей простоты. («Природа — то, что знаем мы, — / Но это звук пустой — / Бессильна Мудрость пред ее / Всесильной простотой»¹⁶; «Природу можно, как и нас, / Увидеть без венца»¹⁷). Эту задачу выполнил Гаврилов как переводчик Эмили Дикинсон.

Представленные в издании стихи и письма Дикинсон «вместе могут считаться полным собранием ее сочинений в шести томах»¹⁸. Читать и тем более переводить письма поэтессы непросто — их поэтика едва ли не сложнее, чем поэтика стихотворений. «У меня ощущение, что поэтический язык Э.Д. мне понятнее языка ее писем», — признавался Гаврилов¹⁹. Избранный им принцип объединения писем по адресатам словно подчеркивает, что вопреки стойко выдержанному одиночеству, Дикинсон искала живого интеллектуального общения. Среди наиболее значительных ее адресатов преобладают литераторы: Томас Уэйнтворт Хиггинсон — первый поддерживавший ее профессиональный писатель, Элен Хант Джексон, отдавшая должное дарованию Дикинсон, а также издатели и критики Сэмюэл Боулз и Джосайя Холланд.

Особое место в книге занимают дневниковые записи Гаврилова. Здесь он выступает как теоретик перевода и как поэт. Даже его замечания о неудачах Дикинсон не отдаляют ее от нас, а, напротив, приближают, поскольку виртуозно объясняют алгебру музыкальной гармонии ее стихов. Приближают ее к нам и параллели с русской литературой — с Тютчевым, Хлебниковым, И. Анненским, Ахматовой, Цветаевой.

Гаврилов улавливает в стихах и письмах американской поэтессы неожиданные соприкосновения мысли людей не только разных эпох, но и разных культур, не ограничиваясь европейской. Наряду со связью Дикинсон с американской поэзией XX века, А. Гаврилов раскрывает близость ее японскому восприятию природы и сходство с китайской философией Лао-цзы, а также эхо ритмов скальдической поэзии и исландских саг.

Таким образом, стремясь определить место Дикинсон в истории литературы, Гаврилов искал аналогии в обширном пространстве литературы всемирной. Именно универсализма жаждал романтический дух Эмили, которому было тесно в рамках современной ей литературы. Аркадий Гаврилов один из немногих почувствовал и раскрыл это. Он

позволил многочисленным читателям ощутить, что сочетание веры и сомнения, полного самораскрытия и самопроверки, предельной внешней простоты и внутренней сложности делают Эмили Дикинсон одной из предшественниц пронизанной противоречиями поэзии XX века.

Помимо стихотворений и писем в переводе Аркадия Гаврилова, книга включает блоки дополнений и приложений, содержит уникальные фотографии и автографы.

В составленном Т. Венедиктовой разделе дополнений, «Стихотворения Эмили Дикинсон в других русских переводах», представлены вариации наиболее известных произведений в исполнении Г. Кружкова, В. Марковой, М. Зенкевича, А. Величанского, Я. Пробштейна, Т. Грингольца, И. Грингольца, И. Кашкина, Л. Ситника, И. Елагина, А. Кудрявицкого, И. Лихачева, О. Седаковой, Т. Стамовой, Э. Линецкой, С. Рабинович, Е. Халтрин-Халтуриной, В. Шапурина, Э. Гольдернесса, А. Голова, С. Фетисовой, М. Бортковской, А. Шараповой.

Раздел «Материалы к библиографии русских переводов стихотворений Эмили Дикинсон» дает представление об истории восприятия ее произведений в России. В этой же части издания представлены критические статьи, подробнейшие примечания к стихам и письмам, краткая летопись жизни и творчества Дикинсон.

Поистине энциклопедическое, академическое издание дарит нам, в то же время, живой портрет поэтессы, задуманный и осуществленный талантливым исследователем и поэтом Аркадием Гавриловым. Сознывая и чувствуя величайшую ценность наследия Дикинсон, он видел в нем «памятник ее уникальному дару и ее мужеству»²⁰. Увековечение многолетнего самоотверженного труда открывателя и толкователя в «Литературных памятниках» — памятник двум поэтам, которые решительно предпочли суетной славе неприкосновенную ценность своего духовного мира и свободного творчества.

Примечания

¹ Первая строчка стихотворения № 690 (95). Перевод А.Гаврилова // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма. М.: Наука, 2007. С.66.

² А.Г. Гаврилов. Переводы Эмили Дикинсон (Из дневников) // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С. 432.

³ «Публикация — продажа...», № 709 (98). Перевод А.Гаврилова // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С. 67.

⁴ Позднее она стала героиней художественных произведений. Поэт С. Крейн, начавший писать под ее влиянием, посвятил ей стихотворение "To Emily Dickinson ' You who desired so much — in vain to ask —... ' ". Она была героиней романов и драм: Дж. Макгрегор «Эмили» (1930), С. Глэспель «Дом Элис» (Пьеса в трех действиях) (1930), Э.Е. Найт «Послание из Вечности. Основано на жизни и легендах об Эмили Дикинсон» (1932), В. Йорк, Ф. Пол «Враждебное Небо» (Драма в трех действиях) (1935), Л. Бенет «Нисходи медленно, Эдем...» (Роман об Эмили Дикинсон) (1942), Д. Гулд «Мисс Эмили» (1946), Д. Гарднер

«К востоку от Эдема: История любви Эмили Дикинсон» (1949) и другие.

⁵ № 709 (98). Перевод А.Гаврилова // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С. 67.

⁶ Элен Хант Джексон — Эмили Дикинсон, октябрь 1876. Перевод А.Гаврилова // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С. 157).

⁷ № 3 "A Valentine" // Springfield Daly Republican, 20.02.1852.

№ 214 "The May-Wine" // Springfield Daly Republican, 4.05.1861.

№ 216 "Sleeping" // Springfield Daly Republican, 1.03. 1862.

№ 324 "My Sabbath" // The Round Table, 12.03. 1864.

№ 228 "Sunset" // Springfield Daly Republican, 30.03. 1864.

№ 986 "The Snake" // Springfield Daly Republican, 14.02. 1866.

№67 "Success" // A Masque of Poets, Boston, 1878. P. 174.

⁸ The Poems of Emily Dickinson. Vol. 1-3 / Ed.by Thomas H.Johnson. Cambridge: The Belcamp Press of Harvard University Press, 1955.

The Letters of Emily Dickinson. Vol. 1-3 / Ed.by Thomas H.Johnson. Cambridge: The Belcamp Press of Harvard University Press, 1958.

⁹ Инцкирвелли Д.Д. «Поэтический путь Эмили Дикинсон» (1975), Костицина М.Г. «Мир поэтической личности Эмили Дикинсон (поэзия и эпистолярный жанр)» (2004), Сироштан С.В. «Романтические традиции в американской лирике 1850-80-х гг. (Эмили Дикинсон и Эмили Бронте)» (2004), Раюшкина И. В. «Язык поэтического перевода в аспекте лингвистической прагматики (на материале стихотворений Эмили Дикинсон)» (2004).

¹⁰ Зенкевич М. Из американских поэтов, 1946. С. 51-54.

¹¹ Дикинсон Э. Стихотворения / На англ. и рус. яз. Составление А. Глебовской, С. Степанова. СПб: Symposium, 1997; 2-е изд., расшир. 2000.

Дикинсон Э. Стихотворения / Перев. с англ. С. Рабинович. Екатеринбург, 1997; 2-е изд., расшир., перераб., 2002.

Дикинсон Э. Это письмо мое миру: Стихи и письма Эмили Дикинсон; Пер. и сост. Изабеллы Мизрахи. — СПб.: Изд-во Фонда Рус. поэзии, 1998.

Дикинсон Э. Лирика. Составитель А.Кудрявицкий. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001

Дикинсон Э. Стихотворения: Сборник/Составл. М.Гавриловой. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2001.

Дикинсон Э. Разговор на языке души = Conversation in the soul language : стихотворения / Эмили Дикинсон; пер. с англ. Вячеслава Протасова. — Владивосток: Морской гос. ун-т им. Г. И. Невельского, 2004.

¹² Венедиктова Т. Путешествие Эмили Дикинсон из Америки в Россию // Иностранная литература. № 10. 2007. С.228.

¹³ Гаврилов А. Эмили Дикинсон // Гаврилов А. Избранное. М., 1993. С. 161-204; Дикинсон Э. Стихотворения. М.: Радуга, 2001.

¹⁴ Джимбинов С.Б. Поэтические истины Эмили Дикинсон // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С. 397.

¹⁵ Гаврилов А.Г. Переводы Эмили Дикинсон (Из дневников) // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С.441.

¹⁶ № 668 (92). Перевод А.Гаврилова // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С.64.

¹⁷ № 1075 (127). Перевод А.Гаврилова // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С.83.

¹⁸ Гаврилов А.Г. Примечания // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С. 481. Здесь имеются в виду трехтомные издания стихотворений и писем Дикинсон под редакцией Джонсона.

¹⁹ Гаврилов А.Г. Переводы Эмили Дикинсон (Из дневников) // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С. 440.

²⁰ Гаврилов А.Г. Примечания // Дикинсон Э. Стихотворения. Письма... С.448

«ЦВЕТ И СВЕТ».

Субъективный взгляд

Ирина ДРАГУНСКАЯ

Искусство фотографии с самого своего зарождения находится в непрерывном маятниковом движении: от документальности к художественности, от пугающего безобразия к чарующей красоте. Московские фотографы Вивиан дель Рио и Василий Попов бунтуют против псевдо-документальной стилистики современной «модной» фотографии, громко отрицающей искусство построения кадра и выстраивания четких ритмов. Им, видимо, не близко пренебрежение зрителем: они приглашают его в соавторы, в спутники своего увлекательного путешествия — по миру фотографии и просто — по всему миру.

Появление цветной фотографии в конце позапрошлого века изрядно напугало живописцев: кому, мол, теперь понадобятся пейзажи и портреты, тщательно выписанные натюрморты и легкие городские зарисовки? Но фотография не отменила живопись — скорее инкорпорировала ее, что убедительно доказывает выставка «Цвет и свет» Вивиан дель Рио и Василия Попова. Городские детали, запечатленные Вивиан (раздел «Цвет»), создают особое, легко узнаваемое пространство — не Москва-Питер-Гавана, а волшебные города, видимые только взгляду (и объективу) настоящего художника (недаром Вивиан получила высшее художественное образование и многие годы занималась живописью). Крупные планы грубо покрашенных стен напоминают одновременно и палитру, и холст абстракциониста. Все случайности — математически просчитаны,

алгебра тщательно поверенна гармонией. Впрочем, зритель не увидит никакого расчета: да никакого расчета и нет, есть высокочлассная композиционная эквилибристика, идеальное соотношение горизонталей и вертикалей, поэтичная зарифмованность частей.

Если Вивиан дель Рио демонстрирует высокое поэтическое мастерство, то Василий Попов — уверенные сценарные приемы. Многие его кадры (раздел «Свет») выстроены по кинематографическим законам: в них есть история и то загадочное настроение, которое часто присуще черно-белым фильмам. Динамика света и теней настолько сильно воздействует на нас, что чудится: вот-вот шумные улицы придут в движение, раздадутся гудки машин и послышится цоканье каблучков по асфальту. Вглядываясь в монохромный городской мир Василия Попова, мы и узнаем нашу реальность, и нет — перед нами Москва и Петербург, увиденные цепким режиссерским и, отчасти, репортерским взглядом. Реальность преобразуется автором: глаз объектива делает ее предельно субъективной. Легко можно вообразить себе кино, снятое по мотивам фотографий Василия Попова.

Иногда кажется, что снимки Вивиан и Василия целиком находятся в рамках традиционной фотографии, следуя знакомые нам черты Картье-Брессона, Штиглица, Мохоли-Надя и Сискинды. Но, как говорил Дарвин: «Если я и видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». ■■■

ГРИГОРИЙ ЯРОШЕНКО «СЛЕДЫ»

Фотографии 2001-2008 гг.

**28 марта—23 апреля 2009 года
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ
«МОДА И СТИЛЬ В ФОТОГРАФИИ 2009».**

Этот проект я делал в течение восьми лет и пожалуй, даже сейчас, не закончил его. Он состоит из нескольких разных серий, снятых в период с 2001 по 2008 годы. Только теперь я решился собрать их вместе, в одну экспозицию с единым названием «Следы» («The Traces»). Наверное, с течением времени, следов станет меньше, многие сотрутся и исчезнут, но сейчас мне хочется показать их, именно в таком виде.

Это попытка увидеть существенно важное, в уже сделанном, работа не с камерой и новой натурой, а с собственным, самим не до конца понятым, отснятым и вроде бы пересмотренным материалом. Ведь процесс — не только в видеоискателе и даже не в лаборатории, он продолжается в мастерской, иногда спустя годы. Как поэт собирает книгу своих стихов, так и фотограф, иногда собирает выставку. Следы — всего лишь воспоминания о том, что было и чего уже нет, едва уловимые и нестойкие свидетели прошлого. Они отпечатываются в вашей памяти, как кеды на незастывшем асфальте. Мои фотографии — тоже следы, мои собственные следы на бумаге, за каждой — часть жизни, воспоминания, ассоциации и рифмы.

Нет смысла перечислять все то, из чего состоит эта выставка. Отмечу лишь проект «Рост», которым я с удовольствием занимался летом 2006 по заказу Михаила Прохорова, за что автору идеи моя исключительная признательность.

Огромное спасибо всем, кто помогал мне на протяжении этих восьми лет. Я не смог бы написать все имена, даже на десяти листах. Особая благодарность Московскому Дому Фотографии и ее директору Ольге Свибловой, кураторам Елене Мисаланди и Екатерине Кондрановой, галерее «Глаз», Сергею и Марии Бурасовским, фотолаборатории МДФ, Татьяне Исаевой и Александру Рошину, без которых ни одна пленка не была проявлена и ни один отпечаток не висел бы сейчас в этом зале. Журналам «Вестник Европы» и «Herald of Europe», Михаилу и Екатерине Борщевским, Компании «Ойл Трейд» и лично Александру Фролову, Денису Аристархову и Илье Экслеру. Компании «Фото-Фрейм» и персонально Евгению Бусареву и Андрею Волкову, агентству «Перспектива» и Ирине Шиловой, агентству «MoscaMilano» и Анастасие Улановой с Филиппом Землянухиным, Сардару Сардарову, Александру Бровкину, Леониду Арончикову и Льву Мелихову. Спасибо за терпение моей семье, Папе и Маме, жене Арише, моим детям и всем, всем, всем.

Григорий Ярошенко

Выставку представляют: Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы, Музей «Московский Дом Фотографии», Галерея «Глаз».

Галерея «Глаз»,

Часы работы: 12.00 — 19.00 вт-сб.

Россия, Москва, Берсеневская наб., д. 14, стр. 5,

тел.: (495) 203-14-56

<http://glazgallery.com>

■■■

АВТОРЫ

- БЕЗЗУБОВ Геннадий.** Поэт, эссеист, телевизионный и радио журналист. Родился в Москве, вырос в Киеве, учился в Институте Стали и Славов; учеба не пошла, вернулся в Киев. После Чернобыля переехал в Ленинград, а потом — в Израиль. До 1987 года публиковался в самиздате. Автор ряда поэтических книг, изданных в Иерусалиме. Живет в Иерусалиме.
- БОРЩЕВСКИЙ Михаил Вениаминович.** Главный редактор журнала “Herald of Europe”, социолог, экономист. Бывш. профессор Вестминстерского университета. Живет в Лондоне.
- ГАЙДАР Егор Тимурович.** Отец российских экономических реформ; директор института экономики Переходного периода, почетный профессор Калифорнийского университета и ряда других престижных университетов мира. Автор многих книг. Член редакции журнала «Вестник Европы». Живет в Москве.
- ГАММЕР Ефим** (1946 г.) Прозаик, поэт, художник, действующий чемпион Иерусалима по боксу. Автор 12 книг, изданных в Риге, Москве и Иерусалиме. Лауреат Бунинской премии (Москва, 2008 г.). Лауреат международных художественных премий. Живет в Иерусалиме.
- ГРИЦМАН Андрей.** Поэт, переводчик, издатель журнала “interpoezia”. Врач-онколог в другой своей жизни. Автор нескольких поэтических книг, изданных в России. Живет в Нью-Йорке.
- ГОРБОВСКАЯ Екатерина.** Поэт. Получила определенную популярность в 80-е годы, издав одну книгу стихов. Живет в Лондоне.
- ДАВЫДОВ Александр.** Прозаик, переводчик. Член Союза российских писателей. Автор ряда книг. Живет в Москве. В «Вестнике Европы» публикуется впервые.
- ЗОБНИН Юрий Владимирович.** Доктор филологических наук, профессор. Заведующий кафедрой литературы и русского языка СПбГУ. Живет в Санкт-Петербурге.
- ИСАЕВА Наталия.** Индолог, эссеист, переводчик, критик, театровед. Доктор исторических наук. Участник ряда блестящих театральных проектов в Европе, осуществляемых режиссером Анатолием Васильевым. Член редакции и постоянный автор «Вестника Европы». Живет в Париже.
- КЛЕХ Игорь Юрьевич.** Писатель, член русского ПЭН-центра. Автор ряда книг; лауреат премии «лучший русский рассказ года» (2000).
- КЛИМОНТОВИЧ Николай.** Прозаик, драматург, журналист. Окончил физический факультет МГУ, но по стопам отца-профессора не пошел; ступил на шаткую стезю словесности, где и преуспел. Автор теперь уже многих книг. Постоянный автор «Вестника Европы».
- ОРЕХОВСКИЙ Петр Александрович.** Социолог, экономист, литератор. Доктор экономических наук, зав. кафедрой института атомной энергетики. С его прозой мы познакомим читателя в ближайших номерах журнала. Живет в Обнинске.
- ПУМПЯНСКИЙ Александр Борисович.** Журналист-международник, сценарист. Главный редактор журнала «Новое время» в течение 17 лет. Автор книг, фильмов и множества статей. Живет в Москве.
- РОШАЛЬ Марианна Григорьевна.** кинорежиссер, сценарист. Дочь режиссера Григория Рошала, вдова археолога и писателя Георгия Федорова, мать художника-концептуалиста Михаила Рошала. Живет в Лондоне.
- ШЕНРОК Владимир Иванович** (род. в 1853г). Историк литературы, один из первых биографов Н.В. Гоголя; врач. Автор четырехтомных «материалов для биографии Гоголя», собрания писем Гоголя в 4 томах; собрания сочинений Гоголя и т.д. Абсолютно недооцененный деятель российской литературы, чьи труды ждут переизданий. Активный сотрудник «Вестника Европы» М.М. Стасюлевича.

SUMMARY

This 25-th Jubilee Issue of the magazine is devoted to the 200-th anniversary of Nicolai Gogol. Here we have three materials: an essay by Igor Kleh, notes by Victor Yaroshenko to the engravings by Mark Chagall for “Dead Souls” by Gogol and a study by a prominent specialist in Gogol — Vladimir Ivanovich Shenrok reprinted from Vestnik Evropy from 1896.

Next is a new study by our regular contributor Yegor Gaidar on murky times in world history.

We draw your attention to a debut publication in our magazine by Doctor of Science and writer Peter Orehovskiy – “Time of Practitioners” — on formation of Russian elites.

Analysis of Russian-USA relations and their perspectives in review by Gevork Mirzoyan.

Literature in this issue is represented by materials from Russian and foreign authors. Subsection “From Jerusalem with love” (documentary prose of Efim Gammer and poems by Gennady Bezzubov) — by authors from Israel. In this issue we also have poems by Ekaterina Gorbovskaia, new poem by Andrey Gritsman, prose by Alexander Davydov and Nicolai Klemontovich.

An exclusive material — conversation of Gala Naumova and Constantine von Berleven with the great scientist of 20-th century — Claude Lévi-Strauss and an essay by our regular contributor Gregory Pomerants on the philosophy-history section of the issue.

“Myth’s of Stalinism” is a publication following scientific conferences in Moscow — Helene Carrere d’Encosse, Yury Lyubimov, Petr Todorovsky, Daniil Granin, Ludmila Ulitskaya, Andrey Sorokin, Boris Dubin.

In culture section we recommend a review by Natalia Isaeva on Russian theme in Paris theatres this spring.